

Н. В. Гоголь

448/12  
ВЕЧЕРА НА ХУТОРѢ  
БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

МИРГОРОДЪ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.  
ИЗДАНІЕ  
А. Ф. ДЕВРІЕНА.



DUKE  
UNIVERSITY



LIBRARY





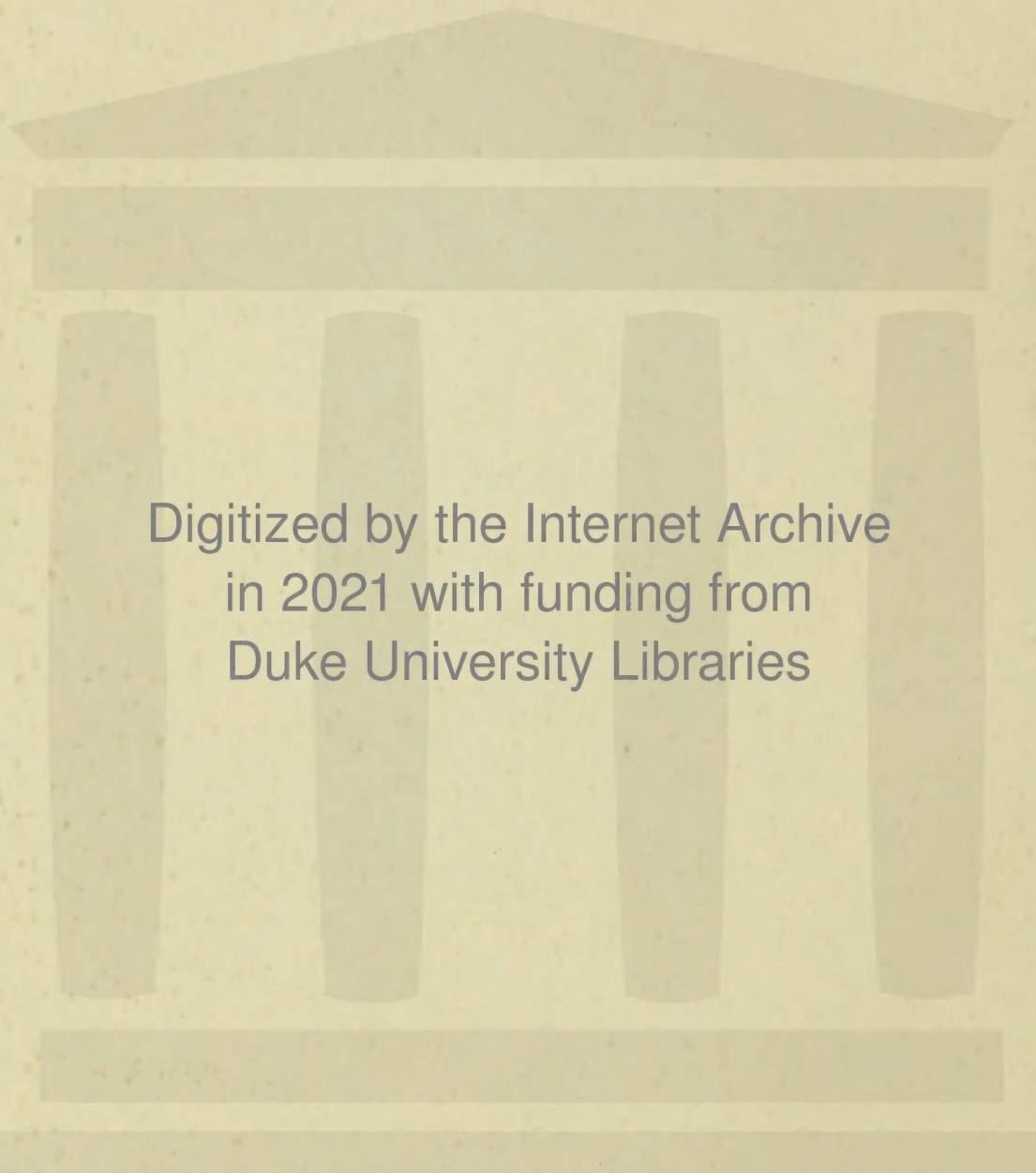












Digitized by the Internet Archive  
in 2021 with funding from  
Duke University Libraries



ВЕЧЕРА НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

---

МИРГОРОДЪ.

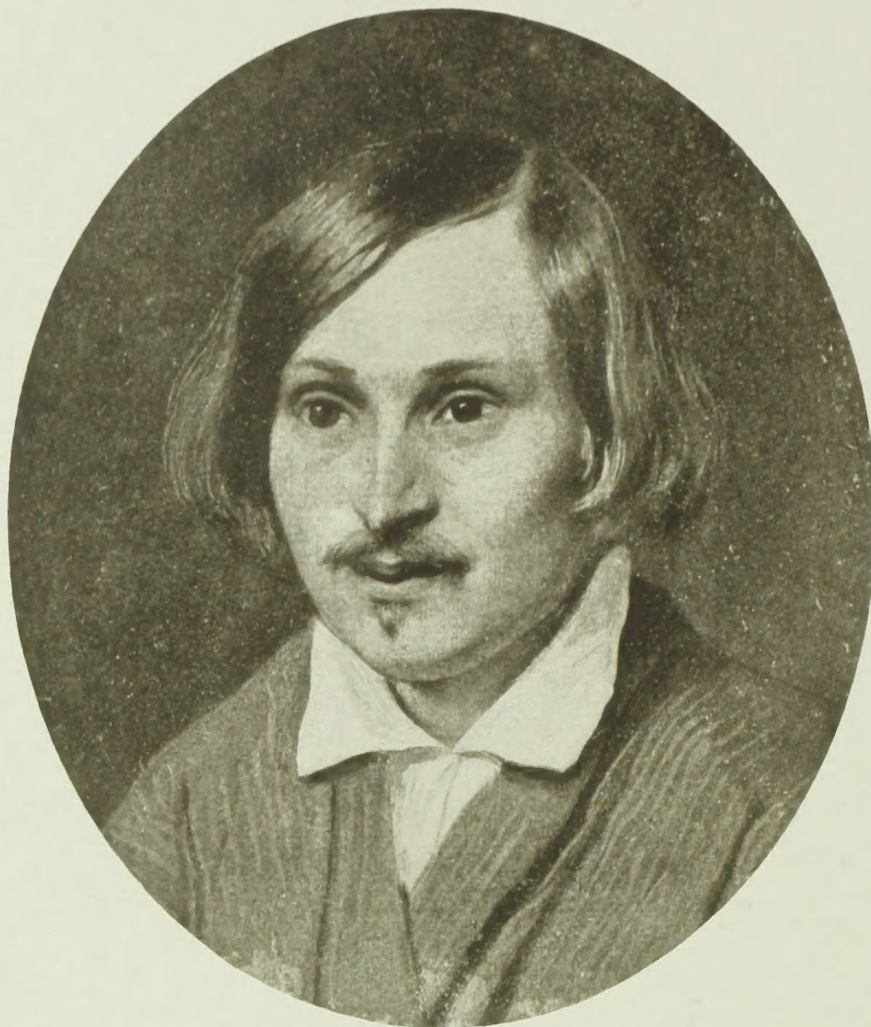
---











W. Forster



Google  
Н. В. ГОГОЛЬ.

---

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЪ  
БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

---

МИРГОРОДЪ.

---

Съ портретомъ Гоголя по оригиналу А. А. Иванова.

Иллюстрировали художники С. М. ДУДИНЪ и Н. И. ТКАЧЕНКО.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. ДЕВРІЕНА.



Типографія А. Бенке въ С.-Петербургѣ.

Клише исполнены художественной фотомеханической мастерской  
С. М. Прокудина-Горскаго въ С.-Петербургѣ.

1911.



## Отъ иллюстраторовъ.

---

«Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и «Миргородъ» иллюстрировались многими художниками въ цѣломъ рядѣ изданій. Однако, если не считать большого альбома, изданнаго лѣтъ 30 тому назадъ и посвященнаго исключительно «Вечерамъ», всѣ остальные изданія, рассчитанныя на широкій рынокъ, оставляютъ многого желать въ смыслѣ опрятности и изящества.

Иллюстраціи въ большинствѣ изъ нихъ, по разнымъ причинамъ, часто несмотря на значительныя достоинства, отличаются отсутствіемъ единства и сколько нибудь опредѣленнаго плана, не только для всей серіи рассказовъ, но зачастую и для одного и того же рассказа, являясь поэтому нѣсколько случайными и слабо вяжущимися съ текстомъ. Многія же изъ нихъ, благодаря тому, что отправной точкой художниками было взято и утрировано то смѣшное, что есть въ рассказахъ, на нашъ взглядъ, еще дальше отошли отъ текста.

Намъ давно хотѣлось попытаться исправить указанные сейчасъ недостатки рисунковъ и изданій. Готовность А. Ф. Девріена помочь намъ въ этомъ позволила осуществить нашу мысль, а многолѣтняя совмѣстная работа и знаніе быта Малороссіи давали намъ надежду на то, что мы сможемъ справиться съ этой задачей.

А. Ф. Девріенъ не пожалѣлъ затратъ для того, чтобы прилатъ изданію красивую внѣшность и солидность, необходимыя для книги, предназначенной для любителей красивыхъ изданій и для подарковъ.

Представляя теперь вниманію читателей «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и «Миргородъ» съ нашими рисунками и набросками —

углемъ и перомъ — мы, конечно, далеки отъ того, чтобы думать, что они вполне исправляютъ недочеты прежнихъ иллюстрацій. Намъ чужда была мысль опредѣлить перомъ и углемъ во всемъ богатомъ разнообразіи и полнотѣ красивые образы Гоголя. Мы хотѣли только дать читателямъ подходящий, не противорѣчащій духу гоголевскаго текста, изобразительный матеріалъ, правдивый, не слобренный ни карриатурой, ни шаржировкой и не прикрашенный по театрално-праздничному, а такой, какимъ сохранила его наша память отъ тѣхъ лѣтъ, когда мы сами жили и росли среди мѣстъ и типовъ, описываемыхъ Гоголемъ. И если наши рисунки помогутъ читателю нѣсколько живѣе перенестись мыслью въ ту же среду и обстановку, если тѣ бытовья мелочи и подробности, о которыхъ Гоголь упоминаетъ вскользь и которыя мы намѣчаемъ опредѣленно, дополняютъ это, — мы будемъ считать нашу задачу исполненной. Насколько мы подошли къ ея рѣшенію — судить, конечно, не намъ.

*С. М. Дудинъ.*

*Н. И. Ткаченко.*



## Оглавленіе.

	СТРАН.
Отъ иллюстраторовъ . . . . .	V

### Вечера на хуторѣ близъ Диканьки.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Предисловіе . . . . .	XI
Сорочинская ярмарка . . . . .	I
Вечеръ наканунѣ Ивана Купала . . . . .	27
Майская ночь, или утопленница . . . . .	43
Пропавшая грамота . . . . .	74

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Предисловіе . . . . .	89
Ночь передъ Рождествомъ . . . . .	91
Страшная мѣсть . . . . .	135
Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка . . . . .	178
Заколдованное мѣсто . . . . .	203

## Миргородъ.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

	СТРАНИ.
Старосвѣтскіе помѣщики . . . . .	215
Тарасъ Бульба . . . . .	237

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Внѣ . . . . .	353
Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Пикифоровичемъ . . . . .	393
Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки» и «Миргородѣ» . . . . .	411



ВЕЧЕРА  
НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

---

ПОВѢСТИ, ИЗДАННЫЯ

ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



## Предисловіе.

---

«Это что за невидаль: Вечера на хуторѣ близъ Диканьки? Что это за «Вечера»? И швырнулъ въ свѣтъ какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вслѣдъ за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее».

Слышало, слышало вѣщее мое всѣ эти рѣчи еще за мѣсяцъ! То-есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть носъ изъ своего захолустья въ большой свѣтъ — батюшки мои! — это все равно, какъ, случается, иногда зайдешь въ покои великаго пана: всѣ обступятъ тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, — нѣтъ, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотрѣтъ — дрянъ, который копается на заднемъ дворѣ, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всѣхъ сторонъ притопывать ногами: «Куда? куда? зачѣмъ? пошелъ, мужикъ, пошелъ!»... Я вамъ скажу... Да что говорить! Мнѣ легче два раза въ годъ съѣздить въ Миргородъ, въ которомъ, вотъ уже пять лѣтъ, какъ не видалъ меня ни подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный іерей, чѣмъ показаться въ этотъ великій свѣтъ; а показался — плачь, не плачь, давай отвѣтъ.

У насъ, мои любезные читатели, — не во гнѣвъ будь сказано (вы, можетъ-быть, и разсердились, что пасичникъ говоритъ вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь свату своему, или куму), — у насъ, на хуторахъ, водится издавна: какъ-только окончатся работы въ полѣ, мужикъ залѣзетъ отдыхать на всю зиму на печь, и нашъ братъ припрячетъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни журавлей на небѣ, ни грушъ на деревѣ не увидите болѣе; тогда, только вечеръ, уже навѣрно гдѣ-нибудь въ концѣ улицы брезжетъ огонекъ, смѣхъ и пѣсни слышатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчасъ и скрипка, говоръ,



шумъ... Это у насъ *вечерницы*! Онѣ, изволите видѣть, онѣ похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсѣмъ. На балы если вы ѣдете, то именно для того, чтобы повертѣть ногами и позѣвать въ руку; а у насъ соберется въ одну хату толпа дѣвушекъ совсѣмъ не для балу, съ веретеномъ, съ гребнями. И сначала будто и дѣломъ займутся: веретена шумятъ, льются пѣсни, и каждая не подымаетъ и глазъ въ сторону; но только нагрянуть въ хату парубки съ скрипачомъ — подымется крикъ, затѣется шаль, пойдутъ танцы и заведутся такія штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются всѣ въ тѣсную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто — нести болтовню. Боже ты мой! чего только не расскажутъ! откуда старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но нигдѣ, можетъ-быть, не было рассказываемо столько диковинъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудаго Панька. За чтó меня міряне прозвали Рудымъ Панькомъ — ей Богу, не умѣю сказать. И волосы, кажется, у меня теперь болѣе сѣдые, чѣмъ рыжіе. Но у насъ, не извольте гнѣваться, такой обычай: какъ дадутъ кому люди какое прозвище, то и во вѣки-вѣковъ останется оно. Бывало, соберутся, наканунѣ праздничнаго дня, добрые люди въ гости, въ пасичникову лачужку, усядутся за столъ, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какіе-нибудь мужики хуторянскіе; да можетъ, иному и повыше пасичника сдѣлали бы честь посѣщеніемъ. Вотъ, напримѣръ, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Оому Григорьевича? Эхъ, голова! Чтó за исторіи умѣлъ онъ отпускать! Двѣ изъ нихъ найдете въ этой книжкѣ. Онъ никогда не носилъ пестрядеваго халата, какой встрѣтите вы на многихъ деревенскихъ дьячкахъ; но заходите къ нему и въ будни, онъ васъ всегда приметъ въ балахонѣ изъ тонкаго сукна, цвѣта застуженнаго картофельнаго киселя, за которе платилъ онъ въ Полтавѣ чуть не по шести рублей за аршинъ. Отъ сапогъ его, у насъ никто не скажетъ на цѣломъ хуторѣ, чтобы слышенъ былъ запахъ дегтя; но всякому извѣстно, что онъ чистилъ ихъ самымъ лучшимъ смальцемъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ положилъ бы себѣ въ кашу. Никто не скажетъ также, чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего балахона, какъ то дѣлаютъ иные люди его званія; но вынималъ изъ-за пазухи опрятно сложенный бѣлый платокъ, вышитый по всѣмъ краямъ красными нитками, и, исправивши, что слѣдуетъ, складывалъ его снова, по обыкновенію, въ двѣнадцатую долю и пряталъ за пазуху. А одинъ изъ гостей... Ну, тотъ уже былъ такой паничъ, что хоть сейчасъ нарядить въ засѣдатели, или подкоморіи. Бывало, поставитъ передъ собою палецъ и, глядя на конецъ его, пойдетъ рассказывать — вычурно, да хитро, какъ въ печатныхъ книжкахъ! Иной разъ слушаешь, слушаешь, да и



Пасизникъ  
рудый Панько

Ж





раздумье нападетъ. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Оома Григорьевичъ разъ ему насчетъ этого славную сплелъ присказку: онъ рассказалъ ему, какъ одинъ школьникъ, учившійся у какого-то дьяка грамотѣ, пріѣхалъ къ отцу и сталъ такимъ латыньщикомъ, что позабылъ даже нашъ языкъ православный, — всѣ слова сворачиваетъ на *усъ*: лопата у него — лопатусъ, баба — бабусъ. Вотъ, случилось разъ, пошли они вмѣстѣ съ отцомъ въ поле. Латыньщикъ увидѣлъ грабли и спрашиваетъ отца: «Какъ это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступилъ, разинувши ротъ, ногою на зубцы. Тотъ не успѣлъ собраться съ отвѣтомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась и — хватъ его по лбу! «Проклятыя грабли!» закричалъ школьникъ, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ: «какъ же онѣ, — чортъ бы спихнулъ съ моста отца ихъ, — больно бьются!». Такъ вотъ какъ! припомнилъ и имя, голубчикъ. — Такая присказка не по душѣ пришлась затѣйливому рассказчику. Не говоря ни слова, всталъ онъ съ мѣста, разставилъ ноги свои посреди комнаты, нагнулъ голову немного впередъ, засунулъ руку въ задній карманъ гороховаго кафтана своего, вытащилъ круглую, подъ лакомъ, табакерку, шелкнулъ пальцемъ по намалеванной рожѣ какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не малую порцію табаку, растертаго съ золою и листьями любистка, поднесъ ее коромысломъ къ носу и вытянулъ носомъ на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и все ни слова. Да какъ полѣзъ въ другой карманъ и вынулъ синій въ клѣткахъ бумажный платокъ, тогда только проворчалъ про-себя, чуть-ли еще не поговорку: «*Не мечите бисера передъ свиньями*»... «Быть же теперь ссорѣ», подумалъ я, замѣтивъ, что пальцы у Оомы Григорьевича такъ и складывались дать дулю. Къ счастью, старуха моя догадалась поставить на столъ горячій книшъ съ масломъ. Всѣ принялись за дѣло. Рука Оомы Григорьевича, вмѣсто того, чтобъ показать шишъ, протянулась къ книшу, и, какъ всегда водится, начали прихваливать мастерицу-хозяйку. Еще былъ у насъ одинъ рассказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспоминать о немъ) такія выкапывалъ страшныя исторіи, что волосы ходили по головѣ. Я нарочно и не помѣщалъ ихъ сюда: еще напугаешь добрыхъ людей такъ, что пасичника, прости Господи, какъ чорта всѣ стануть бояться. Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ, до новаго году и выпущу другую книжку, тогда можно будетъ постращать выходцами съ того свѣта и дивами, какія творились въ старину, въ православной сторонѣ нашей. Межъ ними, статья-можетъ, найдете побасенки самого пасичника, какія рассказывалъ онъ своимъ внукамъ. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лѣнь только проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.

Да, вотъ было и позабылъ самое главное: какъ будете, господа, ѣхать ко мнѣ, то прямехонько берите путь по столбовой дорогѣ на Диканьку. Я нарочно и выставилъ ее на первомъ листкѣ, чтобы скорѣе добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы слышались вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про садъ и говорить нечего: въ Петербургѣ вашемъ, вѣрно, не сыщете такого. Приѣхавши же въ Диканьку, спросите только первого попавшагося навстрѣчу мальчишку, пасущаго въ запачканной рубашкѣ гусей: «А гдѣ живетъ пасичникъ Рудый Панько?» — «А вотъ тамъ!» скажетъ онъ, указавши пальцемъ, и, если хотите, доведетъ васъ до самого хутора. Проню, однакожъ, не слишкомъ закладывать назадъ руки и, какъ говорится, финтить, потому что дороги по хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими хоромами. Ома Григорьевичъ, третьяго году, приѣзжая изъ Диканьки, понавѣдался-таки въ провалъ съ новою таратайкою своею и гнѣдою кобылою, несмотря на то, что самъ правилъ и что, сверхъ своихъ глазъ, надѣвалъ по временамъ еще покупные.

Зато уже, какъ пожелаете въ гости, то дынь подадимъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можетъ-быть, не ѣли; а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хуторахъ: представьте себѣ, что, какъ внесешь сотъ, духъ пойдетъ по всей комнатѣ, вообразить нельзя, какой: чистъ какъ слеза, или хрусталь дорогой, что бываетъ въ серьгахъ. А какими пирогами накормить моя старуха! Что за пироги, если-бъ вы только знали: сахаръ, совершенный сахаръ! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда начнешь ѣсть. Подумаешь право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ и сливами? Или не случилось ли вамъ, подчасъ, ѣсть путрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на свѣтѣ нѣтъ кушаньевъ! Станешь ѣсть — объяденье, да и полно: сладость неописанная! Прошлаго года... Однакожъ, что я въ самомъ дѣлѣ разболтался?... Приѣзжайте только, приѣзжайте поскорѣй; а накормимъ такъ, что будете рассказывать и встрѣчному и поперечному.

*Пасичникъ Рудый Панько.*



## Сорочинская ярмарка.

Мини нудно въ хати жить.  
Ой вези жъ мене изъ дому,  
Де багацько грому, грому,  
Де гопцюють все дивки,  
Де гуляють парубки!

*Изъ старинной легенды.*

### I.

**К**акъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пѣсни летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изрѣдка крикъ чайки, или звонкій голосъ перепела отдается въ степи. Лѣниво и бездумно, будто гуляющіе безъ цѣли стоятъ подоблачные дубы, и ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлыя живописныя массы листьевъ, накидывая на другія темную, какъ ночь, тѣнь, по которой только при сильномъ вѣтрѣ прыщеть золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирныхъ насѣкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, осѣняемыми статными подсолнечниками. Сѣрыя скирды сѣна и золотые снопы хлѣба станомъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизмѣримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешенъ, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало — рѣка въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!

Такою роскошью блисталъ одинъ изъ дней жаркаго августа тысячу восемьсотъ... восемьсотъ... да, лѣтъ тридцать будетъ назадъ тому,



когда дорога, верстъ за десять до мѣстечка Сорочинецъ, кишѣла народомъ, поспѣшавшимъ со всѣхъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ утра еще тянулись нескончаемою веренищею чумаки съ солью и рыбою. Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались, кажется, сучая своимъ заключеніемъ и темнотою; мѣстами только какая-нибудь расписанная ярко миска, или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ завистью на высокаго гончара, владѣльца сихъ драгоценностей, который медленными шагами шелъ за своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и кокетокъ ненавистнымъ для нихъ сѣномъ.

Одинокѣ въ сторонѣ тащился на истомленныхъ волахъ возъ, наваленный мѣшками, пенькою, полотномъ и разною домашнею поклажею, за которымъ брелъ, въ чистой полотняной рубашкѣ и запачканныхъ полотняныхъ шароварахъ, его хозяинъ. Лѣнливою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ потъ со смуглаго лица и даже капавшій съ длинныхъ усовъ, напудренныхъ тѣмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ красавицѣ и къ уроду, и насильно пудритъ, нѣсколько тысячъ уже лѣтъ, весь родъ человѣческій. Рядомъ съ нимъ шла привязанная къ возу кобыла, смиренный видъ которой обличалъ преклонныя лѣта ея. Много встрѣчныхъ, и особливо молодыхъ парубковъ, брались за шапку, поровнявшись съ нашимъ мужикомъ. Однакожъ не сѣдые усы и не важная поступь его заставляли это дѣлать; стоитъ только поднять глаза немного вверхъ, чтобы увидѣть причину такой почтительности: на возу сидѣла хорошенькая дочка, съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно-улыбавшимися розовыми губками, съ повязанными на головѣ красными и синими лентами, которыя, вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣтовъ, богатою короною покоились на ея очаровательной головкѣ. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькіе глазки безпрестанно бѣгали съ одного предмета на другой. Какъ не разсѣяться! въ первый разъ на ярмаркѣ! Дѣвушка въ осмнадцать лѣтъ въ первый разъ на ярмаркѣ!.. Но ни одинъ изъ прохожихъ и проѣзжихъ не зналъ, чего ей стоило упросить отца взять съ собою, который и душою радъ бы былъ это сдѣлать, если бы не злая мачиха, выучившаяся держать его въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служеніе, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тутъ же сидѣла на высотѣ воза въ нарядной, шерстяной зеленой кофтѣ, по которой, будто по горностаевому мѣху, нашиты были хвостики краснаго только



цвѣта, въ богатой плахтѣ, пестрѣвшей какъ шахматная доска, и въ ситцевомъ цвѣтномъ очипкѣ, придававшемъ какую-то особенную важность ея красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь непріятное, столь дикое, что каждый тотчасъ спѣшилъ перенести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико дочки.

Глазамъ нашихъ путешественниковъ началъ уже открываться Псѣль; издали уже вѣяло прохладой, которая казалась ощутительнѣе послѣ томительнаго, разрушающаго жара. Сквозь темно- и свѣтло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей, засверкали огненные, одѣтыя холодомъ искры, и рѣка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, оцѣненную темною, упавшею съ русой головы, волною, когда съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ, — она почти каждый годъ перемѣняетъ свои окрестности, выбираетъ себѣ новый путь и окружаетъ себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельницъ подымали на тяжелыя свои колеса широкія волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги, обсыпая пылью и обдувая шумомъ окрестность. Возъ съ знакомыми намъ пассажирами взѣхалъ въ это время на мостъ, и рѣка во всей красотѣ и величіи, какъ цѣльное стекло, раскинулась передъ ними. Небо, зеленые и синіе лѣса, люди, возы съ горшками, мельницы—все опрокинулось, стояло и ходило вверхъ ногами, не падая въ голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечникъ, которымъ исправно занималась во все продолженіе пути, какъ вдругъ слова: «Ай да дивчина!» поразили слухъ ея. Оглянувшись, увидѣла она толпу стоявшихъ на мосту парубковъ, изъ которыхъ одинъ, одѣтый пощеголеватѣе прочихъ, въ бѣлой свиткѣ и въ сѣрой шапкѣ рѣшетилыхъ смушекъ, подпершись въ бока, молодецки поглядывалъ на проезжающихъ. Красавица не могла не замѣтить его загорѣвшаго, но исполненнаго пріятности лица и огненныхъ очей, казалось, стремившихся видѣть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, можетъ быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славная дивчина!» продолжалъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, не сводя съ нея глазъ. «Я бы отдалъ все свое хозяйство, чтобы поцѣловать ее. А вотъ впереди и дьяволъ сидитъ!» Хохотъ поднялся со всѣхъ сторонъ; но разряженной сожительницѣ медленно выступавшаго супруга не слишкомъ показалось такое привѣтствіе, красныя щеки ея превратились въ огненные, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ на голову разгульнаго парубка:

«Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свѣтѣ чертъ бороду обжегъ!»

«Вишь, какъ ругается!» сказалъ парубокъ, вытаращивъ на нее глаза, какъ будто озадаченный такимъ сильнымъ залпомъ неожиданныхъ привѣтствій: «и языкъ у нея, у столѣтней вѣдьмы, не заболитъ выговорить эти слова!»

«Столѣтней!»... подхватила пожилая красавица. «Нечестивецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянъ. И отецъ дрянъ, и тетка дрянъ! Столѣтней!.. что у него молоко еще на губахъ»...

Тутъ возъ началъ спускаться съ мосту, и послѣднихъ словъ уже невозможно было разслушать; но парубокъ не хотѣлъ, кажется, кончить этимъ; не думая долго, схватилъ онъ комокъ грязи и швырнулъ вслѣдъ за нею. Ударъ былъ удачнѣе, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипокъ забрызганъ былъ грязью, и хохотъ разгульныхъ повѣсь удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскипѣла гнѣвомъ; но возъ отѣхалъ въ это время довольно далеко, и мѣсть ея обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ явленіямъ, сохранялъ упорное молчаніе и хладнокровно принималъ мятежныя рѣчи разгнѣванной супруги. Однакожъ, несмотря на это, неутомимый языкъ ея трещалъ и болтался во рту до тѣхъ поръ, пока не пріѣхали они въ пригородье, къ старому знакомому и куму, козаку Цыбулѣ. Встрѣча съ кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время изъ головы это непріятное происшествіе, заставивъ нашихъ путешественниковъ поговорить объ ярмаркѣ и отдохнуть немного послѣ дальняго пути.

Що Боже, ты мій Господе! чого нема на тій ярмарци! колеса, скло, деготь, тю-тюнь, ремень, цыбуля, крамари всяки... такъ, що хотъ бы въ кишени було рубливъ и съ тридцять, то и тогди бъ не закупывъ усіей ярмаркы.

*Изъ малороссійской комедіи.*

## II.

**В**амъ, вѣрно, случалось слышать гдѣ-то валящійся отдаленный водопадъ, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаосъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ вихремъ носится передъ вами. Не правда ли, не тѣ ли самыя чувства мгновенно обхватятъ васъ въ вихрѣ сельской ярмарки, когда весь народъ срастается въ одно огромное чудовище и шевелится всѣмъ своимъ туловищемъ на площади и по тѣснымъ улицамъ, кричитъ, гогочетъ, гремитъ? Шумъ, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ—все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно,







цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосныя рѣчи потопляютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всѣхъ сторонъ ярмарки. Ломаются возы, звенить желѣзо, гремятъ сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумѣваетъ, куда обратиться. Приѣзжій мужикъ нашъ съ чернобровою дочкою давно уже толкался въ народѣ; подходилъ къ одному возу, шупаль другой, примѣнивался къ цѣнамъ; а



между тѣмъ мысли его ворочались безостановочно около десяти мѣшковъ пшеницы и старой кобылы, привезенныхъ имъ на продажу. По лицу его дочери замѣтно было, что ей не слишкомъ пріятно тереться около возовъ съ мукою и пшеницею. Ей бы хотѣлось туда, гдѣ подъ полотняными ятками нарядно развѣшены красныя ленты, серьги, оловянные, мѣдныя кресты и дукаты. Но и тутъ, однакожъ, она находила себѣ много предметовъ для наблюденія: ее смѣшило до крайности, какъ цыганъ и мужикъ били одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ боли; какъ пьяный жидъ давалъ бабѣ киселя\*); какъ поссорившіяся перекупки перекидывались бранью и драками; какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вотъ, по-

\*) «Давать киселя» значитъ ударить кого-нибудь сзади ногъ.

чувствовала она, кто-то дернулъ ее за шитый рукавъ сорочки. Оглянулась—и парубокъ въ бѣлой свиткѣ, съ яркими очами, стоялъ передъ нею. Жилки се вздрогнули, и сердце забилося такъ, какъ еще никогда,



ни при какой радости, ни при какомъ горѣ: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что дѣлалось съ нею.

«Не бойся, серденько, не бойся!» говорилъ онъ ей вполголоса, взявши ее руку: «я ничего не скажу тебѣ худого»!

«Можетъ-быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого», подумала про себя красавица:—только мнѣ чудно... вѣрно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку».

Мужикъ оглянулся и хотѣлъ что-то промолвить дочери, но въ сторонѣ по-

слышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ двумъ громко разговаривавшимъ негоціантамъ, и приковавшагося къ нимъ вниманія уже ничто не въ состояніи было развлечь. Вотъ что говорили негоціанты о пшеницѣ.

### III.

«Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдетъ наша пшеница?» говорилъ человекъ, съ виду похожій на заѣзжаго мѣщанина, обитателя какого-нибудь мѣстечка, въ пестрядевыхъ, запачканныхъ дегтемъ и засаленныхъ шароварахъ, другому, въ синей, мѣстами уже съ заплатами, свиткѣ, и съ огромною шишкою на лбу.

«Да думать нечего тутъ: я готовъ вскинуть на себя петлю и болтаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса передъ Рождествомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку».

Чи бачишъ, винъ який парнище?  
На сниті трохи єсть такихъ.  
Сивуху такъ, мовъ брагу, хлыще!  
*Котляревскій. Энеида.*

«Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу вѣдь, кромѣ нашего, нѣтъ вовсе», возразилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

«Да, говорите себѣ, что хотите», думалъ про себя отецъ нашей красавицы, не пропускавшій ни одного слова изъ разговора двухъ не-гоціантовъ: «а у меня десять мѣшковъ есть въ запасѣ».

«То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля», значительно сказалъ человѣкъ съ шишкою на лбу.

«Какая чертовщина?» подхватилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

«Слышалъ-ли ты, что поговариваютъ въ народѣ?» продолжалъ съ шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмыя очи.

«Ну!»

«Ну, то-то, ну! Засѣдатель, чтобъ ему не довелось больше обтирать губъ послѣ панской сливянки, отвелъ для ярмарки проклятое мѣсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тотъ старый, развалившійся сарай, что вонъ-вонъ стоитъ подъ горою?» (Тутъ любопытный отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во вниманіе). «Въ томъ сараѣ то и дѣло, что водятся чертовскія шашни, и ни одна ярмарка на этомъ мѣстѣ не проходила безъ бѣды. Вчера волостной писарь проходилъ поздно вечеромъ, только глядь — въ слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него морозъ подралъ по кожѣ. Того и жди, что опять покажется *красная свитка!*»

«Что-жъ это за *красная свитка?*»

Тутъ у нашего внимательнаго слушателя волосы поднялись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадъ и увидѣлъ, что дочка его и парубокъ спокойно стояли, обнявшись и напѣвая другъ другу какія-то любовныя сказки, позабывъ про всѣ находящіяся на свѣтѣ свитки. Это разогнало его страхъ и заставило обратиться къ прежней безпечности.

«Эге, ге, ге, землякъ! да ты мастеръ, какъ вижу, обниматься! А я на четвертый только день послѣ свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то, спасибо куму: бывши *дружкой*, уже надоумилъ».

Парубокъ замѣтилъ тотъ же часъ, что отецъ его любезной не слишкомъ далекъ, и въ мысляхъ принялся строить планъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.

«Ты, вѣрно, человѣкъ добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчасъ узналъ».

«Можетъ, и узналъ».

«Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовутъ Солопій Черевикъ».

«Такъ, Солопій Черевикъ».



«А взглядишь-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?»

«Нѣтъ, не познаю. Не во гнѣвъ будь сказано: на вѣку столько довелось наглядѣться рожъ всякихъ, что чортъ ихъ и припомнить всѣхъ!»

«Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!»

«А ты будто Охримовъ сынъ?»

«А кто-жъ? Развѣ одинъ только лысый дидько, если не онъ».



ЯТКА  
ШИНКАРКИ

Тутъ пріятели побрались за шапки, и пошло лобызаніе; нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени, рѣшился въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.

«Ну, Солопій, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полюбили другъ друга такъ, что хоть бы навѣки жить вмѣстѣ.

«Что-жъ, Параска», сказалъ Черевикъ, оборотившись и смѣясь къ своей дочери: «можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтобы уже, какъ говорятъ, вмѣстѣ и того... чтобы и паслись на одной травѣ! Что? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять, давай могарычу!»

И всѣ трое очутились въ извѣстной ярмарочной рестораціи — подъ яткою у жидовки, усѣянною многочисленной флотиліей сѹлей, бутылей, фляжекъ всѣхъ родовъ и возрастовъ.

«Эхъ, хватъ! за это люблю!» говорилъ Черевикъ, немного подгулявши и видя, какъ нареченный зять его налилъ кружку, величиною съ полкварти и, нимало не поморщившись, выпилъ до дна, хвативъ потомъ ее вдребезги. «Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебѣ досталъ! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тянетъ пѣнную!..»

И посмѣиваясь, и покачиваясь, побрелъ онъ съ нею къ своему возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ красными товарами, въ которыхъ находились купцы даже изъ Гадяча и Миргорода, двухъ знаменитыхъ городовъ Полтавской губерніи, выглядывать получше деревянную люльку въ мѣдной, щегольской оправѣ, цвѣтистый по красному полю платокъ и шапку, для свадебныхъ подарковъ тестю и всѣмъ, кому слѣдуетъ.





Хоть чоловікамъ не онсе  
Да коли жинни, бачишь, тее,  
Такъ треба угодыты...

Котляревскій.

#### IV.

**Н**у, жинка, а я нашель жениха дочкѣ!»

«Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ отыскивать! Дурень, дурень! тебѣ, вѣрно и народу написано остаться такимъ! Гдѣ-жъ таки ты видѣлъ, гдѣ-жъ таки ты слышалъ, чтобы добрый человѣкъ бѣгалъ теперь за женихами? Ты подумалъ бы лучше, какъ пшеницу съ рукъ сбыть. Хорошъ долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, оборваннѣйшій изъ всѣхъ голодрабцевъ.

«Э, какъ бы не такъ! Посмотрѣла бы ты, что тамъ за парубокъ! Одна свитка больше стоить, чѣмъ твоя зеленая кофта и красные сапоги. А какъ сивуху *важно* дуетъ!.. Чортъ меня возьми вмѣстѣ съ тобою, если я видѣлъ на вѣку своемъ, чтобы парубокъ духомъ вытянулъ полкварты, не поморщившись!»

«Ну, такъ: ему если пьяница да бродяга такъ и его масти. Бьюсь объ закладъ, если это не тотъ самый сорванецъ, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сихъ поръ онъ не попадется мнѣ: я бы дала ему знать».

«Что-жъ, Хивря, хоть бы и тотъ самый: чѣмъ же онъ сорванецъ?»

«Э! Чѣмъ же онъ сорванецъ! Ахъ, ты безмозглая башка! Слышишь! Чѣмъ же онъ сорванецъ? Куда же ты запряталъ дурацкіе глаза свои, когда проѣзжали мы мельницы? Ему, хоть бы тутъ же, передъ его запачканнымъ въ табачищѣ носомъ, нанесли жинкѣ его безчестье, ему бы и нуждочки не было».

«Все, однакоже, я не вижу въ немъ ничего худого: парень хоть куда! Только развѣ, что заклеилъ на мигъ образину твою навозомъ.

«Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выговорить! А что это значитъ? Когда это бывало съ тобою? Вѣрно, успѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?»

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился черезчуръ, и закрылъ въ одно мгновеніе голову свою руками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожительница не замедлитъ вцѣпиться въ его волосы своими супружескими когтями.

«Туда къ чорту! Вотъ тебѣ и свадьба!» думалъ онъ про себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей супруги. «Придется отказать доброму человѣку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой! за что такая напасть на насъ, грѣшныхъ? И такъ много всякой дряни на свѣтѣ, а Ты еще и жинокъ наплодилъ!»

Не хилися, явороньку,  
Ще ты зелененькій;  
Не журися, козаченьку,  
Ще ты молоденькій!  
*Малоросс. пѣсня.*

V.

Разсѣянно глядѣлъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, сидя у своего воза, на глухо шумѣвшій вокругъ него народъ. Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень и утро, и угасающій день плѣнительно и ярко румянился. Ослѣпительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и ятокъ, ослѣненные какимъ-то едва примѣтнымъ огненно-розовымъ свѣтомъ. Стекла наваленныхъ кучами оконницъ



горѣли; зеленая фляжки и чарки на столахъ у шинкарокъ превратились въ огненные; горы дынь, арбузовъ и тыквъ казались вылитыми изъ золота и темной мѣди. Говоръ примѣтно становился рѣже и глуше, и усталые языки перекупокъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались. Гдѣ-гдѣ начиналъ сверкать огонекъ, и благовонный паръ отъ варившихся галушекъ разносился по утихавшимъ улицамъ.

«О чемъ загорюился, Грыцько?» вскричалъ высокій, загорѣвшій цыганъ, ударивъ по плечу нашего парубка. «Что-жь, отдавай волю за двадцать!»

«Тебѣ бы все волю, да волю. Вашему племени все бы корысть только; поддѣть, да обмануть добраго человѣка».

«Тѣфу, дьяволъ! Да тебя не на шутку забрало. Ужъ не съ досады ли, что самъ навязалъ себѣ невѣсту?»

«Нѣтъ, это не по-моему: я держу свое слово; что разъ сдѣлалъ, тому и навѣки быть. А вотъ у хрыча Черевика нѣтъ совѣсти, видно, и на полъ-шеляга: сказалъ, да и назадъ... Ну его и винить нечего; онъ — пень, да и полно. Все это шутки старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ хлопцами на мосту ругнули на всѣ бока! Эхъ, если бы я былъ царемъ или паномъ великимъ, я бы первый перевѣшалъ всѣхъ тѣхъ дурней, которые позволяютъ себя сѣдлатъ бабамъ...»

«А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ Черевика отдать намъ Параску?»

Въ недоумѣніи посмотрѣлъ на него Грыцько. Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вмѣстѣ высокомерное: человѣкъ, взглянувшій на него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной душѣ кипятъ достоинства великія, но которымъ







одна только награда есть на землѣ — висѣлица. Совершенно провалившийся между носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вѣчно осѣненный язвительною улыбкой, небольшіе, но живые, какъ огонь, глаза и безпрестанно мѣняющіяся на лицѣ молніи предпріятій и умысловъ, — все это какъ будто требовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма, какой именно былъ тогда на немъ. Этотъ темно-коричневый кафтанъ, прикосновеніе къ которому, казалось, превратило бы его въ пыль; длинные, валившіеся по плечамъ охлопьями черные волосы; башмаки, надѣтые на босыя загорѣлыя ноги, — все это, казалось, приросло къ нему и составляло его природу.

«Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ, если не солжешь только!» отвѣчалъ парубокъ, не сводя съ него испытующихъ очей.

«За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вотъ тебѣ и синица въ задатокъ!»

«Ну, а если солжешь?»

«Солгу — задатокъ твой!»

«Ладно! Ну давай же по рукамъ!»

«Давай!»

Отъ бѣды: Романъ иде оттеперь, якъ разъ, надсалдыть мині бебехивъ, да и вамъ, пане Хомо, не безъ лыха буде.

*Изъ малороссійской комедіи.*

## VI.

«Юда, Аѳанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай не подцѣпили чего».

Такъ грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лѣпившагося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоялъ на немъ въ недоумѣніи, будто длинное, страшное привидѣніе, измѣривая окомъ, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ обрушился въ бурьянъ.

«Вотъ бѣда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, Боже обори, шеи?» лепетала заботливая Хивря.

«Тсъ! ничего, ничего, любезнѣйшая Хавронья Никифоровна!» болѣзненно и шопотно произнесъ поповичъ, подымаясь на ноги: «выключая только уязвленія со стороны крапивы, сего змѣеподобнаго злака, по выраженію покойнаго отца протопопа.

«Пойдемте же теперь въ хату; тамъ никого нѣтъ. А я думала-было уже, Аѳанасій Ивановичъ, что къ вамъ болячка или соняшница пристала: нѣтъ, да и нѣтъ. Каково же вы поживаете? Я слышала, что панъ-отцу перепало теперь не мало всякой всячины!»

Сушья бездѣлица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получилъ за весь постъ мѣшковъ пятнадцать ярового, проса мѣшка четыре,



кнѣшней съ сотню; а куръ, если сосчитать, то не будетъ и пятидесяти штукъ; яйца же бѣльшею частію протухлыя. Но воистину сладостныя приношенія, сказать примѣрно, единственно отъ васъ предстоитъ получить, Хавронья Никифоровна! продолжалъ поповичъ, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

«Вотъ вамъ и приношеніе, Аѳанасій Ивановичъ!» проговорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: «вареники, галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички!»

«Бьюсь объ закладъ, если это сдѣлано не хитрѣйшими руками изъ всего Ёвина рода!» сказалъ поповичъ, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. «Однакожъ, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждетъ отъ васъ кушанья послаще всѣхъ пампушечекъ и галушечекъ».

«Вотъ я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется, Аѳанасій Ивановичъ!» отвѣчала дородная красавица, притворяясь не понимающею.

«Разумѣется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!» шопотомъ произнесъ поповичъ, держа въ одной рукѣ вареникъ, а другою обнимая широкой станъ ея.

«Богъ знаетъ, что вы выдумываете, Аѳанасій Ивановичъ!» сказала Хивря, стыдливо потупивъ глаза свои. «Чего добраго, вы пожалуй, затѣете еще цѣловаться!»

«Насчетъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя», продолжалъ поповичъ: «въ бытность мою, примѣрно сказать, еще въ бурсѣ, вотъ, какъ теперь помню...»

Тутъ послышался на дворѣ лай и стукъ въ ворота. Хивря поспѣшно выбѣжала и возвратилась, вся поблѣднѣвши.

«Ну, Аѳанасій Ивановичъ, мы попались съ вами: народу стучится куча, и мнѣ почудился кумовъ голосъ...»

Вареникъ остановился въ горлѣ поповича... Глаза его выпятились, какъ будто какой-нибудь выходецъ съ того свѣта только-что сдѣлалъ ему передъ симъ визитъ свой.

«Полѣзайте сюда!» кричала испуганная Хивря, указывая на положенныя подъ самымъ потолкомъ, на двухъ перекладинахъ, доски, на которыхъ была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придавала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочилъ онъ на лежанку и полѣзъ оттуда осторожно на доски; а Хивря побѣжала безъ памяти къ воротамъ, потому что стукъ повторялся въ нихъ съ бѣльшею силою и нетерпѣніемъ.







На ярмаркѣ случилось странное происшествіе: все наполнилось слухомъ, что гдѣ-то между товаромъ показалась *красная свитка*. Старухѣ, продававшей бублики, почудился сатана, въ образинѣ свиньи, который безпрестанно наклонялся надъ возами, какъ будто искалъ чего. Это быстро разнеслось по всѣмъ угламъ уже утихнувшаго табора, и всѣ считали преступленіемъ не вѣрить, несмотря на то, что продавица бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и писала ногами совершенное подобіе свое лакомага товара. Къ этому присоединились еще увеличенныя вѣсти о чудѣ, видѣнномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся сараѣ, такъ что къ ночи всѣ тѣснѣе жались другъ къ другу; спокойствіе разрушилось, и страхъ мѣшалъ всякому сомкнуть глаза свои; а тѣ, которые были не совсѣмъ храброго десятка и запаслись ночлегами въ избахъ, убрались домой.

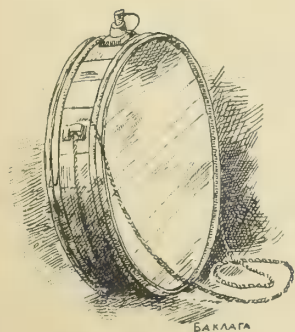


Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою, которые, вмѣстѣ съ напросившимися къ нимъ въ хату гостями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавшій нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видѣть изъ того, что онъ два раза проѣхалъ съ своимъ возомъ по двору, покамѣстъ нашелъ хату. Гости тоже были всѣ въ веселомъ расположеніи, и, безъ церемоніи, вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидѣла, какъ на иголкахъ, когда принялись они шарить по всѣмъ угламъ хаты.

«Что, кума!» вскричалъ вошедшій кумъ: «тебя все еще трясетъ лихорадка?»

«Да, нездоровится», отвѣчала Хивря, безпокойно поглядывая на доски, наложенныя подъ потолкомъ.

«А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!» говорилъ кумъ пріѣхавшей съ нимъ женѣ: «мы черпнемъ ее съ добрыми людьми, а то проклятыя бабы





напугали насъ такъ, что и сказать стыдно. Вѣдь мы, ей Богу, братцы, по пустякамъ пріѣхали сюда!» продолжалъ онъ, прихлебывая изъ глиняной кружки. «Я тутъ же ставлю новую шапку, если бабамъ не вздумалось посмѣяться надъ нами. Да хоть бы и въ самомъ дѣлѣ сатана, — что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сію же минуту вздумалось ему стать вотъ здѣсь, на примѣръ, передо мною: будь я собачій сынъ, если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!»

«Отчего же ты вдругъ поблѣднѣлъ весь?» закричалъ одинъ изъ гостей, превышавшій всѣхъ головою и старавшійся всегда выказывать себя храбрецомъ.

«Я?.. Господь съ вами! приснилось?»

Гости усмѣхнулись; довольная улыбка показалась на лицѣ рѣчи-стаго храбреца.

«Куда теперь ему блѣднѣть!» подхватилъ другой: «щеки у него расцвѣли, какъ макъ; теперь онъ не Цыбуля, а бурякъ, или лучше — сама *красная свитка*, которая такъ напугала людей».

Баклажка прокатилась по столу и сдѣлала гостей еще веселѣе прежняго. Тутъ Черевикъ нашъ, котораго давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою его любопытному духу, приступилъ къ куму.

«Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да и не допрошусь исторіи про эту проклятую *свитку*».

«Э, кумъ! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да развѣ уже для того, чтобы угодить тебѣ и добрымъ людямъ (при семъ обратился онъ къ гостямъ), которымъ, я примѣчаю, столько же, какъ и тебѣ, хочется узнать про эту диковинку. Ну, быть такъ. Слушайте-жъ!»

Тутъ онъ почесалъ плеча, утерся полою, положилъ обѣ руки на столъ и началъ:

«Разъ, за какую вину, ей Богу, уже и не знаю, только выгнали одного чорта изъ пекла...»

«Какъ же, кумъ!» прервалъ Черевикъ: «какъ же могло это случиться, чтобы чорта выгнали изъ пекла?»

«Что-жъ дѣлать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ собаку мужикъ выгоняетъ изъ хаты. Можетъ-быть, на него нашла блажь сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло: ну, и указали двери. Вотъ, чорту бѣдному такъ стало скучно, такъ скучно по пеклѣ, что хоть до петли. Что дѣлать? Давай съ горя пьянствовать. Угнѣзвился въ томъ самомъ сараѣ, который, ты видѣлъ, развалился подъ горою и мимо котораго ни одинъ добрый человѣкъ не пройдетъ теперь, не оградивъ напередъ себя крестомъ святымъ; и сталъ чортъ такой гуляка, какого не сыщешь между парубками: съ утра до вечера то и дѣла, что сидитъ въ шинкѣ!..»

Тутъ опять строгій Черевикъ прервалъ нашего рассказчика:

«Богъ знаетъ, что говоришь ты, кумъ! Какъ можно, чтобы чорта впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Вѣдь у него же есть, слава Богу, и когти на лапахъ, и рожки на головѣ».

«Вотъ то-то и штука, что на немъ была шапка и рукавицы. Кто его распознаетъ? Гулялъ, гулялъ — наконецъ пришлось до того, что пропилъ все, что имѣлъ съ собою. Шинкаръ долго вѣрилъ, потомъ и пересталъ. Пришлось чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ треть цѣны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмаркѣ. Заложилъ и говоритъ ему: «Смотри, жидъ, я приду къ тебѣ за свиткой ровно черезъ годъ: береги ее!» — и пропалъ, какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрѣлъ хорошенько свитку: сукно такое, что и въ Миргородѣ не достанешь! а красный цвѣтъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядѣлся бы! Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесалъ себѣ пѣсики, да и содралъ съ какого-то приѣзжаго пана мало не пять червонцевъ. О срокѣ жидъ и позабылъ было совсѣмъ. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какой-то человѣкъ: «Ну, жидъ отдавай мою свитку!» Жидъ сначала было и не позналъ, а послѣ какъ разглядѣлъ, такъ и прикинулся, будто въ глаза не видалъ: «Какую свитку? У меня нѣтъ никакой свитки! Я знать не знаю твоей свитки! Тотъ, глядь, и ушелъ; только къ вечеру, когда жидъ, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукамъ деньги, накинулъ на себя простыню и началъ по-жидовски молиться Богу — слышитъ шорохъ... Глядь — во всѣхъ окнахъ повывастились свиные рыла...»

Тутъ въ самомъ дѣлѣ послышался какой-то неясный звукъ, весьма похожій на хрюканье свиньи; всѣ поблѣднѣли... Потъ выступилъ на лицѣ рассказчика.

«Что?» произнесъ въ испугѣ Черевикъ.

«Ничего!...» отвѣчалъ кумъ, трясаясь всѣмъ тѣломъ.

«Ась!» отозвался одинъ изъ гостей.

«Ты сказалъ?...»

«Нѣтъ!»

«Кто-жъ это хрюкнулъ?»

«Богъ знаетъ, чего мы переполошились! Ничего нѣтъ!»

Всѣ боязливо стали осматриваться вокругъ и начали шарить по угламъ. Хивря была ни жива, ни мертва. «Эхъ вы, бабы! бабы!» произнесла она громко: «вамъ ли козаковать и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить за гребень! Одинъ кто-нибудь можетъ, прости Господи, [угрѣшилъ]; подъ кѣмъ-нибудь скамейка закрипѣла, а всѣ и метнулись, какъ полоумные!»

Это привело въ стыдъ нашихъ храбрецовъ и заставило ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ рассказывать далѣе:

«Жидъ обмеръ; однакожъ свињи на ногахъ, длинныхъ, какъ ходули, повлѣзали въ окна и мигомъ оживили жидъ плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вотъ этого сволока. Жидъ—въ ноги, признался во всемъ... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокралъ на дорогѣ какой-то цыганъ и продалъ свитку перекупкѣ; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но съ тѣхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у нея. Перекупка дивилась, дивилась и, наконецъ, смекнула: вѣрно, виною всему красная свитка; не даромъ, надѣвая ее, чувствовала, что ее все давитъ что-то. Не думая, не гадая долго, бросила въ огонь — не горитъ бѣсовская одежда!.. «Э, да это



чортовъ подарокъ! Перекупка умудрилась и подсунула въ возъ одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочетъ. «Эхъ, недобрыя руки подкинули свитку!» Схватилъ топоръ и изрубилъ ее въ куски; глядь — и лѣзетъ одинъ кусокъ къ другому, и опять цѣлая свитка! Перекрестившись, хватилъ топоромъ въ другой разъ, куски разбросалъ по всему мѣсту и уѣхалъ. Только съ тѣхъ поръ каждый годъ, и какъ разъ во время ярмарки, чортъ съ свиною личиною ходитъ по всей площади, хрюкаетъ и подбираетъ куски своей свитки. Теперь говорятъ, одного только лѣваго рукава недостаетъ ему. Люди съ тѣхъ поръ открешиваются отъ того мѣста, и вотъ уже будетъ лѣтъ съ десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дернула теперь засѣдателя от...»









Другая половина слова замерла на устахъ разсказчика: окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетѣли вонъ, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ будто спрашивая: «А что вы тутъ дѣлаете, добрые люди?»

## VIII.

...Пиджавъ хвистъ, мовъ собака  
Мовъ Каинъ, затрусывсь увесь;  
Изъ носа потекла табака.

*Котляревскій. Энеида.*

**У**жась оковалъ всѣхъ, находившихся въ хатѣ. Кумъ съ разинутымъ ртомъ превратился въ камень; глаза его выпучились, какъ будто хотѣли выстрѣлить; разверстыя пальцы остались неподвижными на воздухѣ. Высокій храбрецъ, въ непобѣдимомъ страхѣ, подскочилъ подъ потолокъ и ударился головою объ перекладину; доски посунулись, и поповичъ съ громомъ и трескомъ полетѣлъ на землю.

«Ай! ай! ай!» отчаянно закричалъ одинъ, повалившись на лавку въ ужасѣ и болтая на ней руками и ногами.

«Спасайте!» горланилъ другой, закрывшись тулупомъ.

Кумъ, выведенный изъ окаменѣнія вторичнымъ испугомъ, поползъ въ судорогахъ подъ подолъ своей супруги. Высокій храбрецъ полѣзъ въ печь, несмотря на узкое отверстіе, и самъ задвинулъ себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто облитый горячимъ кипяткомъ, схватилъ на голову горшокъ, вмѣсто шапки, бросился къ дверямъ и, какъ полоумный, бѣжалъ по улицамъ, не видя подъ собою земли: одна усталость только заставила его уменьшить скорость бѣга. Сердце его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ. Въ изнеможеніи готовъ уже былъ онъ упасть на землю, какъ вдругъ послышалось ему, что сзади кто-то гонится за нимъ... Духъ у него занялся...

«Чортъ! чортъ!» кричалъ онъ безъ памяти, утрая силы, и черезъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.

«Чортъ! чортъ!» кричало вслѣдъ за нимъ, и онъ слышалъ только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ память отъ него улетѣла, и онъ, какъ страшный жилецъ тѣснаго гроба, остался нѣмъ и недвижимъ посреди дороги.

## IX.

Ще спереди, и такъ и такъ;—  
А сзади, ей же ей, на чорта!  
*Изъ престопадной сказки.*

**С**лышишь, Власть!» говорилъ приподнявшись ночью, одинъ изъ толпы народа, спавшаго на улицѣ: «возлѣ насъ кто-то помянулъ чорта!»

«Мнѣ какое дѣло?» проворчалъ, потягиваясь, лежавшій возлѣ него цыганъ: «хоть бы и всѣхъ своихъ родичей помянулъ!»

«Но, вѣдь, такъ закричалъ, какъ будто давятъ его!»

«Мало ли чего человѣкъ не совретъ спросонья!»

«Воля твоя, хоть посмотришь нужно. А вырубика огня!»



КАГАНЕЦЪ

Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза освѣтилъ себя искрами, будто молніями, раздулъ губами трутъ и, съ каганцемъ въ рукахъ—обыкновенною малороссійскою свѣтильнею, состоящею изъ разбитаго черепка, [налитаго бараньимъ жиромъ—отправился, освѣщая дорогу.

«Стой! здѣсь лежитъ что-то. Свѣти сюда!»

Тутъ пристало къ нимъ еще нѣсколько человѣкъ.

«Что лежитъ, Власть?»

«Такъ, какъ будто бы два человѣка: одинъ наверху, другой внизу; который изъ нихъ чортъ, уже и не распознаю!»



«А кто наверху?»

«Баба!»

«Ну, вотъ, это-жъ-то и есть чортъ!»

Всеобщій хохотъ разбудилъ почти всю улицу.

«Баба взлѣзла на человѣка: ну, вѣрно, баба эта знаетъ, какъ ѣздить!» говорилъ одинъ изъ окружавшей толпы.

«Смотрите, братцы!» говорилъ другой, поднимая черепокъ отъ горшка, котораго одна только уцѣлѣвшая половина держалась на головѣ Черевика: «какую шапку надѣлъ на себя этотъ добрый молодецъ!»

Увеличившійся шумъ и хохотъ заставили очнуться нашихъ мертвецовъ. Солопія и его супругу, которые, полные прошедшаго испуга, долго глядѣли въ ужасѣ неподвижными глазами на смуглыя лица цыганъ: озаряясь свѣтомъ, невѣрно и трепетно горѣвшимъ, они казались дикимъ сонмищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ, въ мракѣ непробудной ночи.

## X.

Цуръ тобі, пекъ тобі, сатанынське  
наважденіє!

*Изъ малорос. комедіи.*

Свѣжесть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всѣхъ трубъ понеслись навстрѣчу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади заржали; крикъ гусей и торговокъ понесся снова по всему табору—и страшные толки про *красную свитку*, наведшіе такую робость на народъ въ таинственные часы сумерекъ, исчезли съ появленіемъ утра.

Зѣвая и потягиваясь, дремалъ Черевикъ у кума подъ крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мѣшковъ муки и пшеницы и, кажется, вовсе не имѣлъ желанія разстаться съ своими грезами, какъ вдругъ услышалъ голосъ, такъ же знакомый, какъ убѣжище лѣни—благословенная печь его хаты, или шинокъ дальней родственницы, находящійся не далѣе десяти шаговъ отъ его порога.

«Вставай, вставай! дребезжала ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевикъ, вмѣсто отвѣта, надулъ щеки и началъ болтать руками, подражая барабанному бою.

«Сумасшедшій!» закричала она, уклоняясь отъ взмаха руки его которою онъ чутъ-было не задѣлъ ее по лицу.

Черевикъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрѣлъ вокругъ.

«Врагъ меня возьми, если мнѣ, голубко, не представилась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили выбивать зорю, словно москаля, тѣ самыя свиные рожи, отъ которыхъ, какъ говоритъ кумъ...»



«Полно, полно тебѣ чепуху молоть! Ступай, веди скорѣй кобылу на продажу. Смѣхъ, право, людямъ: пріѣхали на ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали...»

«Какъ же, жинка!» подхватилъ Солопій: «съ насъ, вѣдь, теперь смѣяться будутъ».

«Ступай, ступай! съ тебя и безъ того смѣются!»

«Ты видишь, что я еще не умывался», продолжалъ Черевикъ, зѣвая и почесывая спину и стараясь, между прочимъ, выиграть время для своей лѣни.

«Вотъ не кстати пришла блажь быть чистоплотнымъ! Когда это за тобою водилось? Вотъ ручникъ, оботри свою маску».



Тутъ схватила она что-то свернутое въ комокъ — и съ ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ *красный обшлагъ свитки!*

«Ступай, дѣлай свое дѣло», повторила она, собравшись съ духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнял ноги и зубы колотились одинъ объ другой.

«Будетъ продажа теперь!» ворчалъ онъ самъ себѣ, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Не даромъ, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душѣ было такъ тяжело, какъ будто кто взвалилъ на тебя дохлую корову, и волю два раза поворачивали домой. Да чуть ли еще, какъ вспомнилъ я теперь, не въ понедѣльникъ мы выѣхали. Ну, вотъ и зло все! Неугомоненъ и чортъ проклятый: носилъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нѣтъ, нужно же добрымъ людямъ

не давать покою. Будь, примѣрно, я чортъ, — чего оборони Боже, — сталъ ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?»

Тутъ философствованіе нашего Черевика прервано было толстымъ и рѣзкимъ голосомъ. Предъ нимъ стоялъ высокій цыганъ.

«Что продаешь, добрый человѣкъ?»



Продавецъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него съ ногъ до головы и сказалъ съ спокойнымъ видомъ, не останавливаясь и не выпуская изъ рукъ узды: «Самъ видишь, что продаю!»

«Ремешки?» спросилъ цыганъ, поглядывая на находившуюся въ рукахъ его узду.

«Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки».

«Однакожъ, чортъ возьми, землякъ, ты, видно ее соломою кормилъ»

«Соломою?»

Тутъ Черевикъ хотѣлъ-было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи безстыднаго поносителя; но рука его съ необыкновенною легкостью ударила въ подбородокъ. Глянулъ — въ ней перерѣзанная узда и къ уздѣ привязанный — о, ужасъ! волосы его поднялись горою! — кусокъ *краснаго рукава свитки!*.. Плонувъ, крестясь и болтая руками, побѣжалъ онъ отъ неожиданнаго подарка и, быстрѣе молодого парубка, пропалъ въ толпѣ.

# XI.

За мос-жѣ жито, та мене и побыто.

*Пословица.*

«Лови! лови его!» кричало нѣсколько хлопцевъ въ тѣсномъ концѣ улицы, и Черевикъ почувствовалъ, что схваченъ вдругъ дюжими руками.

«Вязать его! Это тотъ самый, который укралъ у добраго человѣка кобылу».

«Господь съ вами! за что вы меня вяжете?»

«Онъ же и спрашиваетъ! А за что ты укралъ кобылу у проѣзжаго мужика, Черевика?»

«Съ ума спятили вы, хлопцы! Гдѣ видано, чтобы человѣкъ самъ у себя кралъ что-нибудь?»

«Старыя штуки! старыя штуки! Зачѣмъ бѣжалъ ты во весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по пятамъ гнался?»

«Поневолѣ побѣжишь, когда сатанинская одежда...»

«Э, голубчикъ! обманывай другихъ этимъ. Будетъ еще тебѣ отъ засѣдателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною людей».

«Лови! лови его!» слышался крикъ на другомъ концѣ улицы: «вотъ онъ, вотъ бѣглецъ!»

И глазамъ нашего Черевика представился кумъ, въ самомъ жалкомъ положеніи, съ заложенными назадъ руками, ведомый нѣсколькими хлопцами.

«Чудеса завелись!» говорилъ одинъ изъ нихъ: «послушали бы вы, что рассказываетъ этотъ мошенникъ, которому стоить только заглянуть въ лицо, чтобы увидѣть вора. Когда стали спрашивать: отчего бѣжалъ онъ, какъ полоумный? — «полѣзъ», говоритъ, «въ карманъ понюхать табаку и, вмѣсто тавлинки, вытащилъ кусокъ чортовой *свитки*, отъ которой вспыхнулъ красный огонь, а онъ — давай Богъ ноги!»

«Эге, ге, ге! да это изъ одного гнѣзда обѣ птицы! Вязать ихъ обоихъ вмѣстѣ!»



«Чымъ, люди добри, такъ оне я провинься?  
«За шо глузуете?» сказалъ нашъ неборакъ:  
«За шо зпущаетесь вы нало мною такъ?  
«За шо, за шо?» сказавъ тай попустывъ патіоки,  
Патіоки гиркихъ слизь, узявшия за боки,

## XII.

*Артемовскій-Гулакъ. Панъ та собака.*

**М**ожетъ, и въ самомъ дѣлѣ, кумъ, ты подцѣпилъ что-нибудь?» спросилъ Черевикъ, лежа связанный, вмѣстѣ съ кумомъ, подъ соломенною яткою.

«И ты туда же, кумъ! Чтобы мнѣ отсохнули руки и ноги, если чтонибудь когда-либо кралъ, выключая развѣ вареники съ сметаною у матери, да и то еще, когда мнѣ было лѣтъ десять отъ роду».

«За чтó же это, кумъ, на насъ напасть такая? Тебѣ, еще ничего: тебя винятъ по крайней мѣрѣ, за то, что у другого укралъ; но за что мнѣ, несчастливцу, недобрый поклепъ такой, будто у самого себя стянулъ кобылу? Видно намъ, кумъ, на роду уже написано не имѣть счастья!»

«Горе намъ, сиротамъ бѣднымъ!»

Тутъ оба кума принялись всхлипывать навзрыдъ.

«Чтó съ тобою, Солопій?» сказалъ вошедшій въ это время Грыцько. «Кто это связалъ тебя?»

«А! Голопупенко! Голопупенко!» закричалъ, обрадовавшись, Солопій «Вотъ, кумъ, это тотъ самый, о которомъ я говорилъ тебѣ. Эхъ, хватъ! Вотъ, Богъ убей меня на этомъ мѣстѣ, если не высушилъ при мнѣ кухоль мало не съ твою голову, и хотъ бы разъ поморщился!»

«Чтó-жъ ты, кумъ, такъ не уважилъ такого славнаго парубка?»

«Вотъ, какъ видишь», продолжалъ Черевикъ, оборотаясь къ Грыцьку: «наказалъ Богъ, видно, за то, что провинился передъ тобою. Прости, добрый человѣкъ! Ей Богу, радъ бы былъ сдѣлать все для тебя... Но чтó прикажешь? Въ старухѣ дьяволъ сидитъ».

«Я не злопамятенъ, Солопій! Если хочешь, я освобожу тебя!»

Тутъ онъ мигнулъ хлопцамъ, и тѣ же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.

«За то и ты дѣлай, какъ нужно: свадьбу! да и попируемъ такъ, чтобы цѣлый годъ болѣли ноги отъ гопака!»

«Добре! отъ добре!» сказалъ Солопій, хлопнувъ руками. «Да мнѣ такъ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою старуху москали увезли! Да чтó думать! годится, или не годится такъ — сегодня свадьбу, да и концы въ воду!»

«Смотри-жъ, Солопій: черезъ часъ я буду къ тебѣ; а теперь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!»

«Какъ! развѣ кобыла нашлась?»

«Нашлась!»



Черевикъ отъ радости сталъ неподвиженъ, глядя вслѣдъ уходявшему Грыщку.

«Что, Грыщко, худо мы сдѣлали свое дѣло?» сказалъ высокій цыганъ спѣшившему парубку. «Воле, вѣдь, мои теперь?»

«Твой! твой!»

Не бійся, матинко, не бійся,  
Въ червоные чобитки обуйся  
Топчи вороги  
Иди поги,  
Щобъ твои пидкивки  
Брязчали!  
Щобъ твои вороги  
Мовчали!  
*Свадебная пѣсня.*

### XIII.

**П**одперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатѣ. Много грёзъ обвивалось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усмѣшка трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство подымало темныя ея брови, а иногда снова облако задумчивости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи.

«Ну, что, если не сбудется то, что говорилъ онъ?» шептала она съ какимъ-то выраженіемъ сомнѣнія. «Ну, что, если меня не выдадутъ? Если... Нѣтъ, нѣтъ; этого не будетъ! Мачиха дѣлаетъ все, что ей ни вздумается? Упрямства-то и у меня достанетъ. Какой же онъ хорошій! Какъ чудно горятъ его черныя очи! Какъ любо говоритъ онъ: «*Парасю, голубко!*» Какъ пристала къ нему бѣлая свитка! Еще бы поясъ поярче!.. Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ перейдемъ жить въ новую хату. Не подумаю безъ радости», продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмаркѣ, и глядясь въ него съ тайнымъ удовольствіемъ: «какъ я встрѣчусь тогда гдѣ-нибудь съ нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себѣ тресни. Нѣтъ, мачиха, полно колотить тебѣ свою падчерицу! Скорѣ песокъ взойдетъ на камнѣ и дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь передъ тобою! Да, я и позабыла... дай примѣрять очипокъ, хоть мачехинъ, какъ-то онъ мнѣ придется?»

Тутъ встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, наклонясь къ нему головою, трепетно шла по хатѣ, какъ будто бы опасаясь упасть, видя подъ собою, вмѣсто полу, потолокъ съ накладенными подъ нимъ досками, съ которыхъ низринулъ недавно поповичъ, и полки, уставленные горшками.

«Что я, въ самомъ дѣлѣ, будто дитя», вскричала она смѣясь: «боюсь ступить ногою!»

И начала притопывать ногами, — чѣмъ далѣе, все смѣлѣе; наконецъ, лѣвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ, и она пошла





танцевать, побрякивая подковами, держа передъ собою зеркало и напѣвая любимую свою пѣсню:

Зелененькій барвиночку,  
Стелися низенько!  
А ты, мылый, чернобровый,  
Пристунься близенько!  
Зелененькій барвиночку,  
Стелися ще нызче!  
А ты, мылый, чернобровый,  
Присунься ще ближче!

Черевикъ заглянулъ въ это время въ дверь и, увидя дочь свою танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго глядѣлъ онъ, смѣясь невиданному капризу дѣвушки, которая, задумавшись, не примѣчала, казалось, ничего; но когда же услышалъ знакомые звуки пѣсни, жилки въ немъ зашевелились: гордо подбоченившись, выступилъ онъ впередъ и пустился въ присядку, позабывъ про всѣ дѣла свои. Громкій хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.

«Вотъ хорошо, батька съ дочкой затѣяли здѣсь сами свадьбу! Ступайте же скорѣе: женихъ пришелъ».

При послѣднемъ словѣ Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а безпечный отецъ ее вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ онъ.

«Ну, дочка, пойдемъ скорѣе! Хивря съ радости, что я продалъ кобылу, побѣжала», говорилъ онъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ: «побѣжала закупать себѣ плахтъ и дерюгъ всякихъ, такъ нужно до приходу ея все кончить!»

Не успѣла Параска переступить за порогъ хаты, какъ почувствовала себя на рукахъ парубка въ бѣлой свиткѣ, который съ кучею народа выжидалъ ее на улицѣ.

«Боже, благослови!» сказалъ Черевикъ, складывая имъ руки. «Пусть ихъ живутъ, какъ вѣнки вьютъ!» \*).

Тутъ послышался шумъ въ народѣ.

«Я скорѣе тресну, чѣмъ допущу до этого!» кричала сожительница Солопія, которую, однакожъ, съ хохотомъ отталкивала толпа народа.

«Не бѣсись, не бѣсись, жинка!» говорилъ хладнокровно Черевикъ, видя, что пара дюжихъ цыганъ овладѣла ея руками: «что сдѣлано, то сдѣлано; я перемѣнять не люблю!»

«Нѣтъ, нѣтъ! этого-то не будетъ!» кричала Хивря, но никто не слушалъ ея; нѣсколько паръ обступило новую пару и составили около нея непроницаемую танцующую стѣну.

---

\*) Обыкновенное привѣтствіе у малороссіянъ новобрачнымъ.



Странное, неизъяснимое чувство овладѣло бы зрителемъ, при видѣ, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, въ сермяжной свиткѣ, съ длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло въ согласіе. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, вѣкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все несло, все танцовало. Но еще страннѣе, еще неразгаданнѣе чувство пробудилось бы въ глубинѣ души при взглядѣ на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ вѣяло равнодушіе могилы,



толкавшихся между новымъ, смѣющимся, живымъ человѣкомъ. Безпечныя! даже безъ дѣтской радости, безъ искры сочувствія, которыхъ одинъ хмель только, какъ механикъ своего безжизненного автомата, заставляетъ дѣлать что-то подобное человѣческому, онѣ тихо покачивали охмелѣвшими головами, подплясывая за веселящимся народомъ, не обращая даже глазъ на молодую чету.

Громъ, хохотъ, пѣсни слышались тише и тише. Смычокъ умиралъ, слабѣя и теряя неясные звуки въ пустотѣ воздуха. Еще слышалось гдѣ-то топанье, что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостя, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье? Въ собственномъ эхѣ слышитъ уже онъ грусть и пустыню, и дико внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые друзья бурной и вольной юности, по одиночкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!





## Вечеръ наканунѣ Ивана Купала.

Б Ы Л Ъ,

разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.

За Оомою Григорьевичемъ водилась особеннаго рода странность: онъ до смерти не любилъ пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать что сызнава, то, смотри, что-нибудь да вкинетъ новое, или переиначить такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ изъ тѣхъ господъ, — намъ, простымъ людямъ, мудрено и назвать ихъ: писаки они — не писаки, а вотъ то самое, что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, напросятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ книжечки, не толще букваря, каждый мѣсяць или недѣлю, — одинъ изъ этихъ господъ и выманилъ у Оомы Григорьевича эту самую исторію, а онъ вовсе и позабылъ о ней. Только пріѣзжаетъ изъ Полтавы тотъ самый паничъ, въ гороховомъ кафтанѣ, про котораго говорилъ я, и котораго одну повѣсть вы, думаю, уже прочли, — привозить съ собою небольшую книжечку и, развернувши по-серединѣ, показываетъ намъ. Оома Григорьевичъ готовъ уже былъ осѣдлатъ носъ свой очками, но, вспомнивъ, что онъ забылъ ихъ подмотать нитками и облѣпить воскомъ, передалъ мнѣ. Я, такъ какъ грамоту кое-какъ разумѣю и не ношу очковъ, принялся читать. Не успѣлъ перевернуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановилъ меня за руку.

«Постойте! напередъ скажите мнѣ, что это вы читаете?»

Признаюсь, я немного пришелъ втупикъ отъ такого вопроса.

Какъ, что читаю, Оома Григорьевичъ? — Вашу быль, ваши собственные слова.

«Кто вамъ сказалъ, что это мои слова?»

«Да чего лучше? тутъ и напечатано: *разсказанная такимъ-то дьячкомъ*».

«Шлюйте-жъ на голову тому, кто это напечаталъ! *Бреше сучый москаль!* Такъ ли я говорилъ? *Що-то вже, якъ у кого чортъ ма клепки въ голови!* Слушайте, я вамъ расскажу ее сейчасъ».

Мы придвинулись къ столу, и онъ началъ:

Дѣдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свѣтѣ ѣлись одни только буханци пшеничные, да маковники въ меду!) умѣлъ чудно рассказывать. Бывало, поведетъ рѣчь,—цѣлый день не подвинулся бы съ мѣста и все бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынѣшнему балагуру, который какъ начнетъ *москаля везть*\*), да еще и языкомъ такимъ, будто ему три дня ѣсть не давали, то хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь помню,—покойная старуха, мать моя, была еще жива,—какъ въ долгій зимній вечеръ, когда на дворѣ трещалъ морозъ и замуравывалъ наглухо узенькое окно нашей хаты, сидѣла она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напѣвая пѣсню, которая какъ будто теперь слышится мнѣ. Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало; а мы всѣ, дѣти, собравшись въ кучку, слушали дѣда, не слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣля Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ рассказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу, и волосы ерошились на головѣ. Иной разъ страхъ, бывало, такой заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходецъ съ того свѣта. И, чтобы мнѣ не довелось рассказывать этого въ другой разъ, если я не принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувшася дьявола. Но главное въ рассказахъ дѣда было то, что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажетъ, то именно такъ и было.

Одну изъ его чудныхъ исторій перескажу теперь вамъ. Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, пописывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, которые, если дать имъ въ руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на позоръ свои зубы—есть умѣнье. Имъ все, что ни расскажешь, въ смѣхъ. Эдакое невѣрье разошлось по свѣту! Да чего?—вотъ, не люби Богъ меня и Пречистая Дѣва!—вы, можетъ, даже не повѣрите: разъ

\*) Т. е. лгать.



какъ-то заикнулся про вѣдьмъ — что-жъ? нашелся сорви-голова — вѣдьмамъ не вѣритъ! Да, слава Богу, вотъ я сколько живу уже на свѣтѣ, видѣлъ такихъ иновѣрцевъ, которымъ *провозить пона въ рѣшетъ*\*) было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и тѣ отрешивались отъ вѣдьмъ. Но приснись имъ... не хочется только выговорить, что такое... Нечего и толковать объ нихъ.



Лѣтъ куды! болѣе, чѣмъ за сто, говорилъ покойникъ дѣдъ мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый бѣдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посреди поля. Ни плетня, ни сарая порядочнаго, гдѣ бы поставить скотину, или возъ. Это-жъ еще богачи такъ жили; а посмотрѣли бы на нашу братью, на голь: вырытая въ землѣ яма — вотъ вамъ и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живетъ тамъ человекъ Божій. Вы спрósите, отчего они жили такъ? Бѣдность не бѣд-

\*) Т. е. солгать на исповѣди.



ность: потому что тогда козаковалъ почти всякій и набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра; а больше отъ того, что не зачѣмъ было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всѣмъ мѣстамъ: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наѣдутъ кучами и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

Въ этомъ-то хуторкѣ показывался часто человѣкъ, или, лучше, дьяволъ въ человѣческомъ образѣ. Откуда онъ, зачѣмъ приходилъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и вдругъ пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нѣтъ. Тамъ, глядь — снова будто съ неба упалъ, рыскаетъ



по улицамъ села, котораго теперь и слѣду нѣтъ и которое было, можетъ, не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встрѣчныхъ козаковъ: хохотъ, пѣсни, деньги сыплются, водка — какъ вода... Пристанетъ, бывало, къ краснымъ дѣвушкамъ: надарить лентъ, серегъ, монистъ — дѣвать некуда! Правда, что красныя дѣвушки немного призадумывались, принимая подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дѣлѣ перешли они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дѣда, содержавшая въ то время

шинокъ по нынѣшней Опошнянской дорогѣ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ (такъ называли этого бѣсовскаго человѣка), именно говорила, что ни за какія благополучія въ свѣтѣ не согласилась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и не взять? — всякаго проберетъ страхъ, когда нахмуритъ онъ, бывало, свои щетинистыя брови и пустить исподлобья такой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги, Богъ знаетъ, куда; а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головѣ, и давай душить за шею, когда на шеѣ монисто, кусать за палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими подарками! Но вотъ бѣда — и отвязаться нельзя: бросишь въ воду — плыветъ чертовскій перстень или монисто поверхъ воды, и къ тебѣ же въ руки.

Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не святого Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной памяти отецъ Аѳанасій. Замѣтивъ, что Басаврюкъ и на Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ было пожурить его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу ноги унесъ. «Слушай, *паночка!*» загремѣлъ онъ ему въ

отвѣтъ: «знай лучше свое дѣло, чѣмъ мѣшаться въ чужія, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залѣплено горячею кутьею!» Что дѣлать съ окаяннымъ? Отецъ Аѳанасій объявилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басаврюкомъ, станетъ считать за католика, врага Христовой церкви и всего человѣческаго рода.

Въ томъ селѣ былъ у одного козака, произвищемъ Коржа, работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ, — можетъ, оттого, что никто не помнилъ ни отца его, ни матери. Староста церкви говорилъ, правда, что они на другой же годъ померли отъ чумы; но тетка моего дѣда знать этого не хотѣла и всѣми силами старалась надѣлать его родней, хотя бѣдному Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прошлогоднемъ снѣгѣ. Она говорила, что отецъ его и теперь на Запорожьѣ, былъ въ плѣну у турокъ, натерпѣлся мукъ, Богъ знаетъ, какихъ и какимъ-то чудомъ, переодѣвшись евнухомъ, далъ тягу. Чернобровымъ дивчатамъ и молодежи мало было нужды до родни его. Онѣ говорили только, что если бы одѣтъ его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надѣтъ на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привѣситъ къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всѣхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бѣда, что у бѣднаго Петруся всего-на-все была одна сѣрая свитка, въ которой было больше дыръ, чѣмъ у иного жида въ карманѣ золотыхъ. И это бы еще не большая бѣда, а вотъ бѣда: у стараго Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, врядъ ли доставалось вамъ видывать. Тетка покойнаго дѣда рассказывала, — а женщинѣ, сами знаете, легче поцѣловаться съ чортомъ, не во гнѣвъ будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькія щеки козачки были свѣжи и ярки, какъ макъ самага тонкаго розоваго цвѣта, когда, умывшись Божьею росой, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только-что поднявшимся солнышкомъ; что брови, словно черные шнурочки, какіе покупаютъ теперь для крестовъ и дукатовъ дѣвушки наши у проходящихъ по селамъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись, какъ будто глядѣлись въ ясныя очи; что ротикъ, на который глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни; что волосы ея, черные, какъ крылья ворона, и мягкіе, какъ молодой ленъ (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ дрибушки, перевивая красивыми, яркихъ цвѣтовъ, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кунтушъ. Эхъ! не доведи Господь возглашать мнѣ больше на клиросѣ аллилуіа, если бы, вотъ тутъ же, не расцѣловаль



ее, несмотря на то, что сѣдь пробирается по всему старому лѣсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя старуха, какъ бѣльмо въ глазу. Ну, если гдѣ парубокъ и дѣвка живутъ близко одинъ отъ другого... сами знаете, что выходитъ. Бывало, ни свѣтъ, ни заря, подковы красныхъ сапоговъ и примѣтны на томъ мѣстѣ, гдѣ раздобаривала Пидорка съ своимъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не пришло что-нибудь недоброе, да разъ,—ну, это уже и видно, что не кто другой, какъ лукавый дернулъ,—вздумалось Петрусю, не осмотрѣвшись хорошенько въ сѣняхъ, влѣпить поцѣлуй, какъ говорятъ, отъ всей души, въ розовыя губки козачки, и тотъ же самый лукавый,—чтобъ ему, собачьему сыну, приснился крестъ святой!—настроилъ сдуру стараго хрѣна отворить дверь хаты. Одеревенѣлъ Коржъ, разинувъ ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцѣлуй, казалось, оглушилъ его совершенно. Ему почудился онъ громче, чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимѣніемъ фузеи и пороха.

Очнувшись, снялъ онъ со стѣны дѣдовскую нагайку и уже хотѣлъ было покропить ею спину бѣднаго Петра, какъ откуда ни возмись шестилѣтній братъ Пидоркинъ, Ивасъ, прибѣжалъ и въ испугѣ схватилъ ручонками его за ноги, закричавъ: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажешь дѣлать? У отца сердце не каменное: повѣсивши нагайку на стѣну, вывелъ онъ его потихоньку изъ хаты: «Если ты мнѣ когда-нибудь покажешься въ хатѣ, или хоть только подъ окнами, то слушай, Петро: ей Богу, пропадутъ черные усы, да и оселедецъ твой,—вотъ уже онъ два раза обматывается около уха,—не будь я Терентій Коржъ, если не распрощается съ твоею макушей!». Сказавши это, далъ онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что Петрусь, не взвидя земли, полетѣлъ стремглавъ. Вотъ тебѣ и доцѣловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и слухъ по селу, что въ Коржу повадился ходить какой-то ляхъ, обшитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими какъ звонокъ отъ мѣшечка, съ которымъ понамарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый день по церкви. Ну, извѣстно, зачѣмъ ходятъ къ отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ, одинъ разъ Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый! Ивасю мой любимый! бѣги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; расскажи ему все: любила-бъ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велить судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила горючими слезами. Тошно мнѣ, тяжело на сердцѣ. И родной отецъ—врагъ мнѣ: неволить итти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовятъ, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопелокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная,









темная моя будетъ хата! — изъ кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ!»

Какъ будто окаменѣвъ, не сдвинувшись съ мѣста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова. «А я думалъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ приѣхать къ тебѣ, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ поглядѣлъ на насъ. Будетъ же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбѣ — воронъ черный прокричетъ, вмѣсто попа, надо мною; гладкое поле будетъ моя хата; сизая туча — моя крыша; орелъ выключаетъ мои карія очи; вымоютъ дожди козацкія косточки, и вихоръ высушитъ ихъ. Но что я? На кого? Кому жаловаться? Такъ уже, видно, Богъ велѣлъ! Пропадать, такъ пропадать!» — Да прямехонько и побрелъ въ шинокъ.



Тетка покойнаго дѣда немного изумилась, увидѣвши Петруся въ шинкѣ, да еще въ такую пору, когда добрый человѣкъ идетъ къ заутренѣ, и выпучила на него глаза, какъ будто съ просонья, когда потребовалъ онъ кухоль сивухи, мало не съ полведра. Только напрасно думалъ бѣдняжка залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя кухоль на землю. «Полно горевать тебѣ, козакъ!»

загремѣло что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая образина! Волосы — щетина, очи — какъ у вола. «Знаю, чего недостаеъ тебѣ: вотъ чего!» Тутъ брякнулъ онъ съ бѣсовскою усмѣшкою кожанымъ, висѣвшимъ у него возлѣ пояса, кошелькомъ. Вздогнулъ Петро. «Ге, ге, ге! да какъ горить!» заревѣлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: «Ге, ге, ге! да какъ звенить! А вѣдь и дѣла только одного требуютъ за цѣлую гору такихъ цыпекъ». — «Дьяволъ!» закричалъ Петро. «Давай его! на все готовъ!» Хлопнули по рукамъ. «Смотри, Петро, ты поспѣлъ какъ разъ въ пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь въ году и цвѣтетъ папоротникъ. Не прозѣвай! Я тебя буду ждать о полночи въ Медвѣжьемъ оврагѣ».

Я думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера. То и дѣло, что смотрѣлъ, не становится ли тѣнь отъ дерева длиннѣе, не румянится ли понизившееся солнышко, и чѣмъ далѣе, тѣмъ нетерпѣливѣй. Экая долгота! Видно, день Божій потерялъ гдѣ-нибудь конецъ свой. Вотъ уже и солнца нѣтъ. Небо только краснѣетъ на одной сторонѣ. И оно уже тускнѣетъ. Въ полѣ становится холоднѣй. Примеркаетъ, примеркаетъ и — смерклось. Насилу! Съ сердцемъ, только-что не хотѣвшимъ выскочить изъ груди, собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лѣсомъ въ глубокой яръ, называемый Медвѣжьимъ оврагомъ. Басаврюкъ уже поджидалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза выстрѣли. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ болотамъ, цѣпляясь за густо разросшійся терновникъ и спотыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное мѣсто. Оглядѣлся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

«Видишь ли ты, стоятъ передъ тобою три пригорка? Много будетъ на нихъ цвѣтовъ разныхъ; но сохрани тебя нездѣшняя сила сорвать хоть одинъ. Только же зацвѣтетъ папоротникъ, хватай его и не оглядываясь, что бы тебя позади ни чудилось».

Петро хотѣлъ было спросить... глядь — и нѣтъ уже его. Подошелъ къ тремъ пригоркамъ; гдѣ же цвѣты? Ничего не видать. Дикій бурьянъ чернѣлъ кругомъ и глушилъ все своею густотою. Но вотъ блеснула на небѣ зарница, и передъ нимъ показалась цѣлая гряда цвѣтовъ, все чудныхъ, все невиданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. Посомнилъ Петро и въ раздумьи сталъ передъ ними, подпершись обѣими руками въ боки.

«Что-жъ тутъ за невидальщина? Десять разъ на день, случается, видишь это зелье: какое-жъ тутъ диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмѣяться?»

Глядь — краснѣетъ маленькая цвѣточная почка и, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Движется и становится все больше,









больше, и краснѣетъ, какъ горячій уголь. Вспыхнула звѣздочка, что-то тихо затрещало—и цвѣтокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, освѣтивъ и другіе около себя.

«Теперь пора!» подумалъ Петро и протянулъ руку. Смотритъ, тянутся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ цвѣтку, а позади его что-то перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто. Зажмурилъ глаза, дернулъ онъ за стебелекъ, и цвѣтокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На пнѣ показался сидящимъ Басаврюкъ, весь синій, какъ мертвецъ. Хоть бы пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; ротъ въ половину разинутъ, и ни отвѣта. Вокругъ не шелохнетъ. Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумѣла, цвѣты начали между собою разговаривать голоскомъ тоненькимъ, словно серебряные колокольчики; деревья загремѣли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругъ ожило, очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга!» проворчалъ онъ сквозь зубы. «Гляди, Петро, станеть передъ тобою сейчасъ красавица: дѣлай все, что ни прикажетъ, не то пропадъ навѣки!» Тутъ раздѣлилъ онъ суковатою палкою кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка, какъ говорится, на курьихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударилъ кулакомъ, и стѣна зашаталась. Большая черная собака выбѣжала навстрѣчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку, кинулась въ глаза имъ. «Не бѣсись, не бѣсись, старая чертовка!» проговорилъ Басаврюкъ, приправивъ такимъ словцомъ, что добрый человекъ и уши бы заткнулъ. Глядь, вмѣсто кошки, старуха съ лицомъ, сморщившимся, какъ печеное яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ словно щипцы, которыми щелкають орѣхи. «Славная красавица!» подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинѣ его. Вѣдьма вырвала у него цвѣтокъ изъ рукъ, наклонилась и что-то долго шептала надъ нимъ, впрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта, пѣна показалась на губахъ. «Бросай!» сказала она, отдавая цвѣтокъ ему. Петро подбросилъ, и, что за чудо? цвѣтокъ не упалъ прямо, но долго казался огненнымъ шарикомъ посреди мрака и, словно лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку началъ спускаться ниже и упалъ такъ далеко, что едва примѣтна была звѣздочка, не больше маковаго зерна. «Здѣсь!» глухо



прохрипѣла старуха, а Басаврюкъ, подавая ему заступъ, примолвилъ: «Копай здѣсь, Петро; тутъ увидишь ты столько золота, сколько ни тебѣ, ни Коржу не спилось». — Петро, поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавилъ ногою и выворотилъ землю въ другой, въ третій, еще разъ... Что-то твердое!.. Заступъ звенить и нейдетъ далѣе. Тутъ глаза его ясно начали различать небольшой, окованный желѣзомъ, сундукъ. Уже хотѣлъ онъ было достать его рукою, но сундукъ сталъ уходить въ землю, и все, чѣмъ далѣе, глубже, глубже; а позади его слышался хохоть, болѣе схожій съ змѣинымъ шипѣньемъ. «Нѣтъ, не видать тебѣ золота, покамѣстъ не достанешь крови человѣческой!» сказала вѣдьма и подвела къ нему дитя, лѣтъ шести, накрытое бѣлою простынею, показывая знакомъ, чтобы онъ отсѣкъ ему голову. Остолбенѣлъ Петро. Малость, отрѣзать ни за что, ни про что человѣку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его голову, и что же? Передъ нимъ стоялъ Ивасъ. И ручонки сложило бѣдное дитя накрестъ, и головку повѣсило... Какъ бѣшенный, подскочилъ съ ножомъ къ вѣдьмѣ Петро и уже занесъ-было руку...

«А что ты обѣщалъ за дѣвушку!..» грянулъ Басаврюкъ и словно пулю посадилъ ему въ спину. Вѣдьма топнула ногою: синее пламя выхватилося изъ земли; середина ея вся освѣтилась и стала какъ будто изъ хрусталя вылита, и все, что ни было подъ землею, сдѣлалось видимо, какъ на ладони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, грудями были навалены подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они стояли. Глаза его загорѣлись... умъ помутился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула ему въ очи... Дьявольскій хохоть загремѣлъ со всѣхъ сторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали передъ нимъ. Вѣдьма, вцѣпившись руками въ обезглавленный трупъ, какъ волкъ, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ головѣ его! Собравши всѣ силы, бросился онъ бѣжать. Все покрылось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ крови, казалось, горѣли и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молніи, мерещились въ его глазахъ. Выбившись изъ силъ, вбѣжалъ онъ въ свою лачужку и, какъ спопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ охватилъ его.

Два дня и двѣ ночи спалъ Петро безъ просыпу. Очнувшись на третій день, долго осматривалъ онъ углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышалъ онъ, что въ ногахъбрякнуло. Смотритъ: два мѣшка съ золотомъ. Тутъ только, будто сквозь сонъ, вспомнилъ онъ, что искалъ какого-то клада, что было ему одному страшно въ лѣсу... Но за какую цѣну, какъ достался онъ, этого никакимъ образомъ не могъ понять.



Увидѣлъ Коржъ мѣшки и — разнѣжился. «Сякой, такой Петрусь, немазаний! Да я ли не любилъ его? Да не былъ ли у меня онъ, какъ сынъ родной?» И понесъ хрычъ небывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, какъ проходившіе мимо цыганы украли Ивася; но Петро не могъ даже вспомнить его: такъ обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было не зачѣмъ. Поляку дали подъ носъ дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишекъ, нашили руч-



никовъ и хустокъ, выкатили бочку горѣлки, посадили за столъ молодыхъ, разрѣзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы — и пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненіе съ нашей. Тетка моего дѣда, бывало, расскажетъ — люли только! Какъ дѣвчата, въ нарядномъ головномъ уборѣ, изъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался золотой галунъ, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему шву краснымъ шелкомъ и унизанныхъ мелкими серебряными цвѣточками, въ сафьянныхъ сапогахъ на высокихъ желѣзныхъ подковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ, что вихорь, скакали въ



горницѣ. Какъ молодицы, съ корабликомъ на головѣ, котораго верхъ сдѣланъ былъ весь изъ сутозолотой парчи, съ небольшимъ вырѣзомъ на затылкѣ, откуда выглядывалъ золотой очипокъ, съ двумя выдавшимися, одинъ напередъ, другой назадъ, рожками самага мелкаго чернаго смушка, въ синихъ, изъ лучшаго полутабенеку, съ красными клапанами, кунтушахъ, важно подбоченившись, выступали поодиночкѣ и мѣрно выбивали гопака. Какъ парубки, въ высокихъ козацкихъ шапкахъ, въ тонкихъ суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, рассыпались передъ ними мелкимъ бѣсомъ и подпускали турусы. Самъ Коржъ не утерпѣлъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не тряхнуть стариною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмѣстѣ припѣвая, съ чаркою на головѣ, пустился старичина, при громкомъ крикѣ гулякъ, въ присядку. Чего не выдумаютъ навеселѣ? Начнутъ, бывало, наряжаться въ хари, — Боже ты мой, на человѣка не похожи! Ужъ не чета нынѣшнимъ переодѣваньямъ, что бываютъ на свадьбахъ нашихъ. Что теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Нѣтъ, вотъ, бывало, одинъ одѣнется жидомъ, а другой чортомъ, начнутъ сперва цѣловаться, а послѣ ухватятся за чубы... Богъ съ вами! Смѣхъ нападетъ такой, что за животъ хватаешься. Поодѣнутся въ турецкія и татарскія платья; все горитъ на нихъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ теткой покойнаго дѣда, которая сама была на этой свадьбѣ, случилась забавная исторія: была она одѣта тогда въ татарское широкое платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промахъ, высѣкъ въ ту же минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: бѣдная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всѣхъ, платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмаркѣ. Словомъ, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ панею. Всего вдоволь, все блеситъ... Однакоже добрые люди качали слегка головами, глядя на житіе ихъ. «Отъ чорта не будетъ добра», поговаривали всѣ въ одинъ голосъ. «Откуда, какъ не отъ искusstеля люда православнаго, пришло къ нему богатство? Гдѣ ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдругъ, въ самый тотъ день, когда разбогатѣлъ онъ, Басаврюкъ пропалъ, какъ въ воду?» — Говорите же, что люди выдумываютъ! Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, не прошло мѣсяца, Петруся никто узнать не могъ. Отчего, что съ нимъ сдѣлалось, — Богъ знаетъ. Сидитъ на одномъ мѣстѣ, и хоть бы слово съ кѣмъ: все думаетъ и какъ будто бы хочетъ что-то припомнить. Когда Пидоркѣ удастся заставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забудется, и поведетъ рѣчь, и развеселится даже; но ненарокомъ посмотреть на мѣшки: «постой, по-

стой, позабылъ!» кричитъ, и снова задумывается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной разъ, когда долго сидитъ на одномъ мѣстѣ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходитъ на умъ... и опять все ушло. Кажется: сидитъ въ шинкѣ; несутъ ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка; кто-то подходитъ, бьетъ по плечу его; онъ... но далѣе все какъ-будто туманомъ покрывается передъ нимъ. Потъ валитъ градомъ по лицу его, и онъ, въ изнеможеніи, садится на свое мѣсто.

Чего не дѣлала Пидорка: и совѣщалась съ знахарями, и переполохъ выливали, и соняшницу заваривали \*) — ничто не помогало. Такъ прошло



и лѣто. Много козаковъ обкосилось и обжалось; много козаковъ, поразгульнѣе другихъ, и въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толпились на болотахъ нашихъ; но крапивянокъ уже и въ поминѣ не было. Въ степяхъ закраснѣло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ, словно козацкія шапки, пестрѣли по полю. Попадались по дорогѣ и возы, наваленные хворостомъ и дровами. Земля сдѣлалась крѣпче и мѣстами стала

\*) Выливають переполохъ у насъ въ случаѣ испуга, когда хотятъ узнать, отчего приключился онъ: бросаютъ расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примутъ они подобіе, то самое перепугало больного; послѣ чего и весь испугъ проходитъ. Завариваютъ соняшницу отъ дурноты и боли въ животѣ. Для этого зажигаютъ кусокъ пеньки, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ миску, наполненную водою и поставленную на животѣ больного; потомъ, послѣ зашептываній даютъ ему выпить ложку этой воды.



прохватываться морозомъ. Уже и снѣгъ началъ сѣяться съ неба, и вѣтки деревь убрались инеемъ, будто заячьимъ мѣхомъ. Вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снѣгирь, словно щеголеватый польскій шляхтичъ, прогуливался по снѣговымъ кучамъ, вытаскивая зерно, и дѣти огромными кіями гоняли по льду деревянные кубари, между тѣмъ какъ отцы ихъ спокойно вылеживались на печкѣ, выходя по временамъ, съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозецъ, или провѣтриться и промолотить въ сѣняхъ залежалый хлѣбъ. Наконецъ, снѣга стали таять, и *щука хвостомъ ледъ расколошила*; а Петро все тотъ же и чѣмъ далѣе, тѣмъ еще суровѣе. Какъ будто прикованный, сидитъ посреди хаты, поставивъ себѣ въ ноги мѣшки съ золотомъ. Одичалъ, обросъ волосами, сталъ страшенъ, и все думаетъ объ одномъ, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не можетъ вспомнить. Часто дико подымается съ своего мѣста, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ уловить его; губы шевелятся, будто хотятъ произнести какое-то давно забытое слово — и неподвижно останавливаются... Бѣшенство овладѣваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и кусаетъ себѣ руки и въ досадѣ рветъ клоками волоса, покамѣстъ, утихнувъ, не упадетъ, будто въ забытіи, и послѣ снова принимается припоминать, и снова бѣшенство, и снова мука... Что это за напасть Божія? Жизнь не въ жизнь стала Пидоркѣ. Страшно ей было оставаться сперва одной въ хатѣ, да послѣ свыкла, бѣдняжка, съ своимъ горемъ. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмѣшки; изныла, исчахла, выплакались ясныя очи. Разъ, кто-то уже, видно, сжалился надъ ней, посоветовалъ итти къ колдунѣ, жившей въ Медвѣжьемъ оврагѣ, про которую ходила слава, что умѣетъ лѣчить всѣ на свѣтѣ болѣзни. Рѣшилась попробовать послѣднее средство; слово за слово, уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ разъ наканунѣ Купала. Петро въ безпамятствѣ лежалъ на лавкѣ и не примѣчалъ вовсе новой гостыи. Какъ вотъ, мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругъ весь задрожалъ, какъ на плахѣ; волосы поднялись горою... и онъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ сердце Пидорки. «Вспомнилъ, вспомнилъ!» закричалъ онъ въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы въ старуху. Топоръ на два вершка вбѣжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лѣтъ семи, въ бѣлой рубашкѣ, съ накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетѣла. «Ивась! закричала Пидорка и бросилась къ нему; но привидѣніе все, съ ногъ до головы, покрылось кровью и освѣтило всю хату краснымъ свѣтомъ... Въ испугѣ выбѣжала она въ сѣни; но, опомнившись немного, хотѣла-было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею такъ крѣпко, что не подъ силу было отпереть. Сбѣжались люди; при-

нялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, и по серединѣ только, гдѣ стоялъ Петрусь, куча пеплу отъ котораго мѣстами подымался еще паръ. Кинулись къ мѣшкамъ: одни битые черепки лежали вмѣсто червонцевъ. Выпуча глаза и разинувъ рты, не смѣя пошевелинуть усомъ, стояли козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело на нихъ это диво.

Что было далѣе, не вспомню. Пидорка дала обѣтъ итти на богомолье; собрала оставшееся послѣ отца имущество, и черезъ нѣсколько



дней ея точно уже не было на селѣ. Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услуживыя старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но пріѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказалъ, что видѣлъ въ лаврѣ монахиню, всю высохшую, какъ скелетъ, и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всѣмъ примѣтамъ, узнали Пидорку; что будто еще никто не слыхалъ отъ нея ни одного слова; что пришла она пѣшкомъ и принесла окладъ къ иконѣ Божьей Матери, исцвѣченный такими яркими камнями, что всѣ зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этимъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый день, когда лукавый припряталъ къ себѣ Петруся, показался снова Басаврюкъ; только всѣ бѣгомъ отъ него. Узнали, что это за птица: не кто другой,



какъ сатана, принявшій человѣческій образъ для того, чтобы отрывать клады; а какъ клады не даются нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ и приманиваетъ къ себѣ молодцовъ. Въ томъ же году всѣ побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ, однакожъ, не было покою отъ проклятаго Басаврюка. Тетка покойнаго дѣда говорила, что именно злился онъ болѣе всего на насъ за то, что оставила прежній шинокъ по Опошнянской дорогѣ, и всѣми силами старался выместить все на ней. Разъ старшины села собрались въ шинокъ и, какъ говорится, бесѣдовали по чинамъ за столомъ, по серединѣ котораго поставленъ былъ, грѣхъ сказать, чтобы малый, жареный баранъ. Калякали о томъ, о семъ; было и про диковинки разныя, и про чуда. Вотъ и померещилось, — еще бы ничего, если бы одному, а то именно всѣмъ, — что баранъ поднялъ голову, блудящіе глаза его ожили и засвѣтились, и вмигъ появившіеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующихъ. Всѣ тотчасъ узнали на бараньей головѣ рожу Басаврюка; тетка дѣда моего даже думала уже, что вотъ-вотъ попросить водки... Честные старшины за шапки, да скорѣе во-свояси. Въ другой разъ самъ церковный староста, любившій по временамъ раздобаривать глазъ-на-глазъ съ дѣдовскою чаркою, не успѣлъ еще два достать дна, какъ видитъ, что чарка кланяется ему въ поясъ. «Чортъ съ тобою!» давай креститься!.. А тутъ съ половиною его тоже диво: только-что начала она замѣшивать тѣсто въ огромной дижѣ, вдругъ дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» Куда! подбоченившись важно, пустилась въ присядку по всей хатѣ... Смѣйтесь; однакожъ не до смѣху было нашимъ дѣдамъ. И даромъ, что отецъ Аѳанасій ходилъ по всему селу со святою водою и гонялъ чорта кропиломъ по всѣмъ улицамъ, а все еще тетка покойнаго дѣда долго жаловалась, что кто-то, какъ только вечеръ, стучить въ крышу и царапается по стѣнѣ.

Да чего! Вотъ теперь на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ село наше, кажись, все спокойно; а вѣдь еще не такъ давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо развалившагося шинка, который нечистое племя долго послѣ того поправляло на свой счетъ, доброму человѣку пройти нельзя было. Изъ закоптѣвшей трубы столбомъ валилъ дымъ и, поднявшись высоко, такъ что посмотришь — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и чортъ—нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына—такъ всхлипывалъ жалобно въ своей конурѣ, что испуганные гайвороны стаями подымались изъ ближняго дубоваго лѣса и съ дикимъ крикомъ метались по небу.





## Майская ночь, или утопленница.

Врагъ его батька знае  
начнутъ що небудь робить  
люды хрещены, то мурдуютця,  
мурдуютця, мовъ хорты за зайцемъ, а все шось не до  
шмыгу; тильки жъ куды чортъ уплетецця, то верть  
хвостыкомъ—такъ де воно й возмецця ниначе зъ неба.

### I.

#### Г а н н а.

Звонкая пѣсня лилась рѣкою по улицамъ села\*\*\*. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль. Уже и сумерки, а пѣсни все не утихали. Съ бандурою въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козакѣ рѣшетилowska шапка. Козакъ идетъ по улицѣ, бренчитъ рукою по струнамъ и подплясываетъ. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, установленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и запѣлъ:

Сонце низенко, вечеръ близенко,  
Выйды до мене, мое серденко!

«Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя ясноокая красавица», сказалъ козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну. «Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься, вѣрно, чтобы насъ кто не увидѣлъ, или не хочешь, можетъ-быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ; вечеръ тепель. Но если бы и по-

казался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя—и никто насъ не увидить. Но если бы и повѣяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрѣю поцѣлуями, надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Просунь сквозь окошечко хоть бѣлую свою ручку... Иѣтъ, ты не спишь, гордая дивчина!» проговорилъ онъ громче и такимъ голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго униженія: «тебѣ любо издѣваться надо мною; прощай!»



Тутъ онъ отворотился, насунулъ набекрень свою шапку и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери въ это время завертѣлась: дверь распахнулась со скрипомъ, и дѣвушка, на порѣ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракѣ горѣли привѣтно, будто звѣздочки, ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея.

«Какой же ты нетерпѣливый!» говорила она ему вполголоса! Уже и разсердился! Зачѣмъ выбралъ ты такое время? Толпа народу шатается то и дѣло по улицамъ... Я вся дрожу»...



«О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мнѣ покрѣпче!» говорилъ парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бандуру, висѣвшую на длинномъ ремнѣ у него на шеѣ, и сядясь вмѣстѣ съ нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что мнѣ и часу не видать тебя горько».

«Знаешь ли, что я думаю? прервала дѣвушка, задумчиво уставивъ въ него свои очи. «Мнѣ все что-то будто на ухо шепчетъ, что впередъ намъ не видаться такъ часто. Недобрые у васъ люди: дѣвушки всѣ глядятъ такъ завистливо, а парубки... Я примѣчаю даже, что мать моя съ недавней поры стала суровѣе приглядывать за мною. Признаюсь, мнѣ веселѣе у чужихъ было».

Какое-то движеніе тоски выразилось на лицѣ ея при послѣднихъ словахъ.

«Два мѣсяца только въ сторонѣ родной и уже соскучилась! Можетъ, и я надоѣлъ тебѣ?»

«О, ты мнѣ не надоѣлъ, молвила она, усмѣхнувшись. Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ будто на душѣ усмѣхается: и весело, и хорошо ей; что привѣтливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицѣ, поешь и играешь на бандурѣ и люблю слушать тебя».

«О, моя Галя!» вскрикнулъ парубокъ, цѣлуя и прижимая ее сильнѣе къ груди своей.

«Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорилъ ли ты съ отцомъ своимъ?»

«Что? сказалъ онъ, будто проснувшись. Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замужъ? Говорилъ». Но какъ-то унывно зазвучало въ устахъ его это слово: «говорилъ».

«Что же?»

«Что станешь дѣлать съ нимъ? Притворился, старый хрѣнъ, по своему обыкновенію, глухимъ: ничего не слышитъ и еще бранить, что шатаюсь, Богъ знаетъ, гдѣ и повѣсничая съ хлопцами по улицамъ. Но не тужи, моя Галя! Вотъ тебѣ слово козацкое, что уломаю его».





«Да тебѣ только стоить, Левко, слово сказать—и все будетъ по-твоему. Я знаю это по себѣ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово—и невольно дѣлаю, что тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!» продолжала она, положивъ голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдѣ необъятно синѣло теплое украинское небо, завѣшенное снизу кудрявыми вѣтвями стоявшихъ передъ ними вишенъ. «Посмотри: вонъ-вонъ далеко мелькнули звѣзды: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, вѣдь это ангелы Божіи поотворяли окошечки своихъ свѣтлыхъ домиковъ на небѣ и глядятъ на насъ? Да, Левко? Вѣдь это



они глядятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, какъ у птицъ,—туда бы полетѣть высоко, высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дубъ у насъ не достанетъ до неба. А говорятъ, однакоже, есть гдѣ-то, въ какой-то далекой землѣ, такое дерево, которое шумитъ вершиною въ самомъ небѣ, и Богъ сходитъ по немъ на землю ночью передъ Свѣтлымъ праздникомъ».

«Нѣтъ, Галю; у Бога есть длинная лѣстница отъ неба до самой земли. Ее становятъ передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ святыя архангелы, и какъ только Богъ ступитъ на первую ступень, всѣ нечистые духи полетятъ стремглавъ и кучами попадають въ пекло, и оттого на Христовъ праздникъ ни одного злого духа не бываетъ на землѣ».







«Какъ тихо колышется вода, будто дитя въ люлькѣ! продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Какъ безсильный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далекое темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненные звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремалъ съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись передъ его окнами; лѣсъ, обнимая своею тѣнью, бросалъ на него дикую мрачность; орѣховая роща стлалась у подножія его и скатывалась къ пруду.

«Я помню, будто сквозь сонъ, сказала Ганна, не спуская глазъ съ него: давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про домъ этотъ. Левко, ты, вѣрно, знаешь; расскажи!..»

«Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не расскажутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожишь; станешь бояться и не заснетъ тебѣ покойно».

«Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубокъ! говорила она, прижимаясь лицомъ своимъ къ щекѣ его и обнимая его. Нѣтъ, ты, видно, не любишь меня; у тебя есть другая дѣвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!»...

«Видно, правду говорятъ люди, что у дѣвушекъ сидитъ чортъ, подстрекающій ихъ любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жилъ въ этомъ домѣ сотникъ. У сотника была дочка, ясная панночка, бѣлая какъ снѣгъ, какъ твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумалъ сотникъ жениться на другой. «Будешь ли ты меня нѣжить постарому, батька, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крѣпче прежняго стану прижимать тебя къ сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!»



«Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бѣла собой была молодая жена; только



такъ страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидѣвши, и хотъ бы слово во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; заперлась и бѣлая панночка въ своей свѣтлицѣ. Горько сдѣлалось ей; стала плакать. Глядитъ: страшная черная кошка крадется къ ней; шерсть на ней горитъ, и желѣзные когти стучать по полу. Въ испугѣ, вскочила она на лавку, — кошка за нею; перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдругъ бросилась къ ней на шею и душить ее. Съ крикомъ оторвавши отъ себя, кинула ее на полъ. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стѣнѣ висѣла отцовская сабля. Схватила ее и брякъ по полу, — лапа съ желѣзными когтями отскочила, и кошка съ визгомъ пропала въ темномъ углу. Цѣлый день не выходила изъ свѣтлицы своей молодая жена; на третій день вышла съ перевязанною рукою. Угадала бѣдная панночка, что мачиха ея вѣдьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказалъ сотникъ своей дочкѣ носить воду, мести хату, какъ простой мужичкѣ, и не показываться въ панскіе покои. Тяжело было бѣдняжкѣ, да нечего дѣлать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгналъ сотникъ свою дочку босую изъ дому и куса

хлѣба не далъ на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками бѣлое лицо свое: «Погубилъ ты, батька, родную дочку свою! Погубила вѣдьма грѣшную душу твою! Прости тебя Богъ; а мнѣ, несчастной, видно, не велитъ Онъ жить на бѣломъ свѣтѣ...» — «И вонъ, видишь ли ты?»... Тутъ оборотился Левко къ Ганнѣ, указывая пальцемъ на домъ. «Гляди сюда: вонъ подалѣе отъ дома, самый высокій берегъ! Съ этого берега кинулась панночка въ воду, и съ той поры не стало ея на свѣтѣ...»

«А вѣдьма?» боязливо прервала Ганна, устремивъ на него проследившіяся очи.

«Вѣдьма? Старухи выдумали, что съ той поры всѣ утопленницы выходили, въ лунную ночь, въ панскій садъ грѣться на мѣсяцѣ, и







сотникова дочка сдѣлалась надъ ними главною. Въ одну ночь увидѣла она мачиху свою возлѣ пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. Но вѣдьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ, и черезъ то ушла отъ плети изъ зеленаго тростника, которою хотѣли ее бить утопленницы. Вѣрь бабамъ! Рассказываютъ еще, что панночка собираетъ всякую ночь утопленницъ и заглядываетъ поодиночкѣ каждой въ лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ вѣдьма; но до сихъ поръ не узнала. И если попадется изъ людей кто, тотчасъ заставляетъ его угадывать; не то, грозитъ утопить въ водѣ. Вотъ, моя Галю, какъ рассказываютъ старые люди!... Теперешній панъ хочетъ строить на томъ мѣстѣ винницу и прислалъ нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говоръ. Это наши возвращаются съ пѣсень. Прощай, Галю! Спи спокойно, да не думай объ этихъ бабьихъ выдумкахъ».

Сказавши это, онъ обнялъ ее крѣпче, поцѣловалъ и ушелъ.

«Прощай, Левко!» говорила Ганна, задумчиво вперивъ очи на темный лѣсъ.

Огромный огненный мѣсяцъ величественно сталъ въ это время вырѣзываться изъ земли. Еще половина его была подъ землею, а уже весь міръ исполнился какого-то торжественнаго свѣта. Прудъ тронулся искрами. Тѣнь отъ деревьевъ ясно стала отдѣляться на темной зелени.

«Прощай, Ганна!» раздались позади ея слова, сопровождаемая поцѣлуемъ.

«Ты воротился!» сказала она, оглянувшись; но, увидѣвъ передъ собою незнакомаго парубка, отвернулась въ сторону.

«Прощай, Ганна!» раздалось снова, и снова поцѣловалъ ее кто-то въ щеку.

«Вотъ принесла нелегкая и другого!» проговорила она съ сердцемъ.

«Прощай, милая Ганна!»

«Еще и третій!»

«Прощай! прощай! прощай, Ганна!» и поцѣлуи засыпали ее со всѣхъ сторонъ.

«Да тутъ ихъ цѣлая ватага!» кричала Ганна, вырываясь изъ толпы парубковъ, наперерывъ спѣшившихъ обнимать ее. «Какъ имъ не надоѣстъ безпрестанно цѣловаться! Скоро, ей-Богу, нельзя будетъ показаться на улицѣ!»

Вслѣдъ за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, какъ съ визгомъ задвинулся желѣзный засовъ.

## Г о л о в а.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣе; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ и прохладно-душенъ, и полонъ нѣги, и движеть оксанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лѣса, полные мрака, и кинули огромную тѣнь отъ себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ темнозеленыя стѣны садовъ. Дѣвственные чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изрѣдка лепечуть листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вѣтреникъ — ночной вѣтеръ, подкравшись мгновенно, цѣлуетъ ихъ. Весь ландшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ; все дивно, все торжественно. А на душѣ и необъятно, и чудно, и толпы серебряныхъ видѣній стройно возникаютъ въ ея глубинѣ. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лѣса, и пруды, и степи. Сыплется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мѣсяцъ заслушался его посерединѣ неба... Какъ очарованное, дремлетъ на возвышеніи село. Еще болѣе, еще лучше блестятъ при мѣсяцѣ толпы хатъ; еще ослѣпительнѣе вырѣзываются изъ мрака низкія ихъ стѣны. Пѣсни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спятъ. Гдѣ-гдѣ только свѣтятся узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ запоздалая семья совершаетъ свой поздній ужинъ.

«Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Чтò-жъ это рассказываетъ кумъ?.. А, ну: гопъ трала! гопъ трала! гопъ, гопъ, гопъ!» Такъ разговаривалъ самъ съ собою подгулявшій мужикъ среднихъ лѣтъ, танцуя по улицѣ. «Ей-Богу, не такъ танцуется гопакъ! Что мнѣ лгать? Ей-Богу не такъ! А, ну: гопъ трала! гопъ трала! гопъ, гопъ, гопъ!»

«Вотъ одурѣлъ человекъ! добро бы еще хлопецъ какой, а то старый кабанъ, дѣтямъ на смѣхъ, танцуетъ ночью по улицѣ!» вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ рукѣ соломѣ. «Ступай въ хату свою! Пора спать давно!»

«Я пойду!» сказалъ, остановившись, мужикъ. «Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ, *дидько-бъ утыйся его батькови*, что онъ голова, что онъ обливаетъ людей на морозѣ хо-



лодною водою, такъ и носъ поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себѣ голова. Вотъ, убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себѣ голова. Вотъ что, а не то что...» продолжалъ онъ, подходя къ первой попавшейся хатѣ, и остановился передъ окошкомъ, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. «Баба, отвори! Баба, живѣй, говорятъ тебѣ, отвори! Козаку спать пора!»

«Куда ты, Каленикъ? Ты въ чужую хату попалъ!» закричали, смѣясь, позади его дѣвушки, ворочавшіяся съ веселыхъ пѣсней. «Показать тебѣ твою хату?»



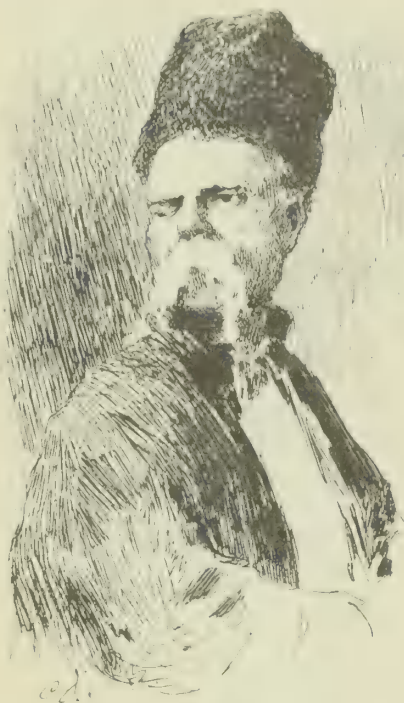
«Покажите, любезныя молодушки!»

«Молодушки? Слышите ли», подхватила одна: «какой учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но нѣтъ, напередъ потанцуй».

«Потанцовать!.. эхъ, вы, замысловатыя дѣвушки!» протяжно произнесъ Каленикъ, смѣясь и грозя пальцемъ и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ. «А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ перецѣлую, всѣхъ!»... И косвенными шагами пустился бѣжать за ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но послѣ, ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

«Вонъ твоя хата!» закричали онѣ ему, уходя и показывая на избу, гораздо побольше прочихъ, принадлежавшую сельскому головѣ. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этотъ голова, возбудившій такіе невыгодные о себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ. Покамѣстъ Каленикъ достигнетъ конца пути своего, мы, безъ сомнѣнія, успѣемъ кое-что сказать о немъ. Все село, завидѣвши его, беретъ за шапки; а дѣвушки, самыя молоденькія, отдаютъ *добридень*. Кто бы изъ парубковъ не захотѣлъ быть головою? Головѣ открытъ свободный ходъ во всѣ тавлинки. и дюжій мужикъ почтительно стоитъ, снявши шапку, во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои толстые и грубые пальцы въ



его лубочную табакерку. Въ мірской сходкѣ, или громадѣ, несмотря на то, что власть его ограничена нѣсколькими голосами, голова всегда беретъ верхъ и почти по своей волѣ высылаетъ, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюмъ, суровъ съ виду и не любитъ много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ѣздила въ Крымъ, былъ онъ выбранъ въ провожатые; цѣлые два дни находился онъ въ этой должности и даже удостоился сидѣть на козлахъ съ царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился разумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившіеся внизъ усы и кидать соколиный взглядъ исподлобья. И съ той поры

голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда умѣетъ поворотить рѣчь на то, какъ онъ везъ царицу и сидѣлъ на козлахъ царской кареты. Голова любитъ иногда прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не хотѣлось бы ему слышать. Голова терпѣть не можетъ щегольства: носить всегда свитку чернаго домашняго сукна, перепоясывается шерстянымъ цвѣтнымъ поясомъ, и никто никогда не видалъ его въ другомъ костюмѣ, выключая развѣ только времени проѣзда царицы въ Крымъ, когда на немъ былъ синій козацкій жупанъ. Но это время врядъ ли кто могъ запомнить изъ цѣлаго села; а жупанъ держитъ онъ въ сундукѣ подъ замкомъ. Голова вдовъ; но у него живетъ въ домѣ свояченица, которая варитъ обѣдать и ужинать, моетъ лавки, бѣлитъ хату, прядетъ ему на рубашки и завѣдываетъ всѣмъ

домомъ. На селѣ поговариваютъ, будто она совсѣмъ ему не родственница; но мы уже видѣли, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочемъ, можетъ-быть, къ этому подало поводъ и то, что свояченицѣ всегда не нравилось, если голова заходилъ въ поле, усѣянное жнищами или къ козаку, у котораго была молодая дочка. Голова кривъ, но зато одинокій глазъ его — злодѣй, и далеко можетъ увидѣть хорошенькую поселянку. Не прежде, однакожъ, онъ наведетъ его на смазливенькое личико, пока не осмотрится хорошенько, не глядитъ ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно, о головѣ, а пьяный Каленикъ не добрался еще и до половины дороги, и долго еще угощалъ голову всѣми отборными словами, какія могли только вспасть на лѣниво и несвязно поворачивавшійся языкъ его.

### III.

#### Неожиданный соперникъ. Заговоръ.

**Н**ѣтъ, хлопцы, нѣтъ, не хочу! Чтò за разгулье такое! Какъ вамъ не надоѣстъ повѣсничать? И безъ того уже прослыли мы, Богъ знаетъ, какими буянами. Ложитесь лучше спать! — такъ говорилъ Левко разгульнымъ товарищамъ своимъ, подговаривавшимъ его на новыя проказы. Прощайте, братцы, покойная вамъ ночь!» и быстрыми шагами шелъ отъ нихъ по улицѣ.

«Спитъ ли моя ясноокая Ганна?» думалъ онъ, подходя къ знакомой намъ хатѣ съ вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихій говоръ. Левко остановился. Между деревьями забѣлѣла рубашка... «Чтò это значить?» подумалъ онъ и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свѣтѣ мѣсяца блистало лицо стоявшей передъ нимъ дѣвушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокій человѣкъ, стоящій къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тѣнь покрывала его съ ногъ до головы. Спереди только онъ былъ освѣщенъ немного; но малѣйшій шагъ Левка впередъ уже подвергалъ его непріятности быть открытымъ. Тихо прислонившись къ дереву, рѣшился онъ остаться на мѣстѣ. Дѣвушка ясно выговорила его имя.

«Левко? Левко еще молокососъ!» говорилъ хрипло и вполголоса высокій человѣкъ. «Если я встрѣчу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чубъ»...

«Хотѣлось бы мнѣ знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чубъ!» тихо проговорилъ Левко и протянулъ шею, стараясь не



проронить ни одного слова. Но незнакомецъ продолжалъ такъ тихо, что нельзя было ничего разслушать.

«Какъ тебѣ не стыдно!» сказала Ганна по окончаніи его рѣчи. «Ты лжешь; ты обманывалъ меня; ты меня не любишь; я никогда не повѣрю, чтобы ты меня любилъ!»

«Знаю», продолжалъ высокій человѣкъ: «Левко много наговорилъ тебѣ пустяковъ и вскружилъ твою голову» (тутъ показалось парубку, что голосъ незнакомца не совсѣмъ незнакомъ, и какъ будто онъ когда-то его слышалъ). «Но я дамъ себя знать Левку!» продолжалъ все такъ же незнакомецъ. «Онъ думаетъ, что я не вижу всѣхъ его шашней. Попробуетъ онъ, собачій сынъ, каковы у меня кулаки!»

При этомъ словѣ Левко не могъ уже болѣе удержать своего гнѣва. Подошедши на три шага къ нему, замахнулся онъ изо всей силы, чтобы дать треуха, отъ котораго незнакомецъ, несмотря на свою видимую крѣпость, не устоялъ бы, можетъ-быть, на мѣстѣ; но въ это время свѣтъ палъ на лицо его, и Левко остолбенѣлъ, увидѣвши, что передъ нимъ стоялъ отецъ его. Невольное покачиваніе головою и легкій сквозъ зубы свистъ одни только выразили его изумленіе. Въ сторонѣ слышался шорохъ; Ганна поспѣшно влетѣла въ хату, захлопнувъ за собою дверь.

«Прощай, Ганна!» закричалъ въ это время одинъ изъ парубковъ, подкравшись и обнявши голову, — и съ ужасомъ отскочилъ назадъ, встрѣтивши жесткіе усы.

«Прощай, красавица!» вскричалъ другой; но на сей разъ полетѣлъ стремглавъ отъ тяжелаго толчка головы.

«Прощай, прощай, Ганна!» закричало нѣсколько парубковъ, повиснувъ ему на шею.

«Провалитесь, проклятые сорванцы!» кричалъ голова, отбиваясь и притопывая на нихъ ногами. «Что я вамъ за Ганна! Убирайтесь вслѣдъ за отцами на висѣлицу, чортовы дѣти! Поприставали, какъ мухи къ меду! Дамъ я вамъ Ганны!...»

«Голова! голова! Это голова!» закричали хлопцы и разбѣжались во всѣ стороны.

«Ай да батько!» говорилъ Левко, очнувшись отъ своего изумленія и глядя вслѣдъ уходившему съ ругательствами головѣ. «Вотъ какія за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что-бъ это значило, что онъ все притворяется глухимъ, когда станешь говорить о дѣлѣ. Постой же, старый хрѣнъ, ты у меня будешь знать, какъ шататься подъ окнами молодыхъ дѣвушекъ; будешь знать, какъ отбивать чужихъ невѣстъ! Гей, хлопцы! сюда, сюда!» кричалъ онъ, махая рукою парубкамъ, которые снова собирались въ кучу. «Ступайте сюда! Я увѣщевалъ васъ итти спать, но теперь раздумалъ и готовъ хоть цѣлую ночь самъ гулять съ вами».

«Вотъ это дѣло!» сказалъ плечистый и дородный парубокъ, считавшійся первымъ гулякой и повѣсой на селѣ. «Мнѣ все кажется тошно, когда не удастся погулять порядкомъ и настроить штукъ. Все какъ будто недостаетъ чего-то, какъ будто потерялъ шапку, или люльку словомъ, не козакъ, да и только».

«Согласны ли вы побѣсить хорошенько сегодня голову?»

«Голову?»

«Да, голову. Чтò онъ въ самомъ дѣлѣ задумалъ? Онъ управляетъ у насъ, какъ будто гетьманъ какой. Мало того, что помыкаетъ, какъ своими холопьями, еще и подбѣзжаетъ къ дѣвчатамъ нашимъ. Вѣдь, я думаю, на всемъ селѣ нѣтъ смазливой дѣвки, за которою бы не волочился голова».

«Это такъ, это такъ!» закричали въ одинъ голосъ всѣ хлопцы.

«Чтò-жъ мы, ребята, за холопья? Развѣ мы не такого роду, какъ и онъ? Мы, слава Богу, вольные козаки! Покажемъ ему, хлопцы, что мы вольные козаки!»

«Покажемъ!» закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не минутъ!»

«Не минемъ и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложилась въ умѣ славная пѣсня про голову.

Пойдемте, я васъ выучу», продолжалъ Левко, ударивъ рукою по струнамъ бандуры. «Да слушайте: попереодѣвайтесь, кто во что ни попало!»

«Гуляй, козацкая голова!» говорилъ дюжій повѣса, ударивъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. «Чтò за роскошь! Чтò за воля! Какъ начнешь бѣситься, чудится, будто поминаешь давніе годы. Любо, вольно на сердцѣ, а душа какъ будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей! гуляй!...»

И толпа шумно понеслась по улицамъ. И благочестивыя старушки, пробужденныя крикомъ, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляютъ парубки!»



#### IV.

##### Парубки гуляютъ.

Одна только хата свѣтилась еще въ концѣ улицы. Это жилище  
головой. Голова уже давно окончилъ свой ужинъ и, безъ  
сомнѣнія, давно бы уже заснулъ; но у него былъ въ это время гость,  
винокуръ, присланный строить винокурню помѣщикомъ, имѣвшимъ



небольшой участокъ земли между  
вольными казаками. Подъ самымъ  
покутомъ, на почетномъ мѣстѣ, си-  
дѣлъ гость — низенькій, толстенный  
человѣчекъ, съ маленькими, вѣчно  
смѣющимися глазками, въ которыхъ,  
кажется, написано было то удоволь-  
ствіе, съ какимъ курилъ онъ свою ко-  
ротенькую люльку, поминутно спле-  
вывая и придавливая пальцемъ вылѣ-  
завшій изъ нея превращенный въ золу  
табакъ. Облака дыма быстро разраста-  
лись надъ нимъ, одѣвая его въ сизый  
туманъ. Казалось, будто широкая  
труба съ какой-нибудь винокурни,

наскуча сидѣть на своей крышѣ задумала прогуляться и чинно усѣлась  
за столомъ въ хатѣ головы. Подъ носомъ торчали у него коротенькіе  
и густые усы; но они такъ неясно мелькали сквозь табачную атмо-  
сферу, что казались мышью, которую винокуръ поймалъ и держалъ во  
рту своемъ, подрывая монополію амбарнаго кота. Голова, какъ хозяинъ,  
сидѣлъ въ одной только рубашкѣ и полотняныхъ шароварахъ. Орли-  
ный глазъ его, какъ вечерѣющее солнце, начиналъ мало-по-малу  
жмуриться и меркнуть. На концѣ стола курилъ люльку одинъ изъ  
сельскихъ десятскихъ, составлявшихъ команду головы, сидѣвшій, изъ  
почтенія къ хозяину, въ свиткѣ».

«Скоро же вы думаете», сказалъ голова, оборотившись къ вино-  
куру и кладя крестъ на зѣвнувшій ротъ свой, «поставить вашу вино-  
курню?»

«Когда Богъ поможетъ, то этою осенью, можетъ, и закуримъ. На  
Покровъ, бьюсь объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами  
нѣмецкіе крендели по дорогѣ».



По произнесении этих словъ, глазки винокура пропали; вмѣсто ихъ протянулись лучи до самыхъ ушей; все туловище стало колебаться отъ смѣха, и веселыя губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.

«Дай Богъ!» сказалъ голова, выразивъ на лицѣ своемъ что-то подобное улыбка. «Теперь еще, слава Богу, винницъ развелось немного. А вотъ, въ старое время, когда провожалъ я царицу по переяславской дорогѣ, еще покойный Безбородько...»

«Ну, сватъ, вспомнилъ время! Тогда отъ Кременчуга до самыхъ Роменъ не насчитывали и двухъ винницъ. А теперь... Слышалъ ли ты, что повыдумали проклятые нѣмцы? Скоро, говорятъ, будутъ курить не дровами, какъ всѣ честные христіане, а какимъ-то чертовскимъ паромъ...» Говоря эти слова, винокуръ въ размышлении глядѣлъ на столъ и на разставленные на немъ руки свои. «Какъ это паромъ — ей-Богу, не знаю!»

«Что за дурни, прости Господи, эти нѣмцы!» сказалъ голова. «Я бы батогомъ ихъ, собачьихъ дѣтей! Слыханное ли дѣло, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому, ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губъ, вмѣсто молодого поросенка...»

«И ты, сватъ», отозвалась сидѣвшая на лежанкѣ, поджавши подъ себя ноги, свояченица: «будешь все это время жить у насъ безъ жены?»

«А для чего она мнѣ? Другое дѣло, если бы что доброе было».

«Будто не хороша?» спросилъ голова, устремивъ на него глазъ свой.

«Куды тебѣ хороша! *Старá, якъ бисъ.* Харя вся въ морщинахъ, будто выпороженный кошелекъ». И низенькое строение винокура расшаталось снова отъ громкаго смѣха.

Въ это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась — и мужикъ, не снимая шапки, ступилъ черезъ порогъ и сталъ, какъ будто въ раздумьи, посреди хаты, разинувши ротъ и оглядывая потолокъ. Это былъ знакомецъ нашъ, Каленикъ.

«Вотъ, я и домой пришелъ!» говорилъ онъ, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого вниманія на присутствующихъ. «Вишь, какъ растянулъ вражій сынъ, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нѣтъ! Ноги какъ будто переломалъ кто-нибудь. Достань-ка тамъ, баба, тулупъ подостлатъ мнѣ. На печь къ тебѣ не приду, ей-Богу, не приду: ноги болятъ! Достань его; тамъ онъ лежитъ, близъ покута; гляди только, не опрокинь горшка съ тертымъ табакомъ. Или нѣтъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ-быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я самъ достану».

Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его къ скамейкѣ.

«За это люблю», сказалъ голова: «пришелъ въ чужую хату и распоряжается, какъ дома! Выпроводить его по добру по здорovu!..»

«Оставь, свать, отдохнуть!» сказалъ винокуръ, удерживая его за руку. «Это полезный человѣкъ: побольше такого народа — и винница наша славно бы пошла...»

Однакожъ не добродушіе вынудило эти слова. Винокуръ вѣриль всѣмъ примѣтамъ, и тотчасъ прогнать человѣка, уже сѣвшаго на лавку, значило у него накликать бѣду.

«Что-то, какъ старость придетъ!..» ворчалъ Каленикъ, ложась на лавку. «Добро бы, еще сказать, пьянъ, такъ нѣтъ же, не пьянъ. Ей-Богу, не пьянъ! Чтò мнѣ лгать? Я готовъ объявить это хотъ самому головѣ. Чтò мнѣ голова? Чтòбъ онъ издохнулъ, собачій сынъ! Я плюю на него! Чтòбъ его, одноглазаго чорта, возомъ переѣхало! Чтò онъ обливаетъ людей на морозѣ...»

«Эге! влѣзла свинья въ хату, да и лапы суетъ на столъ», сказалъ голова, гнѣвно подымаясь съ своего мѣста; но въ это время увѣсистый камень, разбивши окно вдребезги, полетѣлъ ему подъ ноги. Голова остановился. «Если бы я зналъ», говорилъ онъ, подымая камень: «какой это висѣльникъ швырнулъ камнемъ, я бы выучилъ его, какъ кидаться! Экія проказы!» продолжалъ онъ, рассматривая его на рукѣ пылающимъ взглядомъ. «Чтобы онъ подавился этимъ камнемъ!»...

«Стой, стой! Боже тебя сохрани, свать!» подхватилъ, поблѣднѣвши, винокуръ. «Боже сохрани тебя, и на томъ, и на этомъ свѣтѣ, поблагословить кого-нибудь такую побранкою!»

«Вотъ нашелся заступникъ! Пусть онъ пропадетъ!..»

«И не думай свать! Ты не знаешь, вѣрно, что случилось съ покойною тещею моею?»

«Съ тещей?»

«Да, съ тещей. Вечеромъ, немного, можетъ, раньше теперешняго, усѣлись вечерять: покойная теща, покойный тестъ, да наймытъ, да наймычка, да дѣтей штукъ съ пятеро. Теща отсыпала немного галушекъ изъ большого казана въ миску, чтобы не такъ были горячи. Послѣ работъ всѣ проголодались и не хотѣли ждать, пока галушки простынутъ. Вздѣвши ихъ на длинныя деревянные спички, начали ѣсть. Вдругъ откуда ни возьмись человѣкъ: какого онъ роду, Богъ его знаетъ, проситъ и его допустить къ трапезѣ. Какъ не накормить голоднаго человѣка? Дали и ему спичку. Только гость упрятываетъ галушки, какъ корова сѣно. Покамѣстъ тѣ сѣли по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, какъ панскій помостъ. Теща насыпала еще; думаетъ, гость наѣлся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало: еще лучше сталъ уплетать! и другую выпорожнилъ! «А чтòбъ ты

подавился этими галушками!» подумала голодная теща; какъ вдругъ тотъ поперхнулся и упалъ. Кинулись къ нему — и духъ вонъ. Удавился».

«Такъ ему, обжорѣ проклятому, и нужно!» сказалъ голова.

«Такъ бы, да не такъ вышло: съ того времени покою не было тещѣ. Чуть только ночь, мертвецъ и тащится. Сядетъ верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держать въ зубахъ. Днемъ все покойно, и



слуху нѣтъ про него; а только станеть примеркать, погляди на крышу: уже и осѣдлалъ, собачій сынъ, трубу».

«И галушка въ зубахъ?»

«И галушка въ зубахъ».

«Чудно, свать! Я слышалъ что-то похожее еще за покойницу...»

Тутъ голова остановился. Подъ окномъ слышался шумъ и топанье танцующихъ. Сперва тихо звукнули струны бандуры, къ нимъ



присоединился голосъ. Струны загремѣли сильнѣе; нѣсколько голосовъ стали подтягивать — и пѣсня зашумѣла вихремъ;

Хлопцы, слышали ли вы?  
Наши-ль головы не крѣпки  
У кривого головы  
Въ головѣ разсѣлись клепки.  
Набей, бондарь, голову  
Ты стальными обручами;  
Вспрысни, бондарь, голову  
Батогами, батогами!  
Голова нашъ сѣдъ и кривъ;  
Старъ, какъ бѣсъ; а что за дурень!  
Прихотливъ и похотливъ;  
Жметъ къ дѣвкамъ... Дурень, дурень,  
И тебѣ лѣзть къ парубкамъ!  
Тебя-бъ нужно въ домовицу,  
По усамъ, да по шеямъ!  
За чуприну! за чуприну!

«Славная пѣсня, свать!» сказалъ винокуръ, наклоня немного набокъ голову и оборотившись къ головѣ, остолбенѣвшему отъ удивленія при видѣ такой дерзости. «Славная! скверно только, что голову поминають не совсѣмъ благопристойными словами...»

И онъ опять положилъ руки на столъ съ какимъ-то сладкимъ умиленіемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще, потому что подъ окномъ гремѣлъ хохотъ и крики: «снова! снова!» Однакожъ проницательный глазъ увидѣлъ бы тотчасъ, что не изумленіе удерживало долго голову на одномъ мѣстѣ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ иногда неопытную мышъ бѣгать около своего хвоста, а между тѣмъ быстро созидаетъ планъ, какъ перерѣзать ей путь въ нору. Еще одинокій глазъ головы былъ устремленъ на окно, а уже рука, давши знакъ десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдругъ на улицѣ поднялся крикъ... Винокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ присоединявшій и любопытство, быстро набивши табакомъ свою люльку, выбѣжалъ на улицу; но шалуны уже разбѣжались.

«Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, таща за руку человека въ вывороченномъ шерстью вверхъ овчинномъ черномъ тулупѣ. Винокуръ, пользуясь временемъ, подбѣжалъ, чтобы посмотреть въ лицо этому нарушителю спокойствія; но съ робостью попятился назадъ, увидѣвши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, продолжая тащить прямо въ сѣни своего плѣнника, который, не оказывая никакого

сопротивленія, спокойно слѣдовалъ за нимъ, какъ будто въ свою хату. «Карпо, отворяй комору!» сказалъ голова десятскому. «Мы его въ темную комору! А тамъ разбудимъ писаря, соберемъ десятскихъ, переловимъ всѣхъ этихъ буяновъ и сегодня же и резолюцію всѣмъ имъ учинимъ!»

Десятскій забренчалъ небольшимъ висячимъ замкомъ въ сѣняхъ и отворилъ комору. Въ это самое время плѣнникъ, пользуясь темнотою сѣней, вдругъ вырвался съ необыкновенною силою изъ рукъ его.



«Куда?» закричалъ голова, ухвативъ его еще крѣпче за воротъ.

«Пусти, это я!» слышался тоненькій голосъ.

«Не поможетъ! не поможетъ, братъ! Визжи себѣ хоть чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!» и толкнулъ его въ темную комору такъ, что бѣдный плѣнникъ застоналъ, упавши на полъ, а самъ, въ сопровожденіи десятскаго, отправился въ хату писаря, и вслѣдъ за ними, какъ пароходъ, задымился винокуръ.

Въ размышленіи шли они всѣ трое, потупивъ головы, и вдругъ, на поворотѣ въ темный переулокъ, разомъ вскрикнули отъ сильнаго

удара по лбамъ, и такой же крикъ отгрянулъ въ отвѣтъ имъ. Голова, прищуривши глазъ свой, съ изумленіемъ увидѣлъ писаря съ двумя десятскими.

«А я къ тебѣ иду, панъ писарь!»

«А я къ твоей милости, панъ голова!»

«Чудеса завелися, панъ писарь!»

«Чудныя дѣла, панъ голова!»

«А что?»

«Хлопцы бѣсятся! безчинствуютъ цѣлыми кучами по улицамъ. Твою милость величаютъ такими словами... словомъ, сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить ихъ нечестивымъ своимъ языкомъ. (Все это худошавый писарь, въ пестрядевыхъ шароварахъ и жилетѣ цвѣта винныхъ дрождей, сопровождалъ протягиваніемъ шеи впередъ и приведеніемъ ея тотъ же часъ въ прежнее состояніе). «Вздремнулъ—было немного, подняли съ постели проклятые сорванцы своими срамными пѣснями и стукомъ! Хотѣлъ—было хорошенько приструнить ихъ, да покамѣстъ надѣлъ шаровары и жилетъ, всѣ разбѣжались, куда ни попало. Самый главный, однакоже, не увернулся отъ насъ. Распѣваетъ онъ теперь въ той хатѣ, гдѣ держатъ колодниковъ. Душа горѣла у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, какъ у чорта, что куетъ гвозди для грѣшниковъ».

«А какъ онъ одѣтъ, панъ писарь?»

«Въ черномъ вывороченномъ тулупѣ собачій сынъ, панъ голова!»

«А не лжешь ты, панъ писарь? Что, если сорванецъ сидитъ теперь у меня въ коморѣ?»

Нѣтъ, панъ голова! Ты самъ, не во гнѣвъ будь сказано, погрѣшилъ немного».

«Давайте огня! мы посмотримъ его!»

Огонь принесли, дверь отперли — и голова ахнулъ отъ удивленія, увидѣвъ передъ собою свояченицу.

Скажи, пожалуйста», съ такими словами она приступила къ нему: «ты не свихнулъ еще съ послѣдняго ума? Была ли въ одноглазой башкѣ твоей хоть капля мозгу, когда толкнулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что не ударилась головою объ желѣзный крюкъ. Развѣ я не кричала тебѣ, что это я? Схватилъ, проклятый медвѣдь, своими желѣзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на томъ свѣтѣ толкали черти!..»

Послѣднія слова вынесла она за дверь, на улицу, куда отправилась для какихъ-нибудь своихъ причинъ.

«Да, я вижу, что это ты!» сказалъ голова, очнувшись.

«Что скажешь, панъ писарь: не шельма этотъ проклятый сорви-голова?»



«Шельма, панъ голова!»

«Не пора ли намъ всѣхъ этихъ повѣсь прошколить хорошенько и заставить ихъ заниматься дѣломъ?»

«Давно пора, давно пора, панъ голова!»

«Они, дурни, забрали себѣ... Кой чортъ? мнѣ почудился крикъ свояченицы на улицѣ... Они, дурни, забрали себѣ въ голову, что я имъ ровня. Они думаютъ, что я какой-нибудь ихъ братъ, простой козакъ!...» Небольшой, послѣдовавшій за симъ кашель, и устремленіе глаза исподлобья вокругъ давали догадываться, что голова готовился говорить о чемъ-то важномъ. «Въ тысячу... этихъ проклятыхъ названій годовъ, хоть убей, не выговорю; ну, — году, комиссару тогдашнему, Ледачему, данъ былъ приказъ выбрать изъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленнѣе всѣхъ. О! (это «о!» голова произнесъ, поднявши палецъ вверхъ) посмышленнѣе всѣхъ! въ проводники къ царицѣ. Я тогда...»

«Что и говорить! это всякій уже знаетъ, панъ голова! Всѣ знаютъ, какъ ты выслужилъ царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватилъ немного на душу грѣха, сказавши, что поймалъ этого сорванца въ вывороченномъ тулупѣ?»

«А что до этого дьявола въ вывороченномъ тулупѣ, то его, въ примѣръ другимъ, заковать въ кандалы и наказать примѣрно! Пусть знаютъ, что значитъ власть! Отъ кого же и голова поставленъ, какъ не отъ царя? Потомъ доберемся и до другихъ хлопцевъ: я не забылъ, какъ проклятые сорванцы вогнали въ огородъ стадо свиней, переѣвшихъ мою капусту и огурцы; я не забылъ, какъ чортовы дѣти отказались вымолотить мое жито; я не забылъ... Но провались они, мнѣ нужно непременно узнать, какая это шельма въ вывороченномъ тулупѣ».

«Это проворная, видно, птица!» сказалъ винокуръ, котораго щеки, въ продолженіе всего этого разговора, непрерывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы, оставивъ коротенькую люльку, выбросили цѣлый облачный фонтанъ. «Этакого человѣка не худо, на всякій случай, и при винницѣ держать; а еще лучше повѣсить на верхушкѣ дуба, вмѣсто паникадила».

Такая острота показалась не совсѣмъ глупою винокуру, и онъ тотъ же часъ рѣшился, не дожидаясь одобренія другихъ, наградить себя хриплымъ смѣхомъ.

Въ это время стали приближаться они къ небольшой, почти повалившейся на землю хатѣ. Любопытство нашихъ путниковъ увеличилось: всѣ столпились у дверей. Писарь вынулъ ключъ, загремѣлъ имъ около замка: но этотъ ключъ былъ отъ сундука его. Нетерпѣніе увеличилось. Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побранки, не отыскивая его.

«Здѣсь!» сказалъ онъ, наконецъ, нагнувшись и вынимая его изъ глубины обширнаго кармана, которымъ снабжены были его пестрядевые шаровары.

При этомъ словѣ, сердца нашихъ героевъ, казалось, слились въ одно, и это огромное сердце забилося такъ сильно, что неровный стукъ его не былъ заглушенъ даже брякнувшимъ замкомъ. Двери отворились, и... Голова сталъ блѣденъ, какъ полотно; винокуръ почувствовалъ холодъ, и волосы его, казалось, хотѣли улетѣть на небо; ужасъ изобразился въ лицѣ писаря; десятскіе приросли къ землѣ и не въ состояніи были сомкнуть дружно разинутыхъ ртовъ своихъ: передъ ними стояла свояченица.

Изумленная не менѣе ихъ, она, однакожъ, немного очнулась и сдѣлала движеніе, чтобы подойти къ нимъ.

«Стой!» закричалъ дикимъ голосомъ голова и захлопнулъ за нею дверь. «Господа, это сатана!» продолжалъ онъ. «Огня! живѣе огня! Не пожалѣю казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось на землѣ!»

Свояченица въ ужасѣ кричала, слыша за дверью грозное опредѣленіе.

«Чтò вы, братцы!» говорилъ винокуръ. «Слава Богу, волосы у васъ чуть не въ снѣгу, а до сихъ поръ ума не нажили: отъ простого огня вѣдьма не загорится! Только огонь изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Постойте, я сейчасъ все улажу!»

Сказавши это, высыпалъ онъ горячую золу изъ трубки въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяніе придало въ это время духу бѣдной свояченицы: громко стала она умолять и разувѣрять ихъ.

«Постойте, братцы! Зачѣмъ напрасно грѣха набираться? Можетъ-быть, это и не сатана! сказалъ писарь. «Если оно, то-есть, то самое которое сидитъ тамъ, согласится положить на себя крестное знаменіе, то это вѣрный знакъ, что не чортъ».

Предложеніе одобрено.

«Чуръ меня, сатана!» продолжалъ писарь, приложась губами къ скважинкѣ въ дверяхъ. «Если не пошевелишься съ мѣста, мы отворимъ дверь».

Дверь отворили.

«Перекрестись!» сказалъ голова, оглядываясь назадъ. какъ будто выбирая безопасное мѣсто, въ случаѣ ретирады.

Свояченица перекрестилась.

«Кой чортъ! точно, это свояченица!»

«Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту конуру?»

И свояченица, всхлипывая, рассказала, какъ схватили ее хлопцы въ охапку на улицѣ и, несмотря на сопротивленіе, опустили въ широкое

окно хаты и заколотили ставнемъ. Писарь взглянулъ: петли у широкаго ставня оторваны, и онъ приколотенъ только сверху деревяннымъ брусомъ.

«Добро ты, одноглазый сатана!» вскричала она, приступивъ къ головѣ, который попятился назадъ и все еще продолжалъ ее мѣрять своимъ глазомъ. «Я знаю твой умыселъ: ты хотѣлъ, ты радъ былъ случаю съѣсть меня, чтобы свободнѣе было тебѣ волочиться за дѣвчатами, чтобы некому было видѣть, какъ дурачится съдой дѣдъ. Ты думаешь, я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ Ганною? О, я знаю все. Меня трудно провести и не твоей безтолковой башкѣ. Я долго терплю, но послѣ не погнѣвайся...»

Сказавши это, она показала кулакъ и быстро ушла, оставивъ въ остолбенѣнни голову.

«Нѣтъ, тутъ не на шутку сатана вмѣшался», думалъ онъ, сильно почесывая свою макушку.

«Поймали!» вскрикнули вошедшіе въ это время десятскіе.

«Кого поймали?» спросилъ голова.

«Дьявола въ вывороченномъ тулупѣ».

«Подавайте его!» закричалъ голова, схвативъ за руки приведеннаго плѣнника. «Вы съ ума сошли: да это пьяный Каленикъ!»

«Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ голова! отвѣчали десятскіе. «Въ переулкѣ окружили проклятые хлопцы, стали танцовать, дергать, высывавать языки, вырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!.. И какъ мы попали на эту ворону, вмѣсто его, Богъ одинъ знаетъ!»

«Властью моею и всѣхъ мірянъ дается повелѣніе», сказалъ голова: «изловить сей же мигъ сего разбойника, а онымъ образомъ и всѣхъ, кого найдете на улицѣ, и привести на расправу ко мнѣ!..»

«Помилуй, панъ голова!» закричали нѣкоторые, кланяясь въ ноги. «Увидѣлъ бы ты, какія хари: убей Богъ насъ, и родились, и крестились — не видали такихъ мерзкихъ рожъ. Долго ли до грѣха, панъ голова? Перепугаютъ добраго человѣка такъ, что послѣ ни одна баба не возьмется вылить переполоху».

«Дамъ я вамъ переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, вѣрно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики! Что это?.. Да что это?.. Вы за-





водите разбои!.. Вы... Вы... Я донесу комиссару! Сей же часъ, слышите, сей же часъ! бѣгите, летите птицею! Чтобъ я васъ... Чтобъ вы мнѣ...»  
 Всѣ разбѣжались.

## V.

## Утопленница.

Не безпокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ погоняхъ, виновникъ всей этой кутерьмы медленно подходилъ къ старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это былъ Левко. Черный тулупъ его былъ разстегнутъ; шапку держалъ онъ въ рукѣ; потъ валилъ съ него градомъ. Величественно и мрачно чернѣлъ кленовый лѣсъ, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ къ мѣсяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный прудъ подулъ свѣжестью на усталаго пѣшехода и заставилъ его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащѣ лѣса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зѣницы; усталые члены готовы были забыться и онѣмѣть; голова клонилась... «Нѣтъ, этакъ я засну еще здѣсь!» говорилъ онъ, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянувшись: ночь казалась передъ нимъ еще блистательнѣе. Какое-то странное, упоительное сіяніе примѣшалось къ блеску мѣсяца. Никогда еще не случилось ему видѣть подобнаго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвѣтущихъ яблонь и ночныхъ цвѣтовъ лился по всей землѣ. Съ изумленіемъ глядѣлъ онъ въ неподвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинувшись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. Вмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бѣлый локоть, потомъ выглянула привѣтливая головка съ блестящими очами, тихо свѣтившими сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается... Сердце его вдругъ забилося... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ пруда и взглянулъ на домъ: мрачные ставни были открыты; стекла сіяли при мѣсяцѣ. «Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе толки», подумалъ онъ про себя. «Домъ новенькій; краски живы, какъ будто сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ кто-нибудь». И молча подошелъ онъ ближе; но въ домѣ все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистательныя пѣсни соловьевъ, и когда онѣ,







казалось, умирали въ томленіи и нѣгѣ, слышался шелестъ и трещаніе кузнечиковъ или гудѣніе болотной птицы, ударявшей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутилъ Левко въ своемъ сердцѣ. Настроивъ бандуру, заигралъ онъ и запѣлъ:

Ой ты, мисяцю, мій мисяченьку!  
И ты, зоре ясна!  
Ой, свитыть тамъ по подворью,  
Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отраженіе видѣлъ онъ въ прудѣ, выглянула, внимательно прислушиваясь къ пѣснѣ. Длинные рѣсницы ея были полуопущены на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно, какъ блескъ мѣсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она засмѣялась!.. Левко вздрогнулъ. «Спой мнѣ, молодой козакъ, какую-нибудь пѣсню!» тихо молвила она, наклонивъ свою голову набокъ и опустивъ совсѣмъ густыя рѣсницы.

Какую же тебѣ пѣсню спѣть, моя ясная панночка?»

Слезы тихо покатались по блѣдному лицу ея. «Парубокъ», говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось въ ея рѣчи: «парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Я ничего не пожалѣю для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитыя шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я подарю тебѣ поясъ, узинанный жемчугомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Она страшная вѣдьма: мнѣ не было отъ нея покою на бѣломъ свѣтѣ. Она мучила меня, заставляла работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. Погляди на бѣлую шею мою; они не смываются! они не смываются! они не за что не смоятся, эти синія пятна отъ желѣзныхъ когтей ея! Погляди на бѣлыя ноги мои: онѣ много ходили, не по коврамъ только, — по песку горячему, по землѣ сырой, по колючему терновнику онѣ ходили! А на очи мои, посмотри на очи: они не глядятъ отъ слезъ!.. Найди ее, парубокъ, найди мнѣ мою мачиху!..»

Голосъ ея, который вдругъ было возвысился, остановился. Ручьи слезъ покатались по блѣдному лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти, сперлось въ груди парубка.

«Я готовъ на все для тебя, моя панночка!» сказалъ онъ въ сердечномъ волненіи: «но какъ мнѣ, гдѣ ее найти?»

«Посмотри, посмотри!» быстро говорила она: «она здѣсь! она на берегу играетъ въ хороводѣ между моими дѣвушками и грѣется на мѣсяцѣ. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здѣсь. Мнѣ тяжело, мнѣ душно

отъ нея. Я не могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я тону и падаю на дно, какъ ключъ. Отыщи ее парубокъ!»

Левко посмотрѣлъ на берегъ; въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни, въ бѣлыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя ожерелья, монисты, дукаты блистали на ихъ шеяхъ; но онѣ были блѣдны: тѣло ихъ было какъ будто сваяно изъ прозрачныхъ облаковъ, и будто свѣтилось насквозь



при серебряномъ мѣсяцѣ. Хороводъ, играя, придвинулся къ нему ближе. Послышались голоса.

«Давайте въ вѣрона, давайте играть въ вѣрона!» зашумѣли всѣ, будто прирѣчный тростникъ, тронутый, въ тихій часъ сумерекъ, воздушными устами вѣтра.

«Кому же быть вѣрономъ?»

Кинули жеребей — и одна дѣвушка вышла изъ толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, какъ и на другихъ. Замѣтно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебѣгала отъ нападеній хищнаго врага.

«Нѣтъ я не хочу быть вѣрономъ!» сказала дѣвушка, изнемогая отъ усталости: «мнѣ жалко отнимать цыплятъ у бѣдной матери!»

«Ты не вѣдьма!» подумалъ Левко.

«Кто же будетъ вѣрономъ?»

Дѣвушки снова собирались кинуть жеребей.

«Я буду вѣрономъ!» вызвалась одна изъ середины.

Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ стороны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ замѣчать, что тѣло ея не такъ свѣтилось, какъ у прочихъ: внутри его видѣлось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ: вѣронъ бросился на одну изъ вереницы, схватилъ ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лицѣ ея сверкнула злобная радость.

«Вѣдьма!» сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ и оборотившись къ дому.

Панночка засмѣялась, и дѣвушки съ крикомъ увели за собою представлявшую вѣрона.

«Чѣмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебѣ не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣшаетъ тебѣ жениться на ней. Онъ теперь не помѣшаетъ; возьми, отдай ему эту записку...»

Бѣлая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвѣтилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томительнымъ біеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... проснулся.

## VI.

### П р о б у ж д е н і е.

**Н**еужели это я спалъ?» сказалъ про себя Левко, вставая съ небольшого пригорка. «Такъ живо, какъ будто наяву!.. Чудно, чудно!» повторилъ онъ, оглядываясь. Мѣсяцъ, остановившійся надъ его головою, показывалъ полночь; вездѣ—тишина; отъ пруда вѣялъ холодъ; надъ нимъ печально стоялъ ветхій домъ съ закрытыми ставнями; мохъ и дикій бурьянъ показывали, что давно изъ него удалились люди. Тутъ онъ разогнулъ свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнулъ отъ изумленія, почувствовавши въ ней записку. «Эхъ, если бы я зналъ грамотѣ!» подумалъ онъ, оборачивая ее передъ собою на всѣ стороны. Въ это мгновеніе послышался позади его шумъ.

«Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего трусили! насъ десятокъ. Я держу закладъ, что это человѣкъ, а не чортъ!..» Такъ кричалъ го-



лова своимъ спутникамъ, и Левко почувствовалъ себя схваченнымъ нѣсколькими руками, изъ которыхъ инья дрожали отъ страха. «Скидай-ка, пріятель, свою страшную личину! Полно тебѣ дурачить людей!» проговорилъ голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопѣлъ, выпучивъ на него — глазъ свой. «Левко! сынъ!» вскричалъ онъ, отступая отъ удивленія и опуская руки. «Это ты, собачій сынъ! Вишь бѣсовское рожденіе! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьяволъ строить штуки! А это, выходитъ, все ты — невареный кисель твоему батькѣ въ горло! — изволишь заводить по улицѣ разбои, сочиняешь пѣсни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина? Вязать его!»

«Постой, батько! Велѣно тебѣ отдать эту записочку», проговорилъ Левко.

«Не до записокъ теперь, голубчикъ! Вязать его!»

«Постой, панъ голова!» сказалъ писарь, развернувъ записку: «комиссарова рука!»

«Комиссара?»

«Комиссара?» повторили машинально десятскіе.

«Комиссара? чудно! еще не понятнѣ!» подумалъ про себя Левко.

«Читай, читай?» сказалъ голова: «что тамъ пишетъ комиссаръ?»

«Послушаемъ, что пишетъ комиссаръ!» произнесъ винокуръ, держа въ зубахъ люльку и высѣкая огонь.

Писарь откашлялся и началъ читать:

«Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый дуракъ, вмѣсто того, чтобы собрать прежнія недоимки и вести на селѣ порядокъ, одурѣлъ и строишь пакости...»

«Вотъ, ей Богу», прервалъ голова: «ничего не слышу!»

Писарь началъ снова:

«Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый ду...»

«Стой, стой! не нужно!» закричалъ голова: «хоть и не слышалъ, однакожъ знаю, что главнаго тутъ дѣла еще нѣтъ. Читай далѣе!»

«А вслѣдствіе того, приказываю тебѣ сей же часъ женить твоего сына Левка Макогоненка на козачкѣ изъ вашего же села Ганнѣ Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дорогѣ и не давать обывательскихъ лошадей безъ моего вѣдома судовымъ паничамъ, хоть бы они ѣхали прямо изъ казенной палаты. Если же, по пріѣздѣ моемъ, найду оное приказаніе мое не приведеннымъ въ исполненіе, то тебя одного потребую къ отвѣту. Комиссаръ, отставной поручикъ Козьма Деркачъ-Дришпановскій».

«Вотъ что!» сказалъ голова, разинувши ротъ. «Слышите ли вы, слышите ли: за все съ головы спросятъ, и потому слушаться! безпре-







кословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя», продолжалъ онъ, оборотясь къ Левку: «вслѣдствіе приказанія комиссара, — хотя чудно мнѣ, какъ это дошло до него, — я женю; только напередъ попробуешь нагайки! Знаешь ту, что висить у меня на стѣнѣ возлѣ покута? Я поновлю ее завтра... Гдѣ ты взялъ эту записку?»

Левко, несмотря на изумленіе, происшедшее отъ такого неожиданнаго оборота его дѣла, имѣлъ благоразуміе приготовить въ умѣ своемъ другой отвѣтъ и утаить настоящую истину, какимъ образомъ досталась записка.

«Я отлучался», сказалъ онъ, «вчера ввечеру еще въ городъ и встрѣтилъ комиссара, выльзавшаго изъ брички. Узнавши, что я изъ нашего



села, далъ онъ мнѣ эту записку и велѣлъ на словахъ тебѣ сказать, батько, что заѣдетъ на возвратномъ пути къ намъ обѣдать».

«Онъ это говорилъ?»

«Говорилъ».

«Слышите ли?» сказалъ голова съ важною осанкою, оборотившись къ своимъ спутникамъ: «комиссаръ самъ своею особою пріѣдетъ къ нашему брату, т. е. ко мнѣ на обѣдъ. О!..» Тутъ голова поднялъ палецъ вверхъ и голову привелъ въ такое положеніе, какъ будто бы она прислушивалась къ чему-нибудь. «Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ пріѣдетъ ко мнѣ обѣдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты, свать, это не совсѣмъ пустая честь! Не правда ли?»

«Еще, сколько могу припомнить», подхватилъ писарь: «ни одинъ голова не угощалъ комиссара обѣдомъ».

«Не всякій голова головѣ чета!» произнесъ съ самодовольнымъ видомъ голова. Ротъ его покривился, и что-то въ родѣ тяжелаго смѣха, похожее болѣе на гудѣніе отдаленнаго грома, зазвучало въ его устахъ. «Какъ думаешь, панъ писарь, нужно бы для именитаго гостя дать приказъ, чтобы съ каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?..»

«Нужно бы, нужно, панъ голова!»

«А когда же свадьбу, батько?» спросилъ Левко.

«Свадьбу? Далъ бы я тебѣ свадьбу!.. Ну, да для именитаго гостя... завтра васъ попъ и обвѣнчаетъ. Чортъ съ вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значитъ исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшній случай припомнилъ мнѣ то время, когда я...» При этихъ словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и значительный взглядъ исподлобья.

«Ну, теперь пойдетъ голова рассказывать, какъ везъ царицу!» сказалъ Левко и быстрыми шагами и радостно спѣшилъ къ знакомой хатѣ, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебѣ Богъ небесное царство добрая и прекрасная панночка!» думалъ онъ про-себя. «Пусть тебѣ на



томъ свѣтѣ вѣчно усмѣхается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся въ эту ночь; тебѣ одной только, Галю, передамъ его: ты одна только повѣришь мнѣ и вмѣстѣ со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!» Тутъ онъ приблизился къ хатѣ: окно было отперто; лучи мѣсяца проходили черезъ него и падали на спящую передъ нимъ Ганну; голова ея оперлась на руку;

щеки тихо горѣли; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебѣ все, что есть лучшаго на свѣтѣ; но и то не будетъ лучше нашего пробужденія!» Перекрестивъ ее, закрылъ онъ окошко и тихонько удалился. И чрезъ нѣсколько минутъ, все уже уснуло на селѣ; одинъ только мѣсяцъ такъ же блистательно и чудно плылъ въ необъятныхъ пустыняхъ роскошнаго украинскаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышинѣ, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Такъ же прекрасна была земля, въ дивномъ серебряномъ блескѣ; но уже никто не упивался ими: все погрузилось въ сонъ. Изрѣдка только перерывалось мгновенно молчаніе лаемъ собакъ, и долго еще пьяный Каленикъ шатался по уснувшимъ улицамъ, отыскивая свою хату.







## Пропавшая грамота.

Быль,

разсказанная дьячком \*\*\*ской церкви.

**Т**акъ вы хотите, чтобы я вамъ еще разсказалъ про дѣда? — Пожалуй, почему же не потѣшить прибауткой? Эхъ, старина, старина! Чтò за радость, чтò за разгулье падеть на сердце, когда услышишь про то, чтò давно-давно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ! А какъ еще впутается какой-нибудь родичъ, дѣдъ или прадѣдъ, — ну, тогда и рукой махни: чтобъ мнѣ поперхнулось за акаѳистомъ великомученицѣ Варварѣ, если не чудится, что вотъ-вотъ самъ все это дѣлаешь, какъ будто залѣзъ въ прадѣдовскую душу, или прадѣдовская душа шалить въ тебѣ... Нѣтъ, мнѣ пуще всего наши дѣвчата и молодицы; покажись только на глаза имъ: «*Ѳома Григорьевичъ! Ѳома Григорьевичъ! а нуте, яку-нибудь страховинну казочку! а нуте, нуте!..*» тара-та-та, та-та-та, и пойдутъ, и пойдутъ... Разсказать — то, конечно, не жаль, да загляните-ка, чтò дѣлается съ ними въ постели. Вѣдь я знаю, что каждая дрожить подъ одѣяломъ, какъ будто бьетъ ее лихорадка, и рада бы съ головою влѣзть въ тулупъ свой. Царапни горшкомъ крыса, сама какъ-нибудь задѣнь ногою кочергу — и Боже упаси! и душа въ пяткахъ. А на другой день ничего не бывало; навязывается сызнова: разскажи ей страшную сказку да и только. Чтò-жъ бы такое разсказать вамъ? Вдругъ не взбредетъ на умъ... Да, разскажу я вамъ, какъ вѣдьмы играли съ покойнымъ дѣдомъ въ *дурня* \*). Только заранѣ прошу васъ, господа, не сбивайте съ толку, а то такой кисель выйдетъ, что совѣстно будетъ и въ ротъ взять.

\*) Т. е. въ дурачки.

Покойный дѣдъ, надобно вамъ сказать, былъ не изъ простыхъ въ свое время козаковъ. Зналъ и твердо-онъ-то и словотитлу поставить. Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что теперь и поповичъ иной спрячется. Ну, сами знаете, что въ тогдашнія времена, если собрать со всего Батурина грамотеевъ, то нечего и шапки подставлять,—въ одну горсть можно было всѣхъ уложить. Стало-быть, и дивиться нечего, когда всякій встрѣчный кланялся дѣду мало не въ поясъ.

Одинъ разъ задумалось вельможному гетману послать за чѣмъ-то къ царицѣ грамоту. Тогдашній полковой писарь,—вотъ нелегкая его



возьми, и прозвища не вспомню... Вискрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается мудреное прозвище,—позвалъ къ себѣ дѣда и сказалъ ему, что, вотъ, наряжаетъ его самъ гетманъ гонцомъ съ грамотою къ царицѣ. Дѣдъ не любилъ долго собираться: грамоту зашилъ въ шапку, вывелъ коня, чмокнулъ жену и двухъ своихъ, какъ самъ онъ называлъ, поросенковъ, изъ которыхъ одинъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, и поднялъ такую за собою пыль, какъ будто бы пятнадцать хлопцевъ задумали посреди улицы играть въ кашу. На другой день, еще пѣтухъ не кричалъ въ четвертый разъ, дѣдъ уже былъ въ Конотопѣ. На ту пору была тамъ ярмарка: народу высыпало по улицамъ

столько, что въ глазахъ рябило. Но такъ какъ было рано, то все дремало, протянувшись на землѣ. Возлѣ коровы лежалъ гуляка-парубокъ, съ покраснѣвшимъ, какъ снѣгирь, носомъ; подалѣ храпѣла, сидя, перекупка съ кремнями. синькою, дробью и бубликами; подѣ телѣгою лежалъ цыганъ: на возу съ рыбой — чумакъ; на самой дорогѣ раскинулъ ноги бородачъ-москаль съ поясами и рукавицами... ну, всякаго сброду, какъ водится по ярмаркамъ. Дѣдъ пріостановился, чтобы разглядѣть хорошенько. Между тѣмъ въ яткахъ начало мало-по-малу шевелиться: жиловки стали побрякивать фляжками, дымъ покати́лъ то тамъ, то сямъ кольцами, и запахъ горячихъ сластенъ понесся по всему табору. Дѣду вспало на умъ, что у него нѣтъ ни огнива, ни табаку наготовѣ: вотъ и пошелъ таскаться по ярмаркѣ. Не успѣлъ пройти двадцати шаговъ — навстрѣчу запорожецъ. Гуляка, и по лицу видно! Красные, какъ жаръ, шаровары, синій жупанъ, яркій цвѣтной поясъ, при боку сабля и люлька съ мѣдною цѣпочкою по самыя пяты — запорожецъ да и только! Эхъ, народецъ! станетъ, вытянется, поведетъ рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами — и пустится! Да вѣдь какъ пустится! ноги отплясываютъ словно веретено въ бабихъ рукахъ; чтò вихорь, дернетъ рукою по всѣмъ струнамъ бандуры, и тутъ же, подперши ея въ боки, несется въ присядку; зальется пѣсней — душа гуляетъ!.. Нѣтъ, прошло времячко: не увидать больше запорожцевъ! Да. Такъ встрѣтились. Слово за слово — долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать, такъ что дѣдъ совсѣмъ уже было позабылъ про путь свой. Попойка завелась, какъ на свадьбѣ передъ постомъ великимъ. Только, видно, наконецъ прискучило бить горшки и швырять въ народъ деньгами, да и ярмаркѣ не вѣкъ же стоять! Вотъ сговорились новые пріатели, чтобъ не разлучаться и путь держать вмѣстѣ. Было давно подѣ вечеръ, когда выѣхали они въ поле. Солнце убралось на отдыхъ; гдѣ-гдѣ горѣли вмѣсто него красноватыя полосы; по полю пестрѣли нивы, чтò праздничныя плахты чернобровыхъ молодежи. Нашего запорожца раздобаръ взялъ страшный. Дѣдъ и еще другой, приплетшійся къ нимъ гуляка, подумали уже, не бѣсъ ли засѣлъ въ него. Откуда чтò набиралось. Исторіи и присказки такія диковинныя, что дѣдъ нѣсколько разъ хватался за бока и чуть не надсадилъ своего живота со смѣху. Но въ полѣ становилось чѣмъ далѣе, тѣмъ сумрачнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ становилась несвязнѣе и молодецкая молвь. Наконецъ, рассказчикъ нашъ притихъ совсѣмъ и вздрагивалъ при малѣйшемъ шорохѣ.

«Ге, ге, землякъ! да ты не на шутку принялся считать совѣ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печь!»

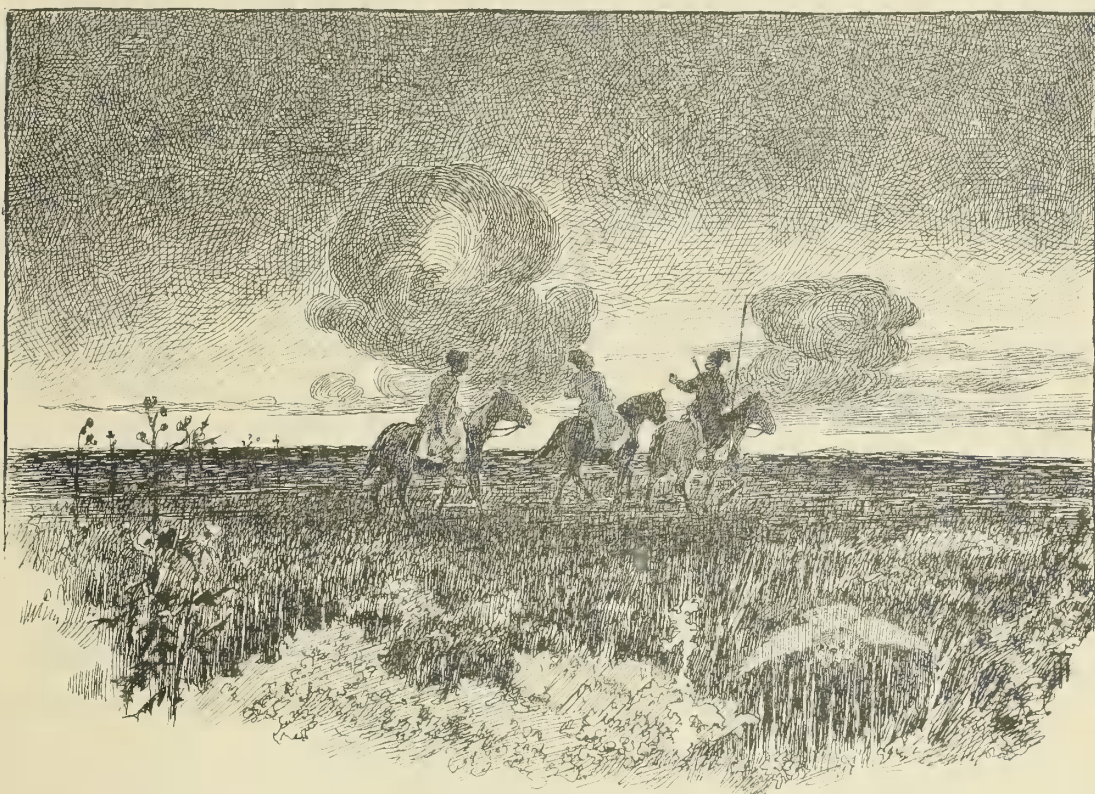
«Передъ вами нечего таиться», сказалъ онъ, вдругъ оборотившись и неподвижно уставивъ на нихъ глаза свои. «Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?»



«Экая невидальщина! Кто на вѣку своемъ не знался съ нечистымъ? Тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится, на прахъ».

«Эхъ, хлопцы! гуляль бы, да въ ночь эту срокъ молодцу! Эй, братцы!» сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: «эй, не выдайте! не поспите одной ночи! Вѣкъ не забуду вашей дружбы!»

Почему-жъ не пособить человѣку въ такомъ горѣ? Дѣдъ объявилъ напрямикъ, что скорѣе дастъ онъ отрѣзать оселедецъ съ собственной головы, чѣмъ допустить чорта понюхать собачьей мордой своей христіанской души.



Козаки наши ѣхали бы, можетъ, и далѣе, если бы не обволокло всего неба ночью, словно чернымъ рядномъ, и въ полѣ не стало такъ же темно, какъ подъ овчиннымъ тулупомъ. Издали только мерещился огонекъ, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мракъ. Огонекъ, казалось, неся навстрѣчу, и передъ козаками показался шинокъ, повалившійся на одну сторону, словно баба на пути съ веселыхъ крестинъ. Въ тѣ поры шинки были не то, что теперь. Доброму человѣку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, — прилечь даже негдѣ было, когда въ голову заберется хмель, и ноги начнутъ писать покой-онъ-по. Дворъ былъ уставленъ весь чумацкими возами; подъ повѣтками, въ ясляхъ, въ сѣняхъ, иной свер-

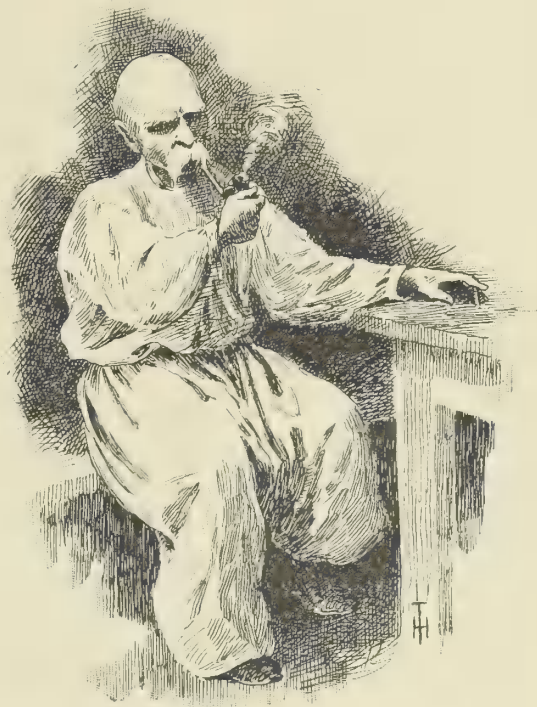


Ш И Н О КЪ

нувшись, другой развернувшись, храпѣли, какъ коты. Шинкаръ одинъ, передъ каганцемъ, нарѣзывалъ рубцами на палочкѣ, сколько квартъ и осьмухъ высушили чумацкія головы. Дѣдъ, спросивши треть ведра на троихъ, отправился въ сарай. Всѣ трое легли рядомъ. Только не успѣлъ онъ повернуться, какъ видитъ, что его земляки спятъ уже мертвецкимъ сномъ. Разбудивши приставаго къ нимъ третьяго козака, дѣдъ напомнилъ ему про данное товарищу обѣщаніе. Тотъ привсталъ, протеръ глаза и снова уснулъ. Нечего дѣлать, пришлось одному караулить. Чтобы чѣмъ-нибудь разогнать сонъ, осмотрѣлъ онъ всѣ возы, провѣдалъ коней, закурилъ люльку, пришелъ назадъ и сѣлъ опять около своихъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни одна муха не пролетѣла. Вотъ и чудится ему, что изъ-за сосѣдняго воза что-то сѣрое выказываетъ роги... Тутъ глаза его начали смыкаться, такъ что принужденъ онъ былъ ежеминутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставшеюся водкой. Но какъ скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконецъ, мало погодя, опять показывается изъ-подъ воза чудище... Дѣдъ вытаращилъ глаза, сколько могъ; но проклятая дремота все туманила передъ нимъ; руки его околѣнѣли, голова скатилась, и крѣпкій сонъ схватилъ его такъ, что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ дѣдъ, и, какъ припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился онъ на ноги. Потянувшись раза два и почесавъ спину, замѣтилъ онъ, что воевъ стояло уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до свѣта. Къ своимъ—козакъ спитъ, а запорожца нѣтъ. Выспрашивать—никто знать не знаетъ; одна только верхняя свитка лежала на томъ мѣстѣ. Страхъ и раздумье взяло дѣда. Пошелъ посмотрѣть коней—ни своего, ни запорожскаго! Чтò-бъ это значило? Положимъ, запорожца взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя все, дѣдъ заключилъ, что, вѣрно, чортъ приходилъ пѣшкомъ, а какъ до пекла не близко, то и стянулъ его коня. Больно ему было крѣпко, что не сдер-



жалъ козацкаго слова. «Ну», думаетъ, «нечего дѣлать, пойду пѣшкомъ: авось попадется на дорогѣ какой-нибудь барышникъ, ѣдущій съ ярмарки, какъ-нибудь уже куплю коня». Только хватился за шапку — и шапки нѣтъ. Всплеснулъ руками покойный дѣдъ, какъ вспомнилъ, что вчера еще помѣнялись они на время съ запорожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Вотъ тебѣ и гетьманскій гостинецъ! Вотъ тебѣ и привезъ грамоту къ царицѣ! Тутъ дѣдъ принялся угощать чорта такими прозвищами, что, думаю, ему не одинъ разъ чихалось тогда въ пеклѣ. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесалъ дѣдъ, никакъ не могъ ничего придумать. Чтò дѣлать? Кинулся достать чужого ума: собралъ всѣхъ, бывшихъ тогда въ шинкѣ, добрыхъ людей, чумаковъ и просто заѣзжихъ, и рассказалъ, что такъ и такъ, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеномъ свѣтѣ, чтобы гетьманскую грамоту утащилъ чортъ. Другіе же прибавили, что когда чортъ да москаль украдутъ что-нибудь, то поминай, какъ и звали. Одинъ только шинкаръ сидѣлъ молча въ углу. Дѣдъ и подступилъ къ нему. Ужъ когда молчитъ человѣкъ, то, вѣрно, зашибъ много умомъ. Только шинкаръ не такъ-то былъ щедръ на слова, и если бы дѣдъ не полѣзъ въ карманъ за пятью золотыми, то простоялъ бы передъ нимъ даромъ.



шинкаръ

«Я научу тебя, какъ найти грамоту», сказалъ онъ, отводя его въ сторону. У дѣда и на сердцѣ отлегло. «Я вижу уже по глазамъ, что ты козакъ — не баба. Смотри же! Близко шинка будетъ поворотъ направо въ лѣсъ. Только станетъ въ полѣ примеркать, чтобы ты былъ уже наготовѣ. Въ лѣсу живутъ цыганы и выходятъ изъ норъ своихъ ковать желѣзо въ такую ночь, въ какую однѣ вѣдьмы ѣздятъ на своихъ кочергахъ. Чѣмъ они промышляютъ на самомъ дѣлѣ, знать тебѣ нечего. Много будетъ стуку по лѣсу, только ты не иди въ тѣ стороны, откуда слышишь стукъ; а будетъ передъ тобою малая дорожка, мимо обожженнаго дерева: дорожкой этою иди, иди, иди... Станетъ тебя терно-



виникъ царапать, густой орѣшникъ заслонять дорогу — ты все иди; и какъ придешь къ небольшой рѣчкѣ, тогда только можешь остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать въ карманы того, для чего и карманы сдѣланы... Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любятъ». Сказавши это, шинкаръ ушелъ въ свою конуру и не хотѣлъ больше говорить ни слова.

Покойный дѣдъ былъ человѣкъ — не то, чтобы изъ трусливаго десятка; бывало, встрѣтитъ волка, такъ и хватаетъ прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ, — всѣ, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то подирало его по кожѣ, когда вступилъ онъ въ такую глухую ночь въ лѣсъ. Хотя бы звѣздочка на небѣ. Темно и глухо, какъ въ винномъ подвалѣ; только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревьевъ, и деревья, что охмелѣвшія козацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пьяную молву. Какъ вотъ завѣяло такимъ холодомъ, что дѣдъ вспомнилъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ словно сто молотовъ застучало по лѣсу такимъ стукомъ, что у него зазвенѣло въ головѣ. И, будто зарницею, освѣтило на минуту весь лѣсъ. Дѣдъ тотчасъ увидѣлъ дорожку, пробиравшуюся промежъ мелкаго кустарника. Вотъ и обожженное дерево, и кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ было ему говорено; нѣтъ, не обманулъ шинкаръ. Однакожъ, не совсѣмъ весело было продираться черезъ колючіе кусты; еще отъ роду не видалъ онъ, чтобы проклятые шипы и сучья такъ больно царапались: почти на каждомъ шагу забирало его вскрикнуть. Мало-по-малу, выбрался онъ на просторное мѣсто, и, сколько могъ замѣтить, деревья рѣдѣли и становились, чѣмъ далѣе, такія широкія, какихъ дѣдъ не видывалъ и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и рѣчка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоялъ дѣдъ у берега, посматривая на всѣ стороны. На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичъ въ козачьихъ лапахъ. Вотъ и мостикъ! «Ну, тутъ одна только чертовская таратайка развѣ пройдетъ». Дѣдъ, однакожъ, ступилъ смѣло, и скорѣе, чѣмъ бы иной успѣлъ достать рожокъ, понюхать табаку, былъ уже на другомъ берегу. Теперь только разглядѣлъ онъ, что возлѣ огня сидѣли люди и такія смазливяя рожи, что въ другое время, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь, нечего дѣлать, нужно было завязаться. Вотъ дѣдъ и отвѣсилъ имъ поклонъ, мало не въ поясъ: «Помогай Богъ вамъ, добрые люди!» Хотя бы одинъ кивнулъ головой: сидятъ да молчатъ, да что-то сыплютъ въ огонь. Видя одно мѣсто незанятымъ, дѣдъ безъ всякихъ околичностей сѣлъ и самъ. Смазливяя рожи — ничего; ничего и дѣдъ. Долго сидѣли молча. Дѣду уже и прискучило;







давай шарить въ карманѣ, вынулъ люльку, посмотрѣлъ вокругъ — ни одинъ не глядитъ на него. «Уже, добродѣйство, будьте ласковы: какъ бы такъ, чтобы, примѣрно сказать, того»... (дѣдъ живалъ въ свѣтѣ не мало, зналъ уже, какъ подпускать турусы, и при случаѣ, пожалуй, и передъ царемъ не ударилъ бы лицомъ въ грязь) «чтобы, примѣрно сказать, и себя не забыть, да и васъ не обидѣть, — люлька-то у меня есть, да того, чѣмъ бы зажечь ее, *чортъ-ма* (не имѣется)». И на эту рѣчь хотъ бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько дѣду въ лобъ, такъ что, если бы онъ немного не посторонился, то, статья-можетъ, распрощался бы навѣки съ однимъ глазомъ. Видя, наконецъ, что время даромъ проходитъ, рѣшился — будетъ ли слушать нечистое племя, или нѣтъ — рассказать дѣло. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дѣдъ догадался, забралъ въ горсть всѣ бывшія съ нимъ деньги и кинулъ, словно собакамъ, имъ въ середину. Какъ только кинулъ онъ деньги, все передъ нимъ перемѣшалось, земля задрожала и какъ уже, — онъ и самъ рассказать не умѣлъ, — попалъ чуть ли не въ самое пекло. «Батюшки мои!» ахнулъ дѣдъ, разглядѣвши хорошенько. Чтѣ за чудища! рожи на рожѣ, какъ говорится, не видно. Вѣдьмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество выпадетъ снѣгу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмаркѣ. И всѣ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмельныя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль подняли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго человѣка при одномъ видѣ, какъ высоко скакало бѣсовское племя. На дѣда, несмотря на весь страхъ, смѣхъ напалъ, когда увидѣлъ, какъ черти съ собачьими мордами, на нѣмецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около вѣдьмъ, будто парни около красныхъ дѣвушекъ, а музыканты тузили себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали носами, какъ въ валторны. Только завидѣли дѣда — и турнули къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, лошадиныя рыла — всѣ повытягивались, и вотъ такъ и лѣзутъ цѣловаться. Плюнулъ дѣдъ, такая мерзость напала! Наконецъ, схватили его и посадили за столъ, длиною, можетъ, съ дорогу отъ Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совѣмъ худо», подумалъ дѣдъ, завидѣвши на столѣ свинину, колбасы, крошеный съ капустой лукъ и много всякихъ сластей: «видно, дьявольская сволочь не держитъ постовъ». Дѣдъ-таки, не мѣшаетъ вамъ знать, не упускалъ при случаѣ перехватить того-сего на зубы. Ыдалъ, покойникъ, аппетитно, и потому, не пускаясь въ рассказы, придвинулъ къ себѣ миску съ нарѣзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины, взялъ вилку, мало чѣмъ поменьше тѣхъ вилъ, которыми мужикъ беретъ сѣно, захватилъ ею самый увѣсистый кусокъ, поставилъ корку хлѣба — и, глядь, и отправилъ въ чужой ротъ, вотъ-вотъ возлѣ самыхъ ушей, и слышно даже, какъ чья-то морда жуется и щелкаетъ зубами на весь столъ. Дѣдъ ничего; схватилъ другой кусокъ

и вотъ, кажись, и по губамъ зацѣпилъ, только опять не въ свое горло. Въ третій разъ — снова мимо. Взбѣленился дѣдъ: позабылъ и страхъ, и въ чьихъ лапахъ находится онъ, прискочилъ къ вѣдьмамъ: «Что вы, Иродово племя, задумали смѣяться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же часъ, моей козацкой шапки, то будь я католикъ, когда не переверочу свинныхъ рылъ вашихъ на затылокъ!» Не успѣлъ онъ докончить послѣднихъ словъ, какъ всѣ чудища выскалили зубы и подняли такой смѣхъ, что у дѣда на душѣ захолонуло.

«Ладно!» провизжала одна изъ вѣдьмъ, которую дѣдъ почелъ за старшую надъ всѣми, потому личина у нея была чуть ли еще не красивѣе всѣхъ: «шапку отдадимъ тебѣ, только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ дурня!»

Что прикажешь дѣлать? Козаку сѣсть съ бабами въ дурня! Дѣдъ отпираться, отпираться, наконецъ, сѣлъ. Принесли карты, замасленные, какими только у насъ поповны гадаютъ про жениховъ.

«Слушай же!» залаяла вѣдьма въ другой разъ: «если хоть разъ выиграешь — твоя шапка; когда же всѣ три раза останешься дурнемъ, то не прогнѣвайся, не только шапки, можетъ, и свѣта больше не увидишь!»

«Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будетъ, то будетъ».

Вотъ и карты розданы. Взялъ дѣдъ свои въ руки — смотрѣть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смѣхъ одинъ козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нѣтъ; а вѣдьма все подваливаетъ пятериками. Пришлось остаться дурнемъ! Только что дѣдъ успѣлъ остаться дурнемъ, и со всѣхъ сторонъ заржали, залаяли, захрюкали морды: «дурень, дурень, дурень!»

«Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!» закричалъ дѣдъ, затыкая пальцами себѣ уши. «Ну», думаетъ, «вѣдьма подтасовала, теперь я самъ буду сдавать». Сдалъ; засвѣтилъ козыря; поглядѣлъ въ карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дѣло шло, какъ нельзя лучше; только вѣдьма — пятерикъ съ королями! У дѣда на рукахъ одни козыри! Не думая, не гадая долго, хватъ королей всѣхъ по усамъ козырями!

«Ге, ге! да это не по-козацки! А чѣмъ ты кроешь, землякъ?»

«Какъ — чѣмъ? Козырями!»

«Можетъ быть, по-вашему это и козыри, только по-нашему — нѣтъ!»

Глядь — въ самомъ дѣлѣ простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось въ другой разъ быть дурнемъ, и чертанье пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» такъ что столъ дрожалъ и карты прыгали по столу. Дѣдъ разгорячился; сдалъ въ послѣдній. Опять идетъ ладно. Вѣдьма опять пятерикъ; дѣдъ покрылъ и набралъ изъ колоды полную руку козырей.

«Козырь!» вскричалъ онъ, ударивъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.









«А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?» Вѣдьма подняла карту: подъ нею была простая шестерка. «Вишь, бѣсовское обморачиванье!» сказалъ дѣдъ и съ досады хватилъ кулакомъ, что силы, по столу. Къ счастью еще, что у вѣдьмы была плохая масть; у дѣда, какъ нарочно, на ту пору пары. Сталъ набирать карты изъ колоды, только мочи нѣтъ; дрянъ такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ, уже такъ, не глядя, простою шестеркою; вѣдьма приняла. «Вотъ тебѣ на! это что! Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!» Вотъ,



дѣдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядь—у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ вмѣсто шестерки спустилъ кралою. «Ну, дурень же я былъ! Король козырей! Чтò! приняла? А? кошачье отродье! А туза не хочешь? Тузъ! валетъ!..» Громъ пошелъ по пеклу; на вѣдьму напали корчи, и, откуда ни возьмись, шапка бухъ дѣду прямехонько въ лицо. «Нѣтъ, этого мало!» закричалъ дѣдъ, прихрабрившись и надѣвъ шапку. «Если сейчасъ не станетъ передо мною молодецкій конь мой, то вотъ, убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ мѣстѣ, когда я не перекрещу святымъ крестомъ всѣхъ васъ!» и уже было и руку поднятъ, какъ вдругъ загремѣли передъ нимъ конскія кости.

«Вотъ тебѣ конь твой!»

Заплакалъ бѣдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумно. Жаль стараго товарища! «Дайте же мнѣ какого-нибудь коня выбратъ изъ гнѣзда вашего!» Чортъ хлопнулъ арапникомъ—конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ, и дѣдъ, что птица, вынесся наверхъ.

Страхъ, однакожъ, напалъ на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводовъ, скакалъ черезъ провалы и болота. Въ какихъ мѣстахъ онъ не былъ, такъ дрожь забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-то себѣ подъ ноги—и пуще перепугался:



пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нѣтъ: прямо черезъ нее. Дѣдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пни, черезъ кочки полетѣлъ стремглавъ въ провалъ и такъ хватился на днѣ его о землю, что, кажись, и духъ вышибло. По крайней мѣрѣ, что дѣялось съ нимъ въ то время, ничего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрѣлся, то уже разсвѣло совсѣмъ: передъ нимъ мелькали знакомыя мѣста, и онъ лежалъ на крышѣ своей же хаты.

Перекрестился дѣдъ, когда слѣзъ долой. Экая чертовщина! Что за пропасть, какія съ человѣкомъ чудеса дѣлаются! Глядь на руки—всѣ въ крови; посмотрѣлъ въ стоявшую торчмя бочку съ водою—и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать дѣтей, входитъ







онъ потихоньку въ хату, смотритъ: дѣти пятятся къ нему задомъ и въ испугѣ указываютъ ему пальцами, говоря: «*Дывысь! дывысь! маты, мовъ дурна, скаче!*»<sup>\*)</sup>). И въ самомъ дѣлѣ, баба сидитъ, заснувши передъ гребнемъ, держитъ въ рукахъ веретено и сонная подпрыгиваетъ на лавкѣ. Дѣдъ, взявши за руку потихоньку, разбудилъ ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрѣла, выпучивши глаза, и наконецъ уже узнала дѣда и рассказала, какъ ей снилось, что печь ѣздила по хатѣ, выгоняя вонъ лопатою горшки, лоханки... и, чортъ знаетъ, что еще такое. «Ну», говоритъ дѣдъ, «тебѣ во снѣ, мнѣ на яву. Нужно, вижу, будетъ освятить нашу хату; мнѣ же теперь мѣшкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дѣдъ досталъ коня и уже не останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не доѣхалъ до мѣста и не отдалъ грамоты самой царицѣ. Тамъ наглядѣлся дѣдъ такихъ дивъ, что стало ему надолго послѣ того рассказывать: какъ повели его въ палаты, такія высокія, что если бы хатъ десять поставить одну на другую, и тогда, можетъ быть, не достало бы; какъ взглянулъ онъ въ одну комнату—нѣтъ; въ другую—нѣтъ; въ третью—еще нѣтъ; въ четвертой даже нѣтъ; да въ пятой уже, глядь—сидитъ сама, въ золотой коронѣ, въ сѣрой новехонькой свиткѣ, въ красныхъ сапогахъ, и золотыя галушки ѣстъ; какъ велѣла ему насыпать цѣлую шапку *синицами*; какъ... всего и вспомнить нельзя! Объ вознѣ своей съ чертями дѣдъ и думать позабылъ, и если случалось, что кто-нибудь и напоминалъ объ этомъ, то дѣдъ молчалъ, какъ будто не до него и дѣло шло, и великаго стоило труда упросить его пересказать все, какъ было. И, видно, уже въ наказаніе, что не спохватился тотчасъ послѣ того освятить хату, бабѣ ровно черезъ каждый годъ, и именно въ то самое время, дѣлалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затѣваютъ свое, и вотъ такъ и дергаетъ пуститься въ присядку.



---

<sup>\*)</sup> Смотри! смотри! мать, какъ сумасшедшая, скачетъ!





ВЕЧЕРА  
НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

---

ПОВѢСТИ, ИЗДАННЫЯ

ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.





## Предисловіе.

Вотъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, послѣдняя! Не хотѣлось, крѣпко не хотѣлось, выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на хуторѣ уже начинаютъ смѣяться надо мною: «Вотъ», говорятъ, «одурѣлъ старый дѣдъ: на старости лѣтъ тѣшится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, вѣрно, думаете, что я прикидываюсь только старикомъ. Куда тутъ прикидываться, когда во рту совсѣмъ зубовъ нѣтъ! Теперь, если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать, а твердое-то ни за что не откушу. Такъ вотъ вамъ опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощаньи, особенно съ тѣмъ, съ которымъ, Богъ знаетъ, скоро ли увидите. Въ этой книжкѣ услышите рассказчиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая только развѣ Оомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ, котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не могло понять, уже давно нѣтъ. Послѣ того какъ разсорился со всѣми, онъ и не заглядывалъ къ намъ. Да, я вамъ не рассказывалъ этого случая? Послушайте, тутъ прекомедія была. Прошлый годъ, такъ какъ-то около лѣта, да чуть ли не на самый день моего патрона, пріѣхали ко мнѣ въ гости... (Нужно вамъ сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай Богъ имъ здоровье, не забываютъ старика. Уже есть пятидесятый годъ, какъ я зачалъ помнить свои именины; который же точно мнѣ годъ, этого ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно-быть, близъ семидесяти. Диканскій-то попъ, отецъ Харлампій, зналъ, когда я родился; да жалъ, что уже пятьдесятъ лѣтъ, какъ его нѣтъ на свѣтѣ). Вотъ пріѣхали ко мнѣ гости: Захаръ Кириловичъ Чухопупенко, Степанъ Ивановичъ Курочка, Тарасъ Ивановичъ Смачненькій, засѣдатель Харлампій Кириловичъ Хлоста; пріѣхалъ еще... вотъ позабылъ, право, имя и фамилію... Осипъ... Осипъ... Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда говоритъ, то всегда щелкнетъ напередъ пальцемъ и подопрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время вспомню. Пріѣхалъ и знакомый вамъ паничъ изъ Полтавы. Оомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человѣкъ. Разговорились всѣ (опять нужно вамъ замѣтить, что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора: я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ говорятъ, вмѣстѣ и услажде-

ніе и назидательность была), — разговорились объ томъ, какъ нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно напередъ хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу, а потомъ уже... «Ничего изъ этого не будетъ!» подхватилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ свой и прошедши важнымъ шагомъ по комнатѣ: «ничего не будетъ! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ, а потомъ уже»... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совѣсти: слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ смородинный листъ, нечуй-вѣтеръ, трилистникъ; но чтобы клали кануперъ... нѣтъ, я не слыхивалъ объ этомъ. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ про эти дѣла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ добраго человѣка, отвелъ я его потихоньку въ сторону: «Слушай, Макарь Назаровичъ, эй, не смѣши народъ! Ты человѣкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, обѣдалъ разъ съ губернаторомъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь что-нибудь подобное тамъ, вѣдь тебя же осмѣютъ всѣ!» Чтò-жъ-бы, вы думали, онъ сказалъ на это? — Ничего! плюнулъ на полъ, взялъ шапку и вышелъ. Хотъ бы простился съ кѣмъ, хотъ бы кивнулъ кому головою; только слышали мы, какъ подѣхала къ воротамъ телѣжка со звономъ; сѣлъ и уѣхалъ. И лучше! Не нужно намъ такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что хуже нѣтъ ничего на свѣтѣ, какъ эта знать. Что его дядя былъ когда-то комиссаромъ, такъ и носъ несетъ вверхъ. Да будто комиссаръ такой уже чинъ, что выше нѣтъ его на свѣтѣ? Слава Богу, есть и больше комиссара. Нѣтъ, не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примѣръ Оома Григорьевичъ; кажется, и не знатный человѣкъ, а посмотришь на него: въ лицѣ какая-то важность сіяетъ, даже когда станетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чувствуешь невольное почтеніе. Въ церкви, когда запоетъ на крылосѣ — умиленіе неизобразимое! Растаялъ бы, казалось, весь!.. А тотъ... ну, Богъ съ нимъ! Онъ думаетъ, что безъ его сказокъ и обойтись нельзя. Вотъ, все-же-таки набралась книжка.

Я, помнится, обѣщалъ вамъ, что въ этой книжкѣ будетъ и моя сказка. И точно, хотѣлъ было это сдѣлать, но увидѣлъ, что для сказки моей нужно, по крайней мѣрѣ, три такихъ книжки. Думалъ было особо напечатать ее, но передумалъ. Вѣдь я знаю васъ: станете смѣяться надъ старикомъ. Нѣтъ, не хочу! Прощайте! Долго, а можетъ-быть, совсѣмъ не увидимся. Да чтò? вѣдь вамъ все равно, хотъ бы и не было совсѣмъ меня на свѣтѣ. Пройдетъ годъ, другой, — и изъ васъ никто послѣ не вспомнитъ и не пожалѣетъ о старомъ пасичникѣ Рудомѣ Панькѣ.



Послѣдній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа \*). Морозило сильнѣе, чѣмъ съ утра; но зато такъ было тихо, что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами хатъ; мѣсяцъ одинъ только заглядывалъ въ нихъ украдкою, какъ бы вызывая принаряживавшихся дѣвушекъ выбѣжать скорѣе на скрипучій снѣгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты клубами повалилъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмѣстѣ съ дымомъ, поднялась вѣдьма верхомъ на метлѣ.

Если бы въ это время проѣзжалъ сорочинскій засѣдатель на тройкѣ обывательскихъ лошадей, въ шапкѣ съ барашковымъ околышкомъ, сдѣланной по манеру уланскому, въ синемъ тулупѣ, подбитомъ черными смушками, съ дьявольски сплетенною плетью, которою имѣетъ онъ обыкновеніе подгонять своего ямщика, то онъ вѣрно бы примѣтилъ ее,

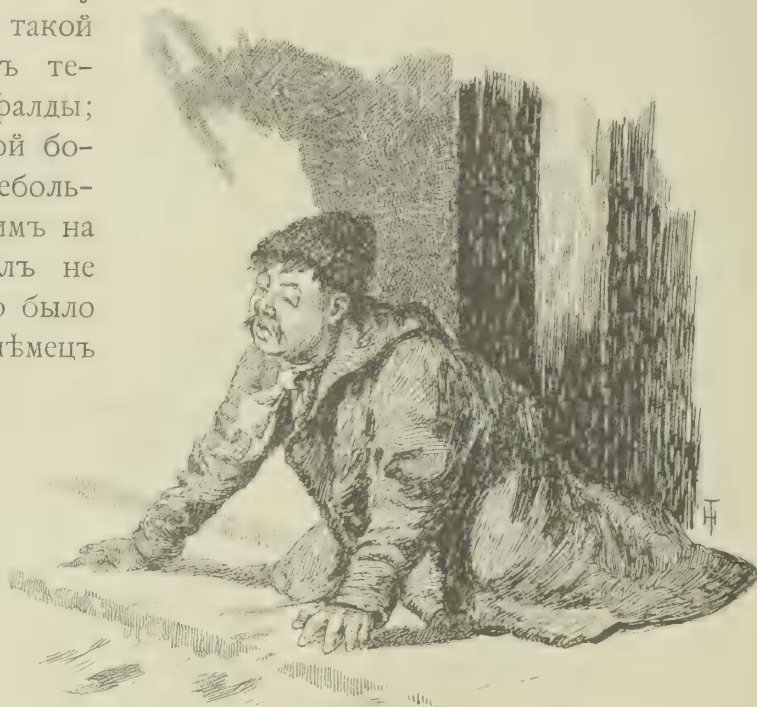
\*) Колядовать у насъ называется пѣть подъ окнами наканунѣ Рождества пѣсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуетъ, всегда кинетъ въ мѣшокъ хозяйка, или хозяйинъ, или кто остается дома, колбасу, или хлѣбъ, или мѣдный грошъ, чѣмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога, и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ, простымъ людямъ, объ этомъ толковать. Прошлый годъ отецъ Осипъ запретилъ-было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ народъ угождаетъ сатанѣ. Однакожъ, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова нѣтъ про Коляду. Поютъ часто про Рождество Христа, а при концѣ желаютъ здоровья хозяину, хозяйкѣ, дѣтямъ и всему дому.





потому что отъ сорочинскаго засѣдателя ни одна вѣдьма на свѣтѣ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сундукѣ лежитъ полотна, и что именно изъ своего платья и хозяйства заложить добрый человѣкъ, въ воскресный день, въ шинкѣ. Но сорочинскій засѣдатель не проѣзжалъ, да и какое ему дѣло до чужихъ, — у него своя волость. А вѣдьма между тѣмъ поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гдѣ ни показывалось пятнышко, тамъ звѣзды, одна за другою, пропадали на небѣ. Скоро вѣдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или четыре еще блеснули. Вдругъ, съ противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надѣлъ на носъ, вмѣсто очковъ, колеса съ комиссаровой брички, и тогда бы не распозналъ, что это такое. Спереди совершенно нѣмецъ \*): узенькая, безпрестанно вертѣвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пяточкомъ; ноги были такъ тонки, что если бы такія имѣлъ яресковскій голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ козачкѣ. Но зато сзади онъ былъ настоящій губернский стряпчій въ мундирѣ, потому что у него висѣлъ хвостъ, такой острый и длинный, какъ те-перешнія мундирныя фалды; только развѣ по козлиной бородѣ подъ мордой, по небольшимъ рожкамъ, торчавшимъ на головѣ, и что весь былъ не бѣлѣе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и не губернский стряпчій, а просто чортъ, которому послѣдняя ночь осталась шататься по бѣлому свѣту и выучивать грѣхамъ добрыхъ людей. Завтра же,

\*) Нѣмцемъ называютъ у насъ всякаго, кто только изъ чужой земли, хоть будь онъ французъ, или цесарецъ, или шведъ — все нѣмецъ.



съ первыми колоколами къ заутренѣ, побѣжитъ онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ, въ свою берлогу.

Между тѣмъ чортъ крался потихоньку къ мѣсяцу и уже протянулъ было руку схватить его; но вдругъ отдернулъ ее назадъ, какъ бы обжегшись, пососалъ пальцы, заболталъ ногою и забѣжалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и отдернулъ руку. Однакожъ, несмотря на всѣ неудачи, хитрый чортъ не оставилъ своихъ проказъ. Подбѣжавши, вдругъ схватилъ онъ обѣими руками мѣсяцъ: кривляясь и дуя, перекидывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ, доставшій голыми руками огонь для своей люльки; наконецъ, поспѣшно спрятавъ въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ не бывалъ, побѣжалъ далѣе.

Въ Диканькѣ никто не слышалъ, какъ чортъ укралъ мѣсяцъ. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ изъ шинка, видѣлъ, что мѣсяцъ, ни съ того, ни съ сего, танцевалъ на небѣ, и увѣрялъ съ божбою въ томъ все село; но міряне качали головами и даже подымали его на смѣхъ. Но какая же была причина рѣшиться чорту на такое беззаконное дѣло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутю, гдѣ будутъ: голова, пріѣхавшій изъ архіерейской пѣвческой родичъ дьяка, въ синемъ сюртукѣ, бравшій самага низкаго баса, козакъ Свербыгузъ и еще кое-кто; гдѣ, кромѣ кутьи, будетъ варенуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съѣстнаго. А между тѣмъ его дочка, красавица на всемъ селѣ, останется дома, а къ дочкѣ, навѣрное, придетъ кузнецъ, силачъ и дѣтина хоть куда, который чорту былъ противнѣе проповѣдей отца Кондрата. Въ досужее отъ дѣлъ время кузнецъ занимался малеваніемъ и слылъ лучшимъ живописцемъ во всемъ околоткѣ. Самъ, еще тогда здравствовавшій, сотникъ Л...ко вызывалъ его нарочно въ Полтаву выкрасить досчатый заборъ около его дома. Всѣ миски, изъ которыхъ диканьскіе козаки хлебали борщъ, были размалеваны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человѣкъ и писалъ часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти въ Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его искусства была одна картина, намалеванная на стѣнѣ церковной въ правомъ притворѣ, на которой изобразилъ онъ святого Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа: испуганный чортъ метался во всѣ стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грѣшники били и гоняли его кнутами, полѣнами и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на большой деревянной доскѣ, чортъ всѣми силами старался мѣшать ему: толкалъ невидимо подъ руку, подымалъ изъ горнила въ кузницѣ золу и обсыпалъ ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена въ

церковь и вдѣлана въ стѣну притвора, и съ той поры чортъ поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ свѣтѣ; но и въ эту ночь онъ выискивалъ чѣмъ-нибудь выместить на кузнеца свою злобу. И для этого рѣшился украсть мѣсяцъ, въ той надеждѣ, что старый Чубъ лѣнивъ и не легокъ на подъемъ, къ дьяку же отъ избы не такъ близко: дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, огибала оврагъ. Еще при мѣсячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафранъ, могла бы заманить Чуба; но въ такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ издавна не въ ладахъ съ нимъ, при немъ ни за что не отважится итти къ дочкѣ, несмотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ карманъ свой мѣсяцъ, вдругъ по всему міру сдѣлалось такъ темно, что не всякій бы нашелъ дорогу къ шинку, не только къ дьяку. Вѣдьма, увидѣвши себя вдругъ въ темнотѣ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подѣхавши мелкимъ бѣсомъ, подхватилъ ее подъ руку и пустился нашіптывать на ухо то самое, что обыкновенно нашіптываютъ всему женскому роду. Чудно устроено на нашемъ свѣтѣ! Все, что ни живетъ въ немъ, все силится перенимать и передразнивать одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргородѣ одинъ судья да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и засѣдатель, и подкоморій отсмолили себѣ новыя шубы изъ рѣшетилловскихъ смушекъ съ суконною покрывкою. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго года взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь сдѣлалъ себѣ нанковыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда эти люди не будутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что многимъ покажется удивительно видѣть чорта, пустившагося и себѣ туда же. Досаднѣе всего то, что онъ, вѣрно, воображаетъ себя красавцемъ, между тѣмъ какъ фигура — взглянуть совѣстно. Рожа, какъ говоритъ Оома Григорьевичъ, мерзость-мерзостью, однакожъ и онъ строить любовныя куры! Но на небѣ и подъ небомъ такъ сдѣлалось темно, что ничего нельзя уже было видѣть, что происходило далѣе между ними.

«Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дьяка въ новой хатѣ?» говорилъ козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, сухощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ, мужику съ обросшею бородою, показывавшею, что уже болѣе двухъ недѣль не прикасался къ ней обломокъ косы, которымъ обыкновенно мужики бреютъ свою бороду, за неимѣніемъ бритвы. «Тамъ теперь будетъ добрая попойка!» продолжалъ Чубъ, ослабивъ при этомъ свое лицо. «Какъ бы только намъ не опоздать!»







При семъ Чубъ поправилъ свой поясъ, перехватывавшій плотно его тулупъ, нахлобучилъ крѣпче свою шапку, стиснулъ въ рукѣ кнутъ — страхъ и грозу докучливыхъ собакъ; но, взглянувъ вверхъ, остановился... «Что за дьяволъ! Смотри! смотри, Панасъ!»...

«Что?» произнесъ кумъ и поднялъ свою голову также вверхъ.

«Какъ, что? Мѣсяца нѣтъ!»

«Что за пропасть! Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ мѣсяца».



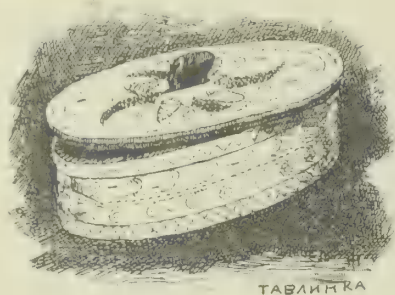
«То-то, что нѣтъ!» выговорилъ Чубъ съ нѣкоторою досадою на неизмѣнное равнодушіе кума. «Тебѣ, небось, и нужды нѣтъ».

«А что мнѣ дѣлать?»

«Надобно же было», продолжалъ Чубъ, утирая рукавомъ усы: «какому-то дьяволу — чтобъ ему не довелось, собакѣ, по-утру рюмки водки выпить! — вмѣшаться!... Право, какъ будто на смѣхъ... Нарочно, сидѣвши въ хатѣ, глядѣлъ въ окно: ночь — чудо! Свѣтло, снѣгъ блещетъ при мѣсяцѣ; все было видно, какъ днемъ. Не успѣлъ выйти за дверь, и вотъ, хоть глазъ выколи! (Чтобъ ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!)»



Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между тѣмъ, въ то же время, раздумывалъ, на что бы рѣшиться. Ему до смерти хотѣлось покалякать о всякомъ вздорѣ у дьяка, гдѣ, безъ всякаго сомнѣнія, сидѣлъ уже и голова, и пріѣзжій бастъ, и дегтярь Микита, ѣздившій черезъ каждыя двѣ недѣли въ Полтаву на торги и отпускавшій такія штуки, что всѣ міряне брались за животы со смѣху. Уже видѣлъ Чубъ мысленно стоявшую на столѣ варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лѣни, которая такъ мила всѣмъ козакамъ. Какъ бы хорошо теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкѣ, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и пѣсни веселыхъ парубковъ и дѣвушекъ, толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, рѣшился на послѣднее, если бы былъ одинъ; но теперь обоимъ не такъ скучно и страшно итти темною ночью, да и не хотѣлось-таки показаться передъ другими лѣнивымъ или трусливымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова къ куму.



«Такъ нѣтъ, кумъ, мѣсяца?»

«Нѣтъ».

«Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, славный табакъ! Гдѣ ты берешь его?»

«Кой чортъ, славный!» отвѣчалъ кумъ, закрывая берестовую табличку, исколотую узорами: «старая курица не чихнетъ!»

«Я помню», продолжалъ все такъ же Чубъ: «мнѣ покойный шинкарь Зузуля разъ привезъ табаку изъ Нѣжина. Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ».

«Такъ, пожалуй, останемся дома», произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ, вѣрно бы, рѣшился остаться; но теперь его какъ будто что-то дергало итти наперекоръ.

«Нѣтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно итти!»

Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что сказалъ. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, но его утѣшало то, что онъ самъ нарочно этого захотѣлъ и сдѣлалъ-таки не такъ, какъ ему совѣтовали.

Кумъ, не выразивъ на лицѣ своемъ ни малѣйшаго движенія досады, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все равно, сидѣть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрѣлся, почесалъ палочкой батога свои плечи,—и два кума отправились въ дорогу.

Теперь посмотримъ, что дѣлаетъ, оставшись одна, красавица-дочка. Оксанѣ не минуло еще и семнадцати лѣтъ, какъ во всемъ почти свѣтѣ,

и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и рѣчей было, что про нее. Парубки гуртомъ провозгласили, что лучшей дѣвки и не было еще никогда, и не будетъ никогда на селѣ. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахтѣ и запаскѣ, а въ какомъ-нибудь капотѣ, то разогнала бы всѣхъ своихъ дѣвокъ. Парубки гонялись за нею толпами; но, потерявши терпѣніе, оставляли мало-по-малу своенравную красавицу и обращались къ другимъ, не такъ избалованнымъ. Одинъ только кузнецъ былъ упрямъ и не оставлялъ своего волокитства, несмотря на то, что и съ нимъ поступали ничуть не лучше, чѣмъ съ другими. По выходѣ отца своего, Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась передъ небольшимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла налюбоваться собою.

«Что людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?» говорила она, какъ бы разсѣяннo, для того только, чтобы объ чемъ-нибудь поболтать съ собою. «Лгутъ люди, я совсѣмъ не хороша!»

Но мелькнувшее въ зеркалѣ свѣжее, живое, въ дѣтской юности лицо, съ блестящими черными очами и невыразимо пріятной усмѣшкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало противное.

«Развѣ черныя брови и очи мои», продолжала красавица, не выпуская зеркала: «такъ хороши, что уже равныхъ имъ нѣтъ и на свѣтѣ? Что тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ кверху носѣ? и въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши мои черныя косы? Ухъ, ихъ можно испугаться вечеромъ: онѣ, какъ длинныя змѣи, перевились и обвились вокругъ моей головы. Я вижу теперь, что я совсѣмъ не хороша!» И, отодвигая нѣсколько подалѣе отъ себя зеркало, вскрикнула: «Нѣтъ, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, чьей буду женою! Какъ будетъ любоваться мною мой мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ радости. Онъ зацѣлуетъ меня на смерть».

«Чудная дѣвка!» прошепталъ вошедшій тихо кузнецъ. «И хвастовства у нея мало! Съ часъ стоитъ, глядясь въ зеркало, и не наглядится, и еще хвалить себя вслухъ!»



«Да, парубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня», продолжала хорошенькая кокетка: «какъ я плавно выступаю; у меня сорочка шита краснымъ шелкомъ. А какія ленты на головѣ! Вамъ вѣкъ не увидать богаче галуна! Все это накупилъ мнѣ отецъ мой для того, чтобы на мнѣ женился самый лучший молодецъ на свѣтѣ». И, усмѣхнувшись, поворотилась она въ другую сторону и увидѣла кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ.

Кузнецъ и руки опустилъ.

Трудно разсказать, что выражало смугловатое лицо чудной дѣвушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь суровость какая-то издѣвка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замѣтная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это такъ смѣшалось и такъ было неизобразимо-хорошо, что расцѣловать ее миллионъ разъ — вотъ все, что можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

«Зачѣмъ ты пришелъ сюда?» такъ начала говорить Оксана. «Развѣ хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою? Вы всѣ мастера подѣзжать къ намъ. Въ мигъ пронюхаете, когда отцовъ нѣтъ дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой готовъ?»

«Будетъ готовъ, мое серденько, послѣ праздника будетъ готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него; двѣ ночи не выходилъ изъ кузницы. Зато ни у одной поповны не будетъ такого сундука. Желѣзо на оковку положилъ такое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ на работу въ Полтаву. А какъ будетъ расписанъ! Хоть весь околотокъ выходи своими бѣленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и синіе цвѣты. Горѣть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядѣть на тебя!»

«Кто-жъ тебѣ запрещаетъ? Говори и гляди!»

Тутъ сѣла она на лавку и снова взглянула въ зеркало и стала поправлять на головѣ свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство самодовольствія выразилось на устахъ, на свѣжихъ ланитахъ и отсвѣтилось въ очахъ.

«Позволь и мнѣ сѣсть возлѣ тебя!» сказалъ кузнецъ.

«Садись», проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ довольныхъ очахъ то же самое чувство.



сундукъ

«Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцѣловать тебя!» произнесъ ободренный кузнецъ и прижалъ ее къ себѣ, въ намереніи схватить поцѣлуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившіяся уже на непримѣтномъ разстояніи отъ губъ кузнеца, и оттолкнула его. — «Чего тебѣ



еще хочется? Ему, когда медъ, такъ и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче желѣза. Да и самъ ты пахнешь дымомъ. Я думаю, меня всю обмаралъ своею сажею».

Тутъ она поднесла зеркало и снова начала передъ нимъ охорашиваться.

«Не любить она меня!» думалъ про себя, повѣся голову, кузнецъ. «Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ дуракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ нею, и вѣкъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная дѣвка! Чего бы я не далъ, чтобы узнать, чтò у нея на сердцѣ, кого она любитъ. Но нѣтъ, ей и нужды нѣтъ ни до кого. Она любитъ сама собою; мучить меня бѣднаго, а я за грустью не вижу свѣта. А я



ее такъ люблю, какъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не любилъ и не будетъ никогда любить».

«Правда ли, что твоя мать вѣдьма?» произнесла Оксана и засмѣялась; и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмѣялось. Смѣхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ сердцѣ и въ тихо вострепнувшихъ жилахъ, и за всѣмъ тѣмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцѣловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо.

«Чтò мнѣ до матери? ты у меня мать, и отецъ, и все, чтò ни есть дорогого на свѣтѣ. Если-бъ меня призвалъ царь и сказалъ: «Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, чтò ни есть лучшаго въ моемъ царствѣ, все отдамъ тебѣ. Прикажу тебѣ сдѣлать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу», сказалъ бы я царю: «ни каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мнѣ лучше мою Оксану!»

«Видишь, какой ты! Только отецъ мой самъ не промахъ. Увидишь, когда онъ не женится на твоей матери!» проговорила, лукаво усмѣхнувшись, Оксана. «Однакожъ, дѣвчата не приходятъ... Что-бъ это значило? Давно уже пора колядовать, мнѣ становится скучно».

«Богъ съ ними, моя красавица!»

«Какъ бы не такъ! Съ ними, вѣрно, придутъ парубки. Тутъ-то пойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорятъ смѣшныхъ исторій!»

«Такъ тебѣ весело съ ними?»

«Да ужъ веселѣе, чѣмъ съ тобою. А! кто-то стукнулъ; вѣрно, дѣвчата съ парубками».

«Чего мнѣ больше ждать!» говорилъ самъ съ собою кузнецъ. «Она издѣвается надо мною. Ей я столько же дорогъ, какъ перержавѣвшая подкова. Но если-жъ такъ, не достанется, по крайней мѣрѣ, другому посмѣяться надо мною. Пусть только я навѣрное замѣчу, кто ей нравится болѣе моего, я отучу...»

Стукъ въ дверь и рѣзко зазвучавшій на морозѣ голосъ: «отвори!» прервалъ его размышленія.

«Постой, я самъ отворю», сказалъ кузнецъ и вышелъ въ сѣни, въ намѣреніи отломать съ досады бока первому попавшемуся человѣку.

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себѣ въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки. Не мудрено, однакожъ, и озябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колпакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистеръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатои горѣ, и прямо въ трубу.

Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслѣдъ за нею. Но такъ какъ это животное проворнѣе всякаго франта въ чулкахъ, то не мудрено, что онъ наѣхалъ при самомъ входѣ въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкѣ между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядѣть, не назвалъ ли сынъ ея Вакула въ хату гостей; но, увидѣвши, что никого не было, выключая только мѣшки, которые лежали посреди хаты, вылѣзла изъ печки, скинула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ узнать, что она за минуту назадъ ѣздила на метлѣ.

Мать кузнеца Вакулы имѣла отъ роду не больше сорока лѣтъ. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею въ такіе годы. Однакожъ, она такъ умѣла причаровать къ себѣ самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не мѣшаетъ между прочимъ замѣтить, мало было нужды до красоты), что къ ней хаживалъ и голова, и дьякъ Осипъ Никифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и козакъ Корній Чубъ, и козакъ Касьянъ Свербыгузъ. И, къ чести ея сказать, она умѣла искусно обходиться съ ними: ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у него есть соперникъ. Шелъ ли набожный мужикъ, или дворянинъ, какъ называютъ себя козаки, одѣтый въ кобенякъ съ видлогою, въ воскресенье въ церковь, или, если дурная погода, въ шинокъ, — какъ не зайти къ Солохѣ, не поѣсть жирныхъ съ сметаною варениковъ и не поболтать въ теплой избѣ съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянинъ нарочно для этого давалъ большой крюкъ, прежде чѣмъ достигалъ шинка, и называлъ это — заходить по дорогѣ. А пойдетъ ли, бывало, Солоха, въ праздникъ, въ церковь, надѣвши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станетъ прямо близъ праваго крылоса, то дьякъ уже, вѣрно, закашливался и прищуривалъ невольно въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывалъ за ухо оселедецъ и говорилъ стоявшему близъ его сосѣду: «Эхъ, добрая баба! чортъ-баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думалъ, что она кланяется ему одному.



Но охотникъ мѣшаться въ чужія дѣла тотчасъ бы замѣтилъ, что Солоха была привѣтливѣе всего съ козакомъ Чубомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ хлѣба всегда стояли передъ его хатою. Двѣ пары дюжихъ воловъ всякій разъ высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову или дядю — толстаго быка. Бородатый козелъ взбирался на самую крышу и дребезжалъ оттуда рѣзкимъ голосомъ, какъ городничій, дразня выступавшихъ по двору индѣекъ и оборачиваясь задомъ, когда завидывалъ своихъ непріятелей — мальчишекъ, издѣвавшихся надъ его бородою. Въ сундукахъ у Чуба водилось много полотна, жупановъ и старинныхъ кунтушей съ золотыми галунами; покойная жена его была щеголиха. Въ огородѣ, кромѣ маку, капуста, подсолнечниковъ, засѣвалось еще каждый годъ двѣ нивы табаку. Все это Солоха находила не лишнимъ присоединить къ своему хозяйству, заранѣе размышляя о томъ, какой оно приметъ порядокъ, когда перейдетъ



въ ея руки, и удвоила благосклонность къ старому Чубу. А чтобы, какимъ-нибудь образомъ, сынъ ся Вакула не подѣхалъ къ его дочери и не успѣлъ прибрать всего себѣ, и тогда бы, навѣрно, не допустилъ ее мѣшаться ни во что, она прибѣгнула къ обыкновенному средству всѣхъ сорокалѣтнихъ кумушекъ—ссорить, какъ можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ-быть, эти самыя хитрости и смѣтливость ея были виною, что кое-гдѣ начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали гдѣ-нибудь на веселой сходкѣ лишнее, что Солоха точно вѣдьма; что парубокъ Кизяколупенко видѣлъ у нея сзади хвостъ, величиною не болѣе бабьяго веретена; что она еще въ позапрошлый четвергъ черною кошкою перебѣжала дорогу; что къ попадѣ разъ прибѣжала свинья, закричала пѣтухомъ, надѣла на голову шапку отца Кондрата и убѣжала домой...



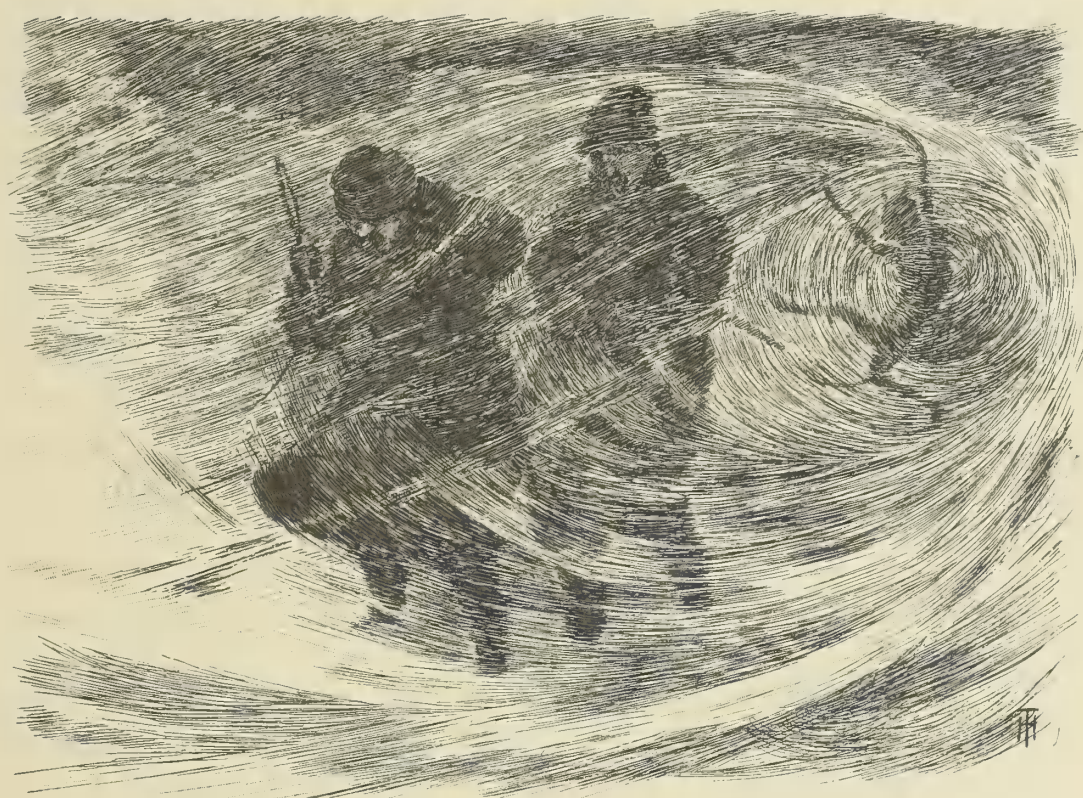
коровий пастухъ

Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ этомъ, пришелъ какой-то коровій пастухъ Тымишъ Коростявый. Онъ не преминулъ рассказать, какъ лѣтомъ, передъ самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хлѣву, подмостивши подъ голову солому, видѣлъ собственными глазами, что вѣдьма, съ распущенною косою, въ одной рубашкѣ, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевелинуться—такъ былъ околдованъ, и помазала его губы чѣмъ-то такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ послѣ того цѣлый день. Но все это что-то сомнительно, потому что одинъ только сорочинскій засѣдатель можетъ увидѣть вѣдьму. И оттого всѣ именитые козаки махали руками, когда слышали

такія рѣчи. «Брешутъ, сучи бабы!» бывалъ обыкновенный отвѣтъ ихъ.

Вылѣзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мѣсту; но мѣшковъ не тронула: «это Вакула принесъ, пусть же самъ и вынесетъ!» Чортъ, между тѣмъ, когда еще влеталъ въ трубу, какъ-то нечаянно оборотившись, увидѣлъ Чуба, объ руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Въ мигъ вылетѣлъ онъ изъ печки, перебѣжалъ имъ дорогу и началъ разрывать со всѣхъ сторонъ кучи замерзшаго снѣгу. Поднялась метель. Въ воздухѣ забѣлѣло. Снѣгъ метался взадъ и впередъ сѣткою и угрожалъ залѣпить глаза, ротъ и уши пѣшеходамъ. А чортъ улетѣлъ снова въ трубу, въ твердой увѣренности, что Чубъ возвратится вмѣстѣ съ кумомъ назадъ, застанетъ кузнеца и, навѣрное, отпотчуетъ его такъ, что онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и малевать обидныя карикатуры.

Въ самомъ дѣлѣ, едва только поднялась метель, и вѣтеръ сталъ рѣзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже изъявилъ раскаяніе и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощалъ побранками себя, чорта и кума. Впрочемъ, эта досада была притворная. Чубъ очень радъ былъ поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того разстоянія, которое они прошли. Путешественники повернули назадъ. Вѣтеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущій снѣгъ ничего не было видно.



«Стой, кумъ! мы, кажется, не туда идемъ», сказалъ, немного отошедши, Чубъ. «Я не вижу ни одной хаты. Эхъ, какая метель! Свороти-ка ты, кумъ, немного въ сторону, — не найдешь ли дороги, а я тѣмъ временемъ поищу здѣсь. Дернетъ же нечистая сила таскаться по такой вьюгѣ! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Экъ, какую кучу снѣга напустилъ въ очи сатана!»

Дороги, однакожъ, не было видно. Кумъ, отошедши въ сторону, бродилъ въ длинныхъ сапогахъ взадъ и впередъ и наконецъ набрелъ прямо на шинокъ. Эта находка такъ его обрадовала, что онъ позабылъ все и, стряхнувши съ себя снѣгъ, вошелъ въ сѣни, нимало не беспокоясь объ оставшемся на улицѣ кумѣ. Чубу показалось, между тѣмъ, что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кричать во все



горло, но, видя, что кумъ не является, рѣшился итти самъ. Немного пройдя, увидѣлъ онъ свою хату. Сугробы снѣгу лежали около нея и на крышѣ. Хлопая озябшими на холодѣ руками, принялся онъ стучать въ дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

«Чего тебѣ тутъ нужно?» сурово закричалъ вышедшій кузнецъ.

Чубъ, узнавши голосъ кузнеца, отступилъ нѣсколько назадъ. «Э, нѣтъ, это не моя хата», говорилъ онъ про себя: «въ мою хату не забредеть кузнецъ. Опять же, если присмотрѣться хорошенько, то и не кузнцова. Чья бы была эта хата? Вотъ на! не распозналъ! Это хата хромого Левченка, который недавно женился на молодой женѣ. У него одного только хата похожа на мою. То-то мнѣ показалось и сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ домой. Однакожъ Левченко сидитъ теперь у дѣяка, это я знаю. Зачѣмъ же кузнецъ?... Э, ге, ге, ге! онъ ходитъ къ его молодой женѣ. Вотъ какъ! Хорошо!.. Теперь я все понялъ».

«Кто ты такой и зачѣмъ таскаешься подъ дверями?» произнесъ кузнецъ суровѣе прежняго и подойдя ближе.

«Нѣтъ, не скажу ему, кто я», подумалъ Чубъ: «чего добраго, еще приколотить проклятый выродокъ!» И, перемѣнивъ голосъ, отвѣчалъ: «Это я, человѣкъ добрый! Пришелъ вамъ на забаву поколядовать немного подъ окнами».

«Убирайся къ чорту съ своими колядками!» сердито закричалъ Вакула. «Что-жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся сей же часъ вонъ!»

Чубъ самъ уже имѣлъ это благоразумное намѣреніе; но ему досадно показалось, что принужденъ слушаться приказаній кузнеца. Казалось, какой-то злой духъ толкалъ его подъ руку и вынуждалъ сказать что-нибудь наперекоръ. «Что-жъ ты въ самомъ дѣлѣ такъ раскричался?» произнесъ онъ тѣмъ же голосомъ. «Я хочу колядовать, да и полно!»

«Эге! да ты, какъ вижу, отъ словъ не уймешься!» Вслѣдъ за сими словами Чубъ почувствовалъ пребольной ударъ въ плечо.

«Да вотъ это ты, какъ я вижу, начинаешь уже драться!» произнесъ онъ, немного отступая.

«Пошелъ, пошелъ!» кричалъ кузнецъ, наградивъ Чуба другимъ толчкомъ.

«Что-жъ ты!» произнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ которомъ изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, я вижу, не въ шутку дерешься, и еще больно дерешься!»

«Пошелъ, пошелъ!» закричалъ кузнецъ и захлопнулъ дверь.

«Смотри, какъ расхрабрился!» говорилъ Чубъ, оставшись одинъ на улицѣ. «Попробуй, подойди! Вишь какой! Вотъ большая цыца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нѣтъ, голубчикъ, я пойду, и пойду прямо до комиссара. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнецъ и маляръ. Однакожъ, посмотрѣть на спину и плечи: я думаю,



синія пятна есть. Должно-быть, больно поколотилъ вражій сынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бѣсовскій кузнецъ, чтобъ чортъ поколотилъ и тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеникъ! Однакожъ, вѣдь теперь его нѣтъ дома. Солоха, думаю, сидитъ одна. Гм... Оно вѣдь недалеко отсюда — пойти бы! Время теперь такое, что насъ никто не застанетъ. Можетъ, и того будетъ можно... Вишь, какъ больно поколотилъ проклятый кузнецъ!»

Тутъ Чубъ, почесавъ свою спину, отправился въ другую сторону. Пріятность, ожидавшая его впереди, при свиданіи съ Солохою, умаляла немного боль и дѣлала нечувствительнымъ и самый морозъ, который трещалъ по всѣмъ улицамъ, не заглушаемый свистомъ вьюги. По временамъ на лицѣ его, котораго бороду и усы метель намылила снѣгомъ проворнѣ всякаго цырюльника, тирански хватающаго за носъ свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однакожъ, снѣгъ не крестилъ взадъ и впередъ всего передъ глазами, то долго еще можно было бы видѣть, какъ Чубъ останавливался, почесывалъ спину, произносилъ: «Больно поколотилъ проклятый кузнецъ!» и снова отправлялся въ путь.

Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и козлиною бородою леталъ изъ трубы и потомъ снова въ трубу, висѣвшая у него на перевязи при боку ладунка, въ которую онъ спряталъ украденный мѣсяцъ, какъ-то нечаянно зацѣпившись въ печкѣ, растворилась, и мѣсяцъ, пользуясь этимъ случаемъ, вылетѣлъ черезъ трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Метели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебристымъ полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Морозъ какъ бы потеплѣлъ. Толпы парубковъ и дѣвушекъ показались съ мѣшками. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою хатою не толпились колядующіе.

Чудно блещетъ мѣсяцъ! Трудно рассказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живѣе горятъ щеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади.

Кучи дѣвушекъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, окружили Оксану. Крикъ, хохотъ, рассказы оглушили кузнеца. Всѣ наперерывъ спѣшили рассказать красавицѣ что-нибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ другой и хохотала безъ умолку.

Съ какой-то досадою и завистью глядѣлъ кузнецъ на такую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.

«Э, Одарка!» сказала веселая красавица, оборотившись къ одной изъ дѣвушекъ: «у тебя новые черевика. Ахъ, какіе хорошіе! и съ золотомъ! Хорошо тебѣ, Одарка, у тебя есть такой человѣкъ, который все тебѣ покупаетъ, а мнѣ некому достать такіе славные черевика».

«Не тужи, моя ненаглядная Оксана!» подхватилъ кузнецъ: «я тебѣ достану такіе черевика, какіе рѣдкая панночка носить».

«Ты?» сказала Оксана, скоро и надменно поглядѣвъ на него. «Посмотрю я, гдѣ ты достанешь такіе черевика, которые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь тѣ самые, которые носить царица».

«Видишь, какихъ захотѣла!» закричала со смѣхомъ дѣвичья толпа.

«Да!» продолжала гордо красавица: «будьте всѣ вы свидѣтельницы: если кузнецъ Вакула принесетъ тѣ самые черевика, которые носить царица, то вотъ мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ».

Дѣвушки увели съ собою капризную красавицу.

«Смѣйся! смѣйся!» говорилъ кузнецъ, выходя вслѣдъ за ними. «Я самъ смѣюсь надъ собою! Думаю и не могу надумать, куда дѣвался умъ мой? Она меня не любитъ,—ну, Богъ съ ней! Будто только на всемъ свѣтѣ одна Оксана. Слава Богу, дѣвчатъ много хорошихъ и безъ нея на селѣ. Да чтò Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: она только мастерица рядиться. Нѣтъ, полно! Пора перестать дурачиться».

Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть рѣшительнымъ, какой-то злой духъ проносилъ передъ нимъ смѣющийся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: «Достань, кузнецъ, царицыны черевика, выйду за тебя замужъ!» Все въ немъ волновалось, и онъ думалъ только объ одной Оксанѣ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, спѣшили изъ одной улицы въ другую. Но кузнецъ шелъ и ничего не видалъ и не участвовалъ въ тѣхъ веселостяхъ, которыя когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не на шутку разнѣжился у Солохи: цѣловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у поповны, брался за сердце, охалъ и сказалъ напрямикъ, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, какъ водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду, а душу отправить прямо въ пекло. Солоха была не такъ жестока; притомъ же чортъ, какъ извѣстно, дѣйствовалъ съ нею заодно. Она-таки любила видѣть волочившуюся за собою толпу и рѣдко бывала безъ компаніи. Этотъ вечеръ, однакожъ, думала провесть одна, потому что всѣ именитые обитатели села званы были на

кутью къ дядю. Но все пошло иначе: чортъ только-что представилъ свое требованіе, какъ вдругъ послышался стукъ и голосъ дюжаго головы. Солоха побѣжала отворить дверь, а проворный чортъ влѣзъ въ лежавшій мѣшокъ.

Голова, стряхнувъ съ своихъ капелюхъ снѣгъ и выпивши изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не пошелъ къ дядю, потому что поднялась метель; а, увидѣвши свѣтъ въ ея хатѣ, завернулъ къ ней, въ намѣреніи провести вечеръ съ нею.

Не успѣлъ голова это сказать, какъ въ дверь послышался стукъ



и голосъ дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», шепталъ голова: «мнѣ не хочется теперь встрѣтиться съ дьякомъ».

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотнаго гостя; наконецъ, выбрала самый большой мѣшокъ съ углемъ: уголь высыпала въ кадку, и дюжій голова влѣзъ съ усами, съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, побряхтывая и потирая руки, и разсказалъ, что у него не былъ никто, и что онъ сердечно радъ этому случаю *погулять* немного у нея, и не испугался метели. Тутъ онъ подошелъ къ ней ближе, кашлянулъ, усмѣхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ ко-



торомъ выказывалось и лукавство, и самодовольствіе: «А что́ это у васъ, великолѣпная Солоха?» И, сказавши это, отскочилъ онъ нѣсколько назадъ.

«Какъ что́? рука, Осипъ Никифоровичъ!» отвѣчала Солоха.

«Гм! рука! Хе, хе, хе!» произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ дьякъ и прошелся по комнатѣ.

«А это что́ у васъ, дражайшая Солоха?» произнесъ онъ съ такимъ же видомъ, приступивъ къ ней снова и схвативъ ее слегка рукою за шею и такимъ же порядкомъ отскочивъ назадъ.

«Будто не видите, Осипъ Никифоровичъ!» отвѣчала Солоха: «шея, а на шеѣ монисто».

«Гм! на шеѣ монисто! Хе, хе, хе!» и дьякъ снова прошелся по комнатѣ, потирая руки.

«А это что́ у васъ, несравненная Солоха?..» Неизвѣстно, къ чему бы теперь притронулся сладострастный дьякъ своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ дверь стукъ и голосъ казака Чуба.

«Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!» закричалъ въ испугѣ дьякъ. «Что теперь, если застанутъ особу моего званія?... Дойдетъ до отца Кондрата...»

Но опасенія дьяка были другого рода: онъ боялся болѣе того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того страшною рукою своею сдѣлала изъ его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродѣтельная Солоха!» говорилъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: «ваша доброта, какъ говоритъ писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей Богу, стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь».

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другого мѣшка, и не слишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и сѣлъ на самое дно, такъ что сверхъ его можно было насыпать еще съ полмѣшка угля.

«Здравствуй, Солоха!» сказалъ, входя въ хату, Чубъ. «Ты, можетъ-быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Можетъ-быть, я помѣшалъ?..» продолжалъ Чубъ, показавъ на лицѣ своемъ веселую и значительную мину, которая заранѣе давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затѣйливую шутку. «Можетъ-быть, вы тутъ забавлялись съ кѣмъ-нибудь!.. Можетъ-быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?» И восхищенный такимъ замѣчаніемъ своимъ, Чубъ засмѣялся, внутренно торжествуя, что онъ одинъ только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послалъ же Богъ такую ночь передъ Рождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схватилась... Экъ окостенѣли руки: не разстегну кожуха! Какъ схватилась вьюга...»

«Отвори!» раздался на улицѣ голосъ, сопровождаемый толчкомъ въ дверь.

«Стучить кто-то», сказалъ остановившійся Чубъ.

«Отвори!» закричали сильнѣе прежняго.

«Это кузнецъ!» произнесъ, схватясь за капелюхи, Чубъ. «Слышишь, Солоха: куда хочешь, дѣвай меня; я ни за что на свѣтѣ не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобъ ему набѣжало, дьявольскому сыну, подъ обоими глазами по пузырю въ копну величиною!»

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорѣлая, и, позабывшись, дала знакъ Чубу лѣзть въ тотъ самый мѣшокъ, въ которомъ сидѣлъ



уже дякъ. Бѣдный дякъ не смѣлъ даже изъяснить кашлемъ и кряхтѣньемъ боли, когда сѣлъ ему почти на голову тяжелый мужикъ и помѣстилъ свои намерзнувшіе на морозѣ сапоги по обѣимъ сторонамъ его висковъ.

Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Замѣтно было, что онъ былъ весьма не въ духѣ.

Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нимъ дверь, кто-то постучался снова. Это былъ козакъ Свербыгузь. Этого уже нельзя было спрятать въ мѣшокъ, потому что и мѣшка такого нельзя было найти нигдѣ. Онъ былъ погрузнѣе тѣломъ самого головы и повыше ростомъ

Чубова кума. И потому Солоха повела его въ огородъ, чтобы выслушать отъ него все то, что онъ хотѣлъ ей объявить.

Кузнецъ разсѣянно оглядывалъ углы своей хаты, вслушиваясь по временамъ въ далеко разносившіяся по селу пѣсни колядующихъ; наконецъ, остановилъ глаза на мѣшкахъ. «Зачѣмъ тутъ лежатъ эти мѣшки? ихъ давно бы пора убрать отсюда. Черезъ эту глупую любовь я одурѣлъ совсѣмъ. Завтра праздникъ, а въ хатѣ до сихъ поръ еще лежитъ всякая дрянь. Отнести ихъ въ кузницу!»

Тутъ кузнецъ присѣлъ къ огромнымъ мѣшкамъ, перевязалъ ихъ крѣпче и готовился взвалить себѣ на плечи. Но замѣтно было, что его мысли гуляли, Богъ знаетъ гдѣ; иначе онъ бы услышалъ, какъ зашипѣлъ Чубъ, когда волоса на головѣ его прикрутила завязавшая мѣшокъ веревка, и дюжій голова началъ—было икать довольно явственно.

«Неужели не выбьется изъ ума моего эта негодная Оксана?» говорилъ кузнецъ. «Не хочу думать о ней; а все думается, и, какъ нарочно, о ней одной только. Отчего это такъ, что дума противъ воли лѣзетъ въ голову? Кой чортъ! Мѣшки стали какъ будто тяжелѣе прежняго! Тутъ, вѣрно, положено еще что-нибудь, кромѣ угля. Дурень я! я и позабылъ, что теперь мнѣ все кажется тяжелѣе. Прежде, бывало, я могъ согнуть и разогнуть въ одной рукѣ мѣдный пятакъ и лошадиную подкову, а теперь мѣшковъ съ углемъ не подыму. Скоро буду отъ вѣтра валиться...» «Нѣтъ!» вскричалъ онъ, помолчавъ и ободрившись. «Что я за баба! Не дамъ никому смѣяться надъ собою! Хоть десять такихъ мѣшковъ—всѣ подыму». И бодро взвалилъ себѣ на плечи мѣшки, которыхъ не понесли бы два дюжихъ человѣка. «Взять и этотъ», продолжалъ онъ, подымая маленькій, на днѣ котораго лежалъ, свернувшись, чортъ. «Тутъ, кажется, я положилъ струментъ свой». Сказавъ это, онъ вышелъ вонъ изъ хаты, насвистывая пѣсню:

Мини съ жинкой ни возиться.

Шумнѣе и шумнѣе раздавались по улицамъ пѣсни, хохотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосѣднихъ деревень. Парубки шалили и бѣсились въ волю. Часто, между колядками, слышалась какая-нибудь веселая пѣсня, которую тутъ же успѣлъ сложить кто-нибудь изъ молодыхъ козаковъ. То вдругъ одинъ изъ толпы, вмѣсто колядки, отпускалъ щедровку и ревѣлъ во все горло:

Щедрыкъ, ведрыкъ!

Дайте вареникъ!

Грудочку каши,

Кильце ковбаски!

Хохотъ награждалъ затѣйника. Маленькія окна подымались, и сухошащая рука старухи (которая однѣ только вмѣстѣ съ степенными отцами



оставались въ избахъ) высывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или кускомъ пирога. Парубки и дѣвушки наперерывъ подставляли мѣшки и ловили свою добычу. Въ одномъ мѣстѣ парубки, зашедши со всѣхъ сторонъ, окружали толпу дѣвушекъ: шумъ, крикъ; одинъ бросалъ комомъ снѣга, другой вырывалъ мѣшокъ со всякой всячиной. Въ другомъ мѣстѣ дѣвушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и онъ легълъ вмѣстѣ съ мѣшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ готовы были повеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ роскошно теплилась! И еще бѣлѣ казался свѣтъ мѣсяца отъ блеска снѣга!

Кузнецъ остановился съ своими мѣшками. Ему почудился въ толпѣ дѣвушекъ голосъ и тоненькій смѣхъ Оксаны. Всѣ жилки въ немъ вздрогнули; бросивши на землю мѣшки, такъ что находившійся на днѣ дыкъ заохалъ отъ ушиба и голова икнулъ во все горло, побрелъ онъ съ маленькимъ мѣшкомъ на плечахъ вмѣстѣ съ толпою парубковъ, шедшихъ слѣдомъ за дѣвичьей толпою, между которою ему слышался голосъ Оксаны.

«Такъ, это она! Стоитъ, какъ царица, и блеститъ черными очами. Ей рассказываетъ что-то видный парубокъ; вѣрно забавное, потому что она смѣется. Но она всегда смѣется». Какъ будто невольно, самъ не понимая какъ, протерся кузнецъ сквозь толпу и всталъ около нея.

«А, Вакула, ты тутъ! здравствуй!» сказала красавица съ той же самой усмѣшкой, которая чуть не сводила Вакулу съ ума. «Ну, много наколядовалъ? Э, да какой маленькій мѣшокъ! А черевикъ, которые носитъ царица, досталъ? Достань черевикъ, выйду за тебя замужъ»... И, засмѣявшись, убѣжала съ толпою дѣвушекъ.

Какъ вкопанный, стоялъ кузнецъ на одномъ мѣстѣ. «Нѣтъ, не могу; нѣтъ силъ больше...» произнесъ онъ, наконецъ. «Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ея взглядъ, и рѣчи, и все, ну вотъ такъ и жжетъ, такъ и жжетъ... Нѣтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора положить конецъ всему. Пропадай душа! Пойду утоплюсь въ пролубѣ, и поминай, какъ звали!»

Тутъ рѣшительнымъ шагомъ пошелъ онъ впередъ, догналъ толпу дѣвчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказалъ твердымъ голосомъ: «Прощай, Оксана! Ищи себѣ, какого хочешь, жениха, дурачъ, кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этомъ свѣтѣ».

Красавица казалась удивленною, хотѣла что-то сказать, но кузнецъ махнулъ рукой и убѣжалъ.





«Куда, Вакула?» кричали парубки, видя бѣгущаго кузнеца.

«Прощайте, братцы!» кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ. «Дастъ Богъ увидимся на томъ свѣтѣ, а на этомъ уже не гулять намъ вмѣстѣ. Прощайте! Не поминайте лихомъ! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворилъ панихиду по моей грѣшной душѣ. Свѣчей къ иконамъ Чудотворца и Божіей Матери, грѣшенъ, не обмалевалъ за мірскими дѣлами. Все добро, какое найдется въ моей скринѣ, на церковь. Прощайте!»

Проговоривши это, кузнецъ принялся снова бѣжать съ мѣшкомъ на спинѣ.

«Онъ повредился!» говорили парубки.

«Пропадшая душа!» набожно пробормотала проходившая мимо старуха: «пойти рассказать, какъ кузнецъ повѣсился!»

Вакула, между тѣмъ, пробѣжавши нѣсколько улицъ, остановился перевести духъ. «Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?» подумалъ онъ: «какъ будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду къ запорожцу Пузатому Пацюку. Онъ, говорятъ, знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаетъ, что захочетъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!»

При этомъ чортъ, который долго лежалъ безъ всякаго движенія, запрыгалъ въ мѣшокъ отъ радости; но кузнецъ, подумавъ, что онъ какъ нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и произвелъ самъ это движеніе, ударилъ по мѣшку дюжимъ кулакомъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его, или онъ самъ убѣжалъ изъ Запорожья, этого никто не зналъ. Давно уже, лѣтъ десять, а можетъ, и пятнадцать, какъ онъ жилъ въ Диканькѣ. Сначала онъ жилъ, какъ настоящій запорожецъ: ничего не работалъ, спалъ три четверти дня, ѣлъ за шестерыхъ косарей, и выпивалъ за однимъ разомъ почти по цѣлому ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Пацюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ ширину былъ довольно увѣсистъ. Притомъ же шаровары, которыя носилъ онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдѣлалъ онъ шагъ, ногъ совершенно не было замѣтно, и казалось, винокуренная кадъ двигалась по улицѣ. Можетъ-быть, это самое подало поводъ про-

звать его Пузатымъ. Не прошло нѣсколькихъ недѣль послѣ прибытія его въ село, какъ всѣ уже узнали, что онъ знахарь. Бывалъ ли кто боленъ чѣмъ, тотчасъ призывалъ Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать нѣсколько словъ, и недугъ какъ будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьею костью, Пацюкъ умѣлъ такъ искусно ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слѣдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. Въ послѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь. Причиною этому была, можетъ-быть, лѣнь, а можетъ и то, что пролѣзать въ двери дѣлалось



для него съ каждымъ годомъ труднѣе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему сами, если имѣли въ немъ нужду.

Кузнецъ не безъ робости отворилъ дверь и увидѣлъ Пацюка, сидѣвшаго на полу, по-турецки, передъ небольшою кадушкою, на которой стояла миска съ галушками. Эта миска стояла, какъ нарочно, наравнѣ съ его ртомъ. Не подвинувшись ни однимъ пальцемъ, онъ наклонилъ слегка голову къ мискѣ и хлебалъ жижую, схватывая по временамъ зубами галушки.

«Нѣтъ, этотъ», подумалъ Вакула про себя, «еще лѣнивѣе Чуба: тотъ, по крайней мѣрѣ, ѣстъ ложкою, а этотъ и руки не хочетъ поднять!»

Пацюкъ, вѣрно, крѣпко занятъ былъ галушками, потому что, казалось, совсѣмъ не замѣтилъ прихода кузнеца, который, едва ступивши на порогъ, отвѣсилъ ему пренизкій поклонъ.

«Я къ твоей милости пришелъ, Пацюкъ!» сказалъ Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюкъ поднялъ голову и снова началъ хлебать галушки.

«Ты, говорятъ, не во гнѣвъ будь сказано...» сказалъ, собираясь съ духомъ, кузнецъ: «я веду объ этомъ рѣчь не для того, чтобы тебѣ нанести какую обиду, — приходишься немного сродни чорту».

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумавъ, что выразился все еще напрямикъ и мало смягчилъ крѣпкія слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вмѣстѣ съ мискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился немного и закрылся рукавомъ, чтобы горячая жижа съ галушекъ не обрызгала ему лица.



Но Пацюкъ взглянулъ и снова началъ хлебать галушки.

Ободренный кузнецъ рѣшился продолжать: «Къ тебѣ пришелъ, Пацюкъ. Дай Боже тебѣ всего, добра всякаго въ довольствіи, хлѣба въ пропорціи!» Кузнецъ иногда умѣлъ вернуть модное слово: въ томъ онъ понаторѣлъ въ бытность еще въ Полтавѣ, когда размалевывалъ сотнику досчатый заборъ. «Пропадать приходится мнѣ, грѣшному! Ничто не поможетъ мнѣ на свѣтѣ! Чтѣ будетъ, то будетъ. Приходится просить помощи у самого чорта. Чтѣ-жѣ, Пацюкъ», произнесъ кузнецъ, видя неизмѣнное его молчаніе: «какъ мнѣ быть?»

«Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту!» отвѣчалъ Пацюкъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать галушки.

«Для того-то я и пришелъ къ тебѣ», отвѣчалъ кузнецъ, отвѣшивая поклонъ: «кромѣ тебя, думаю, никто на свѣтѣ не знаетъ къ нему дороги».

Пацюкъ ни слова, и доѣдалъ остальные галушки. «Сдѣлай милость, человѣкъ добрый, не откажи!» наступалъ кузнецъ. «Свинины ли, колбасъ, муки гречневой, ну, полотна, пшена, или иного прочаго, въ случаѣ потребности... какъ обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хотѣ, какъ, примѣрно сказать, попасть на дорогу къ нему?»

«Тому не нужно далеко ходить, у кого чортъ за плечами», произнесъ равнодушно Пацюкъ, не измѣняя своего положенія.

Вакула уставилъ въ него глаза, какъ будто бы на лбу его написано было изъясненіе этихъ словъ. «Чтѣ онъ говоритъ?» безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое слово.

Но Пацюкъ молчалъ.

Тутъ замѣтилъ Вакула, что ни галушекъ, ни кадушки передъ нимъ не было; но вмѣсто того на полу стояли двѣ деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотримъ», говорилъ онъ самъ себѣ: «какъ будетъ ѣсть Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ, вѣрно, не захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да и нельзя: нужно вареникъ сперва обмокнуть въ сметану».

Только-что онъ успѣлъ это подумать, Пацюкъ разинулъ ротъ, поглядѣлъ на вареники и еще сильнѣе разинулъ ротъ. Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочилъ вверхъ и какъ разъ попалъ ему въ ротъ. Пацюкъ съѣлъ и снова разинулъ ротъ, и вареникъ такимъ же порядкомъ отправился снова. На себя только принималъ онъ трудъ жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» подумалъ кузнецъ, разинувъ отъ удивленія ротъ, и тотъ же часъ замѣтилъ, что вареникъ лѣзетъ и къ нему въ







ротъ, и уже вымазалъ губы сметаной. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ началъ размышлять о томъ, какія чудеса бываютъ на свѣтѣ и до какихъ мудростей доводитъ человѣка нечистая сила, замѣчая притомъ, что одинъ только Пацюкъ можетъ помочь ему.

«Поклонюсь ему еще, пусть растолкуетъ хорошенько... Однако, что за чортъ! Вѣдь сегодня *голодная кутья*, а онъ ѣстъ вареники, вареники скоромные! Что я, въ самомъ дѣлѣ, за дуракъ: стою тутъ и грѣха набираюсь! Назадъ!..» И набожный кузнецъ опрометью выбѣжалъ изъ хаты.

Однакожъ чортъ, сидѣвшій въ мѣшкѣ и заранѣе уже радовавшійся, не могъ вытерпѣть, чтобы ушла изъ рукъ его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустилъ мѣшокъ, онъ выскочилъ изъ него и сѣлъ верхомъ ему на шею.

Морозъ подралъ по кожѣ кузнеца; испугавшись и поблѣднѣвъ, не зная онъ, что дѣлать; уже хотѣлъ перекреститься... Но чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказалъ: «Это я, твой другъ; все сдѣлаю для товарища и друга! Денегъ дамъ, сколько хочешь», пискнулъ онъ ему въ лѣвое ухо. «Оксана будетъ сегодня же наша», шепнулъ онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ стоялъ, размышляя.

«Изволь», сказалъ онъ, наконецъ: «за такую цѣну готовъ быть твоимъ!»

Чортъ всплеснулъ руками и началъ отъ радости галопировать на шеѣ кузнеца. «Теперь-то попался кузнецъ!» думалъ онъ про себя: «теперь-то вымещу я на тебѣ, голубчикъ, всѣ твои малеванья и небылицы, взводимыя на чертей! Что теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаютъ, что самый набожнѣйшій изъ всего села человѣкъ въ моихъ рукахъ?»

Тутъ чортъ засмѣялся отъ радости, вспомнивши, какъ будетъ дразнить въ адѣ все хвостатое племя, какъ будетъ бѣситься хромою чортъ, считавшійся между ними первымъ на выдумки.

«Ну, Вакула!» пропищалъ чортъ, все такъ же, не слѣзая съ шеи, какъ бы опасаясь, чтобы онъ не убѣжалъ: «ты знаешь, что безъ контракта ничего не дѣлаютъ».

«Я готовъ!» сказалъ кузнецъ. «У васъ, я слышалъ, расписываются кровью; стой-же, я достану въ карманѣ гвоздь!»

Тутъ онъ заложилъ назадъ руку — и хватъ чорта за хвостъ.

«Вишь, какой шутникъ!» закричалъ, смѣясь, чортъ: «ну, полно, довольно уже шалить!»

«Стой, голубчикъ!» закричалъ кузнецъ. «А вотъ это какъ тебѣ покажется?» При этомъ словѣ онъ сотворилъ крестъ, и чортъ сдѣлался такъ тихъ, какъ ягненокъ. «Стой же», сказалъ онъ, стаскивая его

за хвостъ на землю: «будешь ты у меня знать подучивать на грѣхи добрыхъ людей и честныхъ христіанъ».

Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ руку для крестнаго знаменія.

«Помилуй, Вакула!» жалобно простоналъ чортъ: «все, что для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на покаянье: не клади на меня страшнаго креста!»

«А, вотъ какимъ голосомъ запѣлъ, нѣмецъ проклятый! Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на себѣ! Слышишь? Да несись, какъ птица!»

«Куда?» произнесъ печальный чортъ.

«Въ Петербургъ, прямо къ царицѣ!» И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странныхъ рѣчахъ кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слишкомъ жестоко поступила съ нимъ. «Что, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, рѣшится на что-нибудь страшное? Чего добраго! Можетъ быть, онъ съ горя вздумаетъ влюбиться въ другую, и съ досады станетъ называть ее первою красавицею на селѣ? Но нѣтъ, онъ меня любитъ. Я такъ хороша! Онъ меня ни за что не промѣняетъ; онъ шалитъ, прикидывается. Не пройдетъ минутъ десяти, какъ онъ, вѣрно, придетъ поглядѣть на меня. Я, въ самомъ дѣлѣ, сурова. Нужно ему дать, какъ будто нехотя, поцѣловать себя. То-то онъ обрадуется!» И вѣтреная красавица уже шутила со своими подругами.

«Постойте», сказала одна изъ нихъ: «кузнецъ позабылъ мѣшки свои; смотрите, какіе страшные мѣшки! Онъ не по-нашему наколядовалъ; я думаю, сюда по цѣлой четверти барана кидали; а колбасамъ и хлѣбамъ, вѣрно, счету нѣтъ. Роскошь! цѣлые праздники можно объѣдаться».

«Это кузнецовы мѣшки?» подхватила Оксана: «утащимъ скорѣе ихъ хоть ко мнѣ въ хату и разглядимъ хорошенько, что онъ сюда накласть».

Всѣ со смѣхомъ одобрили такое предложеніе.

«Но мы не поднимемъ ихъ!» закричала вся толпа вдругъ, сисясь сдвинуть мѣшки.

«Постойте», сказала Оксана: «побѣжимъ скорѣе за санками и отвеземъ на санкахъ!»

И толпа побѣжала за санками.

Плѣнникамъ сильно прискучило сидѣть въ мѣшкахъ, несмотря на то, что дьякъ проткнулъ для себя пальцемъ порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, можетъ быть, онъ нашелъ бы средство и вылѣзть; но вылѣзть изъ мѣшка при всѣхъ, показать себя на смѣхъ...

это удерживало его, и онъ рѣшился ждать, слегка только покряхтывая подъ невѣжливыми сапогами Чуба. Чубъ самъ не менѣе желалъ свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что-то такое, на чемъ сидѣть страхъ было неловко. Но, какъ-скоро услышалъ рѣшеніе своей дочери, успокоился и не хотѣлъ уже вылѣзть, разсуждая, что къ хатѣ своей нужно пройти, по крайней мѣрѣ, шаговъ съ сотню, а, можетъ-быть, и другую; вылѣзши же, нужно оправиться, застегнуть кожухъ, подвязать поясъ—сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дѣвчата доvezутъ на санкахъ.

Но случилось совсѣмъ не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ то время, когда дѣвчата убѣжали за санками, худощавый кумъ выходилъ изъ шинка разстроенный и не въ духѣ. Шинкарка никакимъ образомъ не рѣшалась ему вѣрить въ долгъ. Онъ хотѣлъ-было дожидаться въ шинкѣ, авось-либо придетъ какой-нибудь набожный дворянинъ и попотчуетъ его; но, какъ нарочно, всѣ дворяне оставались дома и, какъ честные христіане, ѣли кутью посреди своихъ домашнихъ. Размышляя о развращеніи нравовъ и о деревянномъ сердцѣ жиловки, продающей вино, кумъ набрелъ на мѣшки и остановился въ изумленіи. «Вишь, какіе мѣшки кто-то бросилъ на дорогѣ!» сказалъ онъ, осматриваясь по сторонамъ. «Должно-быть, тутъ и свинина есть. Полѣзло же кому-то счастье колядовать столько всякой всячины! Экіе страшные мѣшки! Положимъ, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*; хотя бы были тутъ однѣ паляницы, и то въ *шмакъ*: жиловка за каждую паляницу даетъ осьмуху водки. Утащить скорѣе, чтобы кто не увидѣлъ».

Тутъ взвалилъ онъ себѣ на плечи мѣшокъ съ Чубомъ и дьякомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ. «Нѣтъ, одному будетъ тяжело несть», проговорилъ онъ. «А вотъ, какъ нарочно, идетъ ткачъ Шапуваленко. Здравствуй, Остапъ!»

«Здравствуй», сказалъ, остановившись, ткачъ.

«Куда идешь?»

«А такъ; иду, куда ноги идутъ».

«Помоги, человекъ добрый, мѣшки снести! Кто-то колядовалъ, да и кинулъ посреди дороги. Добромъ раздѣлимся пополамъ».

«Мѣшки? а съ чѣмъ мѣшки: съ книшами или паляницами?»

«Да, думаю, всего есть».

Тутъ выдернули они наскоро изъ плетня палки, положили на нихъ мѣшокъ и понесли на плечахъ.

«Куда-жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?» спросилъ дорогою ткачъ.

«Оно бы и я такъ думалъ, чтобы въ шинокъ; да вѣдь проклятая жиловка не повѣритъ, подумаетъ еще, что гдѣ-нибудь украли; къ тому же я только-что изъ шинка. Мы отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не помѣшаетъ: жинки нѣтъ дома».



«Да точно ли ея нѣтъ дома?» спросилъ осторожный ткачъ.

«Слава Богу, мы не совсѣмъ еще безъ ума», сказалъ кумъ: «чортъ ли бы принесъ меня туда, гдѣ она. Она, думаю, протаскается съ бабами до свѣта».

«Кто тамъ?» закричала кумова жена, услышавъ шумъ въ сѣняхъ, произведенный приходомъ двухъ пріятелей съ мѣшкомъ, и отворяя дверь хаты.

Кумъ остолбенѣлъ.

«Вотъ тебѣ на!» произнесъ ткачъ, опустья руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не мало на бѣломъ свѣтѣ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидѣла дома, и почти весь день пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только



по утрамъ съ своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ была вдвое старѣе шароваръ волостного писаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. Плетня видны

были одни остатки, потому что всякій, выходявшій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нѣжная супруга у добрыхъ людей, прятала какъ можно подалѣе отъ своего мужа, и часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ ею отъ него побояхъ.

Теперь можно себѣ представить, какъ были озадачены ткачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши мѣшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видѣла старыми глазами, однакожъ мѣшокъ замѣтила. «Вотъ это хорошо!» сказала она съ такимъ видомъ, въ которомъ замѣтна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколядовали столько! Вотъ такъ всегда дѣлаютъ добрые люди; только нѣтъ, я думаю, гдѣ-нибудь подцѣпили. Покажите мнѣ сейчасъ, слышите, покажите сей же часъ мѣшокъ вашъ!»

«Лысый чортъ тебѣ покажетъ, а не мы», сказалъ, пріосанясь, кумъ. «Тебѣ какое дѣло?» сказалъ ткачъ: «мы наколядовали, а не ты». «Нѣтъ, ты мнѣ покажешь, негодный пьяница!» вскричала жена, ударивъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и продираясь къ мѣшку. Но ткачъ и кумъ мужественно отстояли мѣшокъ и заставили ее попятиться назадъ. Не успѣли они оправиться, какъ супруга выбѣжала



въ сѣни уже съ кочергою въ рукахъ. Проворнохватила кочергою мужа по рукамъ, ткача по спинѣ и уже стояла возлѣ мѣшка.

«Чтò мы допустили ее?» сказалъ ткачъ, очнувшись.

«Э, чтò мы допустили! А отчего ты допустилъ?» сказалъ хладнокровно кумъ.

«У васъ кочерга, видно, желѣзная!» сказалъ послѣ небольшого молчанія ткачъ, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый годъ на ярмаркѣ кочергу, дала пивкопы: та ничего... не больно...».

Между тѣмъ торжествующая супруга, поставивъ на полъ каганецъ, развязала мѣшокъ и заглянула въ него.

Но, вѣрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увидѣли мѣшокъ,



на этотъ разъ обманулись. «Э, да тутъ лежитъ цѣлый кабанъ!» вскрикнула она, всплеснувъ отъ радости въ ладоши.

«Кабанъ! Слышишь: цѣлый кабанъ!» толкалъ ткачъ кума: «а все ты виновать!»

«Что-жъ дѣлать!» произнесъ, пожимая плечами, кумъ.

«Какъ что? чего мы стоимъ? Отнимемъ мѣшокъ! Ну, приступай!»

«Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!» кричалъ, выступая, ткачъ.

«Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!» говорилъ, приближаясь, кумъ.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это время выльзъ изъ мѣшка и сталъ посерединѣ сѣней, потягиваясь, какъ человѣкъ, только-что пробудившійся отъ долгаго сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и всѣ невольно разинули рты.

«Что-жъ она, дура, говорить: кабанъ! Это не кабанъ!» сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

«Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!» сказалъ ткачъ, пятясь отъ испугу. «Хоть, что хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не пролѣзетъ въ окошко!»

«Это кумъ!» вскрикнулъ, взглянувъ на кума.

«А ты думалъ кто?» сказалъ Чубъ, усмѣхаясь. «Что, славную я выкинулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли меня съѣсть вмѣсто свинины? Постойте же, я васъ порадую: въ мѣшкѣ лежитъ еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно что-то шевелилось».

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпилась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы самъ дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался изъ мѣшка.

Кумова жена, остолбенѣвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за которую начала-было тянуть дьяка изъ мѣшка.

«Вотъ и другой еще!» вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. «Чортъ знаетъ, какъ стало на свѣтѣ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не паляницъ, а людей кидаютъ въ мѣшки!»

«Это дьякъ!» произнесъ, изумившійся болѣе всѣхъ, Чубъ. «Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло по два человѣка. А я думалъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!»

Дѣвушки немного удивились, не найдя одного мѣшка.

«Нечего дѣлать, будетъ съ насъ и этого», лепетала Оксана.

Всѣ принялись за мѣшокъ и взвалили его на санки.



Голова рѣшился молчать, разсуждая, что если онъ закричитъ, чтобы его выпустили и развязали мѣшокъ, глупыя дѣвчата разбѣгутся: подумаютъ, что въ мѣшкѣ сидитъ дьяволъ, — и онъ останется на улицѣ, можетъ быть, до завтра.

Дѣвушки, между тѣмъ, дружно взявшись за руки, полетѣли, какъ вихорь, съ санками по скрипучему снѣгу. Многія изъ нихъ, шая, сажались на санки; другія взбирались даже на самого голову. Голова рѣшился сносить все.



Наконецъ, пріѣхали, отворили настежь двери въ сѣняхъ и хатѣ, и съ хохотомъ втащили мѣшокъ.

«Посмотримъ, что-то лежитъ тутъ», закричали всѣ, бросившись развязывать.

Тутъ икота, которая не переставала мучить голову во все время сидѣнія его въ мѣшкѣ, такъ усилилась, что онъ началъ икать и кашлять во все горло.

«Ахъ, тутъ сидитъ кто-то!» закричали всѣ и въ испугѣ бросились вонъ изъ дверей.

«Что за чортъ! куда вы мечетесь, какъ угорѣлая?» сказалъ, входя въ дверь, Чубъ.

«Ай, батько!» произнесла Оксана: «въ мѣшкѣ сидитъ кто-то!»

«Въ мѣшкѣ? Гдѣ вы взяли этотъ мѣшокъ?»

«Кузнецъ бросилъ его посреди дороги», сказали всѣ вдругъ.

«Ну, такъ; не говорилъ ли я?...» подумалъ про себя Чубъ. «Чего-жъ вы испугались? посмотримъ. — А ну-ка, чоловіче, — прошу не погнѣвиться, что не называемъ по имени отчеству, — вылѣзай изъ мѣшка!»

Голова вылѣзъ.

«Ахъ!» вскрикнули дѣвушки.

«И голова влѣзъ туда-жъ», говорилъ про себя Чубъ въ недоумѣніи, мѣривъ его съ головы до ногъ. «Вишь какъ!... Э!..» Болѣе онъ ничего не могъ сказать.

Голова самъ былъ не меньше смущенъ и не зналъ, что начать.

«Должно-быть, на дворѣ холодно?» сказалъ онъ, обращаясь къ Чубу.

«Морозецъ есть», отвѣчалъ Чубъ. «А позволь спросить тебя: чѣмъ ты смазываешь свои сапоги, смальцемъ или дегтемъ?» Онъ хотѣлъ не то сказать; онъ хотѣлъ спросить: «какъ ты, голова, залѣзъ въ этотъ мѣшокъ?» но самъ не понималъ, какъ выговорилъ совершенно другое.

«Дегтемъ лучше», сказалъ голова. «Ну, прощай, Чубъ!» И, нахлобучивъ капелюхи, вышелъ вонъ изъ хаты.

«Для чего спросилъ я сдуру, чѣмъ онъ мажетъ сапоги!» произнесъ Чубъ, поглядывая на двери, въ которыя вышелъ голова. «Ай да Солоха! этакого человѣка засадить въ мѣшокъ!.. Вишь, чортова баба! А я дуракъ... Да гдѣ же тотъ проклятый мѣшокъ?»

«Я кинула его въ уголъ, тамъ больше ничего нѣтъ», сказала Оксана.

«Знаю я эти штуки, ничего нѣтъ! Подайте его сюда: тамъ еще одинъ сидитъ! Встряхните его хорошенько... Что, нѣтъ? Вишь, проклятая баба! А поглядѣть на нее — какъ святая, какъ будто и скромнаго никогда не брала въ ротъ!..»

Но оставимъ Чуба изливать на досугъ свою досаду и возвратимся къ кузнецу, потому что уже на дворѣ, вѣрно, есть часъ девятый.

Сначала страшно показалось Вакулѣ, особливо когда поднялся онъ отъ земли на такую высоту, что ничего уже не могъ видѣть внизу, и пролетѣлъ, какъ муха, подъ самымъ мѣсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немного, то зацѣпилъ бы его шапкою. Однакожъ, немного спустя, онъ ободрился и уже сталъ подшучивать надъ чортомъ. (Его забавляло до крайности, какъ чортъ чихалъ и кашлялъ, когда онъ снималъ съ шеи кипарисный крестикъ и подносилъ къ нему. Нарочно поднималъ онъ руку почесать голову, а чортъ, думая, что его собираются крестить, летѣлъ еще быстрѣе). Все было свѣтло въ вышинѣ. Воздухъ, въ легкомъ серебряномъ туманѣ, былъ прозраченъ. Все было видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ пронесся мимо ихъ, сидя въ









горшкѣ, колдунѣ; какъ звѣзды, собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ сторонѣ, облакомъ, цѣлый рой духовъ; какъ плясавшій при мѣсяцѣ чортъ снялъ шапку, увидѣвши кузнеца, скачущаго верхомъ; какъ летѣла возвращающаяся назадъ метла, на которой, видно, только-что съѣздила, куда нужно, вѣдьма... Много еще дряни встрѣчали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядѣть на него, и потомъ снова несло далѣе и продолжало свое; кузнецъ все летѣлъ, и вдругъ заблестѣлъ передъ нимъ Петербургъ весь въ огнѣ. (Тогда была по какому-то случаю иллюминація). Чортъ, перелетѣвъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня, и кузнецъ увидѣлъ себя на лихомъ бѣгунѣ среди улицы.

Боже мой! стукъ, громъ, блескъ; по обѣимъ сторонамъ громозлятся четырехъ-этажныя стѣны; стукъ конскихъ копытъ и колесъ отзывался громомъ и отдавался съ четырехъ сторонъ; дома росли и будто подымались изъ земли на каждомъ шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; снѣгъ свистѣлъ подъ тысячею летящихъ со всѣхъ сторонъ саней; пѣшеходы жались и тѣснились подъ домами, унизанными площадками, и огромныя тѣни ихъ мелькали по стѣнамъ, достигая головою трубъ и крышъ.

Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всѣ стороны. Ему казалось, что всѣ дома устремили на него свои безчисленныя огненные очи и глядѣли. Господъ, въ крытыхъ сукномъ шубахъ, онъ увидѣлъ такъ много, что не зналъ, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тутъ панства!» подумалъ кузнецъ. «Я думаю, каждый, кто ни пройдетъ по улицѣ въ шубѣ, то и засѣдатель, то и засѣдатель! А тѣ, что катаются въ такихъ чудныхъ бричкахъ со стеклами, тѣ, когда не городничіе, то, вѣрно, комиссары, а, можетъ, еще и больше». Его слова прерваны были вопросомъ чорта: «Прямо ли ѣхать къ царицѣ?» — «Нѣтъ, страшно», подумалъ кузнецъ. «Тутъ, гдѣ-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проѣзжали осенью чрезъ Диканьку. Они ѣхали изъ Сѣчи съ бумагами къ царицѣ; все бы таки посовѣтоваться съ ними. Эй, сатана! полѣзай ко мнѣ въ карманъ, да веди къ запорожцамъ!»

И чортъ въ одну минуту похудѣлъ и сдѣлался такимъ маленькимъ, что безъ труда влѣзъ къ нему въ карманъ. А Вакула не успѣлъ оглянуться, какъ очутился передъ большимъ домомъ, взошелъ, самъ не зная какъ, на лѣстницу, отворилъ дверь и подался немного назадъ отъ блеска, увидѣвши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тѣхъ самыхъ запорожцевъ, которые проѣзжали черезъ Диканьку, а теперь сидѣли на шелковыхъ диванахъ, поджавши подъ себя намазанные дегтемъ сапоги, и курили самый крѣпкій табакъ, называемый обыкновенно корешками.

«Здравствуйте, панове! Помогай Богъ вамъ, вотъ гдѣ увидѣлись!» сказалъ кузнецъ, подошедши близко и отвѣсивши поклонъ до земли.

«Что тамъ за человѣкъ?» спросилъ сидѣвшій передъ самымъ кузнецомъ другого, сидѣвшаго подалѣе.

«А вы не узнали?» сказалъ кузнецъ. «Это я, Вакула, кузнецъ! Когда проѣзжали осенью черезъ Диканьку, то прогостили, дай Боже вамъ всякаго здоровья и долголѣтія, у меня безъ малаго два дня. И новую шину тогда поставилъ на переднее колесо у вашей кибитки!»

«А!» сказалъ тотъ же запорожецъ: «это тотъ самый кузнецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?»

«А такъ, захотѣлось поглядѣть; говорятъ...»

«Что-жъ, землякъ», сказалъ, пріосанясь, запорожецъ, и желая показать, что онъ можетъ говорить и по-русски: «што, балшой городъ?»

Кузнецъ и себя не хотѣлъ осрамить и показаться новичкомъ, притомъ же, какъ имѣли случай видѣть выше сего, онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. «Губернія знатная!» отвѣчалъ онъ равнодушно: «нечего сказать, дома балшущіе, картины висятъ скрозь важныя. Многіе дома исписаны буквами изъ сусальнаго золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорція!»

Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняющагося, вывели заключеніе, очень для него выгодное.

«Послѣ потолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше: теперь же мы ѣдемъ сейчасъ до царицы».

«До царицы? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня съ собою!»

«Тебя?» произнесъ запорожецъ съ такимъ видомъ, съ какимъ говоритъ дядька четырехлѣтнему своему воспитаннику, который проситъ посадить его на настоящую, на большую лошадь. «Что ты будешь тамъ дѣлать? Нѣтъ, не можно». — При этомъ на лицѣ его выразилась значительная мина. «Мы, братъ, будемъ съ царицею толковать про свое».

«Возьмите!» настаивалъ кузнецъ. «Проси!» шепнулъ онъ тихо чорту, ударивъ кулакомъ по карману.

Не успѣлъ онъ этого сказать, какъ другой запорожецъ проговорилъ: «Возьмемъ его, въ самомъ дѣлѣ, братцы!»

«Пожалуй, возьмемъ!» произнесли другіе.

«Надѣвай же платье такое, какъ и мы».

Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ, какъ вдругъ дверь отворилась и вошедшій съ позуменами человѣкъ сказалъ, что пора ѣхать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ въ огромной каретѣ, качаясь на рессорахъ, когда съ обѣихъ сторонъ мимо его бѣжали назадъ четырехъ-этажные дома, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась подъ ноги лошадамъ.

«Боже ты мой, какой свѣтъ!» думалъ про себя кузнецъ: «у насъ днемъ не бываетъ такъ свѣтло».



Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы вышли, вступили въ великолѣпныя сѣни и начали подыматься на блистательно освѣщенную лѣстницу.

«Что за лѣстница!» шепталъ про себя кузнецъ: «жалъ ногами топтать. Экія украшенія! Вотъ, говорятъ: лгутъ сказки! Кой чортъ лгутъ! Боже ты мой! что за перила! Какая работа! Тутъ одного желѣза рублей на пятьдесятъ пошло!»

Уже взобравшись на лѣстницу, запорожцы прошли первую залу. Робко слѣдовалъ за ними кузнецъ, опасаясь на каждомъ шагу поскользнуться на паркетѣ. Прошли три залы, кузнецъ все еще не переставалъ удивляться. Вступивши въ четвертую, онъ невольно подошелъ къ висѣвшей на стѣнѣ картинѣ. Это была Пречистая Дѣва съ Младенцемъ на рукахъ.

«Что за картина! что за чудная живопись!» разсуждалъ онъ. «Вотъ, кажется, говоритъ! кажется, живая! А Дитя Святое! и ручки прижало, и усмѣхается, бѣдное! А краски! Боже ты мой, какія краски! Тутъ вохры, я думаю, и на копѣйку не пошло, все яръ да баканъ. А голубая такъ и горитъ! Важная работа! Должно-быть, грунтъ наведенъ былъ самымъ дорогимъ блейвасомъ. Сколь однакожъ ни удивительно сіе малеваніе, но эта мѣдная ручка», продолжалъ онъ, подходя къ двери и щупая замокъ: «еще бѣльшаго достойна удивленія. Экъ, какая чистая выдѣлка! Это все, я думаю, нѣмецкіе кузнецы, за самыя дорогія цѣны, дѣлали...»

Можетъ-быть, долго еще бы разсуждалъ кузнецъ, если бы лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напомнилъ, чтобы онъ не отставалъ отъ другихъ. Запорожцы прошли еще двѣ залы и остановились. Тутъ велѣно имъ было дожидаться. Въ залѣ толпилось нѣсколько генераловъ въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонились на всѣ стороны и стали въ кучу.

Минуту спустя, вошелъ, въ сопровожденіи цѣлой свиты, величественнаго роста, довольно плотный человѣкъ въ гетьманскомъ мундирѣ, въ желтыхъ сапожкахъ. Волосы на немъ были растрепаны, одинъ глазъ немного кривъ, на лицѣ изображалась какая-то надменная величавость, во всѣхъ движеніяхъ видна была привычка повелѣвать. Всѣ генералы, которые расхаживали довольно спесиво въ золотыхъ мундирахъ, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, ловили каждое его слово и даже малѣйшее движеніе, чтобы сейчасъ летѣть выполнять его. Но гетьманъ не обратилъ даже и вниманія на все это, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ.

Запорожцы всѣ отвѣсили поклонъ въ ноги.

«Всѣ ли вы здѣсь?» спросилъ онъ протяжно, произнося слова немного въ носъ.

«*Та вси, батько!*» отвѣчали запорожцы, кланяясь снова.

«Не забудьте говорить такъ, какъ я васъ училъ!»

«Нѣтъ, батько, не позабудемъ».

«Это царь?» спросилъ кузнецъ одного изъ запорожцевъ.

«Куда тебѣ царь! это самъ Потемкинъ», отвѣчалъ тотъ.

Въ другой комнатѣ слышались голоса, и кузнецъ не зналъ, куда дѣтъ свои глаза отъ множества вопиющихъ дамъ, въ атласныхъ платьяхъ, съ длинными хвостами, и придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтаныхъ и съ пучками назади. Онъ только видѣлъ одинъ блескъ и больше ничего.

Запорожцы вдругъ всѣ пали на землю и закричали въ одинъ голосъ: «Помилуй, мамо! помилуй!»

Кузнецъ, не видя ничего, растянулся и самъ, со всѣмъ усердіемъ, на полу.

«Встаньте!» прозвучалъ надъ ними повелительный и вмѣстѣ пріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились и толкали запорожцевъ.

«Не встанемъ, мамо! не встанемъ! Умремъ, а не встанемъ!» кричали запорожцы.

Потемкинъ кусалъ себѣ губы; наконецъ, подошелъ самъ и повелительно шепнулъ одному изъ запорожцевъ. Запорожцы поднялись.

Тутъ осмѣлился и кузнецъ поднять голову и увидѣлъ стоявшую передъ собою небольшого роста женщину, нѣсколько даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами и вмѣстѣ съ тѣмъ величественно улыбающимся видомъ, который такъ умѣлъ покорять себѣ все и могъ только принадлежать одной царствующей женщинѣ.

«Свѣтлѣйшій обѣщалъ меня познакомить сегодня съ моимъ народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала», говорила дама съ голубыми глазами, рассматривая съ любопытствомъ запорожцевъ. «Хорошо ли васъ здѣсь содержатъ?» продолжала она, подходя ближе.

«*Та спасибѣ, мамо!*» Провіантъ даютъ хорошій, хотя бараны здѣшніе совсѣмъ не то, что у насъ на Запорожьѣ, — почему-жъ не жить какъ-нибудь?..»

Потемкинъ поморщился, видя, что запорожцы говорятъ совершенно не то, чему онъ ихъ училъ...

Одинъ изъ запорожцевъ, пріосанясь, выступилъ впередъ: «Помилуй, мамо! Чѣмъ тебя твой вѣрный народъ прогнѣвилъ? Развѣ держали мы руку поганого татарина; развѣ соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ; развѣ измѣнили тебѣ дѣломъ или помышленіемъ? За что-же немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь вездѣ строить крѣпости отъ насъ; послѣ слышали, что хочешь *поворотить въ карабинеры*; теперь слышимъ новыя напасти. Чѣмъ виновато запорожское войско?

Тѣмъ ли, что перевело твою армію чрезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?..»

Потемкинъ молчалъ и небрежно чистилъ небольшою щеточкою свои брильянты, которыми были унизаны его руки.

«Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули другъ на друга.

«Теперь пора! царица спрашиваетъ, чего хотите!» сказалъ самъ себѣ кузнецъ и вдругъ повалился на землю.

«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите милость! Изъ чего, не во гнѣвъ будь сказано вашей царской милости, сдѣланы черевички, что на ногахъ вашихъ? Я думаю, ни одинъ швецъ, ни въ одномъ государствѣ на свѣтѣ, не сумѣетъ такъ сдѣлать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надѣла такіе черевички!»

Государыня засмѣялась. Придворные засмѣялись тоже. Потемкинъ и хмурился, и улыбался вмѣстѣ. Запорожцы начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли онъ сошелъ.

«Встань!» сказала ласково государыня. «Если такъ тебѣ хочется имѣть такіе башмаки, то это не трудно сдѣлать. Принесите ему сей же часъ башмаки самые дорогіе, съ золотомъ! Право, мнѣ очень нравится это простодушіе! Вотъ вамъ», продолжала государыня, устремивъ глаза на стоявшаго подалѣе отъ другихъ господина, съ полнымъ, но нѣсколько блѣднымъ лицомъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ не принадлежалъ къ числу придворныхъ: «предметъ, достойный остроумнаго пера вашего!»

«Вы, ваше императорское величество, слишкомъ милостивы. Тутъ нуженъ, по крайней мѣрѣ, Лафонтенъ!» отвѣчалъ, поклонясь, человѣкъ съ перламутровыми пуговицами.

«По чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти отъ вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однакожъ, продолжала государыня, обращаясь снова къ запорожцамъ: «я слышала, что на Сѣчѣ у васъ никогда не женятся».

«Якъ же, мамо! Вѣдь человѣку, сама знаешь, безъ жинки нельзя жить», отвѣчалъ тотъ самый запорожецъ, который разговаривалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слыша, что этотъ запорожецъ, зная такъ хорошо грамотный языкъ, говоритъ съ царицею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ, обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ. «Хитрый народъ!» подумалъ онъ самъ въ себѣ: «вѣрно, не даромъ онъ это дѣлаетъ».

«Мы не чернецы», продолжалъ запорожецъ, «а люди грѣшные. Падки, какъ и все честное христіанство, до скромнаго. Есть у насъ не мало такихъ, которые имѣютъ женъ, только не живутъ съ ними на Сѣчѣ. Есть такіе, что имѣютъ женъ въ Польшѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Украинѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ и въ Турещинѣ».



Въ это время кузнецу принесли башмаки.

«Боже ты мой, что за украшеніе!» вскрикнулъ онъ радостно, ухвативъ башмаки. «Ваше царское величество! что-жъ, когда башмаки такіе на ногахъ, и въ нихъ, чайтельно, ваше благородіе, ходите и на ледъ ковзаться, какія-жъ должны быть самыя ножки? Думаю, по малой мѣрѣ, изъ чистаго сахара».

Государыня, которая, точно, имѣла самыя стройныя и прелестныя ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплиментъ изъ устъ простодушнаго кузнеца, который въ своемъ запорожскомъ платьѣ могъ почесться красавцемъ, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный такимъ благосклоннымъ вниманіемъ, кузнецъ уже хотѣлъ-было разспросить хорошенько царицу обо всемъ: правда ли, что цари ѣдятъ одинъ только медъ да сало, и тому подобное; но почувствовавъ, что запорожцы толкаютъ его подъ бока, рѣшился замолчать. И когда государыня, обратившись къ старикамъ, начала разспрашивать, какъ у нихъ живутъ на Сѣчѣ, какіе обычаи водятся, онъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказалъ тихо: «выноси меня отсюда скорѣй!» и вдругъ очутился за шлагбаумомъ.

«Утонулъ! ей Богу, утонулъ! Вотъ, чтобы я не сошла съ этого мѣста, если не утонулъ!» лепетала толстая ткачиха, стоя въ кучѣ диканьскихъ бабъ, посреди улицы.

«Что-жъ, развѣ я лгуныя какая? Развѣ я у кого-нибудь корову украдала? Развѣ я сгладила кого, что ко мнѣ не имѣютъ вѣры?» кричала баба въ козацкой свиткѣ съ фіолетовымъ носомъ, размахивая руками. «Вотъ, чтобы мнѣ воды не захотѣлось пить, если старая Переперчиха не видѣла собственными глазами, какъ повѣсился кузнецъ!»

«Кузнецъ повѣсился? Вотъ тебѣ на!» сказалъ голова, выходявшій отъ Чуба, остановился и протѣснился ближе къ разговаривавшимъ.

«Скажи лучше, чтобъ тебѣ водки не захотѣлось пить, старая пьяница!» отвѣчала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! утонулъ въ пролубѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты была сейчасъ у шинкарки».

«Срамница! вишь, чѣмъ стала попрекать!» гнѣвно возразила баба съ фіолетовымъ носомъ. «Молчала бы, негодница! Развѣ я не знаю, что къ тебѣ дьякъ ходитъ каждый вечеръ».

Ткачиха вспыхнула.

«Что дьякъ? къ кому дьякъ? Что ты врешь?»

«Дьякъ?» пропѣла, тѣсясь къ ссорившимся, дьячиха, въ тулупѣ изъ заячьяго мѣха, крытомъ синею китайкой. «Я дамъ знать дьяка! Кто это говорить: дьякъ?»







«А вотъ къ кому ходитъ дьякъ!» сказала баба съ фіолетовымъ носомъ, указывая на ткачиху.

«Такъ это ты, сука», сказала дьячиха, подступая къ ткачихѣ: «такъ это ты, вѣдьма, напускаешь на него туманъ и поишь нечистымъ зельемъ, чтобы ходилъ къ тебѣ?»

«Отвяжись отъ меня, сатана!» говорила, пятясь, ткачиха.

«Вишь, проклятая вѣдьма, чтобы ты не дождалась дѣтей своихъ видѣть! Негодная! Тьфу!» Тутъ дьячиха плюнула прямо въ глаза ткачихѣ.



Ткачиха хотѣла и себѣ сдѣлать то же, но, вмѣсто того, плюнула въ небритую бороду головѣ, который, чтобы лучше все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

«А, скверная баба!» закричалъ голова, обтирая полою лицо и поднявши кнутъ. Это движеніе заставило всѣхъ разойтись, съ ругательствами, въ разныя стороны. «Экая мерзость!» повторялъ голова, продолжая обтираться. «Такъ кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный живописецъ былъ! Какіе ножи крѣпкіе, серпы, плуги умѣлъ выковывать! Что за сила была! Да», продолжалъ онъ, задумавшись: «такихъ людей мало у насъ на селѣ. То-то я, еще сидя въ проклятомъ мѣшкѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и кузнецъ! былъ, а теперь и нѣтъ! А я собирался-было подко-

вать свою рябую кобылу!...» И, будучи полонъ такихъ христіанскихъ мыслей, голова тихо побрелъ въ свою хату.

Оксана смутилась, когда до нея дошли такія вѣсти. Она мало вѣрила глазамъ Переперчихи и толкамъ бабъ; она знала, что кузнецъ довольно набоженъ, чтобы рѣшиться погубить свою душу. Но что, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ушелъ съ намѣреніемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъ ли и въ другомъ мѣстѣ найдется такой молодецъ, какъ кузнецъ. Онъ же такъ любилъ ее! Онъ долѣе всѣхъ выносилъ ея капризы... Красавица всю ночь подъ своимъ одѣяломъ поворачивалась съ праваго бока на лѣвый, съ лѣваго на правый, и не могла заснуть. То, разметавшись въ обворожительной наготѣ, которую

ночной мракъ скрывалъ даже отъ нея самой, она почти вслухъ бранила себя; то, пріутихнувъ, рѣшалась ни объ чемъ не думать—и все думала. И вся горѣла, и къ утру влюбилась по-уши въ кузнеца.

Чубъ не изъявилъ ни радости, ни печали объ участи Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ никакъ не могъ позабыть вѣроломства Солохи и, сонный, не переставалъ бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до свѣта была полна народа. Пожилыя женщины, въ бѣлыхъ намиткахъ, въ бѣлыхъ суконныхъ свиткахъ, набожно крестились у самаго входа церковнаго. Дворянки, въ зеленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а иныя даже въ синихъ кунтушахъ, съ золотыми назади



ЖЕНЩИНА  
ВЪ НАМИТКѢ

усами, стояли впереди ихъ. Дѣвчата, у которыхъ на головахъ намотана была цѣлая лавка лентъ, а на шеѣ монистъ, крестовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ иконостасу. Но впереди всѣхъ стояли дворяне и простые мужики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и только-что выбритыми подбородками, всѣ большею частію въ кобенякахъ, изъ-подъ которыхъ выказывалась бѣлая, а у иныхъ и синяя свитка. На всѣхъ лицахъ, куда ни взглянь, виденъ былъ праздникъ. Голова заранѣе облизывался, воображая, какъ онъ разговѣется колбасою; дѣвчата помышляли объ томъ, какъ онѣ будутъ ковылять съ хлопцами на льду; старухи усерднѣе, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, какъ козакъ Свербыгузъ клалъ поклоны. Одна только Оксана стояла какъ будто не своя: молилась и не молилась. На сердцѣ у нея толпилось столько разныхъ чувствъ, одно другого досаднѣе, одно другого печальнѣе, что лицо ея

выражало одно только сильное смущеніе; слезы дрожали въ глазахъ. Дѣвчата не могли понять этому причины и не подозрѣвали, чтобы виною былъ кузнецъ. Однакожъ, не одна Оксана была занята кузнецомъ. Всѣ міряне замѣтили, что праздникъ—какъ будто не праздникъ, что какъ будто все чего-то недостаетъ. Какъ на бѣду, дьякъ, послѣ путешествія въ мѣшкѣ, охрипъ и дребезжалъ едва слышнымъ голосомъ; правда, пріѣзжій пѣвчій славно бралъ басомъ, но куда бы лучше было, если бы и кузнецъ былъ, который всегда, бывало, какъ только пѣли «Отче нашъ» или «Иже херувимы», всходилъ на крылосъ и выводилъ оттуда тѣмъ же самымъ напѣвомъ, какимъ поютъ и въ Полтавѣ. Къ тому же онъ одинъ исправлялъ должность церковнаго титара. Уже отошла заутреня; послѣ заутрени отошла обѣдня... Куда-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, запропастился кузнецъ?

Еще быстрѣе въ остальное время ночи неся чортъ съ кузнецомъ назадъ, и мигомъ очутился Вакула около своей хаты. Въ это время пропѣлъ пѣтухъ.

«Куда?» закричалъ кузнецъ, ухватя за хвостъ хотѣвшаго убѣжать чорта. «Постой, пріятель, еще не все: я еще не поблагодарилъ тебя».

Тутъ, схвативши хворостину, отвѣсилъ онъ ему три удара, и бѣдный чортъ припустилъ бѣжать, какъ мужикъ, котораго только-что выпарилъ засѣдатель. Итакъ, вмѣсто того, чтобы провестъ, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человѣческаго рода былъ самъ одураченъ.

Послѣ сего Вакула вошелъ въ сѣни, зарылся въ сѣно и проспалъ до обѣда. Проснувшись, онъ испугался, когда увидѣлъ, что солнце уже высоко: «Я проспалъ заутреню и обѣдню!»

Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уныніе, разсуждая, что это, вѣрно, Богъ нарочно, въ наказаніе за грѣшное его намѣреніе погубить свою душу, наслалъ сонъ, который не далъ даже ему побывать, въ такой торжественный праздникъ, въ церкви. Но, однакожъ, успокоивъ себя тѣмъ, что въ слѣдующую недѣлю исповѣдается въ этомъ попу, и съ нынѣшняго же дня начнетъ бить по пятидесяти поклоновъ цѣлый годъ, заглянулъ онъ въ хату; но въ ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.





Бережно вынулъ онъ изъ-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работѣ и чудному происшествію минувшей ночи; умылся, одѣлся, какъ можно лучше, надѣлъ то самое платье, которое досталъ отъ запорожцевъ, вынулъ изъ сундука новую шапку рѣшетиловскихъ смушекъ съ синимъ верхомъ, которой не надѣвалъ еще ни разу съ того времени, какъ купилъ ее еще въ бытность въ Полтавѣ; вынулъ также новый всѣхъ цвѣтовъ поясъ; положилъ все это вмѣстѣ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо къ Чубу.

Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, и не зналъ, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскресъ, тому ли, что кузнецъ смѣлъ къ нему притти, или тому, что онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорожцемъ. Но еще больше изумился онъ, когда Вакула развязалъ платокъ и положилъ передъ нимъ новехонькую шапку и поясъ, какого не видано было на селѣ, а самъ повалился ему въ ноги и проговорилъ умоляющимъ голосомъ: «Помилуй, батько! не гнѣвись! Вотъ тебѣ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да не гнѣвись только. Ты-жъ, когда-то, братался съ покойнымъ батькомъ, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли и магарычъ пили».

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видѣлъ, какъ кузнецъ, который никому на селѣ въ усь не дулъ, сгибалъ въ рукѣ пятаки и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый кузнецъ лежалъ теперь у ногъ его. Чтобъ еще больше не уронить себя, Чубъ взялъ нагайку и ударилъ ею три раза по спинѣ. «Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай! Забудемъ все, что было межъ нами. Ну, теперь говори, чего тебѣ хочется?»

«Отдай, батько, за меня Оксану!»

Чубъ немного подумалъ, поглядѣлъ на шапку и поясъ: шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о вѣроломной Солохѣ и сказалъ рѣшительно: «Добре! присылай сватовъ!»

«Ай!» вскрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ и увидѣвъ кузнеца, и вперила съ изумленіемъ и радостью въ него очи.

«Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевики!» сказалъ Вакула: «тѣ самые, которые носить царица».

«Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ не нужно черевиковъ!» говорила она, махая руками и не сводя съ него очей: я и безъ черевиковъ»... Далѣе она не договорила и покраснѣла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хороша. Восхищенный кузнецъ тихо поцѣловалъ ее, и лицо ея пуше загорѣлось, и она стала еще лучше.







Проѣзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти архіерей, хвалилъ мѣсто, на которомъ стоитъ село, и, проѣзжая по улицѣ, остановился передъ новою хатою.



«А чья это такая размалеванная хата?» спросилъ преосвященный у стоявшей близъ дверей красивой женщины съ дитятей на рукахъ.

«Кузнеца Вакулы!» сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

«Славно! славная работа!» сказалъ преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна всѣ были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же вездѣ были козаки на лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.

Но еще больше похвалилъ преосвященный Вакулу, когда узналъ, что онъ выдержалъ церковное покаяніе и выкрасилъ даромъ весь лѣвый крылосъ зеленою краскою съ красными цвѣтами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ сбоку, какъ войдешь въ церковь, намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гадкаго, что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ только расплакивалось у

пѣхъ на рукахъ дитя, подносили его къ картинѣ и говорили: «онъ бачѣ, яка така намалевана!» И дитя, удерживая слезѣнки, косилось на картину и жалось къ груди своей матери.





## Страшная месть.

### I.

**Ш**умитъ, гремитъ конецъ Кіева: есауль Горобецъ празднуетъ свадьбу своего сына. Наѣхало много людей къ есаулу въ гости. Въ старину любили хорошенько поѣсть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Пріѣхалъ на гнѣдомъ конѣ своемъ и запорожець Микитка прямо съ разгульной попойки съ Перешляя-поля, гдѣ поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ. Пріѣхалъ и названный братъ есаула, Данило Бурульбашъ, съ другого берега Днѣпра, гдѣ, промежъ двумя горами, былъ его хуторъ, съ молодою женою Катериною и съ годовымъ сыномъ. Дивились гости бѣлому лицу пани Катерины, чернымъ, какъ нѣмецкій бархатъ, бровямъ, нарядной сукнѣ и исподницѣ изъ голубого полутабенеку, сапогамъ съ серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не пріѣхалъ вмѣстѣ съ нею старый отецъ. Всего только годъ жилъ онъ на Заднѣпровьи, а двадцать одинъ пропадалъ безъ вѣсти и воро-



тился къ дочкѣ своей, когда уже та вышла замужъ и родила сына. Онъ, вѣрно, много наразсказалъ бы дивнаго. Да какъ и не разсказать, бывши такъ долго въ чужой землѣ! Тамъ все не такъ: и люди не тѣ, и церковей Христовыхъ нѣтъ... Но онъ не пріѣхалъ.

Гостямъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на нема-ломъ блюдѣ коровай. Музыканты принялись за исподку его, испечен-



ную вмѣстѣ съ деньгами и, на время притихнувъ, положили возлѣ себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тѣмъ молодежи и дѣвчата, утер-шись шитыми платками, выступали снова изъ рядовъ своихъ; а па-рубки, схватившись въ боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись имъ навстрѣчу, — какъ старый есаулъ вынесъ двѣ иконы благословить молодыхъ. Тѣ иконы достались ему отъ честнаго схим-ника, старца Вареоломея. Не богата на нихъ утварь, не горитъ ни се-ребро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмѣетъ прикоснуться къ тому, у кого онѣ въ домѣ. Приподнявъ иконы вверхъ, есаулъ гото-вился сказать короткую молитву... какъ вдругъ закричали, перепугав-

шись, игравшія на землѣ дѣти, а вслѣдъ за ними попятился народъ, и всѣ показывали со страхомъ пальцами на стоявшаго посреди ихъ козака. Кто онъ таковъ, никто не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и уже успѣлъ насмѣшить обступившую его толпу. Когда же есаулъ поднялъ иконы, вдругъ все лицо козака перемѣнилось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмѣсто карихъ запрыгали зеленые очи, губы засинѣли, подбородокъ задрожалъ и заострился, какъ копье, изъ рта выбѣжалъ клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ, и сталъ козакъ—старикъ.

«Это онъ! это онъ!» кричали въ толпѣ, тѣсно прижимаясь другъ къ другу.

«Колдунъ показался снова!» кричали матери, хватая за руки дѣтей своихъ.

Величаво и сановито выступилъ впередъ есаулъ и сказалъ громкимъ голосомъ, выставивъ противъ него иконы: «Пропади, образъ сатаны! тутъ тебѣ нѣтъ мѣста». И, зашипѣвъ и щелкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный старикъ.

Пошли, пошли и зашумѣли, какъ море въ непогоду, толки и рѣчи между народомъ.

«Что это за колдунъ?» спрашивали молодые и небывалые люди.

«Бѣда будетъ!» говорили старые, качая головами. И вездѣ, по всему широкому подворью есаула, стали собираться въ кучки и слушать исторіи про чуднаго колдуна. Но всѣ почти говорили разное, и навѣрно никто не могъ рассказать про него.

На дворъ выкатили бочку меду и не мало поставили ведеръ грецкаго вина. Все повеселѣло снова. Музыканты грянули, — дѣвчата, молодницы, лихое козачество, въ яркихъ жупанахъ, понеслись. Десяностолѣтнее и столѣтнее старье, подгулявъ, пустилось и себѣ приплясывать, поминая не даромъ пропавшіе годы. Пировали до поздней ночи, и пировали такъ, какъ теперь уже не пируютъ. Стали гости расходиться, но мало побрело во-свояси: много осталось ночевать у есаула на широкомъ дворѣ; а еще больше козачества заснуло само, непрошенное, подъ лавками, на полу, возлѣ коня, близъ хлѣва: гдѣ пошатнулась съ хмеля козацкая голова, тамъ и лежитъ и храпитъ на весь Кіевъ.



## II.

Тихо свѣтитъ по всему міру: то мѣсяцъ показался изъ-за горы. Будто дамасскою дорогою и бѣлою, какъ снѣгъ, кисеею покрылъ онъ гористый берегъ Днѣпра, и тѣнь ушла еще далѣе въ чашу сосенъ.

Посреди Днѣпра плыль дубъ. Сидятъ впереди два хлопца: черныя козацкія шапки на-бекрень, и подъ веслами, какъ будто отъ огнива огонь, летятъ брызги во всѣ стороны.

Отчего не поютъ козаки? Не говорятъ ни о томъ, какъ уже ходятъ по Украинѣ ксендзы и перекрещиваютъ козацкій народъ въ католиковъ, ни о томъ, какъ два дня билась при Соленомъ озерѣ орда? Какъ имъ пѣть, какъ говорить про лихія дѣла? Панъ ихъ Данило призадумался, и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба и черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышетъ дитя и не сводитъ съ него очей, а на незастланную полотномъ нарядную сукню сѣрою пылью валится вода.

Любо глянуть съ середины Днѣпра на высокія горы, на широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ — не горы: подошвы у нихъ нѣтъ, внизу ихъ, какъ и вверху, острая вершина, и подъ ними, и надъ ними высокое небо. Тѣ лѣса, что стоятъ на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣснаго дѣда. Подъ нею въ водѣ моется борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое небо. Тѣ луга — не луга: то зеленый поясъ, перепоясавшій посерединѣ круглое небо; и въ верхней половинѣ, и въ нижней половинѣ прогуливается мѣсяцъ.

Не глядитъ панъ Данило по сторонамъ, глядитъ онъ на молодую жену свою. «Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася въ печаль?»

«Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорятъ, что онъ родился такимъ страшнымъ... и никто изъ дѣтей сызмала не хотѣлъ играть съ нимъ. Слушай, панъ Данило, какъ страшно говорятъ: что будто ему все чудилось, что всѣ смѣются надъ нимъ. Встрѣтится ли подъ темный вечеръ съ какимъ-нибудь человѣкомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ открываетъ ротъ и скалитъ зубы. И на другой день находили мертвымъ того человѣка. Мнѣ чудно, мнѣ страшно было, когда я слушала эти рассказы», говорила Катерина, вынимая платокъ и вытирая имъ лицо спавшаго на рукахъ дитяти. На платкѣ были вышиты ею краснымъ шелкомъ листья и ягоды.

Панъ Данило ни слова, и сталъ поглядывать на темную сторону,







гдѣ далеко, изъ-за лѣса, чернѣлъ земляной валъ, изъ-за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями разомъ вырѣзались три морщины; лѣвая рука гладила молодецкіе усы. «Не такъ еще страшно, что колдунъ», говорилъ онъ: «какъ страшно то, что онъ недобрый гость. Чтò ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышалъ, что хотятъ ляхи строить какую-то крѣпость, чтобы перерѣзать намъ дорогу къ запорожцамъ. Пусть это правда... Я размечу чертовское гнѣздо, если только пронесется слухъ, что у него какой-нибудь притонъ. Я сожгу стараго колдуна, такъ что и вѣронамъ нечего будетъ расклевать. Однакожъ, думаю, онъ не безъ золота и всякаго добра. Вотъ гдѣ живетъ этотъ дьяволъ! Если у него водится золото... Мы сейчасъ будемъ плыть мимо крестовъ—это кладбище! Тутъ гниютъ его нечистые дѣды. Говорятъ, они всѣ готовы были себя продать за денежку сатанѣ и съ душою, и съ ободранными жупанами. Если-жъ у него точно есть золото, то мѣшкать нечего теперь: не всегда на войнѣ можно добыть»...

«Знаю, чтò затѣваешь ты: не предвѣщаетъ мнѣ ничего добраго встрѣча съ нимъ. Но ты такъ тяжело дышишь, такъ сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на очи!..»

«Молчи, баба!» съ сердцемъ сказалъ Данило: «съ вами кто свяжется, самъ станетъ бабой. Хлопецъ, дай мнѣ огня въ люльку!» Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ, который, выколотивши изъ своей люльки горячую золу, сталъ перекладывать ее въ люльку своего пана. «Пугаетъ меня колдуномъ!» продолжалъ панъ Данило. «Козакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ. Не такъ ли, хлопцы? Наша жена—люлька да острая сабля!»

Катерина замолчала, потупивши очи въ сонную воду; а вѣтеръ дергалъ воду рябью, и весь Днѣпръ серебрился, какъ волчья шерсть среди ночи.

Дубъ повернулъ и сталъ держаться лѣсистаго берега. На берегу виднѣлось кладбище: ветхіе кресты толпились въ кучу. Ни калина не растетъ межъ ними, ни трава не зеленѣетъ, только мѣсяцъ грѣетъ ихъ съ небесной вышины.

«Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зоветъ насъ на помощь!» сказалъ панъ Данило, оборотясь къ гребцамъ своимъ.

«Мы слышимъ крики, и, кажется, съ той стороны», разомъ сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила, и стала огибать выдавшійся берегъ. Вдругъ гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и панъ Данило: страхъ и холодъ прорѣзался въ козацкія жилы.



Крестъ на могилѣ зашатался, и тихо поднялся изъ нея высохшій мертвецъ. Борода до пояса; на пальцахъ когти длинные, еще длиннѣе самыхъ пальцевъ. Тихо поднялъ онъ руки вверхъ. Лицо все задрожало и покривилось. Страшную муку, видно, терпѣлъ онъ. «Душно мнѣ! душно!» простоналъ онъ дикимъ, не человѣчьимъ голосомъ. Голосъ его, будто ножъ, царапалъ сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ подъ землю. Зашатался другой крестъ, и опять вышелъ мертвецъ, еще страшнѣе, еще выше прежняго: весь заросъ; борода по колѣна, и еще длиннѣе костяные когти. Еще диче закричалъ онъ: «душно мнѣ!» и ушелъ подъ землю. Пошатнулся третій крестъ, поднялся третій мертвецъ. Казалось, однѣ только кости поднялись высоко надъ землею. Борода по самыя пяты; пальцы съ длинными когтями вонзились въ землю. Страшно протянулъ онъ руки вверхъ, какъ будто хотѣлъ достать мѣсяцъ, и закричалъ такъ, какъ будто кто-нибудь сталъ пилить его желтыя кости...

Дитя, спавшее на рукахъ у Катерины, вскрикнуло и пробудилось; сама пани вскрикнула; гребцы пороняли шапки въ Днѣпръ; самъ панъ вздрогнулъ.

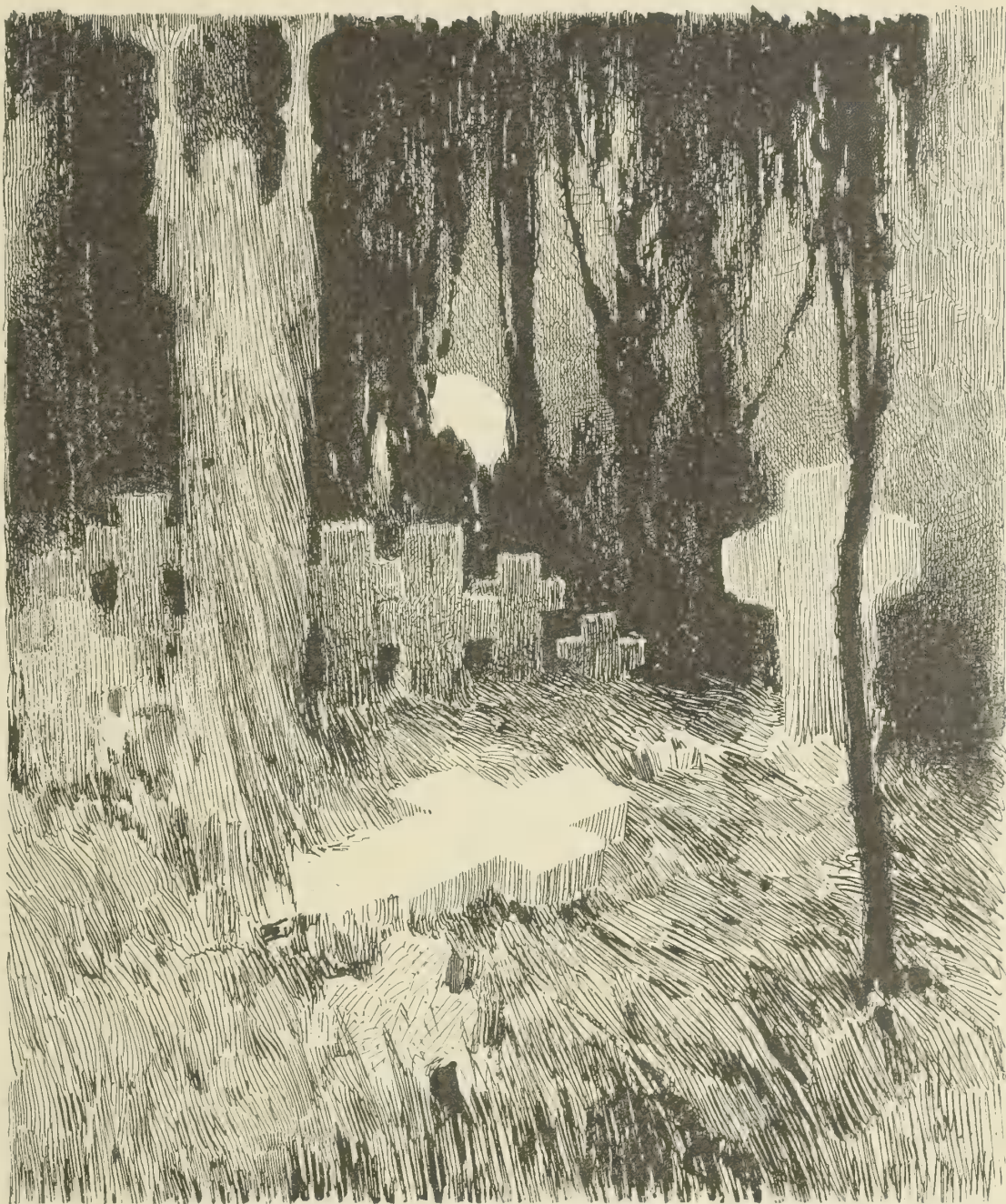
Все вдругъ пропало, какъ будто не бывало; однакожъ, долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядѣлъ Бурульбашъ на молодую жену, которая въ испугѣ качала на рукахъ кричавшее дитя, прижалъ ее къ сердцу и поцѣловалъ въ лобъ. «Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нѣтъ!» говорилъ онъ, указывая по сторонамъ. «Это колдунъ хочетъ устроить людей, чтобы никто не добрался до нечистаго гнѣзда его. Бабъ только однѣхъ онъ напугаетъ этимъ! Дай сюда на руки мнѣ сына!»

При семъ словѣ поднялъ панъ Данило своего сына вверхъ къ губамъ: «Чтѣ, Иванъ, ты не боишься колдуновъ?—«Нѣтъ», говори: «тятя, я козакъ».— Полно же, перестань плакать! домой пріѣдемъ! Пріѣдемъ домой—мать накормитъ кашею, положитъ тебя спать въ люльку, запоетъ:

Люли, люли, люли!  
Люли, сынку, люли!  
Да вырастай, вырастай въ забаву!  
Козачеству на славу,  
Вороженькамъ въ расправу!

«Слушай, Катерина: мнѣ кажется, что отецъ твой не хочетъ жить въ ладу съ нами. Пріѣхалъ угрюмый, суровый, какъ будто сердится... Ну, недоволенъ,—зачѣмъ и пріѣзжать? Не хотѣлъ выпить за козацкую волю! Не покачалъ на рукахъ дитяти! Сперва было я

ему хотѣлъ повѣрить все, что лежитъ на сердцѣ, да не беретъ что-то, и рѣчь заикнулась. Нѣтъ, у него не козацкое сердце! Козацкія сердца, когда встрѣтятся гдѣ, какъ не выбьются изъ груди



другъ другу навстрѣчу! Что, мои любые хлопцы, скоро берегъ? Ну, шапки я вамъ дамъ новыя. Тебѣ, Стецько, дамъ выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я ее снялъ вмѣстѣ съ головою у татарина; весь его снарядъ достался мнѣ; одну только его душу я выпустилъ на волю Ну,

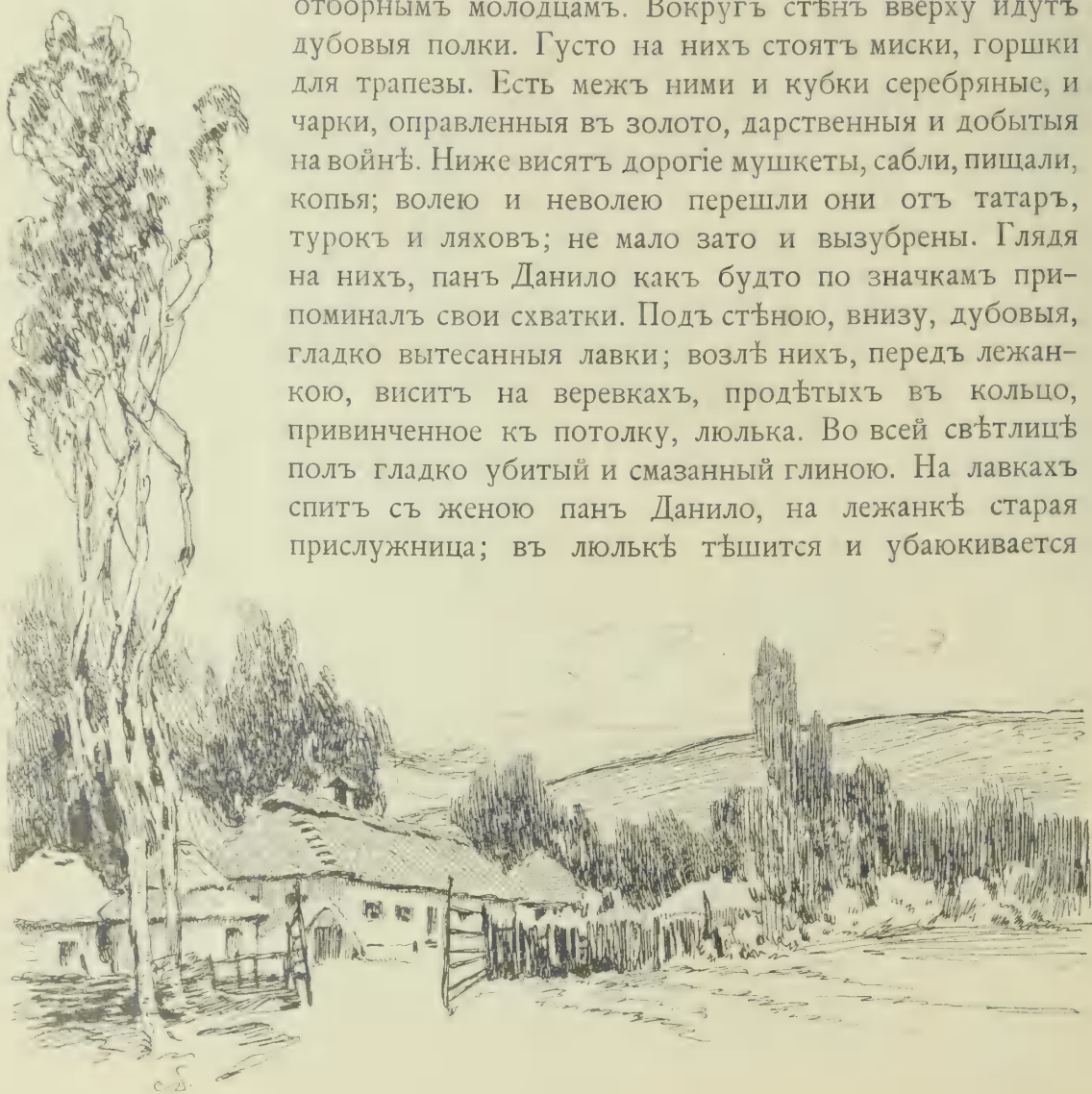


причаливай! Вотъ, Иванъ, мы и пріѣхали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!»

Всѣ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля: то дѣдовскія хоромы пана Данила. За ними еще гора, а тамъ уже и поле, а тамъ хоть сто верстъ пройди, не сыщешь ни одного козака.

### III.

**У**торъ пана Данила между двумя горами въ узкой долині, сбѣгающей къ Днѣпру. Невысокія у него хоромы; хата на видъ, какъ и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна свѣтлица; но есть гдѣ помѣститься тамъ и ему, и женѣ его, и старой прислужницѣ, и десяти отборнымъ молодцамъ. Вокругъ стѣнъ вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ стоятъ миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные въ золото, дарственные и добытыя на войнѣ. Ниже висятъ дорогіе мушкеты, сабли, пищали, копья; волею и неволею перешли они отъ татаръ, турокъ и ляховъ; не мало зато и вызубрены. Глядя на нихъ, панъ Данило какъ будто по значкамъ припоминалъ свои схватки. Подъ стѣною, внизу, дубовыя, гладко вытесанныя лавки; возлѣ нихъ, передъ лежанкою, виситъ на веревкахъ, продѣтыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку, люлька. Во всей свѣтлицѣ полъ гладко убитый и смазанный глиною. На лавкахъ спитъ съ женою панъ Данило, на лежанкѣ старая прислужница; въ люлкѣ тѣшится и убаюкивается







малое дитя; на полу покотомъ ночуютъ молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ; ему не пуховикъ и не перина нужна: онъ моститъ себѣ подъ голову свѣжее сѣно и вольно протягивается на травѣ. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое засѣянное звѣздами небо и вздрогнуть отъ ночного холода, принесшаго свѣжесть козацкимъ косточкамъ; потягиваясь и бормоча сквозь сонъ, закуриваетъ онъ люльку и закутывается крѣпче въ теплый кожухъ.

Не рано проснулся Бурульбашъ послѣ вчерашняго веселья и, проснувшись, сѣлъ въ углу на лавкѣ, и началъ натачивать новую, вымѣнянную имъ, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручникъ.

Вдругъ вошелъ Катерининъ отецъ, разсерженъ, нахмуренъ, съ заморскою люлькою въ зубахъ, приступилъ къ дочкѣ и сурово сталъ выпрашивать ее: что за причина тому, что такъ поздно воротилась она домой.

«Про эти дѣла, тестъ, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а мужъ отвѣчаетъ. У насъ уже такъ водится, не погнѣвайся!» говорилъ Данило, не оставляя своего дѣла: «можетъ, въ иныхъ невѣрныхъ земляхъ этого не бываетъ, — я не знаю».

Краска выступила на суровомъ лицѣ тестя, и очи дико блеснули. «Кому-жъ, какъ не отцу, смотрѣть за своею дочкой!» бормоталъ онъ про себя. «Ну, я тебя спрашиваю: гдѣ таскался до поздней ночи?»

«А вотъ это дѣло, дорогой тестъ! На это я тебѣ скажу, что я давно уже вышелъ изъ тѣхъ, которыхъ бабы пеленаютъ. Знаю, какъ сидѣть на конѣ; умѣю держать въ рукахъ и саблю острую, еще кое-что умѣю... Умѣю никому и отвѣта не давать въ томъ, что дѣлаю».

«Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, вѣрно, на умѣ недоброе дѣло».

«Думай себѣ, что хочешь», сказалъ Данило: «думаю и я себѣ. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги: таскаются, Богъ знаетъ, гдѣ, когда православные быются на-смерть, а послѣ нагрянуть убирать не ими засѣянное жито. На уніатовъ даже не похожи: не заглянуть въ Божию церковь. Такихъ бы нужно допросить порядкомъ, гдѣ они таскаются».

«Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стрѣляю: всего за сто сажень пуля моя пронизываетъ сердце; я и рублюсь незавидно: отъ челоука остаются куски мельче крупъ, изъ которыхъ варятъ кашу».

«Я готовъ», сказалъ панъ Данило, бойко перекрестивши воздухъ саблею, какъ будто зналъ, на что ее выточилъ.

«Данило!» закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснувъ на ней: «вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымасшь руку! Батько, твои волосы бѣлы, какъ снѣгъ, а ты разгорѣлся, какъ неразумный хлопецъ!»

«Жена!» крикнулъ грозно панъ Данило: «ты знаешь, я не люблю этого; вѣдай свое бабье дѣло!»

Сабли страшно звукнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. Съ плачемъ ушла Катерина въ особую свѣтлицу, кинулась на постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ худо бились козаки, чтобы можно было заглушить ихъ удары. Сердце ея хотѣло разорваться на части; по всему себѣ, слышала она, какъ проходили звуки: тукъ, тукъ. «Нѣтъ, не вытерплю, не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бьетъ ключемъ изъ бѣлаго тѣла; можетъ, теперь изнемогаетъ мой милый, а я лежу здѣсь!» И вся блѣдная, едва переводя духъ, вошла въ хату.

Ровно и страшно бились козаки; ни тотъ, ни другой не одолеваетъ. Вотъ наступаетъ Катерининъ отецъ — подается панъ Данило; наступаетъ панъ Данило — подается суровый отецъ, и опять наравнѣ. Кипятъ. Размахнулись... ухъ! Сабли звенятъ... и, гремя, отлетѣли въ сторону клинки.

«Благодарю Тебя, Боже!» сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидѣла, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрѣлилъ панъ Данило, — не попалъ. Нацѣлился отецъ... Онъ старъ, онъ видитъ не такъ зорко, какъ молодой, однакожь не дрожитъ его рука. Выстрѣлъ загремѣлъ... Пошатнулся панъ Данило; алая кровь выкрасила лѣвый рукавъ козацкаго жупана.

«Нѣтъ!» закричалъ онъ: «я не продамъ такъ дешево себя. Не лѣвая рука, а правая атаманъ. Виситъ у меня на стѣнѣ турецкій пистолетъ: еще ни разу во всю жизнь не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай со стѣны, старый товарищъ! покажи другу услугу!» Данило протянулъ руку.



«Данило!» закричала въ отчаяніи, схвативши его за руки и бросившись ему въ ноги, Катерина: «не за себя молю. Мнѣ одинъ конецъ: та недостойная жена, которая живетъ послѣ своего мужа; Днѣпръ, холодный Днѣпръ будетъ мнѣ могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына! Кто пригрѣетъ бѣдное дитя? Кто приголубить его? Кто выучить его летать на ворономъ конѣ, биться за волю и вѣру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сынъ мой! пропадай! Тебя не



хочетъ знать отецъ твой! Гляди, какъ онъ отворачиваетъ лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты звѣрь, а не человѣкъ! У тебя волчье сердце, а дума лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что въ твоемъ каменномъ тѣлѣ человѣчье чувство горитъ. Безумно же я обманулась. Тебѣ это радость принесетъ. Твои кости станутъ танцовать въ гробѣ съ веселья, когда услышатъ, какъ нечестивые звѣри ляхи кинутъ въ пламя твоего сына, когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ. О, я знаю тебя! Ты радъ бы изъ гроба встать и раздуть шапкою огонь, взвихрившійся подъ нимъ!»



«Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, я поцѣлую тебя! Иѣтъ, дитя мое, никто не тронетъ волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; какъ вихорь, будешь ты летать передъ козаками, съ бархатною шапочною на головѣ, съ острою саблею въ рукѣ. Дай, отецъ, руку! Забудемъ бывшее между нами! Чтò сдѣлалъ передъ тобою неправого — винюсь. Чтò же ты не даешь руки?» говорилъ Данило отцу Катерины, который стоялъ на одномъ мѣстѣ, не выражая на лицѣ своемъ ни гнѣва, ни примиренія.

«Отецъ!» вскричала Катерина, обнявъ и поцѣловавъ его: «не будь неумолимъ, прости Данила: онъ не огорчитъ больше тебя!»

«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» отвѣчалъ онъ, поцѣловавъ ее и блеснувъ странно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуденъ показался ей и поцѣлуй, и странный блескъ очей. Она облокотилась на столъ, на которомъ перевязывалъ раненую свою руку панъ Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сдѣлалъ онъ, прося прощенія, когда не былъ ни въ чемъ виноватъ.

#### IV.

Блеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна.

«Мужъ мой милый, мужъ дорогой! чудный мнѣ сонъ снился!»

«Какой сонъ, моя любая пани Катерина?»

«Снилось мнѣ, чудно, право, и такъ живо, будто наяву, снилось мнѣ, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, котораго мы видѣли у есаула. Но, прошу тебя, не вѣрь сну: какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ нимъ, дрожала вся, боялась, и отъ каждаго слова его стонали мои жилы. Если-бъ ты слышала, чтò онъ говорилъ...»

«Чтò же онъ говорилъ, моя золотая Катерина?»

«Говорилъ: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошъ! Люди напрасно говорятъ, что я дурень. Я буду тебѣ славнымъ мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!»—Тутъ навелъ онъ на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась».

«Да, сны много говорятъ правды. Однакожъ, знаешь ли ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мнѣ Горобецъ прислалъ сказать, чтобы я не спалъ; напрасно только онъ заботится: я и безъ того не сплю. Хлопцы мои въ эту ночь срубили двѣнадцать засѣковъ. Посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуютъ и отъ батоговъ».

«А отецъ знаетъ объ этомъ?»

«Сидить у меня на шеѣ твой отецъ! Я до сихъ поръ разгадать его не могу. Много, вѣрно, онъ грѣховъ надѣлалъ въ чужой землѣ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, за причина: живетъ около мѣсяца, и хотъ бы разъ развеселился, какъ добрый козакъ! Не захотѣлъ выпить меду! Слышишь, Катерина: не захотѣлъ меду выпить, который я вытрусилъ у брестовскихъ жидовъ. Эй, хлопецъ!» крикнулъ панъ Данило: «бѣги, малый, въ погребъ, да принеси жидовскаго меду! Горѣлки даже не пьетъ! Экая пропасть! Мнѣ кажется, пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не вѣруетъ. А? какъ тебѣ кажется?»

«Богъ знаетъ, что говоришь ты, панъ Данило!»

«Чудно, пани!» продолжалъ Данило, принимая глиняную кружку отъ козака: «поганные католики даже падки до водки; одни только турки не пьютъ. Что, Стецько, много хлебнулъ меду въ подвалѣ?»

«Попробовалъ только, панъ!»

«Лжешь, собачій сынъ! Вишь, какъ мухи напали на усы! Я по глазамъ вижу, что хватилъ съ полведра. Эхъ, козаки! Что за лихой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмельное высушить самъ. Я, пани Катерина, что-то давно уже былъ пьянъ. А?»

«Вотъ давно! а въ прошедшій...»

«Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вотъ и турецкій игумень лѣзетъ въ дверь!» проговорилъ онъ сквозь зубы, увидя тестя, нагнувшагося, чтобъ войти въ дверь.

«А что-жъ это, моя дочь!» сказалъ отецъ, снимая съ головы шапку и поправляя поясъ, на которомъ висѣла сабля съ чудными камнями: «солнце уже высоко, а у тебя обѣдъ не готовъ».

«Готовъ обѣдъ, панъ отецъ, сейчасъ поставимъ! Вынимай горшокъ съ галушками!» сказала пани Катерина старой прислужницѣ, обтиравшей деревянную посуду. «Постой, лучше я сама выну», продолжала Катерина: «а ты позови хлопцевъ».

Всѣ сѣли на полу въ кружокъ: противъ покута панъ отецъ, по лѣвую руку панъ Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивѣрнѣйшихъ молодцовъ, въ синихъ и желтыхъ жупанахъ.

«Не люблю я этихъ галушекъ!» сказалъ панъ отецъ, немного поѣвши и положивши ложку: «никакого вкуса нѣтъ!»

«Знаю, что тебѣ лучше жидовская лапша», подумалъ про себя Данило. «Отчего же, тестъ», продолжалъ онъ вслухъ: «ты говоришь, что вкуса нѣтъ въ галушкахъ? Худо сдѣланы, что ли? Моя Катерина такъ дѣлаетъ галушки, что и гетьману рѣдко достается ѣсть такія. А брезгать ими нечего: это христіанское кушанье! Всѣ святыя люди и угодники Божіи ѣдали галушки».

Ни слова отецъ; замолчалъ и панъ Данило.

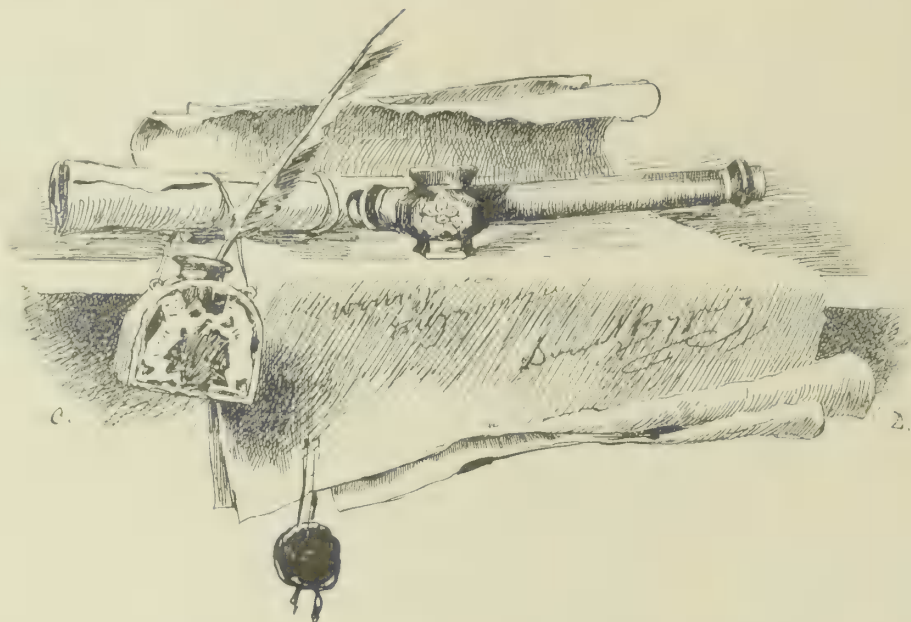
Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. «Я не люблю свинины!» сказалъ Катерининъ отецъ, выгребая ложкою капусту.

«Для чего же не любишь свинины?» сказалъ Данило: «одни турки и жидаы не ѣдятъ свинины».

Еще суровѣе нахмурился отецъ.

Только одну лемишку съ молокомъ и ѣлъ старый отецъ и потянулъ, вмѣсто водки, изъ фляжки, бывшей у него за пазухой, какую-то черную воду.

Пообѣдавши, заснулъ Данило молодецкимъ сномъ и проснулся только около вечера. Сѣлъ и сталъ писать листы въ козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанкѣ. Сидитъ панъ Да-



нило, глядитъ лѣвымъ глазомъ на писаніе, а правымъ въ окошко. А изъ окошка далеко блестятъ горы и Днѣпръ; за Днѣпромъ синѣютъ лѣса; мелькаетъ сверху прояснившееся ночное небо. Но не далекимъ небомъ и не синимъ лѣсомъ любитъ панъ Данило: глядитъ онъ на выдавшійся мысъ, на которомъ чернѣлъ старый замокъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ замокъ огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, вѣрно, показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумитъ внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ; онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все не мило; все перемѣнилось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибережными горами, лѣсами, лугами и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море.

Вотъ по широкому Днѣпру зачернѣла лодка, и въ замокъ снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнулъ Данило, и выбѣ-



жалъ на свистъ вѣрный хлопецъ. «Бери, Стецько, съ собою скорѣе острую саблю да винтовку, да ступай за мною!»

«Ты идешь?» спросила пани Катерина.

«Иду, жена. Нужно осмотрѣть всѣ мѣста, все ли въ порядкѣ».

«Мнѣ, однакожъ, страшно оставаться одной. Меня сонъ такъ и клонить; что, если мнѣ приснится то же самое? Я даже не увѣрена, точно ли то сонъ былъ, — такъ это происходило живо».

«Съ тобою старуха остается; а въ сѣняхъ и на дворѣ спятъ козаки!»

«Старуха спитъ уже, а козакамъ что-то не вѣрится. Слушай, панъ Данило: замкни меня въ комнатѣ, а ключъ возьми съ собою. Мнѣ тогда не такъ будетъ страшно; а козаки пусть лягутъ передъ дверями».

«Пусть будетъ такъ!» сказалъ Данило, стирая пыль съ винтовки и насыпая на полку порохъ.

Вѣрный Стецько уже стоялъ одѣтый во всей козацкой сбруѣ. Данило надѣлъ смушевую шапку, закрылъ окошко, задвинулъ засовами дверь, замкнулъ, и, промежъ спавшими своими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы.

Небо почти все прочистилось. Свѣжій вѣтеръ чуть-чуть навѣвалъ съ Днѣпра. Если бы не слышно было издали стенанія чайки, то все бы казалось онѣмѣвшимъ. Но вотъ почувдился шорохъ... Бурульбашъ съ вѣрнымъ слугою тихо спрятался за терновникъ, прикрывавшій срубленный засѣкъ. Кто-то въ красномъ жупанѣ, съ двумя пистолетами, съ саблею при боку, спускался съ горы. — «Это тесть!» проговорилъ панъ Данило, разглядывая его изъ-за куста. «Зачѣмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не зѣвай, смотри въ оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ». Человѣкъ въ красномъ жупанѣ сошелъ на самый берегъ и поворотилъ къ выдавшемуся мысу. «А! вотъ куда!» сказалъ панъ Данило. «Что, Стецько, вѣдь онъ какъ разъ потащился къ колдуну въ дупло?»



«Да, вѣрно, не въ другое мѣсто, панъ Данило! иначе мы бы видѣли его на другой сторонѣ; но онъ пропалъ около замка».

«Постой же, вылѣземъ, а потомъ пойдемъ по слѣдамъ. Тутъ что-нибудь да кроется. Нѣтъ, Катерина, я говорилъ тебѣ, что отецъ твой недобрый человѣкъ; не такъ онъ и дѣлалъ все, какъ православный».

Уже мелькнули панъ Данило и его вѣрный холопецъ на выдавшемся берегу. Вотъ уже ихъ и не видно; непробудный лѣсъ, окружавшій замокъ, спряталъ ихъ. Верхнее окошко тихо засвѣтилось; внизу стоятъ козаки и думаютъ, какъ бы влѣзть имъ: ни воротъ, ни дверей не видно; со двора, вѣрно, есть ходъ; но какъ войти туда? Издали слышно, какъ гремятъ цѣпи и бѣгаютъ собаки.

«Что я думаю долго?» сказалъ панъ Данило, увидя передъ окномъ высокій дубъ: «стой тутъ, малый! Я полѣзу на дубъ: съ него прямо можно глядѣть въ окошко».

Тутъ снялъ онъ съ себя поясъ, бросилъ внизъ саблю, чтобъ не звенѣла, и, ухватясь за вѣтви, поднялся вверхъ. Окошко все еще свѣтилось. Присѣвши на сукъ, возлѣ самага окна, уцѣпился онъ рукою за дерево и глядитъ: въ комнатѣ и свѣчи нѣтъ, а свѣтитъ. По стѣнамъ чудные знаки; виситъ оружіе, но все странное: такого не носятъ ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христіане, ни славный народъ шведскій. Подъ потолкомъ взадъ и впередъ мелькаютъ нетопыри, и тѣнь отъ нихъ мелькаетъ по стѣнамъ, по дверямъ, по помосту. Вотъ отворилась безъ скрипа дверь. Входитъ кто-то въ красномъ жупанѣ и прямо къ столу, накрытому бѣлою скатертью. «Это онъ, это тесть!» Панъ Данило опустился немного ниже и прижался крѣпче къ дереву.

Но тестю некогда глядѣть, смотреть ли кто въ окошко, или нѣтъ. Онъ пришелъ пасмуренъ, не въ духѣ, сдернулъ со стола скатерть — и вдругъ по всей комнатѣ тихо разлился прозрачно-голубой свѣтъ; только не смѣшавшіяся волны прежняго, блѣдно-золотого переливались, ныряли, словно въ голубомъ морѣ, и тянулись слоями, будто на мраморѣ. Тутъ поставилъ онъ на столъ горшокъ и началъ кидать въ него какія-то травы.

Панъ Данило сталъ вглядываться и не замѣтилъ уже на немъ краснаго жупана; вмѣсто того показались на немъ широкія шаровары, какія носятъ турки; за поясомъ пистолеты; на головѣ какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянулъ въ лицо — и лицо стало перемѣняться: носъ вытянулся и повиснулъ надъ губами; ротъ въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ изо рта, нагнулся на сторону, и сталъ передъ нимъ тотъ самый колдунъ, который показался на свадьбѣ у есаула. «Правдивъ сонъ твой, Катерина!» подумалъ Бурюльбашъ.



Колдунъ сталъ прохаживаться вокругъ стола, знаки стали быстрѣе перемѣняться на стѣнѣ, а нетопыри залетали внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой свѣтъ становился рѣже, рѣже, и совсѣмъ какъ будто потухнулъ. И свѣтлица освѣтилась уже тонкимъ розовымъ свѣтомъ. Казалось, съ тихимъ звономъ разливался чудный свѣтъ по всѣмъ угламъ и вдругъ пропалъ, и стала тьма. Слышался только шумъ, будто вѣтеръ въ тихій часъ вечера наигрывалъ, кружась по водному зеркалу, наги-



бая еще ниже въ воду серебряныя ивы. И чудится пану Данилѣ, что въ свѣтлицѣ блеститъ мѣсяцъ, ходятъ звѣзды, неясно мелькаетъ темно-синее небо, и холодъ ночного воздуха пахнулъ даже ему въ лицо. И чудится пану Данилѣ (тутъ онъ сталъ щупать себя за усы, не спитъ ли), что уже не небо въ свѣтлицѣ, а его собственная опочивальня: висятъ на стѣнѣ его татарскія и турецкія сабли; около стѣнъ полки, на полкахъ домашняя посуда и утварь; на столѣ хлѣбъ и соль; виситъ люлька... но вмѣсто образовъ выглядываютъ страшныя лица; на лежанкѣ... но сгустившійся туманъ покрылъ все, и стало опять темно.



И опять съ чуднымъ звономъ освѣтилась вся свѣтлица розовымъ свѣтомъ, и опять стоитъ колдунъ неподвижно въ чудной чалмѣ своей. Звуки стали сильнѣе и гуще, тонкій розовый свѣтъ становился ярче, и что-то бѣлое, какъ будто облако, вѣяло посреди хаты; и чудится пану Данилѣ, что облако то не облако, что то стоитъ женщина; только изъ чего она: изъ воздуха, что-ли, выткана? Отчего же она стоитъ, и земли не трогасть, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на стѣнѣ знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною головою своєю: тихо свѣтятся ея блѣдно-голубыя очи; волосы вьются и падаютъ по плечамъ ея, будто свѣтлосѣрый туманъ; губы блѣдно алѣютъ, будто сквозь бѣло-прозрачное утреннее небо льется едва примѣтный алый свѣтъ зари; брови слабо темнѣютъ... Ахъ! это Катерина! Тутъ почувствовалъ Данило, что члены у него оковались; онъ силился говорить, но губы шевелились безъ звука.

Неподвижно стоялъ колдунъ на своемъ мѣстѣ. «Гдѣ ты была?» спросилъ онъ, и стоявшая передъ нимъ затрепетала.

«О! зачѣмъ ты меня вызвалъ?» тихо простонала она. «Мнѣ было такъ радостно. Я была въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ родилась и прожила пятнадцать лѣтъ. О, какъ хорошо тамъ! Какъ зеленъ и душистъ тотъ лугъ, гдѣ я играла въ дѣтствѣ! И полевые цвѣточки тѣ же, и хата наша, и огородъ! О, какъ обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, цѣловала въ уста и щеки, расчесывала частымъ гребнемъ мою русую косу... Отецъ!» тутъ она вперила въ колдуна блѣдныя очи: «зачѣмъ ты зарѣзалъ мать мою?»

Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ. «Развѣ я тебя просилъ говорить про это?» И воздушная красавица задрожала. — «Гдѣ теперь пани твоя?»

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетѣла. Мнѣ давно хотѣлось увидѣть мать. Мнѣ вдругъ сдѣлалось пятнадцать лѣтъ; я вся стала легка, какъ птица. Зачѣмъ ты меня вызвалъ?»

«Ты помнишь все то, что я говорилъ тебѣ вчера?» спросилъ колдунъ такъ тихо, что едва можно было разслушать.

«Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бѣдная Катерина! она многого не знаетъ изъ того, что знаетъ душа ея».

«Это Катерина душа», подумалъ панъ Данило; но все еще не смѣлъ пошевелиться.

«Покайся, отецъ! Не страшно ли, что послѣ каждаго убійства твоего мертвецы поднимаются изъ могилъ?»

«Ты опять за старое!» грозно прервалъ колдунъ. «Я поставлю на своемъ, я заставлю тебя сдѣлать, что мнѣ хочется. Катерина полюбитъ меня!..»







«О, ты чудовище, а не отецъ мой!» простонала она. «Нѣтъ, не будетъ по-твоему! Правда, ты взялъ нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но одинъ только Богъ можетъ заставлять ее дѣлать то, что Ему угодно. Нѣтъ, никогда Катерина, доколѣ я буду держаться въ ея тѣлѣ, не рѣшится на богопротивное дѣло. Отецъ! близокъ страшный судъ! Если бѣ ты и не отецъ мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня измѣнить моему любому, вѣрному мужу. Если бы мужъ мой и не былъ мнѣ вѣренъ и милъ, и тогда бы не измѣнила ему, потому что Богъ не любитъ клятвопреступныхъ и невѣрныхъ душъ».

Тутъ вперила она блѣдныя очи свои въ окошко, подѣ которымъ сидѣлъ панъ Данило, и неподвижно остановилась...

«Куда ты глядишь? Кого ты тамъ видишь?» закричалъ колдунъ.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже панъ Данило былъ давно на землѣ и пробирался съ своимъ вѣрнымъ Стецькомъ въ свои горы. «Страшно, страшно!» говорилъ онъ про себя, почувствовавъ какую-то робость въ козацкомъ сердцѣ, и скоро прошелъ дворъ свой, на которомъ такъ же крѣпко спали козаки, кромѣ одного, сидѣвшаго на-сторожѣ и кутившаго люльку.

Небо все было засѣяно звѣздами.

## V.

**К**акъ хорошо ты сдѣлалъ, что разбудилъ меня!» говорила Катерина, протирая очи шитымъ рукавомъ своей сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго передъ нею мужа. «Какой страшный сонъ мнѣ видѣлся! Какъ тяжело дышала грудь моя! Ухъ!.. Мнѣ казалось, что я умираю...»

«Какой же сонъ? ужъ не этотъ ли?» И сталъ Бурульбашъ рассказывать женѣ своей все, имъ видѣнное.

«Ты какъ это узналъ, мой мужъ?» спросила, изумившись, Катерина. «Но нѣтъ, многое мнѣ не извѣстно изъ того, что ты рассказываешь. Нѣтъ, мнѣ не снилось, чтобы отецъ убилъ мать мою; ни мертвецовъ, ничего не видѣлось мнѣ. Нѣтъ, Данило, ты не такъ рассказываешь. Ахъ, какъ страшенъ отецъ мой!»

«И не диво, что тебѣ многое не видѣлось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знаетъ душа. Знаешь ли, что отецъ твой антихристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался я вмѣстѣ съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держалъ руку этого невѣрнаго народа), мнѣ говорилъ игуменъ Братскаго монастыря (онъ, жена, святой человѣкъ), что

антихристъ имѣтъ власть вызывать душу каждаго человѣка; а душа гуляетъ по своей волѣ, когда заснетъ онъ, и летаетъ вмѣстѣ съ архангелами около Божіей свѣтлицы. Мнѣ съ перваго раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я зналъ, что у тебя такой отецъ, я бы не женился на тебѣ; я бы кинулъ тебя и не принялъ бы на душу грѣха, породнившись съ антихристовымъ племенемъ».

«Данило!» сказала Катерина, закрывъ лицо руками и рыдая: «я ли виновна въ чѣмъ передъ тобою? Я ли измѣнила тебѣ, мой любимый мужъ? Чѣмъ же навела на себя гнѣвъ твой? Невѣрно развѣ служила тебѣ? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселѣ съ молодецкой пирушки? Тебѣ ли не родила черноброваго сына?..»

«Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грѣхи всѣ лежатъ на отцѣ твоємъ».

«Нѣтъ, не называй его отцомъ моимъ! Онъ не отецъ мнѣ. Богъ свидѣтель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ отца! Онъ антихристъ, богоотступникъ! Пропадай онъ, тони онъ—не подамъ руки спасти его; сохни онъ отъ тайной травы—не подамъ воды напиться ему. Ты у меня отецъ мой!»

## VI.

**В**ъ глубокомъ подвалѣ у пана Данила, за тремя замками, сидитъ колдунъ, закованный въ желѣзныя цѣпи; а подалѣ надъ Днѣпромъ горитъ бѣсовскій его замокъ, и алая, какъ кровь, волны хлебещутъ и толпятся вокругъ старинныхъ стѣнъ. Не за колдовство и не за богопротивныя дѣла сидитъ въ глубокомъ подвалѣ колдунъ: имъ судія Богъ; сидитъ онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагами православной русской земли—продать католикамъ украинскій народъ и выжечь христіанскія церкви. Угрюмъ колдунъ; дума черная, какъ ночь, у него въ головѣ; всего только одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться съ міромъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсѣмъ легкая казнь ждетъ его: это еще милость, когда сварятъ его живого въ котлѣ, или сдерутъ съ него грѣшную кожу. Угрюмъ колдунъ, поникнулъ головою. Можетъ-быть, онъ уже и кается передъ смертнымъ часомъ; только не такіе грѣхи его, чтобы Богъ простилъ ему. Вверху передъ нимъ узкое окно, переплетенное желѣзными палками. Гремя цѣпями, поднялся онъ къ окну поглядѣть, не пройдетъ ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, какъ голубка: не умиласердится ли надъ отцомъ?.. Но никого нѣтъ. Внизу бѣжитъ дорога; по ней никто не пройдетъ. Пониже ея гуляетъ Днѣпръ; ему ни до кого нѣтъ дѣла: онъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику однозвучный шумъ его.

Вотъ кто-то показался по дорогѣ—это козакъ! И тяжело вздохнулъ узникъ. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спускается... развѣвается зеленый кунтушъ... горитъ на головѣ золотой корабликъ... Это она! Еще ближе прикинулъ онъ къ окну. Вотъ уже подходитъ близко...

«Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..»

Она нѣма, она не хочетъ слушать, она и глазъ не наведетъ на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всемъ мірѣ; унывно шумитъ Днѣпръ; грусть залегаетъ въ сердце; но вѣдаетъ ли эту грусть колдунъ?

День клонится къ вечеру. Уже солнце сѣло; уже и нѣтъ его. Уже и вечеръ: свѣжо; гдѣ-то мычитъ волъ; откуда-то навѣваются звуки; вѣрно, гдѣ-нибудь народъ идетъ съ работы и веселится; по Днѣпру мелькаетъ лодка... кому нужна до колодника? Блеснулъ на небѣ серебряный серпъ; вотъ, кто-то идетъ съ противной стороны по дорогѣ; трудно разглядѣть въ темнотѣ; это возвращается Катерина.

«Дочь, Христа ради! и свирѣпыя волченята не станутъ рвать свою мать,—дочь, хотя взгляни на преступнаго отца своего!»

Она не слушаетъ и идетъ.

«Дочь, ради несчастной матери!..»

Она остановилась.

«Приди принять послѣднее мое слово!..»

«Зачѣмъ ты зовешь меня, богоотступникъ? Не называй меня дочерью! Между нами нѣтъ никакого родства. Чего ты хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?»

«Катерина! мнѣ близокъ конецъ; я знаю, меня твой мужъ хочетъ привязать къ кобыльему хвосту и пустить по полю, а, можетъ, еще и страшнѣйшую выдумаетъ казнь...»

«Да развѣ есть на свѣтѣ казнь, равная твоимъ грѣхамъ? Жди ее; никто не станетъ просить за тебя».

«Катерина! меня не казнь страшитъ, но муки на томъ свѣтѣ... Ты невинна, Катерина: душа твоя будетъ летать въ раю около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего будетъ горѣть въ огнѣ вѣчномъ, и никогда не угаснетъ тотъ огонь: все сильнѣе и сильнѣе будетъ онъ разгораться; ни капли росы никто не уронитъ, ни вѣтеръ не пахнетъ...»

«Этой казни я не властна умалить», сказала Катерина, отвернувшись.

«Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты знаешь еще, какъ добръ и милосердъ Богъ. Слышала ли ты про апостола Павла, какой былъ онъ грѣшный человѣкъ, но послѣ покался—и сталъ святымъ».

«Что я могу сдѣлать, чтобы спасти твою душу?» сказала Катерина. «Мнѣ ли, слабой женщинѣ, объ этомъ подумать?»



«Если бы мнѣ удалось отсюда выйти, я бы все кинулъ. Покаюсь: пойду въ пещеры; надѣну на тѣло жесткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромнаго, не возьму рыбы въ ротъ! Не постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не сниметъ съ меня милосердіе Божіе хотя сотой доли грѣховъ, закопаюсь по шею въ землю или замуруюсь въ каменную стѣну; не возьму ни пищи, ни питія, и умру; а все добро свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорокъ дней и сорокъ ночей правили по мнѣ панихиду».

Задумалась Катерина. «Хотя я отопру, но мнѣ не расковать твоихъ цѣпей».

«Я не боюсь цѣпей», говорилъ онъ: «ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нѣтъ, я напустилъ имъ въ глаза туманъ, и вмѣсто руки, протянулъ сухое дерево. Вотъ я, гляди: на мнѣ нѣтъ теперь ни одной цѣпи!» сказалъ онъ, выходя на середину. «Я бы и стѣны этихъ не побоялся и прошелъ бы сквозь нихъ; но мужъ твой и не знаетъ, какія это стѣны: ихъ строилъ святой схимникъ, и никакая нечистая сила не можетъ отсюда вывести колодника, не отомкнувъ тѣмъ самымъ ключомъ, которымъ замыкалъ святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себѣ, неслыханный грѣшникъ, когда выйду на волю».

«Слушай: я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь?» сказала Катерина, остановившись передъ дверью: «и вмѣсто того, чтобы покаяться, станешь опять братомъ чорту?»

«Нѣтъ, Катерина, мнѣ уже не долго остается жить; близокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь что я предамъ самъ себя на вѣчную муку?»

Замки загремѣли. «Прощай! Храни тебя Богъ Милосердый, дитя мое!» сказалъ колдунъ, поцѣловавъ ее.

«Не прикасайся ко мнѣ, неслыханный грѣшникъ; уходи скорѣе!..» говорила Катерина.

Но его уже не было.

«Я выпустила его», сказала она, испугавшись и дико осматривая стѣны. «Что я стану теперь отвѣчать мужу? Я пропала. Мнѣ живой теперь остается зарыться въ могилу!» И, зарыдавъ, почти упала она на пень, на которомъ сидѣлъ колодникъ. «Но я спасла душу», сказала она тихо: «я сдѣлала богоугодное дѣло; но мужъ мой... я въ первый разъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будетъ мнѣ передъ нимъ говорить неправду! Кто-то идетъ! Это онъ! мужъ!» вскрикнула она отчаянно, и безъ чувствъ упала на землю.

## VII.

«Что я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!» услышала Катерина, очнувшись, и увидѣла передъ собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянувъ надъ нею изсохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.



«Гдѣ я?» говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. «Передо мною шумитъ Днѣпръ, за мною горы... Куда завела меня ты, баба?»

«Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ моихъ изъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, чтобы тебѣ не досталось чего отъ пана Данила».

«Гдѣ же ключъ?» сказала Катерина, поглядывая на свой поясъ. «Я его не вижу».

«Его отвязалъ мужъ твой, поглядѣть на колдуна, дитя мое».

«Погладѣть?... Баба, я пропала!» вскрикнула Катерина.

«Пусть Богъ милуетъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи только, моя, паняночка, никто ничего не узнаетъ!»

«Онъ убѣжалъ, проклятый антихристъ! Ты слышала, Катерина: онъ убѣжалъ?» сказалъ панъ Данило, приступая къ женѣ своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его. Помертвѣла жена.

«Его выпустилъ кто нибудь, мой любимый мужъ?» проговорила она, дрожа.

«Выпустилъ, правда твоя; но выпустилъ чортъ. Погляди: вмѣсто него, бревно заковано въ желѣзо. Сдѣлалъ же Богъ такъ, что чортъ не боится козачьихъ лапъ! Если бы только думу объ этомъ держалъ въ головѣ хоть одинъ изъ моихъ козаковъ, и я бы узналъ... я бы и казни ему не нашелъ!»

«А если бы я?..» невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

«Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мнѣ была. Я бы тебя зашилъ тогда въ мѣшокъ и утопилъ бы на самой серединѣ Днѣпра!..»

Духъ занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отдѣляться на головѣ ея.

### VIII.

**Н**а пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пируютъ уже два дня. Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, вѣрно, на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякаютъ сабли. Паны веселятся и хвастаютъ, говорятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православіемъ, зовутъ народъ украинскій своими холопьями, и важно крутятъ усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ вмѣстѣ; только и ксендзъ у нихъ на ихъ же стать: и съ виду даже не похожъ на христіанскаго попа: пьетъ и гуляетъ съ ними и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя рѣчи. Ни въ чемъ не уступаетъ имъ и челядь: позакидали назадъ рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ; крикъ, драка!.. Паны бѣснуются и отпускаютъ шутки: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ. Не бывало такого соблазна на русской землѣ и отъ татаръ: видно, уже ей Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрамленіе! Слышно между общимъ содомомъ, что говорятъ про заднѣпровскій хуторъ пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дѣло собралась эта шайка!



## IX.

Сидитъ панъ Данила за столомъ въ своей свѣтлицѣ, подпершись локтемъ, и думаетъ. Сидитъ на лежанкѣ пани Катерина и поетъ пѣсню.

«Что-то грустно мнѣ, жена моя!» сказалъ панъ Данило. «И голова болить у меня, и сердце болить. Какъ-то тяжело мнѣ! Видно, гдѣ-то недалеко уже ходитъ смерть моя».

«О, мой ненаглядный мужъ! приникни ко мнѣ головою своею! Зачѣмъ ты приголубливаешь къ себѣ такія черныя думы», подумала Катерина, да не посмѣла сказать. Горько ей было, повинной головѣ, принимать мужнія ласки.

«Слушай, жена моя!» сказалъ Данило: «не оставляй сына, когда меня не будетъ. Не будетъ тебѣ отъ Бога счастья, если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свѣтѣ. Тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой землѣ, а еще тяжелѣе будетъ душѣ моей!»

«Что говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли издѣвался надъ нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ слабая жена. Тебѣ еще долго нужно жить».

«Нѣтъ, Катерина, чуетъ душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свѣтѣ; времена лихія приходятъ. Охъ! помню я годы; имъ, вѣрно, не воротиться! Онъ былъ еще живъ, честь и слава нашего войска, старый Конашевичъ! Какъ будто передъ очами моими проходятъ теперь козацкіе полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьманъ сидѣлъ на ворономъ конѣ; блесѣла въ рукѣ булава; вокругъ сердюки; по сторонамъ шевелилось красное море запорожцевъ. Началъ говорить гетьманъ — и все стало, какъ вкопанное. Заплакалъ старичина, какъ зачалъ вспоминать намъ прежнія дѣла и сѣчи. Эхъ, если-бъ ты знала, Катерина, какъ рѣзались мы тогда съ турками! На головѣ моей виденъ и донинѣ рубецъ. Четыре пули пролетѣло въ четырехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не зажила совсѣмъ. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогіе каменья шапками черпали козаки. Какихъ коней, Катерина, если-бъ ты знала, какихъ мы тогда угнали! Охъ, не воевать уже мнѣ такъ! Кажется, и не старъ, и тѣломъ бодръ; а мечъ козацкій вываливается изъ рукъ, живу безъ дѣла, и самъ не знаю, для чего живу. Порядку нѣтъ въ Украинѣ: полковники и есаулы грызутся, какъ собаки, между собою: нѣтъ старшей головы надъ всѣми. Шляхетство наше все перемѣнило на польскій обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унію. Жидовство угнетаетъ бѣдный народъ. О время, время! минувшее время! Куда подѣвались вы, лѣта мои? Ступай, малый, въ подвалъ, принеси мнѣ кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давніе годы!»

«Чѣмъ будемъ принимать гостей, панъ? Съ луговой стороны идутъ ляхи!» сказалъ, вошедши въ хату, Стецько.

«Знаю, зачѣмъ идутъ они», вымолвилъ Данило, подымаясь съ мѣста. «Сѣдлайте, мои вѣрные слуги, коней! Надѣвайте сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго толокна: съ честью нужно встрѣтить гостей!»

Но еще не успѣли козаки сѣсть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавшій осенью съ дерева на землю листъ, устѣяли собою гору.

«Э, да тутъ есть съ кѣмъ перевѣдаться!» сказалъ Данило, поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впереди на коняхъ въ золотой сбруѣ. «Видно, еще разъ доведется намъ погулять на славу! Натѣшься же, козацкая душа, въ послѣдній разъ! Гуляйте, хлопцы: пришелъ нашъ праздникъ!»

И пошла по горамъ потѣха, и запировалъ пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули, ржутъ и топчутъ кони. Отъ крику безумѣетъ голова; отъ дыму слѣпнутъ очи. Все перемѣшалось; но козакъ чуетъ, гдѣ другъ, гдѣ недругъ; прошумитъ ли пуля — валится лихой сѣдокъ съ коня; свистнетъ сабля — катится по землѣ голова, бормоча языкомъ несвязныя рѣчи.

Но виденъ въ толпѣ красный верхъ козацкой шапки пана Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на синемъ жупанѣ; вихремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и тамъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча. Руби, козакъ! гуляй, козакъ! Тѣшь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотыя сбруи и жупаны: топчи подъ ноги золото и камень! Коли, козакъ! гуляй, козакъ! но оглянись назадъ: нечестивые ляхи зажигаютъ уже хаты и угоняютъ напуганный скотъ. И, какъ вихрь, поворотилъ панъ Данило назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ мелькаетъ уже возлѣ хатъ, и рѣдѣетъ вокругъ его толпа.

Не часть, не другой быются ляхи и козаки; не много становится тѣхъ и другихъ; но не устаетъ панъ Данило: сбиваетъ съ сѣдла длиннымъ копьемъ своимъ, топчетъ лихимъ конемъ пѣшихъ. Уже очищается дворъ, уже начали разбѣгаться ляхи; уже обдираютъ козаки съ убитыхъ золотыя жупаны и богатую сбрую; уже панъ Данило собирается въ погоню, и взглянулъ, чтобы созвать своихъ... и весь закипѣлъ отъ ярости: ему показался Катерининъ отецъ. Вотъ онъ стоитъ на горѣ и цѣлитъ въ него мушкетомъ. Данило погналъ коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!.. Мушкетъ гремитъ — и колдунъ пропалъ за горою. Только вѣрный Стецько видѣлъ, какъ мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козакъ и свалился на землю. Кинулся вѣрный Стецько къ своему пану: лежитъ панъ его, протянувшись на







землѣ и закрывши ясныя очи; алая кровь закипѣла на груди. Но, видно, почуялъ вѣрнаго слугу своего; тихо приподнявъ вѣки, блеснулъ очами: «Прощай, Стецько! Скажи Катеринѣ, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои вѣрные слуги!» и затихъ. Вылетѣла козацкая душа изъ дворянскаго тѣла: посинѣли уста; спитъ козакъ непробудно.

Зарыдалъ вѣрный слуга и машетъ рукою Катеринѣ: «Ступай, пани, ступай: подгулялъ твой панъ; лежитъ онъ пьянехонекъ на сырой землѣ; долго не протрезвиться ему!»



Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снопъ, на мертвое тѣло. «Мужъ мой! ты ли лежишь тутъ, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный соколъ, протяни ручку свою! приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный панъ! Ты посинѣлъ, какъ Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ мочъ имъ согрѣть тебя! Видно, не громокъ плачь мой, не разбудить имъ тебя! Кто же поведетъ теперь полки твои? Кто понесется на твоємъ ворономъ коникѣ, громко загукаетъ и замашетъ саблей предъ козаками? Козаки, козаки! Гдѣ честь и слава ваша? Лежитъ честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой землѣ. Похороните же меня, похороните вмѣстѣ съ нимъ! Засыпьте

мнѣ очи землею! Надавите мнѣ кленовыя доски на бѣлыя груди! Мнѣ не нужна больше красота моя!»

Плачетъ и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачетъ старый есаулъ Горобецъ на помощь.

## Х.

**Ч**уденъ Днѣпръ при тихой погодѣ, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои. Ни зашелохнетъ, ни прогремитъ. Глядишь, и не знаешь, идетъ или не идетъ его величавая ширина; и чудится, будто весь вылитъ онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣетъ и вьется по зеленому міру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядѣться съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибрежнымъ лѣсамъ ярко отсвѣтиться въ водахъ. Зеленокудрые! они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ водамъ и, наклонившись, глядятъ въ нихъ и не наглядятся, и не налюбуются свѣтлымъ своимъ зракомъ, и усмѣхаются ему, и привѣтствуютъ его, кивая вѣтвями. Въ середину же Днѣпра они не смѣютъ глянуть: никто, кромѣ солнца и голубого неба, не глядитъ въ него; рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра. Пышный! ему нѣтъ равной рѣки въ мірѣ. Чуденъ Днѣпръ и при теплой лѣтней ночи, когда все засыпаетъ: и человѣкъ, и звѣрь, и птица, а Богъ одинъ величаво озираетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ ризу. Отъ ризы сыплются звѣзды; звѣзды горятъ и свѣтятъ надъ міромъ, и всѣ разомъ отдаются въ Днѣпрѣ. Всѣхъ ихъ держитъ Днѣпръ въ темномъ лонѣ своемъ; ни одна не убѣжитъ отъ него — развѣ погаснетъ на небѣ. Черный лѣсъ, униженный спящими воронами, и древле разломанныя горы, свѣсаясь, селятся закрыть его хотя длинною тѣнью своею — напрасно! Нѣтъ ничего въ мірѣ, что бы могло прикрыть Днѣпръ. Синій, синій ходитъ онъ плавнымъ разливомъ и середь ночи, какъ середь дня, виденъ за столько вдаль, за сколько видѣть можетъ человѣчье око. Нѣжась и прижимаясь ближе къ берегамъ отъ ночного холода, даетъ онъ по себѣ серебряную струю, и она вспыхиваетъ, будто полоса дамасской сабли; а онъ, синій, снова заснулъ. Чуденъ и тогда Днѣпръ, и нѣтъ рѣки, равной ему въ мірѣ! Когда же пойдутъ горами по небу синія тучи, черный лѣсъ шатается до корня, дубы трещать, и молнія, изламываясь между тучъ, разомъ освѣтитъ цѣлый міръ, — страшенъ тогда Днѣпръ! Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ блескомъ и стономъ отбѣгають назадъ, и плачутъ, и заливаются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпроважая своего сына въ войско: раз-



гульный и бодрый, ѣдетъ онъ на ворономъ конѣ, подбоченившись и молодецки заломивъ шапку; а она, рыдая, бѣжитъ за нимъ, хватаясь его за стремя, ловить удила и ломаетъ надъ нимъ руки, и заливается горячими слезами.

Дико чернѣютъ промежъ ратующими волнами обгорѣлые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегъ, подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка. Кто изъ козаковъ осмѣлился



гулять въ челнѣ, въ то время, когда разсердился старый Днѣпръ? Видно, ему не вѣдомо, что онъ глотаеъ людей, какъ мухъ.

Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не весель онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ убитымъ своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: сорокъ четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вмѣстѣ съ конями угнали въ плѣнъ продать татарамъ.

По каменнымъ ступенямъ спустился онъ между обгорѣлыми пнями, внизъ, гдѣ, глубоко въ землѣ, вырыта была у него землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью, поставилъ на столъ, закрытый

скатертью, горшокъ и сталъ бросать длинными руками своими какія-то невѣдомыя травы; взялъ куюль, выдѣланный изъ какого-то чуднаго дерева, почерпнулъ имъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и творя какія-то заклинанія. Показался розовый свѣтъ въ свѣтлицѣ, и страшно было глядѣть тогда ему въ лицо: оно казалось кровавымъ, глубокія морщины только чернѣли на немъ, а глаза были, какъ въ огнѣ. Нечестивый грѣшникъ! Уже и борода давно посѣдѣла, и лицо изрыто морщинами, и высохъ весь, а все еще творить богопротивный умыселъ. Посреди хаты стало вѣять бѣлое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло въ лицѣ его; но отчего же вдругъ сталъ онъ недвижимъ съ разинутымъ ртомъ, не смѣя пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его головѣ? Въ облакѣ передъ нимъ свѣтилось чье-то чудное лицо. Непрошенное, незваное, явилось оно къ нему въ гости; чѣмъ далѣе, выяснивалось больше и вперило неподвижныя очи. Черты его, брови, глаза, губы, — все незнакомое ему; никогда во всю жизнь свою онъ его не видывалъ. И страшнаго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ напалъ на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако такъ же неподвижно глядѣла на него. Облако уже и пропало; а невѣдомыя черты еще рѣзче выказывались и острые очи не отрывались отъ него. Колдунъ весь побѣлѣлъ, какъ полотно; дикимъ, не своимъ голосомъ вскрикнулъ, опрокинулъ горшокъ... Все пропало.



## XI.

«Успокой себя, моя любая сестра!» говорилъ старый есаулъ Горобецъ: «сны рѣдко говорятъ правду».

«Прилягъ, сестрица!» говорила молодая его невѣстка: «я позову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не устоитъ: она выльетъ переполохъ тебѣ».

«Ничего не бойся!» говорилъ сынъ его, хватаясь за саблю: «никто тебя не обидитъ».

Пасмурно, мутными глазами, глядѣла на всѣхъ Катерина и не находила рѣчи. «Я сама устроила себѣ погибель: я выпустила его!» Наконецъ, она сказала: «Мнѣ нѣтъ отъ него покоя! Вотъ ужъ десять дней я у васъ въ Кіевѣ, а горя ни капли не убавилось. Думала,



буду хоть въ тишинѣ растить на мечь сына... Страшенъ, страшенъ привидѣлся онъ мнѣ во снѣ! Боже сохрани и вамъ увидѣть его! Сердце мое до сихъ поръ бьется». — «Я зарублю твое дитя, Катерина!» кричалъ онъ «если не выйдешь за меня замужъ...» И зарыдавъ, кинулась она къ колыбели; а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипѣлъ и сверкалъ сынъ есаула отъ гнѣва, слыша такія рѣчи.

Расходился и самъ есаулъ Горобецъ: «Пусть попробуетъ онъ, окаянный антихристъ, притти сюда: отвѣдаетъ, бываетъ ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ видитъ», говорилъ онъ, подымая кверху прозорливыя очи: «не лѣтъ ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! Засталъ уже на холодной постели, на которой много, много улеглось козацкаго народа. Зато развѣ не пышна была тризна по немъ? Выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, дитя мое! Никто не посмѣетъ тебя обидѣть, развѣ ни меня не будетъ, ни моего сына».



Кончивъ слова свои, старый есаулъ пришелъ къ колыбели, и дитя, увидѣвши висѣвшую на ремнѣ у него, въ серебряной оправѣ, красную люльку и гаманъ съ блестящимъ огнивомъ, протянуло къ нему ручонки и засмѣялось. «По отцу пойдетъ!» сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя люльку и отдавая ему: «еще отъ колыбели не отсталъ, а ужъ думаетъ курить люльку!»

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провести ночь вмѣстѣ и, мало погодя, уснули всѣ; уснула и Катерина.

На дворѣ и въ хатѣ все было тихо; не спали только козаки, стоявшіе на-сторожѣ. Вдругъ Катерина, вскрикнувъ, проснулась, и за нею проснулись всѣ. «Онъ убить, онъ зарѣзанъ!» кричала она, и кинулась къ колыбели... Всѣ обступили колыбель и окаменѣли отъ страха, увидѣвши, что въ ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвилъ ни одинъ изъ нихъ, не зная, что думать о неслыханномъ злодѣйствѣ.



## XII.

**Д**алеко отъ Украинскаго края, проѣхавши Польшу, минуя и многолюдный городъ Лембергъ, идутъ рядами высоковерхія горы. Гора за горою, будто каменными цѣпами, перекидываютъ онѣ вправо и влево землю и обковываютъ ее каменною толщею, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идутъ каменные цѣпи въ Валахію и въ Седмиградскую область, и громадою стали, въ видѣ подковы, между галичскимъ и венгерскимъ народомъ. Нѣтъ такихъ горъ въ нашей сторонѣ. Глазъ не смѣетъ оглянуть ихъ; а на вершину иныхъ не заходила и нога человѣчья. Чуденъ и видъ ихъ: не задорное ли море выбѣжало въ бурю изъ широкихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразныя волны, и онѣ, окаменѣвъ, остались недвижими въ воздухѣ? Не оборвались ли съ неба тяжелыя тучи и загромоздили собою землю? ибо и на нихъ



такой же сѣрый цвѣтъ, а бѣлая верхушка блеститъ и искрится при солнцѣ. Еще до Карпатскихъ горъ услышишь русскую молвь, и за горами еще, кой-гдѣ, отзовется какъ будто родное слово; а тамъ уже и вѣра не та, и рѣчь не та. Живетъ не малолюдный народъ венгерскій; ѣздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хуже козака; а за конную сбрую и дорогіе кафтаны не скупится вынимать изъ кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Какъ стекло, недвижимы они и, какъ зеркало, отдають въ себѣ голыя вершины горъ и зеленыя ихъ подошвы.

Но кто среди ночи, — блещутъ, или не блещутъ звѣзды, — ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ нечеловѣчьимъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами, отсвѣчивается съ исполинскимъ конемъ въ недвижныхъ водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по горамъ? Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ пика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломятъ надвинуты; усы чернѣютъ; очи закрыты; рѣсницы опущены — онъ спитъ и, сонный, держитъ поводъ; и за нимъ







сидитъ на томъ же конѣ младенецъ-пажъ, и также спитъ, и, сонный, держится за богатыря. Кто онъ, куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два уже онъ переѣзжаетъ горы. Блеснетъ день, взойдетъ солнце, его не видно; изрѣдка только замѣчали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи не пройдетъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова онъ виденъ и отдается въ озерлахъ, и за нимъ, дрожа, скачетъ тѣнь его. Уже проѣхалъ много онъ горъ и взѣхалъ на Криванъ. Горы этой нѣтъ выше между Карпатами: какъ царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, спустясь, закрыли его.

## XIII.

**И**с... тише, баба! не стучи такъ: дитя мое заснуло. Долго кричалъ сынъ мой, теперь спитъ. Я пойду въ лѣсъ, баба! Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя изъ глазъ вытягиваются желѣзные клещи... ухъ, какія длинныя! и горятъ, какъ огонь! Ты, вѣрно, вѣдьма! О, если ты вѣдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой безтолковый этотъ есаулъ: онъ думаетъ, мнѣ весело жить въ Кіевѣ; нѣтъ, здѣсь и мужъ мой, и сынъ, кто же будетъ смотрѣть за хатой? Я ушла такъ тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сдѣлаться молодою? Это совсѣмъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди, какъ я танцую...» И, проговоривъ такія несвязныя рѣчи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всѣ стороны и упираясь руками въ боки. Съ визгомъ притопывала она ногами; безъ мѣры, безъ такта звенѣли серебряныя подковы. Незаплетенныя черныя косы метались по бѣлой шеѣ. Какъ птица, не останавливаясь, летѣла она, размахивая руками и кивая головой, и, казалось, будто, обезсилѣвъ, или грянется на-земь, или вылетитъ изъ міра.

Печально стояла старая няня, и слезами налились ея глубокія морщины; тяжкій камень лежалъ на сердцѣ у вѣрныхъ хлопцевъ, глядѣвшихъ на свою пани. Уже совсѣмъ ослабѣла она и лѣниво топала ногами на одномъ мѣстѣ, думая, что танцуетъ горлицу. «А у меня монисто есть, парубки!» сказала она, наконецъ, остановившись: «а у васъ нѣтъ!.. Гдѣ мужъ мой?» вскричала она вдругъ, выхвативъ изъ-за пояса турецкій кинжалъ. «О! это не такой ножъ, какой нужно». При этомъ и слезы, и тоска показались у нея на лицѣ. «У отца моего далеко сердце: онъ не достанетъ до него. У него сердце изъ желѣза выковано; ему выковала одна вѣдьма на пекельномъ огнѣ. Что-жъ нейдетъ отецъ мой? Развѣ онъ не знаетъ, что пора заколотъ его? Видно, онъ

хочетъ, чтобъ я сама пришла...». И, не докончивъ, чудно засмѣялась. «Мнѣ пришла на умъ забавная исторія: я вспомнила, какъ погребали моего мужа. Вѣдь его живого погребли... Какой смѣхъ забиралъ меня!.. Слушайте, слушайте!». И, вмѣсто словъ, начала она пѣть пѣсню:

Бижыть возокъ кровавенькій:  
У тимъ возку козакъ лежить,  
Пострѣляный, порубаный.  
Въ правій ручи дротыкъ держить,  
Съ того дроту кривця бижыть;  
Бижыть рика кровавая.  
Надъ ричкою яворъ стоить;  
Надъ яворомъ воронъ кряче.  
За козакомъ маты плаче.  
Не плачь, маты, не журыся!  
Бо вже твій -сынъ оженився.  
Та взявъ жинку паняночку,  
Въ чистомъ поли земляночку,  
И безъ дверецъ, безъ оконецъ.  
Та вже писни вышовъ конецъ.  
Танцювала рыба зъ ракомъ...  
А хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Такъ перемѣшивались у ней всѣ пѣсни. Уже день и два живетъ она въ своей хатѣ и не хочетъ слышать о Кіевѣ, и не молится и бѣжитъ отъ людей, и съ утра до поздняго вечера бродитъ по темнымъ дубравамъ. Острые сучья царапаютъ бѣлое лицо и плечи; вѣтеръ треплетъ расплетенныя косы; осенніе листья шумятъ подъ ногами ея — ни на что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ, еще не являются звѣзды, не горитъ мѣсяцъ, а уже страшно ходить въ лѣсу: по деревьямъ царапаются и хватаются за сучья некрещеныя дѣти, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клубомъ по дорогамъ и въ широкой кропивѣ; изъ днѣпровскихъ волнъ выбѣгаютъ вереницами погубившія свои души дѣвы; волосы льются съ зеленой головы на плечи; вода, звучно журча, бѣжитъ съ длинныхъ волосъ на землю, и дѣва свѣтится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмѣхаются, щеки пылаютъ, очи выманиваютъ душу... она сгорѣла бы отъ любви, она зацѣловала бы... Бѣги, крещеный человѣкъ! Уста ея — ледъ, постель — холодная вода; она защекочетъ тебя и утащитъ въ рѣку. Катерина не глядитъ ни на кого, не боится, безумная, русалокъ, бѣгаетъ поздно съ ножомъ своимъ и ищетъ отца.

Съ раннимъ утромъ пріѣхалъ какой-то гость, статный собою, въ красномъ жупанѣ, и освѣдомляется о панѣ Данилѣ; слышитъ все, ути-

раетъ рукавомъ заплаканныя очи и пожимаетъ плечами. Онъ, де, воевалъ вмѣстѣ съ покойнымъ Бурульбашемъ; вмѣстѣ рубились они съ крымцами и турками; ждалъ ли онъ, чтобы такой конецъ былъ пана Данила. Разсказываетъ еще гость о многомъ другомъ и хочетъ видѣть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорилъ гость; напослѣдокъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его рѣчи. Онъ повелъ про то, какъ они жили вмѣстѣ съ Даниломъ, будто братъ съ братомъ; какъ укрылись разъ подгреблеюотъ крымцевъ... Катерина все слушала и не спускала съ него очей.

«Она отойдетъ!» думали хлопцы, глядя на нее. «Этотъ гость выльчитъ ее! Она уже слушаетъ, какъ разумная!»

Гость началъ разсказывать между тѣмъ, какъ панъ Данило, въ часъ откровенной бесѣды, сказалъ ему: «Гляди, братъ Копрянъ: когда волею Божіей не будетъ меня на свѣтѣ, возьми къ себѣ жену, и пусть будетъ она твоею женою...»

Страшно вонзила въ него очи Катерина. «А!» вскрикнула она: «это онъ! это отецъ!» и кинулась на него съ ножомъ.

Долго боролся тотъ, стараясь вырвать у нея ножъ; наконецъ, вырвалъ, замахнулся, — и совершилось страшное дѣло: отецъ убилъ безумную дочь свою.





Изумившіеся козаки кинулись было на него; но колдунъ уже успѣлъ вскочить на коня и пропалъ изъ виду.

#### XIV.

За Кіевомъ показалось неслыханное чудо. Всѣ паны и гетманы собирались дивиться этому чуду: вдругъ стало видимо далеко во всѣ концы свѣта. Вдали засинѣлъ Лиманъ, за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крымъ, горою подымавшійся изъ моря, и болотный Сивашъ. По лѣвую руку видна была земля Галичская.

«А то что такое?» допрашивалъ собравшійся народъ старыхъ людей, указывая на далеко мерещившіеся на небѣ и больше похожіе на облака сѣрые и бѣлые верхи.

«То Карпатскія горы!» говорили старые люди: «межъ ними есть такія, съ которыхъ вѣкъ не сходитъ снѣгъ, а тучи пристають и ночуютъ тамъ».

Тутъ показалось новое диво: облака слетѣли съ самой высокой горы, и на вершинѣ ея показался во всей рыцарской сбруѣ человѣкъ на конѣ съ закрытыми очами, и такъ виденъ, какъ бы стоялъ вблизи.

Тутъ, межъ дивившимся со страхомъ народомъ, одинъ вскочилъ на коня и, дико озираясь по сторонамъ, какъ будто ища очами, не гонится ли кто за нимъ, торопливо, во всю мочь, погналъ коня своего. То былъ колдунъ. Чего же такъ перепугался онъ? Со страхомъ взглянувъ въ чуднаго рыцаря, узналъ онъ на немъ то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда онъ ворожилъ. Самъ не могъ онъ разумѣть, отчего въ немъ все смутилось при такомъ видѣ, и, робко озираясь, мчался онъ на конѣ, покамѣстъ не застигнулъ его вечеръ и не проглянули звѣзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, можетъ-быть, допросить нечистую силу, что значитъ такое диво. Уже онъ хотѣлъ перескочить съ конемъ черезъ узкую рѣку, выступившую рукавомъ среди дороги, какъ вдругъ конь на всемъ скаку остановился, заворотилъ къ нему морду, и — чудо — засмѣялся! бѣлые зубы страшно блеснули двумя рядами во мракѣ. Дыбомъ поднялись волосы на головѣ колдуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный, и погналъ коня прямо къ Кіеву. Ему чудилось, что все со всѣхъ сторонъ бѣжало ловить его: деревья, обступивши темнымъ лѣсомъ, и какъ будто живыя, кивая черными бородами и вытягивая длинныя вѣтви, силились задуть его; звѣзды, казалось, бѣжали впереди передъ нимъ, указывая всѣмъ на грѣшника; сама дорога, чудилось, мчалась по слѣдамъ его.

Отчаянный колдунъ летѣлъ въ Кіевъ къ святымъ мѣстамъ.

## XV.

Одинокѣ сидѣлъ въ своей пещерѣ передъ лампадою схимникъ и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много лѣтъ, какъ онъ затворился въ своей пещерѣ; уже сдѣлалъ себѣ и досчатый гробъ, въ который ложился спать вмѣсто постели. Закрывъ святой старецъ свою книгу и сталъ молиться... Вдругъ вбѣжалъ человѣкъ чуднаго, страшнаго вида. Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступилъ, увидѣвъ такого человѣка. Весь дрожалъ онъ, какъ осиновый листъ: очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался изъ очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

«Отецъ, молись! молись!» закричалъ онъ отчаянно: «молись о погибшей душѣ!» и грянулся на землю.

Святой схимникъ перекрестился, досталъ книгу, развернулъ и, въ ужасѣ, отступилъ назадъ и выронилъ книгу: «Нѣтъ, неслыханный грѣшникъ! нѣтъ тебѣ помилованія! Бѣги отсюда! Не могу молиться о тебѣ!»

«Нѣтъ?» закричалъ, какъ безумный, грѣшникъ.

«Гляди: святыя буквы въ книгѣ налились кровью... Еще никогда въ мірѣ не бывало такого грѣшника!»

«Отецъ! ты смѣешься надо мною!»

«Иди, окаянный, грѣшникъ! Не смѣюсь я надъ тобою. Боязнь овладѣваетъ мною. Не добро быть человѣку съ тобою вмѣстѣ!»

«Нѣтъ, нѣтъ! ты смѣешься, не говори... Я вижу, какъ раздвинулся ротъ твой: вотъ бѣлѣютъ рядами твои старые зубы!..»

И, какъ бѣшеный, кинулся онъ — и убилъ святого схимника.



Что-то тяжело застонало, и стонъ перенесся черезъ поле и лѣсъ. Изъ-за лѣса поднялись тощія, сухія руки съ длинными когтями: затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чудится ему какъ-то смутно: въ ушахъ шумитъ, въ головѣ шумитъ, какъ будто отъ хмеля, и все, что ни есть передъ глазами, покрывается какъ бы паутиною. Вскочивши на коня, поѣхалъ онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ Черкасы направить путь къ татарамъ прямо въ Крымъ, самъ не зная, для чего. Ёдетъ онъ ужъ день, другой, а Канева все нѣтъ. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей: но это не Каневъ, а Шумскъ. Изумился колдунъ, видя, что онъ заѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону. Погналъ коня назадъ къ Кіеву, и черезъ день показался городъ, но не Кіевъ, а Галичъ, городъ еще далѣе отъ Кіева, чѣмъ Шумскъ, и уже недалеко отъ венгровъ. Не зная, что дѣлать, поворотилъ онъ коня снова назадъ; но чувствуетъ снова, что ѣдетъ въ противную сторону и все впередъ. Не могъ бы ни одинъ человѣкъ въ свѣтѣ рассказать, что было на душѣ у колдуна; а если бы онъ заглянулъ и увидѣлъ, что тамъ дѣялось, то уже не досыпалъ бы онъ ночей и не засмѣялся бы ни разу. То была не злость, не страхъ, и не лютая досада. Нѣтъ такого слова на свѣтѣ, которымъ бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотѣлось бы весь свѣтъ вытоптать конемъ своимъ, взять всю землю отъ Кіева до Галича съ людьми, со всѣмъ, и затопить ее въ Черномъ морѣ. Но не отъ злобы хотѣлось ему это сдѣлать: нѣтъ, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнулъ онъ, когда уже показались близко передъ нимъ Карпатскія горы и высокій Криванъ, накрывшій свое темя, будто шапкою, сѣрою тучею; а конь все несся и уже рыскалъ по горамъ. Тучи разомъ очистились, и передъ нимъ показался въ страшномъ величій всадникъ... Онъ силится остановиться, крѣпко натягиваетъ удила; дико ржалъ конь, подымая гриву, и мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ замерло, что недвижный всадникъ шевелится и разомъ открылъ свои очи, увидѣлъ несшагося къ нему колдуна и засмѣялся. Какъ громъ, рассыпался дикій смѣхъ по горамъ и зазвучалъ въ сердцѣ колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влѣзъ въ него и ходилъ внутри его и билъ молотами по сердцу, по жиламъ... такъ страшно отдался въ немъ этотъ смѣхъ!

Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послѣ смерти очи; но уже былъ мертвецъ и глядѣлъ, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, ни воскресшій. Ворочалъ онъ по сторонамъ мертвыми глазами, и увидѣлъ поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Карпата, какъ двѣ капли воды, схожихъ лицомъ на него.







Блѣдны, блѣдны, одинъ другого выше, одинъ другого костистѣй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукѣ страшную добычу. Еще разъ засмѣялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И всѣ мертвецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще одинъ всѣхъ выше, всѣхъ страшнѣе, хотѣлъ подняться изъ земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сдѣлать — такъ великъ выросъ онъ въ землѣ; а если бы поднялся, то опрокинулъ бы и Карпатъ, и Седмиградскую, и Турецкую землю. Немного только подвинулся онъ — и пошло отъ него трясеніе по всей землѣ, и много поопрокидывалось вездѣ хатъ, и много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свистъ, какъ будто тысяча мельницъ шумить колесами на водѣ: то, въ безвыходной пропасти, которой не видалъ еще ни одинъ человѣкъ, страшнѣйшійся проходить мимо, мертвецы грызутъ мертвеца. Нерѣдко бывало по всему міру, что земля тряслась отъ одного конца до другого: то оттого дѣлается, толкуютъ грамотные люди, что есть гдѣ-то, близъ моря, гора, изъ которой выхватывается пламя и текутъ горящія рѣки. Но старики, которые живутъ и въ Венгріи, и въ Галичской землѣ, лучше знаютъ это и говорятъ, что





то хочет подняться выросшій въ землѣ великій, великій мертвецъ и трясеть землю.

## XVI.

**В**ъ городѣ Глуховѣ собрался народъ около старца-бандуриста, и уже съ часъ слушалъ, какъ слѣпецъ игралъ на бандурѣ. Еще такихъ чудныхъ пѣсенъ и такъ хорошо не пѣлъ ни одинъ бандуристъ. Сперва повелъ онъ про прежнюю гетьманщину за Сагайдачнаго и Хмельницкаго. Тогда иное было время: козачество было въ славѣ, топтало конями непріятелей, и никто не смѣлъ посмѣяться надъ нимъ. Пѣлъ и веселыя пѣсни старецъ и поваживалъ своими очами на народъ, какъ будто зрящій; а пальцы, съ придѣланными къ нимъ костями, летали, какъ муха, по струнамъ и, казалось, струны сами играли; а кругомъ народъ, старые люди, понутивъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не смѣли и шептать между собою.

«Постойте», сказалъ старецъ: «я вамъ запою про одно давнее дѣло». Народъ сдвинулся еще тѣснѣе, и слѣпецъ запѣлъ:

«За пана Степана, князя Седмиградскаго (былъ князь Седмиградскій королемъ и у ляховъ), жило два козака: Иванъ да Петро. Жили они такъ, какъ братъ съ братомъ. «Гляди, Иванъ, все, что ни добудешь — все пополамъ: когда кому веселье, веселье и другому; когда кому горе — горе и обоимъ; когда кому добыча — пополамъ добычу; когда кто въ полонъ попадетъ — другой продай все и дай выкупъ, а не то, самъ ступай въ полонъ». И правда, все, что ни доставали козаки, все дѣлили пополамъ: угоняли ли чужой скотъ или коней — все дѣлили пополамъ.

\* \* \*

«Воевалъ король Степанъ съ турчиномъ. Уже три недѣли воюетъ онъ съ турчиномъ, а все не можетъ его выгнать. А у турчина былъ паша такой, что самъ съ десятью янычарами могъ порубить цѣлый полкъ. Вотъ объявилъ король Степанъ, что если сыщется смѣльчакъ и приведетъ къ нему того пашу живого или мертваго, дастъ ему одному столько жалованья, сколько дастъ на все войско. «Пойдемъ, братъ, ловить пашу!» сказалъ братъ Иванъ Петру. И поѣхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.

\* \* \*

«Поймалъ ли бы еще, или не поймалъ Петро, а уже Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю. «Бравый молодецъ!» сказалъ

король Степанъ, и приказалъ выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все войско; и приказалъ отвезти ему земли тамъ, гдѣ онъ задумаетъ себѣ, и дать скота, сколько пожелаетъ. Какъ получилъ Иванъ жалованье отъ короля, въ тотъ же день раздѣлилъ все поровну между собою и Петромъ. Взялъ Петро половину королевскаго жалованья, но не могъ вынести того, что Иванъ получилъ такую честь отъ короля, и затаилъ глубоко на душѣ месть.

\* \*  
\*

«Ѣхали оба рыцаря на жалованную королемъ землю, за Карпатъ. Посадилъ козакъ Иванъ съ собою на коня своего сына, привязавъ его къ себѣ. Уже настали сумерки — они все ѣдутъ. Младенецъ заснулъ; сталъ дремать и самъ Иванъ. Не дремли, козакъ, по горамъ дороги опасныя!.. Но у козака такой конь, что самъ вездѣ знаетъ дорогу: не споткнется и не оступится. Есть между горами провалъ, въ провалѣ дна никто не видалъ; сколько отъ земли до неба, столько до дна того провала. Но надъ самымъ проваломъ дорога — два человѣка еще могутъ проѣхать, а трое ни за что. Сталъ бережно ступать конь съ дремавшимъ козакомъ. Рядомъ ѣхалъ Петро, весь дрожалъ и притаилъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названнаго брата въ провалъ; и конь съ козакомъ и младенцемъ полетѣлъ въ провалъ.

\* \*  
\*

«Ухватился, однакожъ, козакъ за сукъ, и одинъ только конь полетѣлъ на дно. Сталъ онъ карабкаться, съ сыномъ за плечами, вверхъ; немного уже не добрался, поднялъ глаза и увидѣлъ, что Петро наставилъ пику, чтобы столкнуть его назадъ. «Боже ты мой, праведный! лучше-бъ мнѣ не подымать глазъ, чѣмъ видѣть, какъ родной братъ наставляетъ пику столкнуть меня назадъ!.. Братъ мой милый! коли меня пикой, когда уже мнѣ такъ написано на роду; но возьми сына: чѣмъ безвинный младенецъ виноватъ, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?» Засмѣялся Петро и толкнулъ его пикой, и козакъ съ младенцемъ полетѣлъ на дно. Забралъ себѣ Петро все добро и сталъ жить, какъ паша. Табуновъ ни у кого не было, какъ у Петра; овецъ и барановъ нигдѣ столько не было. И умеръ Петро.

\* \*  
\*

«Какъ умеръ Петро, призвалъ Богъ души обоихъ братьевъ, Петра и Ивана, на судъ. «Великій есть грѣшникъ сей человѣкъ!» сказалъ Богъ. «Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты самъ ему казнь!» Долго

думалъ Иванъ, вымышляя казнь, и, наконецъ, сказалъ: «Великую обиду нанесть мнѣ сей человѣкъ: предаль своего брата, какъ Іуда, и лишилъ меня честнаго моего рода и потомства на землѣ. А человѣкъ безъ честнаго рода и потомства, что хлѣбное сѣмя, кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ землѣ. Выходу нѣтъ — никто и не узнаетъ, что кинуту было сѣмя.

\* \*  
\*

«Сдѣлай же, Боже, такъ, чтобы все потомство его не имѣло на землѣ счастья; чтобы послѣдній въ родѣ былъ такой злодѣй, какого еще и не бывало на свѣтѣ, и отъ каждаго его злодѣйства, чтобы дѣды и прадѣды его не нашли бы покоя въ гробахъ, и, терпя муку, невѣдомую на свѣтѣ, подымались бы изъ могилъ! А Іуда Петро чтобы не въ силахъ былъ подняться, и отъ того терпѣлъ бы муку еще горшую; и ѣлъ бы, какъ бѣшенный, землю, и корчился бы подъ землею!

\* \*  
\*

«И когда придетъ часъ мѣры въ злодѣйствахъ тому человѣку, подыми меня, Боже, изъ того провала на конѣ на самую высокую гору, и пусть прійдетъ онъ ко мнѣ, и брошу я его съ той горы въ самый глубокий провалъ, и всѣ мертвецы, его дѣды и прадѣды, гдѣ бы ни жили при жизни, чтобы всѣ потянулись отъ разныхъ сторонъ земли грызть его за тѣ муки, что онъ наносилъ имъ, и вѣчно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки. А Іуда Петро чтобы не могъ подняться изъ земли, чтобы рвался грызть и себѣ, но грызъ бы самого себя, а кости его росли бы, чѣмъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще сильнѣе становилась его боль. Та мука для него будетъ самая страшная, ибо для человѣка нѣтъ большей муки, какъ хотѣть отмстить, и не мочь отмстить».

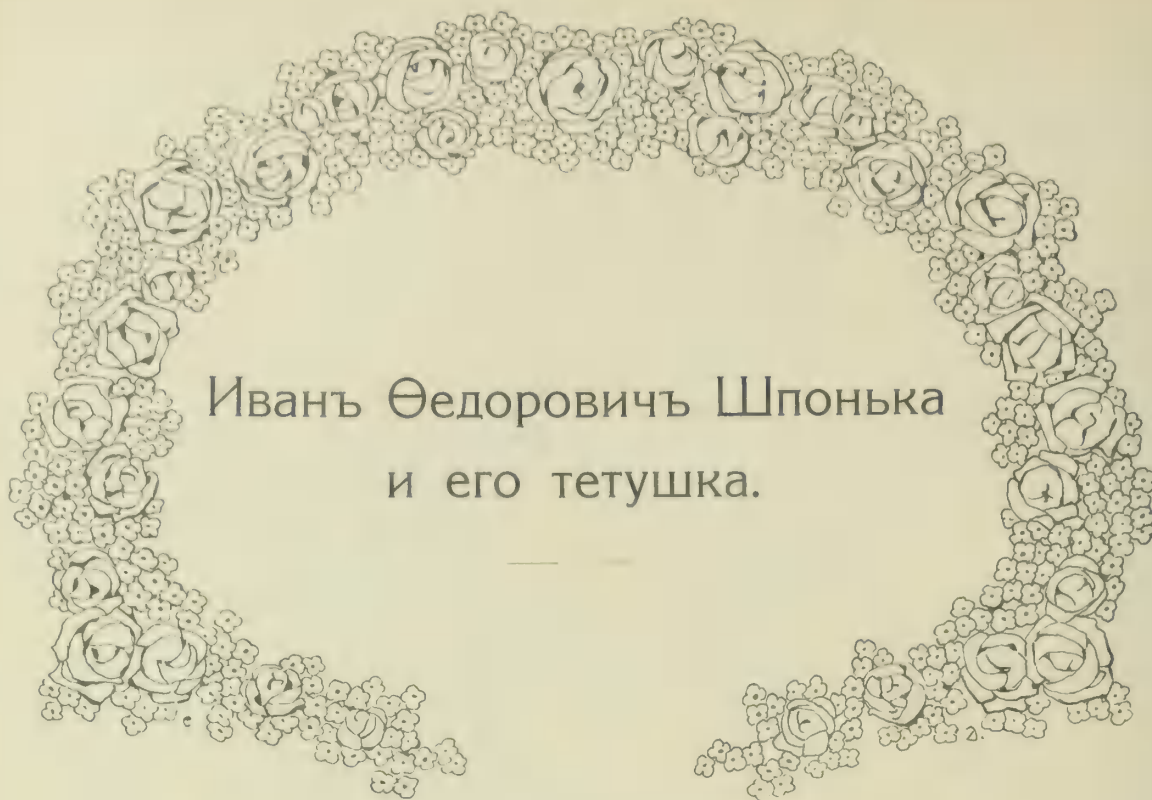
\* \*  
\*

«Страшная казнь, тобою выдуманная, человѣче!» сказалъ Богъ. «Пусть будетъ все такъ, какъ ты сказалъ; но и ты сиди вѣчно тамъ на конѣ своемъ, и не будетъ тебѣ царствія небснаго, покамѣстъ ты будешь сидѣть тамъ на конѣ своемъ!» И то все такъ сбылось, какъ было сказано: и донинѣ стоитъ на Карпатѣ на конѣ дивный рыцарь, и видитъ, какъ въ бездонномъ провалѣ грызутъ мертвецы мертвеца, и чувствуетъ, какъ лежащій подъ землею мертвецъ растетъ, гложетъ въ страшныхъ мукахъ свои кости и страшно трясетъ всю землю»...



Уже слѣпецъ кончилъ свою пѣсню; уже снова сталъ перебирать струны; уже сталъ пѣть смѣшныя присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупивъ головы, раздумывая о страшномъ, въ старину случившемся, дѣлѣ.





## Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка.

Съ этой исторіей случилась исторія: намъ рассказывалъ ее прїѣзжавшій изъ Гадяча Степанъ Ивановичъ Курочка. Нужно вамъ знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянъ: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что въ рѣшето воду лей. Зная за собою такой грѣхъ, нарочно спросилъ его списать ее въ тетрадку. Ну, дай Богъ ему здоровья, человѣкъ онъ былъ всегда добрый для меня, взялъ и списалъ. Положилъ я ее въ маленькій столикъ; вы, думаю, его хорошо знаете: онъ стоитъ въ углу, когда войдешь въ дверь... Да, я и позабылъ, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, съ которой живу уже лѣтъ тридцать вмѣстѣ, грамотѣ сроду не училась, — нечего и грѣха таить. Вотъ замѣчаю я, что она пирожки печетъ на какой-то бумагѣ. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печетъ; лучшихъ пирожковъ вы нигдѣ не будете ѣсть. Посмотрѣлъ какъ-то на сподку пирожка — смотрю: писанныя слова. Какъ будто сердце у меня знало: прихожу къ столику — тетрадки и половины нѣтъ! Остальные листки всѣ растаскала на пироги! Что прикажешь дѣлать? на старости лѣтъ не подратъся же! Прошлый годъ случилось проѣзжать черезъ Гадячъ; нарочно еще, не доѣзжая города, завязалъ узелокъ, чтобы не забыть попросить объ этомъ Степана Ивановича. Этого мало: взялъ обѣщаніе съ самого себя: какъ только чихну въ городѣ, то чтобы при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Проѣхалъ черезъ городъ, и чихнулъ, и высморкался въ платокъ, а все позабылъ; да уже вспом-

нилъ, какъ верстъ за шесть отъѣхалъ отъ заставы. Нечего дѣлать, пришлось печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто желаетъ непременно знать, о чемъ говорится далѣе въ этой повѣсти, то ему стоитъ только нарочно пріѣхать въ Гадячъ и попросить Степана Ивановича. Онъ съ большимъ удовольствіемъ расскажетъ ее, хоть, пожалуй, снова отъ начала до конца. Живетъ онъ недалеко возлѣ каменной церкви. Тутъ есть сейчасъ маленькій переулокъ: какъ только поворачишь въ переулокъ, то будутъ вторыя или третьи ворота. Да вотъ лучше: когда увидите на дворѣ большой шестъ съ перепеломъ, и выйдетъ навстрѣчу вамъ толстая баба въ зеленой юбкѣ (онъ, не мѣшаетъ сказать, ведетъ жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ, вы можете его встрѣтить на базарѣ, гдѣ бываетъ онъ каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зелень для своего стола и разговариваетъ съ отцомъ Антипомъ, или съ жидомъ-откупщикомъ. Вы его тотчасъ узнаете, потому что ни у кого нѣтъ, кромѣ него, панталонъ изъ цвѣтной выбойки и китайчатаго желтаго сюртука. Вотъ вамъ еще примѣта: когда ходитъ онъ, то всегда размахиваетъ руками. Еще покойный тамошній засѣдатель, Денисъ Петровичъ, всегда, бывало, увидѣвши его издали, говорилъ: «Глядите, глядите, вонъ идетъ вѣтряная мельница!»

---

### Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька.

#### I.

**У**же четыре года, какъ Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька въ отставку и живетъ на хуторѣ своемъ Вытребенькахъ. Когда былъ онъ еще Ванюшею, то обучался въ гадячскомъ повѣтовомъ училищѣ, и, надобно сказать, былъ преблагонаравный и престарательный мальчикъ. Учитель російской грамматики, Никифоръ Тимоѳеевичъ Дѣепрічастіе, говорилъ, что если бы всѣ у него были такъ старательны, какъ Шпонька, то онъ не носилъ бы съ собою въ классъ кленовой линейки, которою, какъ самъ онъ признавался, уставалъ бить по рукамъ лѣнивцевъ и шалуновъ. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругомъ облинеенная, нигдѣ ни пятнышка. Сидѣлъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и уставивъ глаза на учителя, и никогда не привѣшивалъ сидѣвшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не рѣзалъ скамьи и не игралъ до прихода учителя въ *тѣсной бабы*. Когда кому нужда была въ ножикѣ, очинить перо, тотъ немедленно обращался къ Ивану Ѳедоровичу, зная, что у него всегда водился ножикъ; и Иванъ Ѳедоровичъ, тогда еще просто Ванюша, вынималъ его изъ небольшого кожанаго чехольчика, привязаннаго къ петлѣ своего сѣренькаго сюртука, и просилъ



только не скоблить пера остріемъ ножика, увѣряя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравіе скоро привлекло на него вниманіе даже самого учителя латинскаго языка, котораго одинъ кашель въ сѣняхъ, прежде нежели высывалась въ дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводилъ страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у котораго на каѳедрѣ всегда лежало два пучка розогъ, и половина слушателей стояла на колѣняхъ, сдѣлалъ Ивана Ѳедоровича аудиторомъ, несмотря на то, что въ классѣ было много съ гораздо лучшими способностями. Тутъ не можно пропустить одного



случая, сдѣлавшаго вліяніе на всю его жизнь. Одинъ изъ ввѣренныхъ ему учениковъ, чтобы склонить своего аудитора написать ему въ списокъ *scil*, тогда какъ онъ своего урока въ зубъ не зналъ, принесъ въ классъ завернутый въ бумагу, облитый масломъ, блинъ. Иванъ Ѳедоровичъ хотя и держался справедливости, но на эту пору былъ голоденъ и не могъ противиться обольщенію: взялъ блинъ, поставилъ передъ собою книгу и началъ ѣсть, и такъ былъ занятъ этимъ, что даже не замѣтилъ, какъ въ классѣ сдѣлалась вдругъ мертвая тишина. Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная

рука, протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на средину класса. «Подай сюда блинъ! Подай, говорятъ тебѣ, негодяй!» сказалъ грозный учитель, схватилъ пальцами масляный блинъ и выбросилъ его за окно, строго запретивъ бѣгавшимъ по двору школьникамъ поднимать его. Послѣ этого тутъ же высккъ онъ пребольно Ивана Ѳедоровича по рукамъ; и дѣло: руки виноваты, зачѣмъ брали, а не другая часть тѣла. Какъ бы то ни было, только съ этихъ поръ робость, и безъ того неразлучная съ нимъ, увеличилась еще болѣе. Можетъ-быть, это самое происшествіе было причиною того, что онъ не имѣлъ никогда желанія вступить въ штатскую службу, видя на опытъ, что не всегда удастся хоронить концы.

Было уже ему безъ малаго пятнадцать лѣтъ, когда перешелъ онъ во второй классъ, гдѣ, вмѣсто сокращеннаго катехизиса и четырехъ пра-

вилъ ариѳметики, принялся онъ за пространный, за книгу о должностяхъ человѣка и за дроби. Но, увидѣвши, что чѣмъ дальше въ лѣтъ, тѣмъ больше дровъ, и получивши извѣстіе, что батюшка приказалъ долго жить, пробылъ еще два года и, съ согласія матушки, вступилъ потомъ въ П\*\*\* пѣхотный полкъ.

П\*\*\* пѣхотный полкъ былъ совсѣмъ не такого сорта, къ какому принадлежатъ многіе пѣхотные полки, и, несмотря на то, что онъ большею частью стоялъ по деревнямъ, однакожъ былъ на такой ногѣ, что не уступалъ инымъ и кавалерійскимъ. Бѣлая часть офицеровъ пила выморозки и умѣла таскать жидовъ за пейсики не хуже гусаровъ; нѣсколько человѣкъ даже танцовали мазурку, и полковникъ П\*\*\* полка никогда не упускалъ случая замѣтить объ этомъ, разговаривая съ кѣмъ-нибудь въ обществѣ. «У меня-съ», говорилъ онъ обыкновенно, трепля себя по брюху послѣ каждаго слова: «многіе пляшутъ-съ мазурку; весьма многіе-съ, очень многіе-съ». Чтобъ еще болѣе показать читателямъ образованность П\*\*\* пѣхотнаго полка, мы прибавимъ, что двое изъ офицеровъ были страшные игроки въ банкъ и проигрывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ и даже исподнее платье, что не вездѣ и между кавалеристами можно сыскать.

Обхожденіе съ такими товарищами, однакоже, ничуть не уменьшило робости Ивана Ѳедоровича; и такъ какъ онъ не пилъ выморозокъ, предпочитая имъ рюмку водки предъ обѣдомъ и ужиномъ, не танцовалъ мазурки и не игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда оставаться одинъ. Такимъ образомъ, когда другіе разбѣзжали на обывательскихъ по мелкимъ помѣщикамъ, онъ, сидя на своей квартирѣ, упражнялся въ занятіяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душѣ: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ на постели.

Зато не было никого исправнѣе Ивана Ѳедоровича въ полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что ротный командиръ всегда ставилъ его въ образецъ. Зато въ скоромъ времени, спустя одиннадцать лѣтъ послѣ полученія прапорщичьяго чина, произведенъ онъ былъ въ подпоручики.

Въ продолженіе этого времени онъ получилъ извѣстіе, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую онъ зналъ только потому, что она привозила ему въ дѣтствѣ и посылала даже въ Гадячъ сушенныя груши и дѣланные ею самою превкусные пряники (съ матушкой она была въ ссорѣ, и потому Иванъ Ѳедоровичъ послѣ не видалъ ея), — эта тетушка, по своему добродушію, взялась управлять небольшимъ его имѣніемъ, о чемъ извѣстила его въ свое время письмомъ.

Иванъ Ѳедоровичъ, будучи совершенно увѣренъ въ благоразуміи тетушки, началъ попрежнему исполнять свою службу. Иной на его мѣстѣ, получивши такой чинъ, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвѣстна, и, сдѣлавшись подпоручикомъ, онъ былъ тотъ же самый Иванъ Ѳедоровичъ, какимъ былъ нѣкогда и въ прапорщичьемъ чинѣ. Пробывъ четыре года послѣ этого замѣчательнаго для него событія, онъ готовился выступить вмѣстѣ съ полкомъ изъ Могилевской губерніи въ Великороссію, какъ получилъ письмо такого содержанія:

«Любезный племянникъ,

Иванъ Ѳедоровичъ!

«Посылаю тебѣ бѣлье: пять паръ нитяныхъ карпетокъ и четыре рубашки тонкаго холста; да еще хочу поговорить съ тобою о дѣлѣ: такъ какъ ты уже имѣешь чинъ немаловажный, что, думаю, тебѣ извѣстно, и пришелъ въ такія лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ воинской службѣ тебѣ не зачѣмъ болѣе служить. Я уже стара и не могу всего присмотрѣть въ твоёмъ хозяйствѣ; да и дѣйствительно, многое притомъ имѣю тебѣ открыть лично. Пріѣзжай, Ванюша! Въ ожиданіи подлиннаго удовольствія тебя видѣть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

*Василиса Цупчевъска.*

«Чудная въ огородѣ у насъ выросла рѣпа: больше похожа на картофель, чѣмъ на рѣпу».

Черезъ недѣлю послѣ полученія этого письма, Иванъ Ѳедоровичъ написалъ такой отвѣтъ:

«Милостивая государыня, тетушка,

Василиса Кашпаровна!

«Много благодарю васъ за присылку бѣлья. Особенно карпетки у меня очень старыя, что даже денщикъ штопалъ ихъ четыре раза, и очень отъ того стали узкія. Насчетъ вашего мнѣнія о моей службѣ, я совершенно согласенъ съ вами, и третьяго дня подалъ въ отставку. А какъ только получу увольненіе, то найму извозчика. Прежней вашей комиссіи, насчетъ сѣмянъ пшеницы, сибирской арнаутки, не могъ исполнить: во всей Могилевской губерніи нѣтъ такой. Свиней же здѣсь кормятъ большею частію брагой, подмѣшивая немного выигравшагося пива.

«Съ совершеннымъ почтеніемъ, милостивая государыня, тетушка, пребываю племянникомъ

*Иваномъ Шпонькою».*

Наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ получилъ отставку, съ чиномъ поручика, нанялъ за сорокъ рублей жида отъ Могилева до Гадяча, и сѣлъ

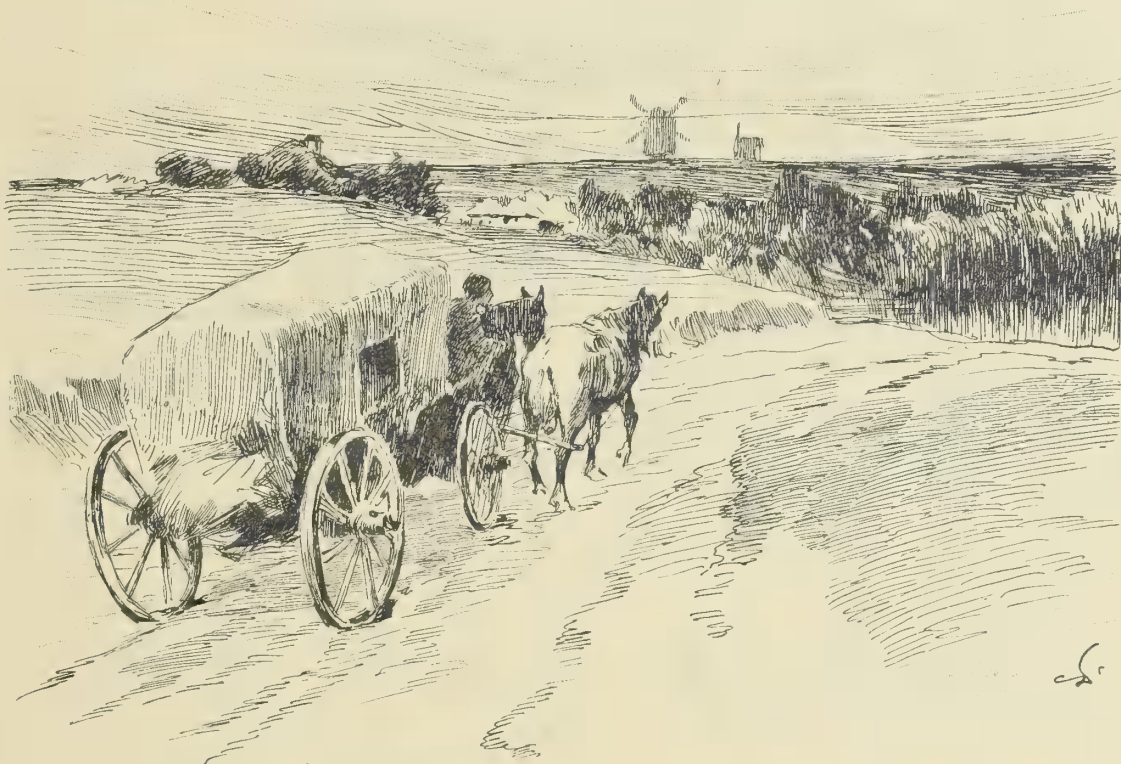


въ кибитку въ то самое время, когда деревья одѣлись молодыми, еще рѣдкими листьями, вся земля ярко зазеленѣла свѣжею зеленью и по всему полю пахло весною.

## II.

## Дорога.

**В**ъ дорогѣ ничего не случилось слишкомъ замѣчательнаго. Ъхали съ небольшимъ двѣ недѣли. Можетъ-быть, еще и этого скорѣе пріѣхалъ бы Иванъ Ѳедоровичъ, но набожный жидъ шабашовалъ по субботамъ, и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочемъ,



Иванъ Ѳедоровичъ, какъ уже имѣлъ я случай замѣтить прежде, былъ такой человѣкъ, который не допускалъ въ себѣ скуки. Въ то время развязывалъ свой чемоданъ, вынималъ бѣлье, рассматривалъ его хорошенько: такъ ли вымыто, такъ ли сложено; снималъ осторожно пушокъ съ новаго мундира, сшитаго уже безъ погончиковъ, и снова все это укладывалъ наилучшимъ образомъ. Книгъ онъ, вообще сказать, не любилъ читать; а если заглядывалъ иногда въ гадательную книгу, такъ это потому, что любилъ встрѣчать тамъ знакомое, читанное уже нѣсколько разъ. Такъ городской житель отправляется каждый день въ клубъ, не для

того, чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встрѣтить тѣхъ пріятелей, съ которыми онъ уже съ незапамятныхъ временъ привыкъ болтать въ клубѣ. Такъ чиновникъ съ большимъ наслажденіемъ читаетъ адресъ-календарь по нѣскольку разъ въ день, не для какихъ-нибудь дипломатическихъ затѣй, но его тѣшитъ до крайности печатная роспись именъ. «А! Иванъ Гавриловичъ такой-то!..» повторяетъ онъ глухо про себя. «А! вотъ и я! гм!..» И на слѣдующій разъ снова перечитываетъ его съ тѣми же восклицаніями.

Послѣ двухнедѣльной ѣзды, Иванъ Ѳедоровичъ достигнулъ деревушки, находившейся въ ста верстахъ отъ Гадяча. Это было въ пятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ въѣхалъ съ кибиткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.



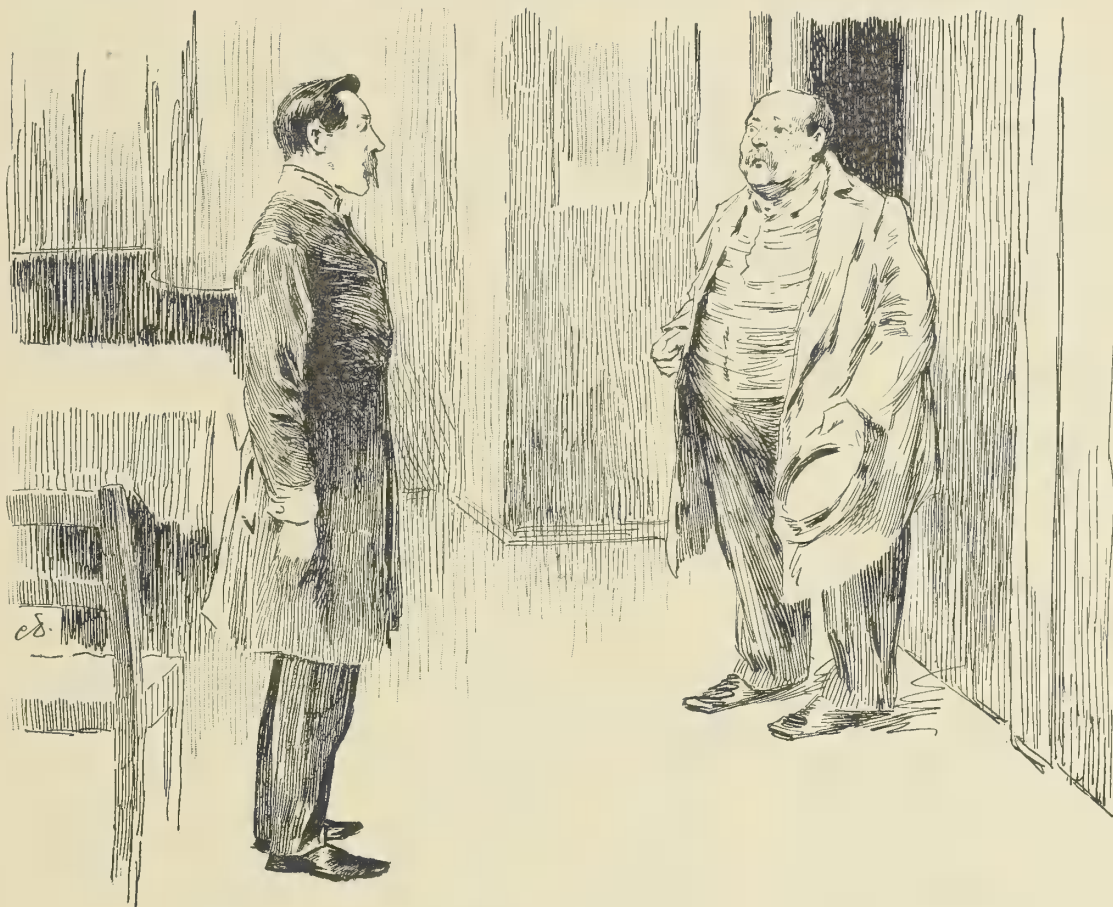
Этотъ постоялый дворъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ, выстроенныхъ по небольшимъ деревушкамъ. Въ нихъ, обыкновенно, съ большимъ усердіемъ потчуютъ путешественника сѣномъ и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ почтовая лошадь. Но если бы онъ захотѣлъ позавтракать, какъ обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранилъ бы въ ненарушимости свой аппетитъ до другого случая. Иванъ Ѳедоровичъ, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку водки, въ которой не бываетъ недостатка ни на одномъ постояломъ дворѣ, началъ свой ужинъ, усѣвшись на лавкѣ передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ глиняный полъ.

Въ продолженіе этого времени слышался стукъ брички. Ворота закрипѣли; но бричка долго не въѣзжала на дворъ. Громкій голосъ бранился со старухою, содержавшею трактиръ. «Я въѣду», услышалъ



Иванъ Ѳедоровичъ: «но если хоть одинъ клопъ укуситъ меня въ твоей хатѣ, то прибую, ей Богу, прибую, старая колдунья! и за сѣно ничего не дамъ!»

Минуту спустя, дверь отворилась, и вошелъ, или, лучше сказать, влѣзъ толстый человѣкъ въ зеленомъ сюртукѣ. Голова его неподвижно покоилась на короткой шеѣ, казавшейся еще толще отъ двухъ-этажнаго



подбородка. Казалось, и съ виду онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые не ломали никогда головы надъ пустяками и которыхъ вся жизнь катилась по маслу.

«Желаю здравствовать, милостивый государь!» проговорилъ онъ, увидѣвши Ивана Ѳедоровича.

Иванъ Ѳедоровичъ безмолвно поклонился.

«А позвольте спросить: съ кѣмъ имѣю честь говорить?» продолжалъ толстый пріѣзжій.

При такомъ допросѣ Иванъ Ѳедоровичъ невольно поднялся съ мѣста и сталъ въ вытяжку, что обыкновенно онъ дѣлывалъ, когда спрашивалъ его о чемъ полковникъ. «Отставной поручикъ, Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька», отвѣчалъ онъ.



«А смѣю ли спросить, въ какія мѣста изволите ѣхать?»

«Въ собственный хуторъ-съ, Вытребенки».

«Вытребенки!» воскликнулъ строгій допросчикъ. «Позвольте, милостивый государь, позвольте!» говорилъ онъ, подступая къ нему и размахивая руками, какъ будто бы кто-нибудь его не допускалъ, или онъ продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принялъ Ивана Ѳедоровича въ объятія и облобызалъ сначала въ правую, потомъ въ лѣвую, и потомъ снова въ правую щеку. Ивану Ѳедоровичу очень понравилось это лобызаніе, потому что губы его приняли большія щеки незнакомца за мягкія подушки.

«Позвольте, милостивый государь, познакомиться!» продолжалъ толстякъ: «я помѣщикъ того же гадячскаго повѣта и вашъ сосѣдъ; живу отъ хутора вашего Вытребенки не дальше пяти верстъ, въ селѣ Хортыщѣ; а фамилія моя Григорій Григорьевичъ Сторченко. Непремѣнно, неpremѣнно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если не пріѣдете въ гости въ село Хортыще. Я теперь спѣшу по надобности... А что это?» проговорилъ онъ кроткимъ голосомъ вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткѣ, съ заплатанными локтями, съ недоумѣвающею миною, ставившему на столъ узлы и ящики. «Что это? что?» и голосъ Григорія Григорьевича незамѣтно дѣлался грознѣе и грознѣе. «Развѣ я это сюда велѣлъ ставить тебѣ, любезный? Развѣ я это сюда говорилъ ставить тебѣ, подлецъ? Развѣ я не говорилъ тебѣ, напередъ разогрѣть курицу, мошенникъ? Пошелъ!» вскрикнулъ онъ, топнувъ ногою. «Постой, рожа! Гдѣ погребецъ со штофиками? Иванъ Ѳедоровичъ!» говорилъ онъ, наливая рюмку настойки: «прошу покорно лѣкарственной!»

«Ей Богу-съ, не могу... я уже имѣлъ случай...» проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ съ запинкою.

«И слушать не хочу, милостивый государь!» возвысилъ голосъ помѣщикъ: «и слушать не хочу! Съ мѣста не сойду, покамѣстъ не выкушаете...»

Иванъ Ѳедоровичъ, увидѣвши, что нельзя отказаться, не безъ удовольствія выпилъ.

«Это курица, милостивый государь», продолжалъ толстый Григорій Григорьевичъ, разрѣзывая ее ножомъ въ деревянномъ ящикѣ. «Надобно вамъ сказать, что повариха моя Явдоха иногда любитъ куликнуть, и оттого часто пересушиваетъ. Эй, хлопче!» тутъ оборотился онъ къ мальчику въ козацкой свиткѣ, принесшему перину и подушки: «постели постель мнѣ на полу посреди хаты! Смотри же, сѣна повыше наклади подъ подушку! Да выдерни у бабы изъ мычки клочокъ пеньки заткнуть мнѣ уши на ночь! Надобно вамъ знать, милостивый государь, что я имѣю обыкновеніе затыкать на ночь уши съ того проклятаго случая, когда въ одной русской

корчмѣ залѣзъ мнѣ въ лѣвое ухо тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я послѣ узналъ, ѣдятъ даже щи съ тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: въ ухѣ такъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ... ну, хоть на стѣну! Мнѣ помогла уже въ нашихъ мѣстахъ простая старуха, и чѣмъ бы вы думали? просто, зашептываніемъ. Чтò вы скажете, милостивый государь, о лѣкаряхъ? Я думаю, что они, просто, морочатъ и дурачатъ насъ: иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всѣхъ этихъ лѣкарей».

«Дѣйствительно, вы изволите говорить совершенную-съ правду. Иная точно бываетъ...» Тутъ онъ остановился, какъ бы не прибирая далѣе приличнаго слова. Не мѣшаетъ здѣсь и мнѣ сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на слова. Можетъ-быть, это происходило отъ робости, а, можетъ, и отъ желанія выразиться красивѣе.

«Хорошенько, хорошенько перетряси сѣно!» говорилъ Григорій Григорьевичъ своему лакею: «тутъ сѣно такое гадкое, что, того и гляди, какъ-нибудь попадетъ сучокъ. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выѣзжаю до зари. Вашъ жидъ будетъ шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вамъ нечего и вставать рано. Не забудьте же моей просьбы: и знать васъ не хочу, когда не пріѣдете въ село Хортыще».

Тутъ камердинеръ Григорія Григорьевича стащилъ съ него сюртукъ и сапоги, натянувъ на него вмѣсто того халатъ, и Григорій Григорьевичъ повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую.

«Эй, хлопче! куда же ты, подлецъ? Поди сюда, поправь мнѣ одѣяло! Эй, хлопче, подмости подъ голову сѣна! Да чтò, коней уже напоили? Еще сѣна! сюда, подъ этотъ бокъ! Да поправь, подлецъ, хорошенько одѣяло! Вотъ такъ, еще! охъ!...»

Тутъ Григорій Григорьевичъ еще вздохнулъ раза два и пустилъ страшный носовой свистъ по всей комнатѣ, всхрапывая по временамъ такъ, что дремавшая на лежанкѣ старуха, пробудившись, вдругъ смотрѣла въ оба глаза на всѣ стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иванъ Ѳедоровичъ, толстаго помѣщика уже не было. Это было одно только замѣчательное происшествіе, случившееся съ нимъ на дорогѣ. На третій день послѣ того приближался онъ къ своему хуторку.

Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно забилося, когда выглянула, махая крыльями, вѣтряная мельница и когда, по мѣрѣ того, какъ жидъ гналъ своихъ клячъ на гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко блестѣлъ сквозь нихъ прудъ и дышалъ свѣжестью. Здѣсь когда-то онъ купался; въ этомъ самомъ прудѣ онъ когда-то съ

ребятишками брелъ по шею въ водѣ за раками. Кибитка взѣхала на греблю, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ тотъ же самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тѣ же самыя яблони и черешни, по которымъ онъ когда-то украдкою лазилъ. Только-что взѣхалъ онъ на дворъ, какъ сбѣжались со всѣхъ сторонъ собаки всѣхъ сортовъ: бурыя, черныя, сѣрыя, пѣгія. Нѣкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадамъ, другія бѣжали сзади, замѣтивъ, что ось вымазана саломъ; одна, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою кость, заливалась во все горло; другая лаяла издали и бѣгала взадъ и впередъ, помахивая хвостомъ и какъ бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человѣкъ!» Мальчишки, въ запачканныхъ рубашкахъ, бѣжали глядѣть. Свинья, прохаживавшаяся по двору съ шестнадцатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующимъ видомъ свое рыло и хрюкнула громче обыкновеннаго. На дворѣ лежало на землѣ множество ряденъ съ пшеницею, просомъ и ячменемъ, сушившимся на солнцѣ. На крышѣ тоже не мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъ батоговъ, нечуй-вѣтра и другихъ.

Иванъ Ѳедоровичъ такъ былъ занятъ разсматриваніемъ этого, что очнулся тогда только, когда пѣгая собака укусила слѣзавшаго съ козелъ жида за икру. Сбѣжавшаяся дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дѣвокъ въ шерстяныхъ исподницахъ, послѣ первыхъ восклицаній: *«та се жъ панычъ нашъ!»* объявила, что тетушка садила въ огордѣ пшеничку, вмѣстѣ съ дѣвкою Палашкою и кучеромъ Омелькомъ, исправлявшимъ часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидѣла рогожную кибитку, была уже здѣсь. И Иванъ Ѳедоровичъ изумился, когда она почти подняла его на рукахъ, какъ бы не довѣряя, та ли это тетушка, которая писала къ нему о своей дряхлости и болѣзни.

### III.

#### Тетушка.

**Т**етушка Василиса Кашпаровна въ это время имѣла лѣтъ около пятидесяти. Замужемъ она никогда не была, и обыкновенно говорила, что жизнь дѣвическая для нея дороже всего. Впрочемъ, сколько мнѣ помнится, никто и не сваталъ ее. Это происходило оттого, что всѣ мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никакъ не имѣли духа сдѣлать ей признаніе. «Весьма съ большимъ характеромъ Василиса Кашпаровна!» говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпаровна хотъ кого умѣла сдѣлать тише травы. Пьяницу-мельника, который совершенно былъ ни къ чему негоденъ, она, соб-







ственной своею мужественною рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, умѣла сдѣлать золотомъ, а не человѣкомъ. Ростъ она имѣла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала непростительную ошибку, опредѣливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенія и своихъ именинъ, тогда какъ ей болѣе всего шли бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. Зато занятія ея совершенно соотвѣтствовали ея виду: она каталась сама на лодкѣ, гребя весломъ искуснѣе всякаго рыболова; стрѣляла дичь; стояла неотлучно надъ косарями; знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштанѣ; брала пошлину по пяти копѣекъ съ воза, проѣзжавшаго черезъ ея греблю; взлѣзала на дерево и трусила груши; била лѣнивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квасъ, варила медовое варенье, и хлопотала весь день и вездѣ поспѣвала. Слѣдствіемъ этого было то, что маленькое имѣніе Ивана Ѳедоровича, состоявшее изъ осьмнадцати душъ по послѣдней ревизіи, процвѣтало въ полномъ смыслѣ сего слова. Къ тому-жъ она слишкомъ горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копѣйку.

По пріѣздѣ домой, жизнь Ивана Ѳедоровича рѣшительно измѣнилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управленія осьмнадцати-душнымъ имѣніемъ. Сама тетушка замѣтила, что онъ будетъ хорошимъ хозяиномъ, хотя, впрочемъ, не во всѣ еще отрасли хозяйства позволяла ему вмѣшиваться. «*Воно ще молода дитина!*» обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Ѳедоровичу было безъ малаго сорокъ лѣтъ: «гдѣ ему все знать!»

Однакожъ онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизъяснимое его кроткой душѣ. Единодушный взмахъ десятка и болѣе блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, какъ встрѣча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, чистый вечеръ, — и что за вечеръ! какъ волень и свѣжъ воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснѣетъ, синѣетъ и горитъ цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насѣкомыхъ, и отъ нихъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хорошо! По полю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и ставятъ котлы, и вокругъ котловъ садятся усатые косари; паръ отъ галушекъ несется; сумерки сѣрѣютъ... Трудно рассказать, что дѣлалось тогда съ Иваномъ Ѳедоровичемъ. Онъ забывалъ, присоединяясь къ косарямъ,



отвѣдать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ недвижимо на одномъ мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшую въ небѣ чайку, или считая копы нажатого хлѣба, унизывавшія поле.

Въ непродолжительномъ времени объ Иванѣ Оедоровичѣ вездѣ пошли рѣчи, какъ о великомъ хозяинѣ. Тетушка не могла нарадоваться своимъ племянникомъ и никогда не упускала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день, — это было уже по окончаніи жатвы, и именно въ концѣ іюля, — Василиса Кашпаровна, взявши Ивана Оедоровича съ таинственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ поговорить съ нимъ о дѣлѣ, которое съ давнихъ поръ уже ее занимаетъ.

«Тебѣ, любезный Иванъ Оедоровичъ», такъ она начала: «извѣстно, что въ твоёмъ хуторѣ осьмнадцать душъ, впрочемъ, это по ревизіи, а безъ того, можетъ, наберется больше, можетъ, будетъ до двадцати четырехъ. Но не объ этомъ дѣло. Ты знаешь тотъ лѣсокъ, что за нашею левадою, и, вѣрно, знаешь за тѣмъ же лѣсомъ широкій лугъ: въ немъ двадцать безъ малаго десятинъ; а травы столько, что можно каждый годъ продавать больше, чѣмъ на сто рублей, особенно если, какъ говорятъ, въ Гадячѣ будетъ конный полкъ».

«Какъ же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая».

«Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля, по-настоящему, твоя? Чтò-жъ ты такъ выпучилъ глаза? Слушай, Иванъ Оедоровичъ! Ты помнишь Степана Кузьмича? Чтò я говорю: «помнишь!» Ты тогда былъ такимъ маленькимъ, что не могъ выговорить даже его имени. Куда-жъ! Я помню, когда пріѣхала на самое пущенье, передъ Филипповкою, и взяла-было тебя на руки, то ты чуть не испортилъ мнѣ всего платья; къ счастью, что успѣла передать тебя мамкѣ Матренѣ; такой ты тогда былъ гадкій!.. Но не объ этомъ дѣло. Вся земля, которая за нашимъ хуторомъ, и самое село Хортыще, было Степана Кузьмича. Онъ, надобно тебѣ объявить, еще тебя не было на свѣтѣ, какъ началъ ѣздить къ твоей матушкѣ, — правда, въ такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, одна-кожъ, это не въ укоръ ей говорю, — упокой, Господи, ея душу! — хотя покойница была всегда неправа противъ меня. Но не объ этомъ дѣло. Какъ бы то ни было, только Степанъ Кузьмичъ сдѣлалъ тебѣ дарственную запись на то самое имѣніе, объ которомъ я тебѣ говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава. Самъ чортъ (Господи, прости меня за это гадкое слово!) не могъ бы понять ее. Куда она дѣла эту запись—одинъ Богъ знаетъ. Я думаю, просто, что она въ рукахъ этого стараго холостяка, Григорія Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельмѣ досталось все его имѣніе. Я готова ставить, Богъ знаетъ чтò, если онъ не утаилъ записи».

«Позвольте-съ доложить, тетушка: не тотъ ли это Сторченко, съ которымъ я познакомился на станціи?» Тутъ Иванъ Ѳедоровичъ разсказалъ про свою встрѣчу.

«Кто его знаетъ!» отвѣчала, немного подумавъ, тетушка: «можетъ-быть, онъ и не негодяй. Правда, онъ, всего только полгода, какъ переѣхалъ къ намъ жить; въ такое время человѣка не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорятъ, большая мастерица солить огурцы; ковры собственныя дѣвки ея умѣютъ отлично хорошо выдѣлывать. Но такъ какъ ты говоришь, что онъ тебя хорошо принялъ, то поѣзжай къ нему: можетъ-быть, старый грѣшникъ послушается совѣсти и отдастъ, что принадлежитъ не ему. Пожалуй, можешь поѣхать и въ бричкѣ, только проклятая дитвора повыдергала сзади всѣ гвозди; нужно будетъ сказать кучеру Омелькѣ, чтобы прибилъ вездѣ получше кожу».

«Для чего, тетушка? Я возьму повозку, въ которой вы ѣздите иногда стрѣлять дичь».

Этимъ окончился разговоръ.

#### IV.

##### О б ѣ д ѣ.

Въ обѣденную пору Иванъ Ѳедоровичъ въѣхалъ въ село Хортыще и немного оробѣлъ, когда сталъ приближаться къ господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не подъ очеретяною, какъ у многихъ окружныхъ помѣщиковъ, но подъ деревянную крышею. Два амбара въ дворѣ тоже подъ деревянную крышею; ворота дубовыя. Иванъ Ѳедоровичъ похожъ былъ на того франта, который, заѣхавъ на балъ, видитъ всѣхъ, куда ни оглянется, одѣтыхъ щеголеватѣе его. Изъ почтенія онъ остановилъ свой возокъ возлѣ амбара и подошелъ пѣшкомъ къ крыльцу.

«А! Иванъ Ѳедоровичъ!» закричалъ толстый Григорій Григорьевичъ, ходившій по двору въ сюртукѣ, но безъ галстука, жилета и подтяжекъ. Однакожъ и этотъ нарядъ, казалось, обременялъ его тучную ширину, потому что потъ катился съ него градомъ.

«Что-жъ вы говорили, что сейчасъ, какъ только увидите съ тетушкой, пріѣдете, да и не пріѣхали?» Послѣ этихъ словъ, губы Ивана Ѳедоровича встрѣтили тѣ же самыя знакомыя подушки.

«Большеею частію занятія по хозяйству... Я-съ пріѣхалъ къ вамъ на минутку, собственно по дѣлу...»

«На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй, хлопче!» закричалъ толстый хозяинъ, и тотъ же самый мальчикъ въ козацкой свиткѣ вы-

бѣжалъ изъ кухни. «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчасъ заперъ, — слышишь! — заперъ крѣпче! А коней вотъ этого пана распрягъ бы сію минуту. Прошу въ комнату: здѣсь такая жара, что у меня вся рубашка мокра».

Иванъ Ѳедоровичъ, вошедши въ комнату, рѣшился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать рѣшительно.

«Тетюшка имѣла честь... сказывала мнѣ, что дарственная запись покойнаго Степана Кузьмича...»

Трудно изобразить, какую непріятную мину сдѣлало при этихъ словахъ обширное лицо Григорія Григорьевича. «Ей Богу, ничего не слышу!» отвѣчалъ онъ. «Надобно вамъ сказать, что у меня въ лѣвомъ ухѣ сидѣлъ тараканъ (въ русскихъ избахъ проклятые кашапы вездѣ поразводили таракановъ); невозможно описать никакимъ перомъ, что за мученіе было — такъ вотъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ. Мнѣ помогла уже одна старуха самымъ простымъ средствомъ...»

«Я хотѣлъ сказать...» осмѣлился прервать Иванъ Ѳедоровичъ, видя, что Григорій Григорьевичъ съ умысломъ хочетъ поворотить рѣчь на другое: «что въ завѣщаніи покойнаго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дарственной записи... по ней слѣдуетъ мнѣ...»

«Я знаю, это вамъ тетюшка успѣла наговорить. Это ложь, ей Богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не дѣлалъ. Хотя, правда, въ завѣщаніи и упоминается о какой-то записи; но гдѣ же она? Никто не представилъ ее. Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра. Ей Богу, это ложь!»

Иванъ Ѳедоровичъ замолчалъ, разсуждая, что, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ тетюшкѣ такъ только показалось.

«А вотъ идетъ сюда матушка съ сестрами!» сказалъ Григорій Григорьевичъ: «слѣдовательно обѣдъ готовъ. Пойдемте!»

Тутъ онъ потащилъ Ивана Ѳедоровича за руку въ комнату, въ которой стояли на столѣ водка и закуски.

Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейникъ въ чепчикѣ, съ двумя барышнями — бѣлокурой и черноволосой. Иванъ Ѳедоровичъ, какъ воспитанный кавалеръ, подошелъ сначала къ старушкиной ручкѣ, а послѣ къ ручкамъ обѣихъ барышень.

«Это, матушка, нашъ сосѣдъ, Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька!» сказалъ Григорій Григорьевичъ.

Старушка смотрѣла пристально на Ивана Ѳедоровича, или, можетъ-быть, только казалась смотрѣвшею. Впрочемъ, это была совершенная доброта; казалось, она такъ и хотѣла спросить Ивана Ѳедоровича: «сколько вы на зиму насаливаете огурцовъ?»

«Вы водку пили?» спросила старушка.

«Вы, матушка, вѣрно, не выпались», сказалъ Григорій Григорьевичъ: «кто-жъ спрашиваетъ гостя, пилъ ли онъ? Вы потчивайте только;



а пили ли мы, или нѣтъ, это наше дѣло. Иванъ Ѳедоровичъ! прошу: золототысячниковой, или Трохимовской сивушки? какую вы лучше любите? Иванъ Ивановичъ, а ты что стоишь?» произнесъ Григорій Григорьевичъ, оборотившись назадъ, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ подходящаго къ водкѣ Ивана Ивановича, въ долгополомъ сюртукѣ, съ огромнымъ стоячимъ воротникомъ, закрывавшимъ весь его затылокъ, такъ что голова его сидѣла въ воротникѣ, какъ будто въ бричкѣ.

Иванъ Ивановичъ подошелъ къ водкѣ, потеръ руки, разсмотрѣлъ хорошенько рюмку, налилъ, поднесъ къ свѣту, вылилъ разомъ изъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не проглатывая, пополоскалъ ею хорошенько во рту, послѣ чего уже проглотилъ, и, закусивши хлѣбомъ съ солеными опѣнками, оборотился къ Ивану Ѳедоровичу.

«Не съ Иваномъ ли Ѳедоровичемъ, господиномъ Шпонькою, имѣю честь говорить?»

«Такъ точно-съ», отвѣчалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

«Очень много изволили перемѣниться съ того времени, какъ я васъ знаю. Какъ же!» продолжалъ Иванъ Ивановичъ: «я еще помню васъ вотъ какими!» При этомъ поднялъ онъ ладонь на аршинъ отъ пола. «Покойный батюшка вашъ, дай



Боже ему царствіе небесное, рѣдкій былъ человѣкъ. Арбузы и дыни всегда бывали у него такіе, какихъ теперь нигдѣ не найдете. Вотъ хоть бы и тутъ», продолжалъ онъ, отводя его въ сторону: «подадутъ вамъ за столомъ дыни, — что за дыни? смотрѣть не хочется! Вѣрите ли, милостивый государь, что у него были арбузы», произнесъ онъ съ таинственнымъ видомъ, разставляя руки, какъ будто бы хотѣлъ обхватить толстое дерево: «ей Богу, вотъ какіе!»

«Пойдемте за столъ!» сказалъ Григорій Григорьевичъ, взявши Ивана Ѳедоровича за руку.

Григорій Григорьевичъ сѣлъ на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ, въ концѣ стола, завѣсившись огромною салфеткою и походя въ этомъ видѣ на тѣхъ героевъ, которыхъ рисуютъ цырюльники на своихъ вывѣскахъ. Иванъ Ѳедоровичъ, краснѣя, сѣлъ на указанное ему мѣсто противъ двухъ барышень; а Иванъ Ивановичъ не преминулъ помѣститься возлѣ него, радуясь душевно, что будетъ кому сообщать свои познанія.

«Вы напрасно взяли куприкъ, Иванъ Ѳедоровичъ! Это индѣйка!» сказала старушка, обратившись къ Ивану Ѳедоровичу, которому въ это время поднесъ блюдо деревенскій оффиціантъ въ сѣромъ фракѣ съ черною заплатою. «Возьмите спинку!»

«Матушка! вѣдь васъ никто не проситъ мѣшаться!» произнесъ Григорій Григорьевичъ. «Будьте увѣрены, что гость самъ знаетъ, что ему взять! Иванъ Ѳедоровичъ! возьмите крылышко, вонъ другое, съ пупкомъ! Да что-жъ вы такъ мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты что разинулъ ротъ съ блюдомъ? Проси! Становись, подлецъ, на колѣни! Говори сейчасъ: «Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!»

«Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!» проревѣлъ, ставъ на колѣни, оффиціантъ съ блюдомъ.

«Гм! что это за индѣйки!» сказалъ вполголоса Иванъ Ивановичъ съ видомъ пренебреженія, оборотившись къ своему сосѣду. «Такія ли должны быть индѣйки? Если бы вы увидѣли у меня индѣекъ! Я васъ увѣряю, что жиру въ одной больше, чѣмъ въ десяткѣ такихъ, какъ эти. Вѣрите ли, государь мой, что даже противно смотрѣтъ, когда ходятъ онѣ у меня по двору—такъ жирны!..»

«Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!» произнесъ Григорій Григорьевичъ, вслушавшись въ его рѣчь.

«Я вамъ скажу», продолжалъ все такъ же своему сосѣду Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто бы онъ не слышалъ словъ Григорія Григорьевича: «что прошлый годъ, когда я отправлялъ ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти копѣекъ за штуку, и то еще не хотѣлъ брать».

«Иванъ Ивановичъ! я тебѣ говорю, что ты лжешь!» произнесъ Григорій Григорьевичъ, для лучшей ясности, по складамъ и громче прежняго.

Но Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто это совершенно относилось не къ нему, продолжалъ такъ же, но только гораздо тише: «именно, государь мой, не хотѣлъ брать. Въ Гадячѣ ни у одного помѣщика...»

«Иванъ Ивановичъ! вѣдь ты глупъ, и больше ничего», громко сказалъ Григорій Григорьевичъ. «Вѣдь Иванъ Ѳедоровичъ знаетъ все это лучше тебя и, вѣрно, не повѣритъ тебѣ».

Тутъ Иванъ Ивановичъ совершенно обидѣлся, замолчалъ и принялся убирать индѣйку, несмотря на то, что она не такъ была жирна, какъ тѣ, на которыя противно смотрѣтъ.

Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ замѣнилъ на время разговоръ; но громче всего слышалось высмактываніе Григоріемъ Григорьевичемъ мозгу изъ бараньей кости.

«Читали ли вы», спросилъ Иванъ Ивановичъ, послѣ нѣкотораго молчанія, высовывая голову изъ своей брички къ Ивану Ѳедоровичу:

«книгу «Путешествіе Коробейникова ко святымъ мѣстамъ»? Истинное улаженіе души и сердца! Теперь такихъ книгъ не печатають. Очень сожалительно, что не посмотрѣлъ, котораго году».

Иванъ Ѳедоровичъ, услышавши, что дѣло идетъ о книгѣ, прилежно началъ набирать себѣ соусу.

«Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаешь, что простой мѣщанинъ прошелъ всѣ мѣста эти: болѣе трехъ тысячъ верстъ, государь мой! болѣе трехъ тысячъ верстъ! Подлинно его Самъ Господь сподобилъ побывать въ Палестинѣ и Іерусалимѣ».

«Такъ вы говорите, что онъ», сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, который много наслышался о Іерусалимѣ еще отъ своего денщика: «былъ и въ Іерусалимѣ?»

«О чемъ вы говорите, Иванъ Ѳедоровичъ?» произнесъ съ конца стола Григорій Григорьевичъ.

«Я, то-есть, имѣлъ случай замѣтить, что какія есть на свѣтѣ далекія страны!» сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, будучи сердечно доволенъ тѣмъ, что выговорилъ столь длинную и трудную фразу.

«Не вѣрьте ему, Иванъ Ѳедоровичъ!» сказалъ Григорій Григорьевичъ, не вслушавшись хорошенько: «все вретъ!»

Между тѣмъ обѣдъ кончился. Григорій Григорьевичъ отправился въ свою комнату, по обыкновенію, немножко всхрапнуть; а гости пошли вслѣдъ за старушкою-хозяйкою и барышнями въ гостиную, гдѣ тотъ самый столъ, на которомъ оставили они, выходя обѣдать, водку, какъ бы превращеніемъ какимъ, покрылся блюдечками съ вареньемъ разныхъ сортовъ и блюдами съ арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствіе Григорія Григорьевича замѣтно было во всемъ: хозяйка сдѣлалась словоохотнѣе и открывала сама, безъ просьбы, множество секретовъ насчетъ дѣланія пастилы и сушенія грушъ. Даже барышни стали говорить; но бѣлокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лѣтъ, была молчаливѣе.

Но болѣе всѣхъ говорилъ и дѣйствовалъ Иванъ Ивановичъ. Будучи увѣренъ, что его теперь никто не собьетъ и не смѣшаетъ, онъ говорилъ и объ огурцахъ, и о посѣвѣ картофеля, и о томъ, какіе въ старину были разумные люди, — куда противъ теперешнихъ! — и о томъ, какъ все, чѣмъ далѣе, умнѣетъ и доходитъ къ выдумыванію мудрѣйшихъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ изъ числа тѣхъ людей, которые съ величайшимъ удовольствіемъ любятъ позаняться улаждающимъ душу разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если разговоръ касался важныхъ и благочестивыхъ предметовъ, то Иванъ Ивановичъ вздыхалъ послѣ каждаго слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высовывалъ голову изъ



своей брички и дѣлалъ такія мины, глядя на которыя, кажется, можно было прочесть, какъ нужно дѣлать грушевый квасъ, какъ велики тѣ дыни, о которыхъ онъ говорилъ, и какъ жирны тѣ гуси, которые бѣгаютъ у него по двору.

Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру, удалось Ивану Оедоровичу распрощаться, и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, онъ устоялъ-таки въ своемъ намѣреніи ѣхать, — и уѣхалъ.

## V.

### Новый замыселъ тетушки.

**Н**у, что? выманилъ у стараго лиходѣя записъ?» Такимъ вопросомъ встрѣтила Ивана Оедоровича тетушка, которая съ нетерпѣніемъ дожидалась его уже нѣсколько часовъ на крыльцѣ и не вытерпѣла, наконецъ, чтобы не выбѣжать за ворота.

«Нѣтъ, тетушка!» сказалъ Иванъ Оедоровичъ, слѣзая съ повозки: «у Григорія Григорьевича нѣтъ никакой записи».

«И ты повѣрилъ ему? Вретъ онъ, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочемъ, нужно напередъ поговорить съ нашимъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него стребовать... Но не объ этомъ теперь дѣло. Ну, что-жъ, обѣдъ былъ хорошій?»

«Очень... да, весьма, тетушка!»

«Ну, какія-жъ были кушанья? разскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней».

«Сырники были со сметаною, тетушка; соусъ съ голубями, начиненными...»

«А индѣйка со сливами была?» спросила тетушка, потому что сама была большая искусница готовить это блюдо.

«Была и индѣйка!.. Весьма красивыя барышни — сестрицы Григорія Григорьевича, особенно бѣлокурая!»

«А!» сказала тетушка и посмотрѣла пристально на Ивана Оедоровича, который, покраснѣвъ, потупилъ глаза въ землю. Новая мысль быстро промелькнула въ ея головѣ. «Ну, что-жъ?» спросила она съ любопытствомъ и живо: «какія у ней брови?» Не мѣшаетъ замѣтить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины въ бровяхъ.

«Брови, тетушка, совершенно-съ такія, какія, вы разсказывали, въ молодости были у васъ. И по всему лицу небольшія веснушки».

«А!» сказала тетушка, будучи довольна замѣчаніемъ Ивана Оедоровича, который, однакожъ, не имѣлъ и въ мысляхъ сказать этимъ

комплиментъ. «Какое же было на ней платье? хотя впрочемъ, теперь трудно найти такихъ плотныхъ матерій, какая вотъ хоть бы, напимѣръ, у меня на этомъ капотѣ. Но не объ этомъ дѣло. Ну, что-жь, ты говорилъ о чемъ нибудь съ нею?»

«То-есть, какъ.. я-съ, тетушка? Вы, можетъ-быть, уже думаете...»

«А что-жь? что тутъ диковиннаго? Такъ Богу угодно! Можетъ-быть, тебѣ съ нею на роду написано жить парочкою».

«Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это доказываетъ, что вы совершенно не знаете меня...»

«Ну, вотъ уже и обидѣлся!» сказала тетушка. *«Ще молода дытына!»* подумала она про себя: «ничего не знаетъ! Нужно ихъ свести вмѣстѣ: пусть познакомятся!»

Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила Ивана Ѳедоровича. Но съ этого времени она только и думала о томъ, какъ увидѣть скорѣе своего племянника женатымъ и поняньчить маленькихъ внучковъ. Въ головѣ ея громоздились одни только приготовленія къ свадьбѣ, и замѣтно было, что она во всѣхъ дѣлахъ суетилась гораздо болѣе, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти дѣла болѣе шли хуже, нежели лучше. Часто, дѣлая какое-нибудь пирожное, котораго вообще она никогда не довѣряла кухаркѣ, она, позабывшись и воображая, что возлѣ нея стоитъ маленькій внучекъ, просящій пирога, разсѣяннo протягивала къ нему руку съ лучшимъ кускомъ, а дворовая собака, пользуясь этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкимъ чваканьемъ выводила ее изъ задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимыя свои занятія и не ѣздила на охоту, особливо, когда, вмѣсто куропатки, застрѣлила ворону, чего никогда прежде съ нею не бывало.

Наконецъ, спустя дня четыре послѣ этого, всѣ увидѣли выкаченную изъ сарая на дворъ бричку. Кучеръ Омелько, онъ же и огородникъ и сторожъ, еще съ ранняго утра стучалъ молоткомъ и приколачивалъ кожу, отгоняя безпрестанно собакъ, лизавшихъ колеса. Долгомъчитаю предупѣдомить читателей, что эта была именно та самая бричка, въ которой еще ѣздилъ Адамъ; и потому, если кто будетъ выдавать другую за адамовскую, то это сушая ложь, и бричка непременно поддѣльная. Совершенно неизвѣстно, какимъ образомъ спаслась она отъ потопа; должно думать, что въ Ноевомъ ковчегѣ былъ особенный для нея сарай. Жаль очень, что читателямъ нельзя описать живо ея фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень довольна ея архитектурою и всегда изъявляла сожалѣніе, что вывелись изъ моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на-бокъ, то-есть такъ, что правая сторона ея была гораздо выше лѣвой, ей очень нравилось, потому что съ одной стороны можетъ, какъ она говорила,

влѣзать малорослый, а съ другой — великорослый. Впрочемъ, внутри брички могло помѣститься штукъ пять малорослыхъ и трое такихъ, какъ тетушка.

Около полудня, Омелько, управившись около брички, вывелъ изъ конюшни тройку лошадей, немного чѣмъ моложе брички, и началъ привязывать ихъ веревкою къ величественному экипажу. Иванъ Оедоровичъ и тетушка, одинъ съ лѣвой стороны, другая съ правой, влѣзли въ бричку, и она тронулась. Попадавшіеся на дорогѣ мужики, видя такой богатый экипажъ (тетушка очень рѣдко выѣзжала въ немъ),

почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись въ поясъ.

Часа черезъ два кибитка остановилась предъ крыльцомъ, — думаю, не нужно говорить: предъ крыльцомъ дома Сторченка. Григорія Григорьевича не было дома. Старушка съ барышнями вышла встрѣтить гостей въ столовую. Тетушка подошла величественнымъ шагомъ, съ большою ловкостью отставила одну ногу впередъ и сказала громко:

«Очень рада, государыня моя, что имѣю честь лично доложить вамъ мое почтеніе; а вмѣстѣ съ респектомъ позвольте поблагодарить за хлѣбосольство ваше къ племяннику моему,

Ивану Оедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрасная у васъ гречиха, сударыня, — я видѣла ее, подѣзжая къ селу. А позвольте узнать, сколько копѣй вы получаете съ десятины?»

Послѣ сего послѣдовало общее лобызаніе. Когда же усѣлись въ гостиной, то старушка-хозяйка начала:

«Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть Григорія Григорьевича; я уже давно не занимаюсь этимъ, да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я помню, гречиха была по поясъ; теперь Богъ знаетъ что, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что теперь все лучше». Тутъ старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы въ этомъ вздохѣ вздохъ стариннаго осьмнадцатаго столѣтія.





«Я слышала, моя государыня, что у васъ собственныя ваши дѣвки отличныя умѣютъ выдѣлывать ковры», сказала Василиса Кашпаровна, и этимъ задѣла старушку за самую чувствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто оживилась, и рѣчи у ней полились о томъ, какъ должно красить пряжу, какъ готовить для этого нитку.

Съ ковровъ быстро съѣхалъ разговоръ на соленье огурцовъ и сушеніе грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ обѣ дамы такъ разговорились между собою, будто вѣкъ были знакомы. Василиса Кашпаровна



многое уже начала говорить съ нею такимъ тихимъ голосомъ, что Иванъ Ѳедоровичъ ничего не могъ разслушать.

«Да не угодно ли посмотрѣть?» сказала, вставая, старушка-хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, и всѣ потянулись въ дѣвичью. Тетушка, однакожъ, дала знакъ Ивану Ѳедоровичу остаться и сказала что-то тихо старушкѣ.

«Машенька!» сказала старушка, обращаясь къ бѣлокурой барышнѣ: «останься съ гостемъ, да поговори съ нимъ, чтобы гостю не было скучно!»

Бѣлокурая барышня осталась и сѣла на диванъ. Иванъ Ѳедоровичъ сидѣлъ на своемъ стулѣ, какъ на иголкахъ, краснѣлъ и потуплялъ глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замѣчала и равнодушно сидѣла

на диванѣ, разсматривая прилежно окна и стѣны, или слѣдя глазами за кошкою, трусливо пробѣгавшею подѣ стульями.

Иванъ Оедоровичъ немного ободрился и хотѣлъ-было начать разговоръ; но казалось, что всѣ слова свои растерялъ онъ на дорогѣ. Ни одна мысль не приходила ему на умъ.

Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидѣла.

Наконецъ, Иванъ Оедоровичъ собрался съ духомъ: «Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня!» произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.

«Чрезвычайно много!» отвѣчала барышня. «Братецъ нарочно сдѣлалъ хлопущку изъ стараго маменькинаго башмака, но все еще очень много».

Тутъ разговоръ опять прекратился, и Иванъ Оедоровичъ никакимъ образомъ уже не находилъ рѣчи.

Наконецъ, хозяйка съ тетушкою и чернявою барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпаровна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря на всѣ приглашенія остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшимъ изъ брички тетушкѣ и племяннику.

«Ну, Иванъ Оедоровичъ, о чемъ же вы говорили вдвоемъ съ барышнею?» спросила дорогою тетушка.

«Весьма скромная и благонравная дѣвица Марья Григорьевна!» сказалъ Иванъ Оедоровичъ.

«Слушай, Иванъ Оедоровичъ: я хочу поговорить съ тобою серьезно. Вѣдь тебѣ, слава Богу, тридцать осьмой годъ; чинъ ты уже имѣешь хорошій: пора подумать и объ дѣтяхъ! Тебѣ непременно нужна жена...»

«Какъ, тетушка!» вскричалъ, испугавшись, Иванъ Оедоровичъ: «какъ жена! Нѣтъ-съ, тетушка, сдѣлайте милость... Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда не былъ женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею дѣлать!»

«Узнаешь, Иванъ Оедоровичъ, узнаешь», промолвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: «*Куды-жъ! ще зовсимъ молода дытына: ничего не знаетъ!*» — «Да, Иванъ Оедоровичъ!» продолжала она вслухъ: «лучшей жены нельзя сыскать тебѣ, какъ Марья Григорьевна. Тебѣ же она притомъ очень понравилась. Мы уже насчетъ этого много переговаривали съ старухою: она очень рада видѣть тебя своимъ зятемъ. Еще неизвѣстно, правда, что скажетъ этотъ грѣхотѣй Григорьевичъ; но мы не посмотримъ на него, и пусть только онъ вздумаетъ не отдать приданаго, мы его судомъ»...

Въ это время бричка подѣхала къ двору, и древнія клячи ожили, чуя близкое стойло.









«Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчасъ, распрягши, къ водопою: они лошади горячія». — «Ну, Иванъ Ѳедоровичъ», продолжала, выльзая, тетушка: «я совѣтую тебѣ хорошенько подумать объ этомъ. Мнѣ еще нужно забѣжать въ кухню: я позабыла Солохѣ заказать ужинъ, а она, негодная, я думаю, сама и не подумала объ этомъ».

Но Иванъ Ѳедоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. Это казалось ему такъ странно, такъ чудно, что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить съ женою!.. непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей комнатѣ, но ихъ должно быть вездѣ двое!.. Потъ проступалъ у него на лицѣ, по мѣрѣ того, какъ углублялся онъ въ размышленіе.

Ранѣе обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, несмотря на всѣ старанія, никакъ не могъ заснуть. Наконецъ, желанный сонъ, этотъ всеобщій успокоитель, посѣтилъ его; но какой сонъ! Еще несвязнѣе сновидѣній онъ никогда не видывалъ. То снилось ему, что вкругъ него все шумитъ, вертится, а онъ бѣжитъ, бѣжитъ, не чувствуетъ подъ собою ногъ... Вотъ уже выбивается изъ силъ... Вдругъ кто-то хватается его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» съ шумомъ говорилъ ему какой-то голосъ, — и онъ вдругъ пробуждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что все въ домикѣ ихъ такъ чудно, такъ странно: въ его комнатѣ стоитъ, вмѣсто одинокой, двойная кровать; на стулѣ сидитъ жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, что говорить съ нею, и замѣчаетъ, что у нея гусиное лицо. Нечаянно поворачивается онъ въ сторону и видитъ другую жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую сторону — стоитъ третья жена; назадъ — еще одна жена. Тутъ его беретъ тоска: онъ бросился бѣжать въ садъ; но въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, видитъ: и въ шляпѣ сидитъ жена. Потъ выступилъ у него на лицѣ. Полѣзъ въ карманъ за платкомъ — и въ карманѣ жена; вынулъ изъ уха хлопчатую бумагу — и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ прыгалъ на одной ногѣ, а тетушка, глядя на него, говорила съ важнымъ видомъ: «Да, ты долженъ прыгать, потому что ты теперь уже женатый человѣкъ». Онъ къ ней; но тетушка — уже не тетушка, а колокольня. И чувствуетъ, что его кто-то тащитъ веревкою на колокольню. «Кто это тащитъ меня?» жалобно проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты — колоколъ!» «Нѣтъ, я не колоколъ, я Иванъ Ѳедоровичъ!» кричалъ онъ. «Да, ты колоколъ», говорилъ, проходя мимо, полковникъ П\*\*\* пѣхотнаго полка. То вдругъ снилось ему, что жена вовсе не человѣкъ, а какая-то шерстяная матерія; что онъ въ Могилевѣ приходитъ въ лавку къ купцу. «Какой прикажете матеріи?» говорить ку-

пецъ: «вы возьмите жены, это самая модная матерія! очень добротная! изъ нея всѣ теперь шьютъ сюртуки». Купецъ мѣряетъ и рѣжетъ жену. Иванъ Ѳедоровичъ беретъ ее подъ мышку, идетъ къ жиду, портному.— «Нѣтъ», говоритъ жидъ: «это дурная матерія! изъ нея никто не шьетъ себѣ сюртука...»

Въ страхѣ и безпамятствѣ просыпался Иванъ Ѳедоровичъ; холодный потъ лился съ него градомъ.

Какъ только всталъ онъ поутру, тотчасъ обратился къ гадательной книгѣ, въ концѣ которой одинъ добродѣтельный книгопродавецъ, по своей рѣдкой добротѣ и безкорыстію, помѣстилъ сокращенный снотолкователь. Но тамъ совершенно не было ничего, даже хотя немного похожаго на такой безсвязный сонъ.

Между тѣмъ въ головѣ тетущки созрѣлъ совершенно новый замыселъ, о которомъ узнаете въ слѣдующей главѣ.







## Заколдованное мѣсто.

Быль,

разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви.

Ей Богу, уже надоѣло разсказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: разсказывай, да разсказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, въ послѣдній разъ. Да, вотъ вы говорили насчетъ того, что человѣкъ можетъ совладать, какъ говорятъ, съ нечистымъ духомъ. Оно, конечно, то-есть, если хорошенько подумать, бываютъ на свѣтѣ всякіе случаи... Однакожъ, не говорите этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморочить; ей Богу, обморочить!.. Вотъ извольте видѣть: насъ всѣхъ у отца было четверо; я тогда былъ еще дурень, всего мнѣ было лѣтъ одиннадцать... такъ нѣтъ же, не одиннадцать: я помню, какъ теперь, когда разъ побѣжалъ-было на четверенькахъ и сталъ лаять по-собачьи, батъко закричалъ на меня, покачавъ головою: «Эй, Оома, Оома! тебя женить пора, а ты дурѣешь, какъ молодой лошакъ!»

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги,—пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ,—довольно крѣпокъ. Бывало, вздумаетъ... Да что-жъ этакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой зачѣмъ-то побѣжалъ за комору. Что, въ самомъ дѣлѣ!.. Добро бы поневолѣ, а то вѣдь сами же напросились. Слушать, такъ слушать!

Батъко еще въ началѣ весны повезъ въ Крымъ на продажу табакъ; не помню только, два или три воза снарядилъ онъ; табакъ былъ тогда



въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ трех- годового брата — приучать заранѣе чумаковать; насъ осталось: дѣдъ, мать, я, да братъ, да еще братъ. Дѣдъ засѣялъ баштанъ на самой дорогѣ и перешелъ жить въ курень; взялъ и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ съ баштану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: бывало, наѣшья въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, цыбули, го-

роху, что въ животѣ, ей Богу, какъ будто пѣтухи кричатъ. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе толкуются по дорогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ на обмѣнъ куръ, яицъ, индѣекъ. Житіе было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ каждый день воевъ пятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бывалый: поидетъ разсказывать — только уши развѣшивай! А дѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми, — дѣда всякій уже зналъ, — можете посудить сами, что бываетъ, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то, такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомнута, Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ, — ну, вотъ, право, какъ будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться, дѣдъ ходилъ по баштану и снималъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, чтобы не попеклись на солнцѣ.

«Смотри, Остапъ», говорю я брату: «вонъ чумаки ѣдутъ!»

«Гдѣ чумаки?» сказалъ дѣдъ, положивши значокъ на большой дынѣ, чтобы на случай не съѣли хлопцы.

По дорогѣ тянулось, точно, воевъ шесть. Впереди шелъ чумакъ уже съ сизыми усами. Не дошедши шаговъ — какъ бы вамъ сказать? — на десять, онъ остановился.



БАШТАНЪ

«Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдѣ увидѣться!»

Дѣдъ прищурилъ глаза: «А! здорово, здорово! Откуда Богъ несетъ? И Болячка здѣсь? Здорово, здорово, братъ! Чтò за дьяволъ, да тутъ всѣ: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!..» И пошли цѣловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оставили на дорогѣ; а сами сѣли всѣ въ кружокъ впереди куреня и закурили



люльки. Но куда уже тутъ до люлекъ? за розсказнями, да за раздобрами врядъ ли и по одной досталось. Послѣ полдника сталъ дѣдъ потчевать гостей дынями. Вотъ каждый, взявши по дынѣ, обчистилъ ее чистенько ножикомъ (калачи всѣ были тертые, мыкали не мало, знали уже, какъ ѣдятъ въ свѣтѣ, — пожалуй и за панскій столъ, хоть сейчасъ, готовы сѣсть); обчистивши хорошенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, выпилъ изъ нея кисель, сталъ рѣзать по кусочкамъ и класть въ ротъ.

«Чтò-жъ вы, хлопцы», сказалъ дѣдъ: «рты свои разинули? танцуйте, собачьи дѣти! Гдѣ, Остапъ, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Оома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! Гей, гопъ!»

Я былъ тогда малый подвижной. Старость проклятая! Теперь уже не пойду такъ; вмѣсто всѣхъ выкрутасовъ, ноги только спотыкаются.



Долго глядѣлъ дѣдъ на насъ, сидя съ чумаками. Я замѣчаю, что у него ноги не постоятъ на мѣстѣ: такъ, какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

«Смотри, Оома», сказалъ Остапъ: «если старый хрѣнъ не пойдетъ танцовать!»

Что-жъ вы думаете? не успѣлъ онъ сказать — не вытерпѣлъ старичина! Захотѣлось, знаете, прихвастнуть передъ чумаками. «Вишь, чортовы дѣти! развѣ такъ танцуютъ? Вотъ какъ танцуютъ!» сказалъ онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцевалъ такъ, что хотъ бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, и пошелъ хрѣнъ вывертывать ногами по всему гладкому мѣсту, которое было возлѣ грядки съ огур-



цами. Только-что дошелъ, однакожъ, до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не поднимаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины — не беретъ! Что хочъ дѣлай — не беретъ, да и не беретъ! Ноги, какъ деревянные, стали. «Вишь дьявольское мѣсто! вишь сатанинское навожде-  
 ніе! Впутается же Иродъ, врагъ рода человѣческаго!» Ну, какъ надѣлать сраму передъ чумаками? Пустился снова и началъ чесать дробно, мелко, любо глядѣть; до середины — нѣтъ! не вытанцовывается, да и полно! «А, шельмовскій сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею!

чтобъ еще маленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Вотъ на старость надѣлалъ стыда какого!..» И въ самомъ дѣлѣ сзали кто-то засмѣялся!

Оглянулся: ни баштану, ни чумаковъ, ничего; назади, впереди, по сторонамъ — гладкое поле. «Э! ссс... вотъ тебѣ на!» Началъ прищуривать глаза — мѣсто, кажись, не совсѣмъ незнакомое: сбоку лѣсъ, изъ-за лѣса торчалъ какой-то шестъ и видѣлся прочь-далеко въ небѣ. Что за пропасть? Да это голубятня, что у попа въ огородѣ! Съ другой стороны тоже что-то сѣрѣетъ; взглянулъ: гумно волостного писаря. Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, наткнулся онъ на дорожку. Мѣсяца не было: бѣлое пятно мелькало вмѣсто него сквозь тучу. «Быть завтра большому вѣтру!» подумалъ дѣдъ. Глядь — въ сторонѣ отъ дорожки на могилкѣ вспыхнула свѣчка. «Вишь!» Сталъ дѣдъ, и руками подперся въ боки, и глядитъ: свѣчка потухла; вдали и немного подалѣе загорѣлась другая. «Кладъ!» закричалъ дѣдъ: «я ставлю, Богъ знаетъ что, если не кладъ!» И уже поплевалъ-было въ руки, чтобы копать, да спохватился, что нѣтъ при немъ ни заступа, ни лопаты. «Эхъ, жаль! Ну, — кто знаетъ? — можетъ-быть, стоить







только поднять дернъ, а онъ тутъ и лежитъ, голубчикъ! Нечего дѣлать, назначить, по крайней мѣрѣ, мѣсто, чтобы не позабыть послѣ!»

Вотъ перетянувши сломленную, видно, вихремъ, порядочную вѣтку дерева, навалилъ онъ ее на ту могилку, гдѣ горѣла свѣчка, и пошелъ по дорожкѣ. Молодой дубовый лѣсъ сталъ рѣдѣть; мелькнулъ плетень. «Ну, такъ! не говорилъ ли я», подумалъ дѣдъ: «что это попова левада? Вотъ и плетень его! Теперь и версты нѣтъ до баштана».



Поздненько, однакожъ, пришелъ онъ домой, и галушекъ не захотѣлъ ѣсть. Разбудивши брата Остапа, спросилъ только, давно ли уѣхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда тотъ началъ—было спрашивать: «А куда тебя, дѣдъ, черти дѣли сегодня?» — «Не спрашивай», сказалъ онъ, завертываясь еще крѣпче: «не спрашивай, Остапъ: не то—посѣдѣешь!» И захрапѣлъ такъ, что воробьи, которые забрались было на баштанъ, поподымались съ перепугу на воздухъ. Но гдѣ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестія,—дай Боже ему царствіе небесное!—умѣлъ отдѣлаться всегда. Иной разъ такую запоетъ пѣсню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться въ полѣ, дѣдъ надѣлъ свитку, подпоясался, взялъ подъ мышку заступъ и лопату, надѣлъ на голову шапку, выпилъ кухоль сыровцу, утеръ губы полою, и пошелъ прямо къ попову огороду. Вотъ минулъ и плетень, и низенькій дубовый лѣсъ. Промежъ деревьевъ вѣтся дорожка и выходитъ въ поле; кажись, та самая. Вышелъ и на поле — мѣсто точь-въ-точь вчерашнее: вонъ и голубятня торчитъ; но гумна не видно. «Нѣтъ, это не то мѣсто. То, стало-быть, подалѣе; нужно, видно, поворотить къ гумну!» Поворотилъ назадъ, сталъ итти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нѣтъ! Опять поворотилъ поближе къ голубятнѣ — гумно спряталось. Въ полѣ, какъ нарочно, сталъ накрапывать дождикъ. Побѣжалъ снова къ гумну — голубятня пропала; къ голубятнѣ — гумно пропало.

«А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождалъ дѣтей своихъ видѣть!» А дождь пустился, какъ изъ ведра.

Вотъ, скинувши новые сапоги и обернувши въ хустку, чтобы не покоробились отъ дождя, задалъ онъ такого бѣгуна, какъ будто панскій иноходецъ. Влѣзъ въ курень, промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, какихъ я еще отъ роду не слыхивалъ. Признаюсь, я бы, вѣрно, покраснѣлъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дѣдъ ходитъ по баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ лопухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился, сталъ пугать меньшого брата, что онъ обмѣняетъ его на куръ вмѣсто арбуза; а, пообѣдавши, сдѣлалъ самъ изъ дерева пищикъ и началъ на немъ играть; и далъ намъ забавляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змѣю, которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я нигдѣ не видывалъ: правда, сѣмена ему что-то издалека достались.

Вечеру, уже повечерявши, дѣдъ пошелъ съ заступомъ прокопать новую грядку для позднихъ тыквъ. Сталъ проходить мимо того заколдованнаго мѣста, не вытерпѣлъ, чтобы не проворчать сквозь зубы: «проклятое мѣсто!» взошелъ на середину, гдѣ не вытанцовалось позавчера, и ударилъ въ сердцахъ заступомъ. Глядь — вокругъ него опять то же самое поле: съ одной стороны торчитъ голубятня, а съ другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять съ собою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ и могила стоитъ! вонъ и вѣтка навалена! вонъ-вонъ горитъ и свѣчка! Какъ бы только не ошибиться!»

Потихоньку побѣжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ будто бы хотѣлъ имъ попотчевать кабана, затесавшагося на баштанъ, и остановился передъ могилою. Свѣчка погасла; на могилѣ лежалъ камень, заросшій травою. «Этотъ камень нужно поднять!» Подумалъ дѣдъ, и началъ обкапывать его со всѣхъ сторонъ. Великъ проклятый



камень! Вотъ, однакожъ, упершись крѣпко ногами въ землю, пихнулъ онъ его съ могилы. «Гу!» пошло по долинь. «Туда тебѣ и дорога! теперь живѣе пойдетъ дѣло».

Тутъ дѣдъ остановился, досталъ рожокъ, насыпалъ на кулакъ табаку, и готовился было поднести къ носу, какъ вдругъ надъ головою его «чихи!» чихнуло что-то такъ, что покачнулись деревья, и дѣду забрызгало все лицо. «Отворотился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть!»



проговорилъ дѣдъ, протирая глаза. Осмотрѣлся — никого нѣтъ. «Нѣтъ, не любить, видно, чортъ табаку!» продолжалъ онъ, кладя рожокъ въ пазуху и принимаясь за заступъ. «Дурень же онъ, а такого табаку ни дѣду, ни отцу его не доводилось нюхать!» Сталъ копать — земля мягкая, заступъ такъ и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидѣлъ онъ котель.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» вскрикнулъ дѣдъ, подсовывая подъ него заступъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» запищаль птичій носъ, клонувши котель.

Посторонился дѣдъ и выпустилъ заступъ.



«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» заблеяла баранья голова съ верхушки дерева.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» заревѣлъ медвѣдь, высунувши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дѣда.

«Да тутъ страшно слово сказать!» проворчалъ онъ про себя.

«Тутъ страшно слово сказать!» пискнулъ птичій носъ.

«Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова.

«Слово сказать!» ревнулъ медвѣдь.

«Гмъ...» сказалъ дѣдъ, и самъ перепугался.

«Гмъ!» пропищалъ носъ.

«Гмъ!» проблеялъ баранъ.

«Гумъ!» заревѣлъ медвѣдь.



Кухоль

Со страхомъ оборотился дѣдъ: Боже ты мой, какая ночь! ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дѣду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ — какъ мѣхъ въ кузницѣ; ноздри — хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей Богу, какъ двѣ колоды! красныя очи выкатились наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнить! «Чортъ съ тобою!» сказалъ дѣдъ, бросивъ котелъ. «На тебѣ и кладъ твой! Экая мерзостная рожа!» И уже ударился — было бѣжать, да оглядѣлся и сталъ, увидѣвши, что все было попрежнему. «Это только пугаетъ нечистая сила!»

Принялся снова за котелъ — нѣтъ, тяжелъ! Что дѣлать? Тутъ же не оставить! Вотъ, собравши всѣ силы, ухватился онъ за него руками: «Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!» и вытащилъ. «Ухъ! теперь понюхать табаку!»

Досталъ рожокъ. Прежде, однакожъ, чѣмъ сталъ насыпать, осмотрѣлся хорошенько, нѣтъ ли кого. Кажись, что нѣтъ; но вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красныя глаза, ноздри раздулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть. «Нѣтъ, не понюхаю табаку!» подумалъ дѣдъ, спрятавши рожокъ: «опять заплюетъ сатана очи!» Схватилъ скорѣе котелъ и давай бѣжать, сколько доставало духу; только слышитъ, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями по ногамъ... «Ай! ай! ай!» покрикивалъ только дѣдъ, ударивъ во всю мочь; и какъ добѣжалъ до попова огорода, тогда только перевелъ немного духъ.

«Куда это зашелъ дѣдъ?» думали мы, дожидаясь часа три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячихъ галушекъ. Нѣтъ,







да и нѣтъ дѣда! Стали опять вечерять сами. Послѣ вечера вымыла мать горшокъ и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокругъ все были гряды; какъ видить, идетъ прямо къ ней навстрѣчу кухва. На небѣ было таки темненько. Вѣрно, кто-нибудь изъ хлопцевъ, шая, спрятался сзади и подталкиваетъ ее. «Вотъ кстати, сюда вылить помои!» сказала и вылила горячіе помои.

«Ай!» закричало басомъ. Глядь—дѣдъ. Ну кто его знаетъ! Ей Богу, думали, что бочка лѣзетъ! Признаюсь, хоть оно и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣдая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвѣшана корками отъ арбузовъ и дынь.



«Вишь, чортова баба!» сказалъ дѣдъ, обтирая голову полою: «какъ опарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ! Ну, хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, собачьи дѣти, ходить въ золотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вамъ принесъ!» сказалъ дѣдъ и открылъ котель.

Что-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по малой мѣрѣ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то, что не золото: соръ, дрязгъ... стыдно сказать, что такое. Плюнулъ дѣдъ, кинулъ котель и руки послѣ того вымылъ.

И съ той поры заклиалъ дѣдъ и насъ вѣрить когда-либо чорту. «И не думайте!» говорилъ онъ часто намъ: «все, что ни скажетъ врагъ Господа Христа, все солжетъ, собачій сынъ! У него правды и на копѣйку

нѣтъ!» И, бывало, чуть только услышитъ старикъ, что въ иномъ мѣстѣ не спокойно: «А, ну-те, ребята, давайте крестить!» закричитъ намъ: «такъ его! такъ его! хорошенько!» и начнетъ класть кресты. А то проклятое мѣсто, гдѣ не вытанцовалось, загородилъ плетнемъ, велѣлъ кидать все, что ни есть непотребнаго, весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.

Такъ вотъ какъ морочить нечистая сила человѣка! Я знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батька подъ баштанъ сосѣдніе козаки. Земля славная, и урожай всегда бывалъ на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда не было ничего добраго. Засѣютъ, какъ слѣдуетъ, а взойдетъ такое, что и разобрать нельзя: арбузъ — не арбузъ, тыква — не тыква, огурецъ — не огурецъ... чортъ знаетъ, что такое!



# МИРГОРОДЪ.

(1835).

---

П О В Ъ С Т И,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣетъ 1 канатную фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водяныхъ и 45 вѣтряныхъ мельницъ.

*Географія Зябловскаго.*

Хотя въ Миргородѣ пекутся бублики изъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.

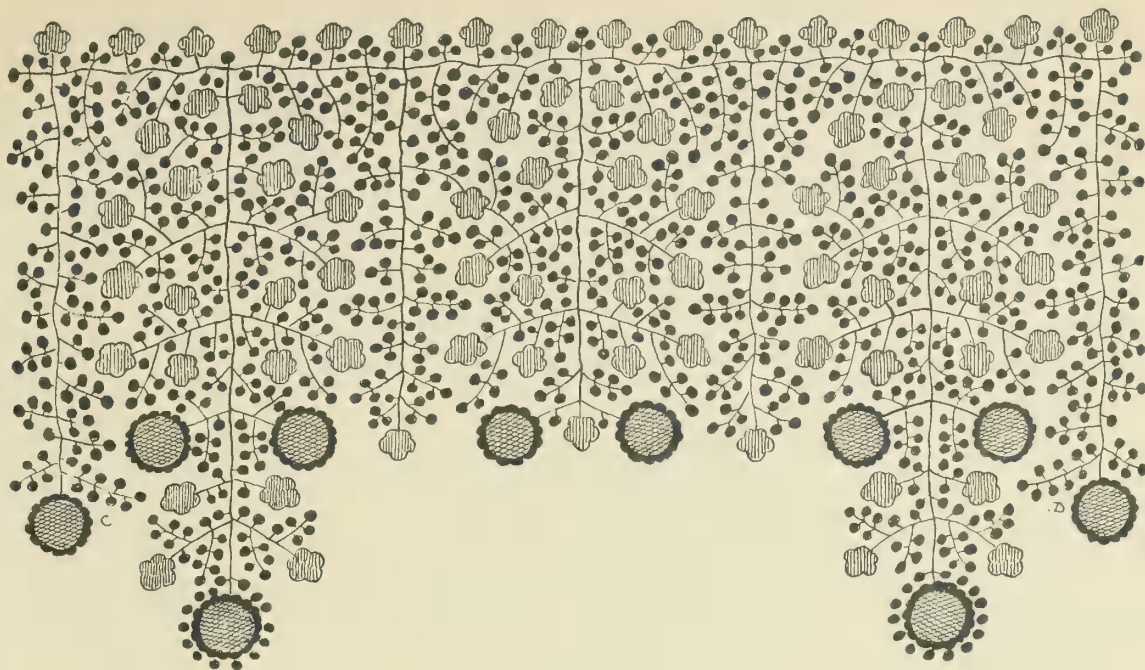
*Изъ записокъ одного путешественника.*

---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.







## Старосвѣтскіе помѣщики.

Я очень люблю скромную жизнь тѣхъ уединенныхъ владѣтелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называютъ «старосвѣтскими», которые, какъ дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣнъ не промылъ еще дождь, крыши не покрыла зеленая плѣсень, и лишенное штукатурки крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, осѣненные вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владѣтелей такъ тиха, такъ тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанія и беспокойныя порожденія злого духа, возмущающія міръ, вовсе не существуютъ, и ты ихъ видѣлъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сновидѣніи. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущую вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цѣлые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развѣсистый клень, въ тѣни котораго разостланъ, для отдыха, коверъ; передъ домомъ про-

сторный дворъ съ низенькою свѣжесю травкою, съ протоптанною дорожкой отъ амбара до кухни и отъ кухни до барскихъ покоевъ; длинношейный гусь, пьющій воду, съ молодыми и нѣжными, какъ пухъ, гусятами; частоколь, обвѣшанный связками сушеныхъ грушъ и яблокъ и провѣтривающимися коврами; возъ съ дынями, стоящій возлѣ амбара; отпряженный волъ, лѣниво лежащій возлѣ него, — все это для меня имѣетъ неизъяснимую прелесть, можетъ-быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что намъ мило все то, съ чѣмъ мы въ разлукѣ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подѣзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали подъ крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и набивалъ трубку, какъ будто бы онъ пріѣзжалъ въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. Но болѣе всего мнѣ нравились самые владѣтели этихъ скромныхъ уголковъ — старички, старушки, заботливо выходившіе навстрѣчу. Ихъ лица мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и толпѣ среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находитъ полусонъ и мерещится бывшее. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя по крайней мѣрѣ на короткое время, отъ всѣхъ дерзкихъ мечтаній и незамѣтно переходишь всѣми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣлое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ — и ничего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! Но обратимся къ разсказу.

Аѳанасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружающихъ мужиковъ, были тѣ старики, о которыхъ я началъ разсказывать. Если бы я былъ живописецъ и хотѣлъ изобразить на полотнѣ Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избралъ другого оригинала, кромѣ ихъ. Аѳанасію Ивановичу было шестьдесятъ лѣтъ, Пульхеріи Ивановнѣ пятьдесятъ пять. Аѳанасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикѣ, покрытомъ камлотомъ, сидѣлъ согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы разсказывалъ или, просто, слушалъ. Пульхерія Ивановна была нѣсколько серьезна, почти никогда не смѣялась; но на лицѣ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всѣмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, вѣрно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на







ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностію, что художникъ вѣрно бы укралъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, — жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатыя фамиліи, всегда составляющія противоположность тѣмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, дерутъ послѣднюю копѣйку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на *о*, слогъ *въ*. Нѣтъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ же какъ и всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Аѳанасій Ивановичъ! вы, Пульхерія Ивановна. «Это вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичъ?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я». Они никогда не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аѳанасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послѣ секундъ-маіоромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспоминалъ объ этомъ. Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ мало помнилъ, по крайней мѣрѣ, никогда не говорилъ.

Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойнок и уединенною жизнью, тѣми дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грѣзами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ,—или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше разспрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стариковъ, которые надоѣдаютъ вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, ко-



торыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говоритъ съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старики, были маленькія, низенькія, какія обыкновенно встрѣчаются у старосвѣтскихъ людей. Въ



каждой комнатѣ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аѳанасій Ивановичъ, и Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были всѣ проведены въ сѣни, всегда почти до самаго потолка наполненныя соломой, которую обыкновенно употребляютъ въ Малороссіи вмѣсто дровъ. Трескъ этой горящей соломѣ и освѣщеніе дѣлаютъ сѣни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда пылкая молодежь, прозябнувши отъ преслѣдованія за какой-нибудь смуглянкой, вбѣгаетъ въ нихъ, похлопывая въ ладоши. Стѣны

комнаты убраны были нѣсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увѣренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторыя изъ нихъ были унесены, то они бы, вѣрно, этого не замѣтили. Два портрета было большихъ, писанныхъ масляными красками: одинъ представлялъ какого-то архіерея,

другой Петра III; изъ узенькихъ рамъ глядѣла герцогиня Лавальеръ, запачканная мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стѣнѣ и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всѣхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и сохранившійся съ такою опрятностію, съ какою, вѣрно, не содержался ни одинъ паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невыспавшимся господиномъ въ ливрѣѣ.

Комната Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами,

цвѣточными, огородными, арбузными, висѣли по стѣнамъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полстолѣтіе, были уложены по угламъ въ сундучкахъ и между сундучками. Пульхерія Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ—были поющія двери. Какъ только наставало утро, пѣніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержавѣвшія ли петли были тому виною, или самъ механикъ, дѣлавшій ихъ, скрылъ въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замѣчательно то, что каждая дверь имѣла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пѣла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую хрипѣла басомъ; но та, которая была въ сѣняхъ, издавала какой-то странный, дребезжащій и вмѣстѣ стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнетъ деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ; ужиномъ, уже стоящимъ на столѣ; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обладаетъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и донинѣ садятся архіереи. Треугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ листьями, которыя мухи усѣяли черными точками; передъ диваномъ коверъ съ птицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на птицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старики.

Дѣвичья была набита молодыми и немолодыми дѣвушками въ полосатыхъ исподницахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездѣлушки и заставляла чистить ягоды, но которыя большею частію бѣгали на кухню и спали. Пульхерія Ивановна считала необходимою держать ихъ въ домѣ и строго смотрѣла за ихъ нравственностію; но, къ чрезвычайному ея удивленію, не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у которой-нибудь изъ ея дѣвушекъ станъ не дѣлался гораздо полнѣе обыкновеннаго. Тѣмъ болѣе это казалось удивительно, что въ домѣ почти никого не было изъ холостыхъ

людей, выключая развѣ только комнатнаго мальчика, который ходилъ въ сѣромъ полуфракѣ съ босыми ногами и если не ѣлъ, то ужъ, вѣрно, спалъ. Пульхерія Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы впередъ этого не было. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый бастъ шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаніями осы; но, какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Аѳанасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ, хотя, впрочемъ, ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все время правленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пульхеріи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растений. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ яблонею вѣчно былъ разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ желѣзнаго треножника котелъ или мѣдный тазъ съ вареньемъ, желе, пастилою, дѣланнми на меду, на сахарѣ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ вѣчно перегонялъ въ мѣдномъ лембикѣ водку на персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ, на золототысячникъ, на вишневые косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребленіе, любила готовить еще на запасъ), если бы большая половина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками, которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стонали и жаловались на животы свои.

Въ хлѣбопашество и прочія хозяйственныя статьи внѣ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновеніе входить въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные, надѣлывали множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркѣ; кромѣ того, всѣ толстые дубы они продавали на срубъ для мельницъ сосѣднимъ козакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обревизовать свои лѣса. Для этого были запряжены дрожки, съ огромными кожаными фартуками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ возжами и лошади, служившія еще въ милиціи, трогались съ своего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейты, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и







желѣзная скобка звенѣли до того, что возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани выѣзжала со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстѣ. Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго опустошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые она еще въ дѣтствѣ знавала столѣтними.

«Отчего это у тебя, Ничипоръ», сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся: «дубки сдѣлались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки».

«Отчего рѣдки?» говаривалъ обыкновенно приказчикъ: «пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили — пропали, пани, пропали».

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дуль.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ, и эту половину привозили они заплѣснѣвшую или подмоченную, которая была обракована на ярмаркѣ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всѣ на дворѣ, начиная отъ ключницы, до свиней, которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цѣлый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробыи и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т.-е. къ шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего въ такомъ множествѣ, Аѳанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосвѣтскихъ помѣщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заводили свой разноголосный концертъ, они уже сидѣли за столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, Аѳанасій Ивановичъ выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ, говорилъ: «Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!» На дворѣ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыкновенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, спрашивалъ о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичекъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ обстрѣ-



лянная птица; онъ зналъ, какъ нужно отвѣчать, а еще болѣе, какъ нужно хозяйничать.

Послѣ этого Афанасій Ивановичъ возвращался въ покои, и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: «А что, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего-нибудь?»

«Чего же бы теперь, Афанасій Ивановичъ, закусить? развѣ коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ-быть, рыжиковъ соленыхъ?»

«Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ», отвѣчалъ Афанасій Ивановичъ, — и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками.

За часъ до обѣда Афанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбками и прочимъ. Обѣдать сѣли въ двѣнадцать часовъ. Кромѣ блюдъ и соусниковъ, на столѣ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное издѣліе старинной вкусной кухни. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ, самыхъ близкихъ къ обѣду.

«Мнѣ кажется, какъ будто эта каша», говаривалъ обыкновенно Афанасій Ивановичъ: «немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?»

«Нѣтъ, Афанасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней».

«Пожалуй», говорилъ Афанасій Ивановичъ, подставляя свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будетъ».

Послѣ обѣда Афанасій Ивановичъ шелъ отдохнуть одинъ часикъ, послѣ чего Пульхерія Ивановна приносила разрѣзанный арбузъ и говаривала: «Вотъ, попробуйте, Афанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ».

«Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный въ срединѣ», говорилъ Афанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: «бываетъ, что и красный, да нехорошій».

Но арбузъ немедленно исчезалъ. Послѣ этого Афанасій Ивановичъ съѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обращеннымъ ко двору, и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и дѣвки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякаго дрягу въ деревянныхъ ящикахъ, рѣшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ фруктохранилищахъ. Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной или самъ отправлялся къ ней и говорилъ: «Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?»







«Чего же бы такого?» говорила Пульхерія Ивановна: «развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить?»

«И то добре», отвѣчалъ Афанасій Ивановичъ.

«Или, можетъ-быть, вы съѣли бы кисельку?»

«И то хорошо», отвѣчалъ Афанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо, и, какъ водится, съѣдаемо.



Передъ ужиномъ Афанасій Ивановичъ еще кое-чего закусывалъ. Въ половинѣ десятаго сѣли ужинать. Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголкѣ.

Комната, въ которой спали Афанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Афанасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спалъ на лежанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставлялъ его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнатѣ. Иногда Афанасій Ивановичъ, ходя по комнатѣ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасій Ивановичъ?»

«Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна: какъ будто немного животъ болитъ», говорилъ Афанасій Ивановичъ.

«А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть, Афанасій Ивановичъ?»

«Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! Впрочемъ, чего-жъ бы такого съѣсть?»

«Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами».

«Пожалуй, развѣ такъ только попробовать», говорилъ Афанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Афанасій Ивановичъ сѣдалъ тарелочку; послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: «Теперь такъ какъ будто сдѣлалось легче».

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Афанасій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхерією Ивановною и поговорить о чемъ-нибудь постороннемъ.

«А что, Пульхерія Ивановна», говорилъ онъ: «если бы вдругъ загорѣлся домъ нашъ, куда бы мы дѣлись?»

«Вотъ это, Боже сохрани!» говорила Пульхерія Ивановна, крестясь.

«Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы перешли тогда?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Афанасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не попуститъ».

«Ну, а если бы сгорѣлъ?»

«Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимаетъ ключница».

«А если бы и кухня сгорѣла?»

«Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого попущенія, чтобы вдругъ и домъ, и кухня сгорѣли! Ну, тогда въ кладовую, покамѣстъ выстроился бы новый домъ».

«А если бы и кладовая сгорѣла?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія рѣчи».

Но Афанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что подшутилъ надъ Пульхерією Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стулѣ.

Но интереснѣе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домѣ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ всѣмъ, что только производило ихъ хозяйство. Но болѣе всего пріятно мнѣ было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шла къ нимъ, что поневолѣ соглашался на



ихъ просьбы. Онѣ были слѣдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими стараніями, называющій васъ благодѣтелемъ и ползающій у ногъ вашихъ. Гость никакимъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ былъ непременно переночевать.

«Какъ можно такую позднюю порою отправляться въ такую дальнюю дорогу!» всегда говорила Пульхерія Ивановна. (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ).



«Конечно», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «неравно всякаго случая: нападутъ разбойники или другой недобрый человѣкъ».

«Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ!» говорила Пульхерія Ивановна. «И къ чему рассказывать этакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленькій; его всякая кобыла побьетъ; да притомъ теперь онъ уже, вѣрно, наклюкался и спитъ гдѣ-нибудь».

И гость долженъ былъ непременно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнатѣ, радушный, грѣющій и усыпляющій рассказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда пита-



тельнаго и мастерски изготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу, какъ теперь, какъ Аѳанасій Ивановичъ, согнувшись, сидитъ на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаетъ со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и о политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто, съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и рассказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто рассказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аѳанасій Ивановичъ часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

«Я самъ думаю пойти на войну; почему-жъ я не могу итти на войну?»

«Вотъ уже и пошелъ!» прерывала Пульхерія Ивановна. — «Вы не вѣрьте ему», говорила она, обращаясь къ гостю: «гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ застрѣлитъ! Ей Богу, застрѣлитъ! Вотъ такъ-таки прицѣлится и застрѣлитъ».

«Что-жъ?» говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «и я его застрѣлю».

«Вотъ слушайте только, что онъ говоритъ!» подхватывала Пульхерія Ивановна: «куда ему итти на войну! И пистолы его давно уже заржавѣли и лежатъ въ коморѣ. Если-бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣлятъ, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ, и лицо искалѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!»

«Что-жъ?» говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или козацкую пику».

«Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ прійдетъ въ голову, и начнетъ рассказывать!» подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. «Я и знаю, что онъ шутитъ, а все-таки непріятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говоритъ; иной разъ слушаешь, слушаешь, да и страшно станеть».

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнѣе всего тогда, когда подводила гостя къ закускѣ. «Вотъ это», говорила она, снимая пробку съ графина: «водка, настоенная на деревій и шалфей: если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ; вотъ это — на золототысячникъ: если въ ушахъ звенить и по лицу лишаи дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ это перегонная на персиковыя косточки; вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжитъ на лбу гугля, то стоитъ только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ — и все, какъ рукой, сниметь; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто вовсе не бывало». Послѣ этого,

такой перечесть слѣдовалъ и другимъ графинамъ, всегда почти имѣвшимъ какія-нибудь цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. «Вотъ это грибки съ щебрецомъ! Это — съ гвоздиками и волошскими орѣхами. Солить ихъ выучила меня туркенья, въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была добрая туркенья, и не замѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру исповѣдывала: такъ совсѣмъ и ходитъ почти, какъ у насъ; только свинины не ѣла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ въ законѣ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиннымъ листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ! А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксусѣ; не знаю, каковы-то онѣ. Я узнала секретъ отъ отца Ивана: въ маленькой кадушкѣ прежде всего нужно разостлать дубовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и положить еще, что бываетъ на нечуй-витерѣ цвѣтъ, такъ этотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ это пирожки! это пирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ это тѣ, которые Аѳанасій Ивановичъ очень любитъ, съ капустою и гречневою кашею».

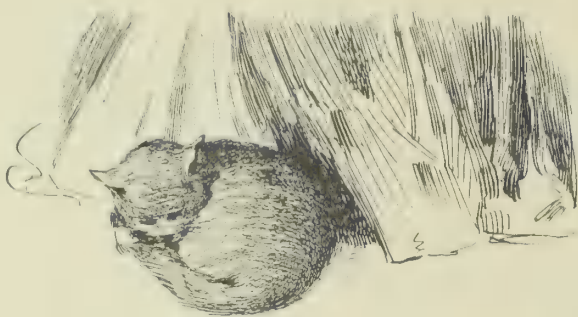
«Да», прибавлялъ Аѳанасій Ивановичъ: «я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе».

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ, когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся принадлежала гостямъ. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объѣдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ, хотя мнѣ это было очень вредно; однакожъ я всегда бывалъ радъ къ нимъ ѣхать. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго пищеваренію, потому что если бы здѣсь вздумалъ кто-нибудь такимъ образомъ накушаться, то, безъ сомнѣнія, вмѣсто постели, очутился бы лежащимъ на столѣ.

Добрые старички! Но повѣствованіе мое приближается къ весьма печальному событію, измѣнившему навсегда жизнь этого мирнаго уголка. Событіе это покажется тѣмъ болѣе разительнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія пріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями. Какой-нибудь завоеватель собираетъ всѣ силы своего государства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются и, наконецъ, все это оканчивается пріобрѣтеніемъ клочка земли, на которомъ негдѣ посѣять картофеля; а иногда, напротивъ, два какіе-нибудь колбасника двухъ городовъ подерутся между собою за вздоръ, и ссора объемлетъ, наконецъ, города, потомъ села и деревни, а тамъ и цѣлое государство. Но оставимъ эти разсужденія: они не идутъ сюда; притомъ я не люблю разсужденій, когда они остаются только разсужденіями.

У Пульхеріи Ивановны была сѣренькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ногъ. Пульхерія Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцемъ по ея шейкѣ, которую балованная кошечка вытягивала, какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къ ней, привыкнувши ее всегда видѣть. Аѳанасій Ивановичъ, однакожъ, часто подшучивалъ надъ такою привязанностью.

«Я не знаю, Пульхерія Ивановна, что вы такого находите въ кошкѣ; на что она? Если бы вы имѣли собаку, тогда бы другое дѣло: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?»



«Ужъ молчите, Аѳанасій Ивановичъ», говорила Пульхерія Ивановна: «вы любите только говорить, и больше ничего. Собака не чистоплотна, собака нагадитъ, собака перебьетъ все, а кошка — тихое твореніе, она никому не сдѣластъ зла».

Впрочемъ, Аѳанасію Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; онъ для того только говорилъ такъ, чтобы немножко подшутить надъ Пульхеріей Ивановной.

За садомъ находился у нихъ большой лѣсъ, который былъ совершенно пощаженъ предприимчивымъ приказчикомъ, можетъ-быть, оттого, что стукъ топора доходилъ бы до самыхъ ушей Пульхеріи Ивановны. Онъ былъ глухъ, запущенъ, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орѣшникомъ и походили на мохнатыя лапы голубей. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты. Лѣсныхъ дикихъ котовъ не должно смѣшивать съ тѣми удалцами, которые бѣгаютъ по крышамъ домовъ; находясь въ городахъ, они, несмотря на крутой нравъ свой, гораздо болѣе цивилизованы, нежели обитатели лѣсовъ. Это, напротивъ того, большею частію народъ мрачный и дикій; они всегда ходятъ тощіе, худые, мяукаютъ грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Они подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ самые амбары и крадутъ сало; являются даже въ самой кухнѣ, прыгнувши внезапно въ растворенное окно, когда замѣтятъ, что поваръ пошелъ въ бурьянъ. Вообще, никакія благородныя чувства имъ не извѣстны; они живутъ хищничествомъ и душатъ маленькихъ воробьевъ въ самыхъ ихъ гнѣздахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ кроткою кошечкою Пульхеріи Ивановны и, наконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку. Пульхерія Ивановна замѣтила пропажу кошки, послала искать ее; но кошка не находилась. Прошло три дня;



Пульхерія Ивановна пожалѣла, наконецъ, вовсе о ней позабыла. Въ одинъ день, когда она ревизовала свой огородъ и возвращалась съ нарванными своею рукою зелеными свѣжими огурцами для Аѳанасія Ивановича, слухъ ея былъ пораженъ самымъ жалкимъ мяуканьемъ. Она, какъ будто по инстинкту, произнесла: «кись, кись!» и вдругъ изъ бурьяна вышла ея сѣренькая кошка, худая, тощая; замѣтно было, что она нѣсколько уже дней не брала въ ротъ никакой пищи. Пульхерія Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла передъ нею, мяукала



и не смѣла подойти близко; видно было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ, увидѣвши прежнія, знакомыя мѣста, вошла и въ комнату. Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока и мяса, и, сидя передъ нею, наслаждалась жадностію бѣдной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за кускомъ и хлебала молоко. Сѣренькая бѣглянка, почти въ глазахъ ея, растолстѣла и ѣла уже не такъ жадно. Пульхерія Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными котами, или набралась романическихъ правилъ, что бѣдность при любви лучше палатъ, а коты были

голы, какъ соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» сказала она сама себѣ, и ничего не могло ее разсѣять. Весь день она была скучна. Напрасно Аѳанасій Ивановичъ шутилъ и хотѣлъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила: Пульхерія Ивановна была безотвѣтна, или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аѳанасія Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

«Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы?»

«Нѣтъ, я не больна, Аѳанасій Ивановичъ! Я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что я этимъ лѣтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною!»

Уста Аѳанасія Ивановича какъ-то болѣзненно искривились. Онъ хотѣлъ, однакожъ, побѣдить въ душѣ своей грустное чувство и, улыбуясь, сказалъ: «Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто декохта, что часто пьете, выпили персиковой».

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я не пила персиковой», сказала Пульхерія Ивановна.

И Аѳанасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ пошутилъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

«Я прошу васъ, Аѳанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю», сказала Пульхерія Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возлѣ церковной ограды. Платье надѣньте на меня сѣренькое, то, что съ небольшими цвѣточками по коричневому полю. Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой уже не нужно платье — на что оно ей? А вамъ оно пригодится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на случай, когда пріѣдутъ гости, то чтобы можно было вамъ прилично показаться и принять ихъ».

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна!» говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «когда-то еще будетъ смерть, а вы уже страшаете такими словами».

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однакожъ, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары; мы скоро увидимся на томъ свѣтѣ».

Но Аѳанасій Ивановичъ рыдалъ, какъ ребенокъ.<sup>3</sup>

«Грѣхъ плакать, Аѳанасій Ивановичъ! Не грѣшите и Бога не гнѣвите своею печалью. Я не жалѣю о томъ, что умираю; объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣю о томъ, что не знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами». При этомъ на лицѣ

ея выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ ли бы кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно.

«Смотри мнѣ, Явдоха», говорила она, обращаясь къ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать: «когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнѣ готовилось то, что онъ любитъ; чтобы бѣлье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй, онъ иногда выйдетъ въ



старомъ халатѣ, потому что и теперь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградить тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить — не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастья на свѣтѣ. Я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дѣти твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ имѣть ни въ чемъ благословенія Божія».

Бѣдная старушка! она въ то время не думала ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бѣдномъ своемъ спутникѣ, съ которымъ



провела жизнь и котораго оставляла сырымъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною расторопностью распорядила все такимъ образомъ, чтобы послѣ нея Аоанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія. Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна, и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что дѣйствительно чрезъ нѣсколько дней она слегла въ постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Аоанасій Ивановичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ отъ ея постели. «Можетъ-быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерія Ивановна?» говорилъ онъ, съ безпокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхерія Ивановна ничего не говорила. Наконецъ, послѣ долгаго молчанія, какъ будто хотѣла она что-то сказать, пошевелила губами — и дыханіе ея улетѣло.

Аоанасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ; мутными глазами глядѣлъ онъ на нее, какъ бы не понимая значенія трупы.

Покойницу положили на столъ, одѣли въ то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестомъ, дали въ руки восковую свѣчу — онъ на все это глядѣлъ безчувственно. Множество народа всякаго званія наполнило дворъ; множество гостей пріѣхало на похороны; длинные столы разставлены были по двору; кутя, наливки, пироги покрывали ихъ кучами. Гости говорили, плакали, глядѣли на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотрѣли на него; но онъ самъ на все это глядѣлъ странно. Покойницу понесли, наконецъ, народъ повалилъ слѣдомъ, и онъ пошелъ за нею. Священники были въ полномъ облаченіи, солнце свѣтило, грудные младенцы плакали на рукахъ матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашенкахъ бѣгали и рѣзвились по дорогѣ. Наконецъ, гробъ поставили надъ ямой; ему велѣли подойти и поцѣловать въ послѣдній разъ покойницу. Онъ подошелъ; поцѣловалъ; на глазахъ его показались слезы, но какія-то безчувственные слезы. Гробъ опустили, священникъ взялъ заступъ и первый бросилъ горсть земли; густой протяжный хоръ дьячка и двухъ понамарей пропѣлъ вѣчную память подъ чистымъ, безоблачнымъ небомъ; работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ пробрался впередъ; всѣ разступились, дали ему мѣсто, желая знать его намѣреніе. Онъ поднялъ глаза свои, посмотрѣлъ смутно и сказалъ: «Такъ вотъ это вы уже и погребли ее! зачѣмъ?!...» Онъ остановился и не докончилъ своей рѣчи.

Но когда возвратился онъ домой, когда увидѣлъ, что пусто въ его комнатѣ, что даже стулъ, на которомъ сидѣла Пульхерія Ивановна, былъ вынесенъ, — онъ рыдалъ, рыдалъ сильно, рыдалъ неутѣшно, и слезы, какъ рѣка, лились изъ его тусклыхъ очей.

Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уноситъ время?

Какая страсть уцѣлѣетъ въ неровной битвѣ съ нимъ? Я зналъ одного человѣка въ цвѣтѣ юныхъ еще силъ, исполненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; я зналъ его влюбленнымъ нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, скромно, и, при мнѣ, при моихъ глазахъ почти, предметъ его страсти — нѣжная, прекрасная, какъ ангелъ, была поражена ненасытною смертію. Я никогда не видалъ такихъ ужасныхъ порывовъ душевнаго страданія, такой бѣшеной, палящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія волновали несчастнаго любовника. Я никогда не думалъ, чтобы могъ человѣкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ ни тѣни, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ; отъ него спрятали всѣ орудія, которыми бы онъ могъ умертвить себя. Двѣ недѣли спустя, онъ вдругъ побѣдилъ себя: началъ смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что онъ употребилъ ее, это было — купить пистолетъ. Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрѣлъ перепугалъ ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату и увидѣли его распростертаго, съ раздробленнымъ черепомъ. Врачъ, случившійся тогда, объ искусствѣ котораго гремѣла всеобщая молва, увидѣлъ въ немъ признаки существованія, нашелъ рану не совсѣмъ смертельною, и онъ, къ изумленію всѣхъ, былъ вылѣченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще болѣе. Даже за столомъ не клали возлѣ него ножа и старались удалить все, чѣмъ бы могъ онъ себя ударить; но онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился подъ колеса проѣзжавшаго экипажа. Ему раздробило руку и ногу; но онъ опять былъ вылѣченъ. Годъ послѣ этого я видѣлъ его въ одномъ многолюдномъ залѣ: онъ сидѣлъ за столомъ, весело говорилъ: «*итит-увертъ*», закрывши одну карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истеченіи сказанныхъ пяти лѣтъ послѣ смерти Пульхеріи Ивановны, я, будучи въ тѣхъ мѣстахъ, заѣхалъ въ хуторокъ Аѳанасія Ивановича навѣстить моего стариннаго сосѣда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда объѣдался лучшими издѣліями радушной хозяйки. Когда я подѣхалъ ко двору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; крестьянскія избы совсѣмъ легли на-бокъ, безъ сомнѣнія, такъ же, какъ и владѣльцы ихъ; частоколъ и плетень во дворѣ были совсѣмъ разрушены, и я видѣлъ самъ, какъ кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи, тогда какъ ей нужно было сдѣлать только два шага лишнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ грустью подѣхалъ къ крыльцу; тѣ же самые барбосы и бровки, уже слѣпые, или съ перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверхъ свои волнистые, обвѣшанные репейниками, хвосты. Навстрѣчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ прежняго.

Онъ узналъ меня и привѣтствовалъ съ тою же знакомою мнѣ улыбкою. Я вошелъ за нимъ въ комнаты. Казалось, все было въ нихъ попрежнему; но я замѣтилъ во всемъ какой-то странный беспорядокъ, какое-то ошутительное отсутствіе чего-то; словомъ, я ощутилъ въ себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздѣльнымъ съ подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бываютъ похожи на то, когда видимъ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ. Во всемъ видно было отсутствіе заботливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка; блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ. О хозяйствѣ я не хотѣлъ и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственныя заведенія.

Когда мы сѣли за столъ, дѣвка завязала Аѳанасія Ивановича салфеткою, и очень хорошо сдѣлала, потому что безъ того онъ бы весь халатъ свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чѣмъ-нибудь занять и рассказывалъ ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашею и, вмѣсто того, чтобы подносить ко рту, подносилъ къ носу; вилку свою, вмѣсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дѣвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нѣскольку минутъ слѣдующаго блюда. Аѳанасій Ивановичъ уже самъ замѣчалъ это и говорилъ: «Что это такъ долго не несутъ кушанья?» Но я видѣлъ сквозь щель въ дверяхъ, что мальчикъ, разносившій намъ блюда, вовсе не думалъ о томъ и спалъ, свѣсивши голову на скамью.

«Вотъ это то кушанье», сказалъ Аѳанасій Ивановичъ, когда подали намъ *мнишки* со сметаною: «это то кушанье», продолжалъ онъ, и я замѣтилъ, что голосъ его началъ дрожать, и слеза готовилась выглянуть изъ его свинцовыхъ глазъ, но онъ собиралъ всѣ усилія, желая удержатъ ее: «это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» и вдругъ брызнулъ слезами; рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетѣла и разбилась; соусъ залилъ его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно держалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій фонтанъ, лились, лились ливнемъ на застилавшую его салфетку.

«Боже!» думалъ я, глядя на него: «пять лѣтъ всеистребляющаго времени—старикъ уже безчувственный, старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ,—и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнѣе надъ



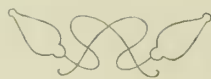
нами: страсть или привычка? Или всѣ сильные порывы, весь вихорь нашихъ желаній и кипящихъ страстей есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всѣ наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки. Нѣсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы, но на половинѣ слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачъ дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Нѣтъ, это не тѣ слезы, на которыя обыкновенно такъ щедры старички, представляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это были также не тѣ слезы, которыя они роняютъ за стаканомъ пуншу: нѣтъ! это были слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою, накаплиаясь отъ ѣдкости боли уже охладѣвшаго сердца.

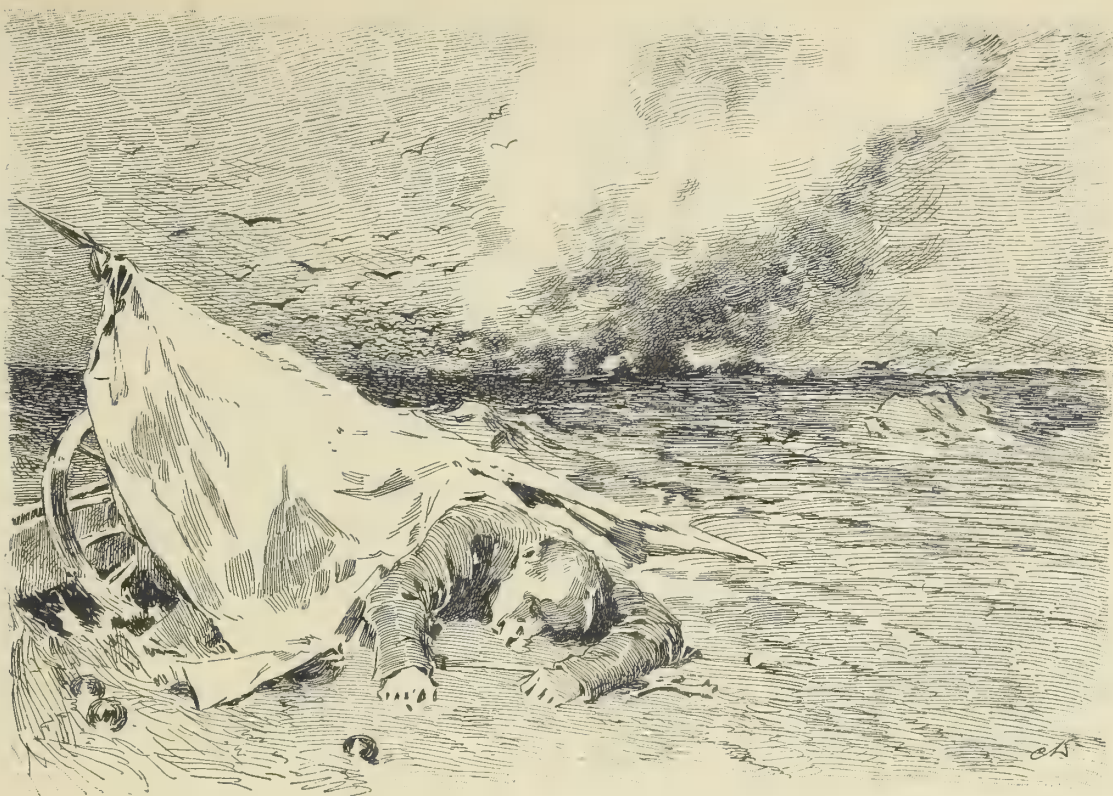
Онъ не долго послѣ того жилъ. Я недавно услышалъ объ его смерти. Странно, однакоже, то, что обстоятельства кончины его имѣли какое-то сходство съ кончиною Пульхеріи Ивановны. Въ одинъ день Аѳанасій Ивановичъ рѣшился немного пройтись по саду. Когда онъ медленно шелъ по дорожкѣ съ обыкновенною своею безпечностію, вовсе не имѣя никакой мысли, съ нимъ случилось странное происшествіе. Онъ вдругъ услышалъ, что позади его произнесъ кто-то довольно явственнымъ голосомъ: «Аѳанасій Ивановичъ!» Онъ оборотился, но никого совершенно не было; посмотрѣлъ во всѣ стороны, заглянулъ въ кусты—нигдѣ никого. День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ, наконецъ, произнесъ: «это Пульхерія Ивановна зоветъ меня!» Вамъ, безъ сомнѣнія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, называющій васъ по имени, который простолюдины объясняютъ тѣмъ, что душа стосковалась за человѣкомъ и призываетъ его, и послѣ котораго слѣдуетъ неминуемо смерть. Признаюсь, мнѣ всегда былъ страшенъ этотъ таинственный зовъ. Я помню, что въ дѣтствѣ я часто его слышалъ: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произносилъ мое имя. День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и солнечный; ни одинъ листъ въ саду на деревѣ не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время переставалъ кричать; ни души въ саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бѣшеная и бурная, со всѣмъ адомъ стихій, настигла меня одного среди непроходимаго лѣса, я бы не такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди безоблачнаго дня. Я обыкновенно такъ бѣжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ саду, и тогда только успокоивался, когда попадался мнѣ навстрѣчу какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею послушнаго ребенка,

сохнулъ, кашлялъ, таялъ, какъ свѣчка, и, наконецъ, угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бѣдное ея пламя. «Положите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны» — вотъ все, что произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Желаніе его исполнили и похоронили возлѣ церкви, близъ могилы Пульхеріи Ивановны. Гостей было меньше на похоронахъ, но простого народа и нищихъ было такое же множество. Домикъ барскій уже сдѣлался вовсе пустъ. Предпріимчивый приказчикъ вмѣстѣ съ войтомъ перетащили въ свои избы всѣ оставшіяся старинныя вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро пріѣхалъ, неизвѣстно откуда, какой-то дальній родственникъ, наслѣдникъ имѣнія, служившій прежде поручикомъ, не помню, въ какомъ полку, страшный реформаторъ. Онъ увидѣлъ тотчасъ величайшее разстройство и упущеніе въ хозяйственныхъ дѣлахъ; все это рѣшился онъ непременно искоренить, исправить и ввести во всемъ порядокъ. Накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ, приколотилъ къ каждой избѣ особенный номеръ, и, наконецъ, такъ хорошо распорядился, что имѣніе черезъ шесть мѣсяцевъ взято было въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго застѣдателя и какого-то штабсъ-капитана въ полиняломъ мундирѣ) перевела въ непродолжительное время всѣхъ куръ и всѣ яйца. Избы, почти совсѣмъ лежавшія на землѣ, развалились вовсе; мужики распянствова-лись и стали большею частію числиться въ бѣгахъ. Самъ же настоящій владѣтель, который, впрочемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмѣстѣ съ нею пуншъ, пріѣзжалъ очень рѣдко въ свою деревню и проживалъ не долго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всѣмъ ярмаркамъ въ Малороссіи, тщательно освѣдомляется о цѣнахъ на разныя большія произведенія, продающіяся оптомъ, какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только небольшія бездѣлушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всѣмъ оптомъ своимъ цѣны одного рубля.





## Тарась Бульба.

П о в ѣ с т ь .

### I.

«А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Чтò это на васъ за поповскіе подрысники? И этакъ всѣ ходятъ въ академіи?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кievской бурсѣ и пріѣхавшихъ домой къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

«Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько», продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: «какія же длинныя на васъ свитки!\*) Экія свитки! Такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы».

«Не смѣйся, не смѣйся, батьку!» сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

\*) Верхняя одежда у южныхъ россіянъ.



«Смотри ты, какой пышный! А отчего-жъ бы не смѣяться?»

«Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, то, ей Богу, поколочу!»

«Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?» сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого».

«Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?»

«Да ужъ на чемъ бы то ни было».

«Ну, давай на кулаки!» говоритъ Бульба, засучивъ рукавъ: «посмотрю я, что за человѣкъ ты въ кулакѣ!»

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другъ другу тумачи и въ бока, и въ поясицу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

«Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ спятилъ съ ума!» говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. «Дѣти пріѣхали домой, больше году ихъ не видали, а онъ задумалъ нивѣсть что: на кулаки биться!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись. «Ей Богу, хорошо!» продолжалъ онъ, немного оправляясь: «такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ сыномъ стали цѣловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все-таки на тебѣ смѣшное убранство: что это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что стоишь и руки опустил?» говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: «что-жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня?»

«Вотъ еще что выдумалъ!» говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. «И придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проѣхало столько пути, утомилось»... (это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ); «ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ его биться!»

«Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба — чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нѣжба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матеръ! Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы ваши: и академіи, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, и все это: *ка зна що* — я плевалъ на все это!» Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. «А вотъ, лучше, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука, такъ наука! Тамъ вамъ школа; тамъ только наберетесь разуму».







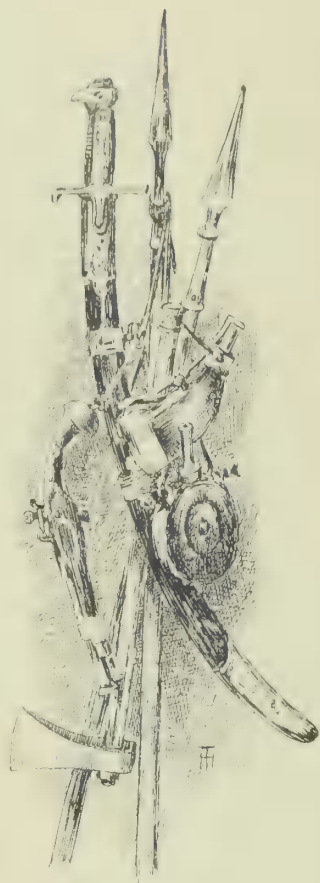
«И всего только одну недѣлю быть имъ дома?» говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худошавая старуха-мать: «и погулять имъ, бѣднымъ, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!»

«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себѣ подъ юбку, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, что есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меда сорокалѣтнiе! Да горѣлки побольше, не съ выдумками горѣлки, не съ изюмомъ и всякими выребеньками, а чистой, пѣнной горѣлки, чтобы играла и шипѣла, какъ бѣшеная».

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки-прислужницы, въ червонныхъ мониствахъ, прибиравшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались пріѣзда паничей, не любившихъ спускать никому, или же, просто, хотѣли соблюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильного стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусъ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихъ болѣе на Украинѣ бородатыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусъ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украинѣ за унію. Все было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стѣнахъ — сабли, нагайки, сѣтки для птицъ, невода и ружья, хитро обдѣланный рогъ для пороху, золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами. Окна въ свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми, тусклыми



стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядѣть, какъ приподнявъ подвижное стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синяго стекла, рѣзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ свѣтлицу Бульбы всякими путями черезъ третьи и четвертыя руки, что было весьма обыкновенно



въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ парадномъ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвѣтными, пестрыми изразцами, — все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время, — приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней и потому, что не въ обычаѣ было позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускѣ ихъ, послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю пріѣзда сыновей, велѣлъ созвать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ на лицо; и когда пришли двое изъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей, говоря: «Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчъ ихъ скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что нѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорожская Сѣчъ.

«Ну-жъ, паны братья, садись всякій, гдѣ кому лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горѣлки!» такъ говорилъ Бульба. «Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! Чтобы бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ, бишь, того звали, что латинскіе вирши писалъ? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?



«Вишь, какой батько!» подумалъ про себя старшій сынъ, Остапъ: «все старый, собака, знаетъ, а еще и прикидывается».

«Я думаю, архимандритъ не давалъ вамъ и понюхать горѣлки», продолжалъ Тарасъ. «А признайтесь, сынки, крѣпко стегали васъ березовыми и свѣжимъ вишнякомъ по спинѣ и по всему, что ни есть у



козака? А можетъ, такъ какъ вы сдѣлались уже слишкомъ разумные, такъ, можетъ, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботамъ, а доставалось и въ среду, и въ четверги?»

«Нечего, батько, вспоминать, что было», отвѣчалъ хладнокровно Остапъ: «что было, то прошло!»

«Пусть теперь попробуетъ!» сказалъ Андрій: «пускай теперь кто-нибудь только зацѣпитъ! Вотъ пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!»

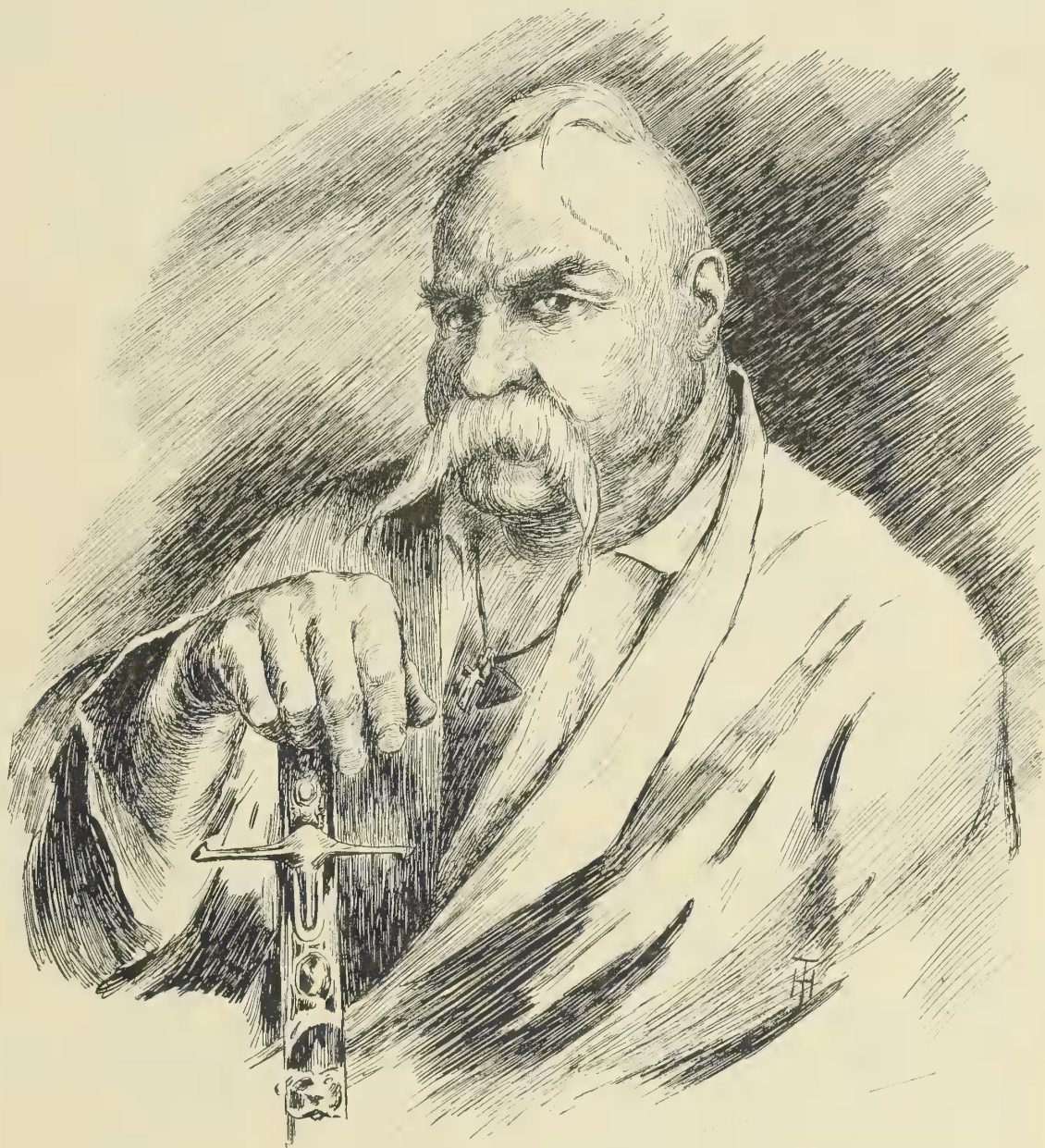


«Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я съ вами їду! ей Богу, їду! Какого дьявола мнѣ здѣсь ждять? Чтобъ я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она: я козакъ, не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны? Я такъ поїду съ вами на Запорожье — погулять. Ей Богу, поїду!» И старый Бульба мало-по-малу горячился, горячился, наконецъ, разсердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою. — «Завтра же їдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? Къ чему намъ все это? На что эти горшки?» Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно-сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ; когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламенемъ объялся древле-мирный славянскій духъ и завелось козачество — широкая разгульная замашка русской природы, и когда всѣ порѣчья, перевозки, прибрежныя положія и удобныя мѣста устѣялись козаками, которымъ и счету никто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ ихъ: «Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано по всему степу: что байракъ, то козакъ» (гдѣ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было, точно, необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бѣдъ. вмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общою опасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, на мѣсто удѣльныхъ князей, властителями этихъ

пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе козаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды самихъ же козаковъ, преобразовали



околицы и курени въ полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско; его бы никто не увидалъ; но въ случаѣ войны и общаго движенія, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какого бы не въ



силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ, — воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевозки, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво, и былъ вольный козакъ. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телѣгу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую, пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій, — все это было ему по плечу. Кромѣ реестровыхъ козаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой потребности, набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: «Эй, вы, пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосѣи, овцепасы, баболюбы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы!» И слова эти были — какъ искры, падавшія на сухое дерево. Пахарь ломалъ свой плугъ, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домѣ, — и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ со своими козаками производилъ надъ ними расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили въ чемъ старшинъ и стояли предъ ними въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаѣ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.



Теперь онъ тѣшилъ себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими на Сѣчь и скажетъ: «Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!» какъ представить ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядить на первые подвиги ихъ въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почиталъ тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотѣлъ-было отправить ихъ однихъ; но, при видѣ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣлесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, и онъ на другой день рѣшился ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навѣдывался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ ними ѣхать. Есаулу Товкачу передалъ свою власть вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ изъ Сѣчи какую-нибудь вѣсть. Хотя онъ былъ и навеселѣ, и въ головѣ его еще бродилъ хмель, однакожъ не забылъ ничего; даже отдалъ приказъ напоить коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ».

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, храпѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклокоченныя кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъ — и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собой. — «Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?» говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видѣлась съ нимъ,

когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли, и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, — все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, съ слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, — берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ-быть, при первой битвѣ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенные тѣла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъѣздъ; можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и, мало-по-малу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до свѣта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась, какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

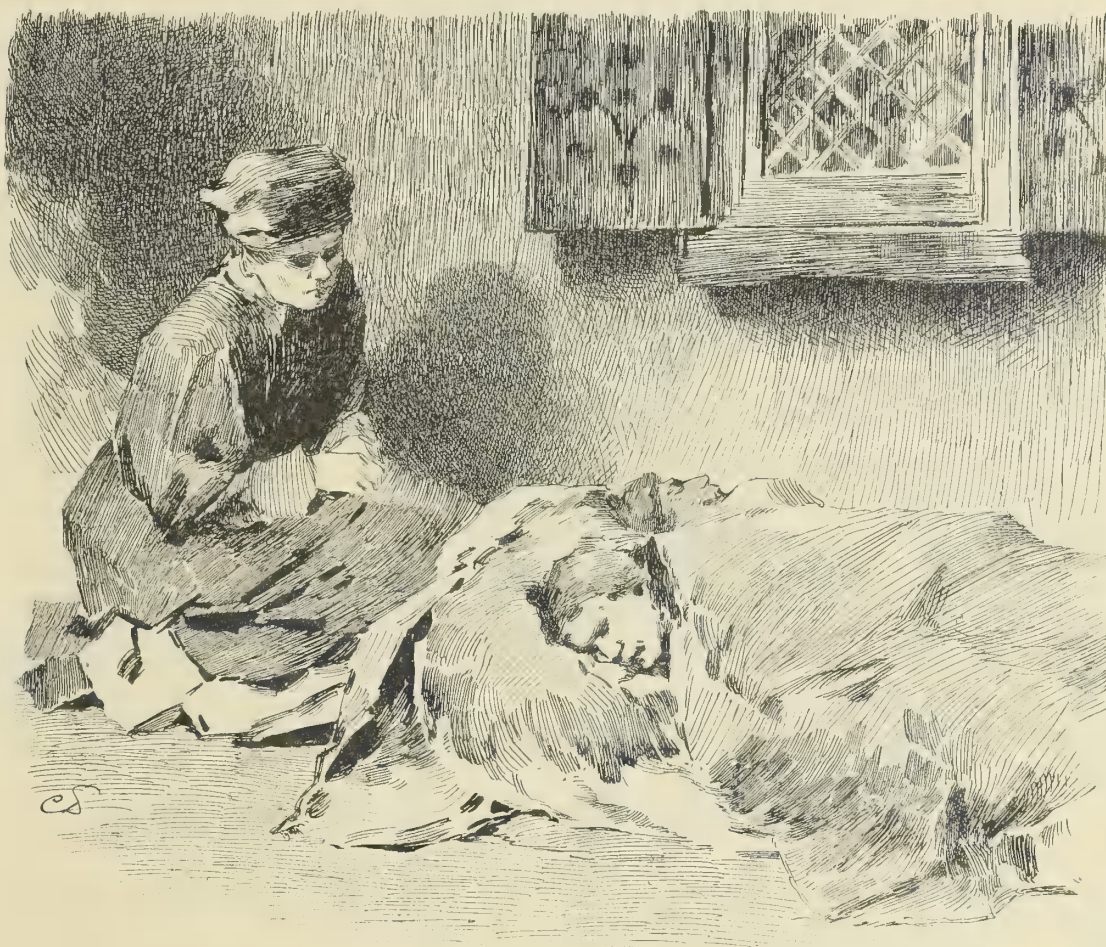
Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ старà? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, старà, готовь намъ ѣсть, путь лежитъ великій!»

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ, какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячею складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки.



Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче отгѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать!



Она какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» произнесъ, наконецъ, Бульба. «Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!» сказалъ Бульба: «моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцар-



скую \*), чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!»

Мать, слабая, какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. «Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь... Не забываютъ, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ...» Далѣе она не могла говорить.



«Ну, пойдѣмъ, дѣти!» сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцатипудовое бремя, потому что Тарасъ былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выразалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козакъ взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, несо-

\*) Рыцарскую.

образной ея лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячію. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, былъ тоже нѣсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки; еще стлался передъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!



## II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать побольше о сыновьяхъ его. Они были отданы по двѣнадцатому году въ кievскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ. Его возвратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержатъ его въ монастырскихъ служкахъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совѣтовалъ, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія странно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались къ времени, никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менѣе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бursы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ свѣжемъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предприимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, сѣмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дѣтей своихъ, если только видѣли проходившаго бурсака. Консулъ, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговли. Эти бурсаки составляли совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ высшій, состоящій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не







вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоѣдали такія безпрестанныя припарки, и они убѣгали на Запорожье, если умѣли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословію, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественнo, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ — обогнуть чужой садъ или огородъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предприимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ, не выдавалъ своихъ товарищей; никакія плети и розги не могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восемнадцать лѣтъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокою, нѣжную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ това-



рищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдѣ дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостію. Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти наѣхала колымага какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ возница съ пристрашными усами хлынулъ его довольно исправно бичемъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною смѣлостью схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадамъ, онѣ рванули, — и Андрій, къ счастью успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бѣлую, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣяннo обтирая съ лица своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая толпою, въ богатомъ убранствѣ, стояла за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролѣзъ чрезъ частоколъ въ садъ, влѣзъ на дерево, которое раскидывалось вѣтвями на самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ свѣчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидѣвши вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что не могла произнести ни одного слова; но когда примѣтила, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смѣя отъ робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самого, который хлопнулся передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и былъ связанъ,

какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностію дитяти, которою отличаются вѣтренныя полячки и которая повергла бѣднаго бурсака въ большее еще смущеніе. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велѣла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула свою горничную, плѣнную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покамѣстъ быстрыя ноги не спасли его. Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ встрѣтилъ ее еще разъ въ костелѣ: она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ,





и вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ всѣхъ въ свои зеленые объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя козачьи шапки однѣ мелькали между ся колосьями.

«Э, э, э! что же вы, хлопцы, такъ притихли?» сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: «какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!»

И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстрого бѣга.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ облило степь. Все, что смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, въ мигъ слетѣло; сердца ихъ вострепнулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію до самаго Чернаго моря, было зеленою, дѣвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытапывали ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули миллионы разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячею разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ вѣсть, въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вотъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою; вотъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на нѣсколько минутъ для обѣда, при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянные баклажки съ горѣл-







кою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. Ъли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно для подкрѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера. Вечеромъ вся степь совершенно переѣнялась: все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь переѣгала по немъ, и она становилась темно-зеленою; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью, наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морскія волны, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть до-



трогивался до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, утихала и смѣнялась другою. Пестрые суслики выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себѣ кулишъ; паръ отдѣлялся и косвенно дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды.

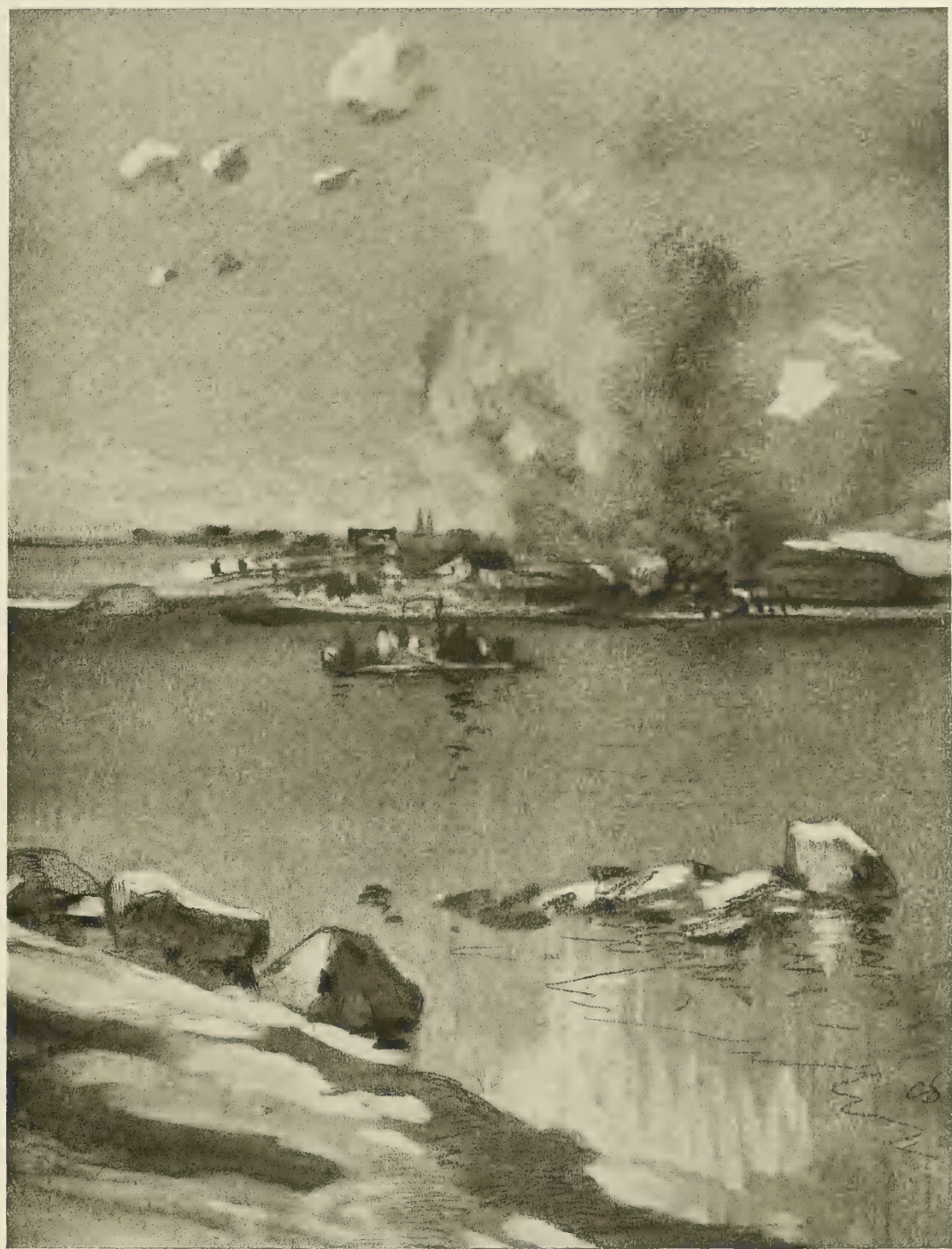




Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очишалось въ свѣжемъ воздухѣ и убаюкивало дремлющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усѣянною блестящими искрами свѣтящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебряно-розовымъ свѣтомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья: все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернѣвшую въ дальней травѣ, точку, сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ татаринъ!» Маленькая головка съ усами устала издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ было тринадцать человѣкъ. «А ну, дѣти, попробуйте догнать татарина! и не пробуйте, — вовѣки не поймаете: у него конь быстрѣ моего Чорта». Однакожъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой слѣдъ, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далѣе путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосой отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстился ближе, ближе, и, наконецъ, охватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ, и волны его стлались широко по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и, черезъ три часа плаванія, были уже у береговъ остро-







ва Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарасъ пріосанился, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ вѣхали въ предмѣстье, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При вѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнец-



кихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ ятками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; армянинъ развѣсилъ дорогіе платки; татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки съ тѣстомъ; жидъ, выставивъ впередъ свою голову, цѣдилъ изъ бочки горѣлку. Но первый, кто попался имъ навстрѣчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой срединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. «Эхъ, какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!» говорилъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ; закинутый гордо

чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ для полнаго къ нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба пробирался далѣе по тѣсной улицѣ, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, наполнявшими это предмѣстіе Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они миновали предмѣстіе и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдѣ не видно было забора, или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмѣстьи. Небольшой валъ и засѣка, не хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» отвѣчали запорожцы. Вездѣ, по всему полю, живописными кучами пестрѣлъ народъ. По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ они были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украину!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ срединѣ которыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: «Живѣ играйте, музыканты! Не жалѣй, Ёома, горѣлки православнымъ христіанамъ!» И Ёома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодого запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ присядку и били, круто и крѣпко, своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ далече отдавались гопак и тропак, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвалась по вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра. — «Да сними хоть кожухъ!» сказалъ, наконецъ, Тарасъ: «видишь, какъ паритъ». — «Не можно!» кричалъ запорожецъ. — «Отчего?» —



«Не можно; у меня ужъ такой нравъ: что скину, то пропью». А шапки ужъ давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка: все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенія, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо свѣтъ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ козачкомъ.



«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнулъ Тарасъ: «пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ!»

А между тѣмъ въ народѣ стали попадаться и уваженные по заслугамъ всею Сѣчью сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія. «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ!» — «Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ?» — «Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень?» И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы:



«А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсышокъ?» И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсышкова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: «Добрые были козаки!»

### III.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Сѣчи. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвъ, которыя оттого были почти непрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбѣ—признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сѣчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то непрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но бѣльшая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность, и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разказы и болтовня, среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живого разказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ, — рѣзкая черта, которою отличается донинѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россіанинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой

и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ, у нихъ были неохраемые, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ турокъ въ зеленой чалмѣ своей. Разница та, что вмѣсто насильной воли, соединившей ихъ въ школъ, они сами собой кинули отцовъ и матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманѣ своемъ копѣйки; что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здѣсь были всѣ бурсаки, не вытерпѣвшіе академическихъ лозъ и не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Сѣчь съ тѣмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Сѣчи, и уже закаленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная республика была именно потребностію того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здѣсь работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстьи Сѣчи не смѣла показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь бездна народу и хоть бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй! Чтò, во Христа вѣруешь?» — «Вѣрую!» отвѣчалъ приходившій. — «И въ Троицу Святую вѣруешь?» — «Вѣрую!» — «И въ церковь ходишь?» — «Хожу!» — «А ну, перекрестись!» Пришедшій крестился. — «Ну, хорошо!» отвѣчалъ кошевой: «ступай же, въ который самъ знаешь, курень». Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстію жида, армяне и татары осмѣливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что запорожцы

никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Сѣчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень походили на отдѣльныя независимыя республики, а еще болѣе на школу и бурсу дѣтей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего не держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного



атамана, который за это обыкновенно носилъ названіе батька. У него были на рукахъ деньги, платье, весь харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ сохранъ. Нерѣдко происходила ссора у куреней съ куренями; въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, покамѣстъ одни не пересиливали, наконецъ, и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей

въ это разгульное море, и забыли въ мигъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Сѣчи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ иногда даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козакъ проворовался, укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не забивали его на смерть. Не платившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшался его выкупить, заплативши за него долгъ. Но болѣе всего произвела впечатлѣныя на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же



при немъ вырыли яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключавшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни, и все представлялся этотъ заживо засыпанный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими товарищами своего куреня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куренями, выступали они въ степи для стрѣльбы



несмѣтнаго числа всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или же выходили на озера, рѣки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти, и тащить богатые тони на продовольствіе всего своего куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но они стали уже замѣтны между другими молодыми прямою удалю и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко стрѣляли въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченья — дѣло, за которое новичекъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старій Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность. Ему не по душѣ была такая праздная жизнь — настоящаго дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все придумывалъ, какъ бы поднять Сѣчъ на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ слѣдуетъ, рыцарю. Наконецъ, въ

одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: «Что, кошевой, пора бы погулять запорожцамъ».

«Негдѣ погулять», отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

«Какъ негдѣ? можно пойти на Турещину, или на Татарву».

«Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву», отвѣчалъ кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

«Какъ не можно?»

«Такъ. Мы обѣщали султану миръ».

«Да вѣдь онъ бусурмень: и Богъ, и святое писаніе велитъ бить бусурменовъ».

«Не имѣемъ права. Если-бъ не клялись еще нашею вѣрою, то, можетъ-быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не можно».

«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имѣемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ, ни другой не былъ на войнѣ, а ты говоришь: не имѣемъ права; а ты говоришь: не нужно итти запорожцамъ».

«Ну, ужъ не слѣдуетъ такъ».

«Такъ, стало-быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: растолкуй мнѣ, на что мы живемъ?»

Кошевой не далъ отвѣта на этотъ запросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ: «А войнѣ все-таки не бывать».

«Такъ не бывать войнѣ?» спросилъ опять Тарасъ.

«Нѣтъ».

«Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?»

«И думать объ этомъ нечего».

«Постой же ты, чортовъ кулакъ!» сказалъ Бульба про себя: «ты у меня будешь знать!» и положилъ тутъ же отмстить кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ и другимъ, задалъ онъ всѣмъ попойку, и хмельные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довиша, они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довишъ, высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря однакожъ на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смѣетъ бить въ литавры?» закричалъ онъ.

«Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велятъ!» отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули, — и скоро на площадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи запорожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ, и послѣ третьяго боя показались, наконецъ, старшины: кошевой съ палицею въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всѣ стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись руками въ бока.

«Что значитъ это собраніе? Чего хотите, панове?» сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

«Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часть палицу! Не хотимъ тебя больше!» кричали изъ толпы козаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его на смерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толпѣ.

«Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства?» сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

«Нѣтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толпы: «намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ—баба, а намъ нужно чело-вѣка въ кошевые».

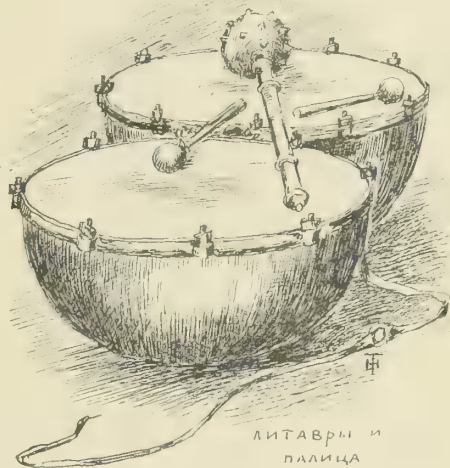
«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказали старшины.

«Кукубенка выбрать!» кричала часть.

«Не хотимъ Кукубенка!» кричала другая. «Рано ему: еще молоко на губахъ не обсохло».

«Шило пусть будетъ атаманомъ!» кричали одни. «Шила посадить въ кошевые!»

«Въ спину тебѣ шило!» кричала съ бранью толпа. «Что онъ за



ЛИТАВРЫ И  
ПАЛИЦА



козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ татаринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу Шила!»

«Бородатаго, Бородатаго! посадимъ въ кошевые!»

«Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!»

«Кричите Кирдягу!» шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа. «Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!»

Всѣ кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участиемъ своимъ въ избраніи.

«Кирдягу! Кирдягу!» раздавалось сильнѣе прочихъ. «Бородатаго!» Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

«Ступайте за Кирдягою!» закричали. Человѣкъ десятокъ козакѣвъ отдѣлились тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ,—до такой степени успѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему объ его избраніи.

Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный козакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто бы не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. «Что, панове? что вамъ нужно? спросилъ онъ.

«Иди, тебя выбрали въ кошевые!..»

«Помилосердствуйте, панове!» сказалъ Кирдяга: «гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленію такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?»

«Ступай же, говорятъ тебѣ!» закричали запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался ногами, но былъ, наконецъ, притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваніемъ сзади кулаками, пинками и увѣщаньями: «Не пьются же, чортовъ сынъ! Принимай же честь, собака, когда тебѣ даютъ ее!» Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козачій кругъ.

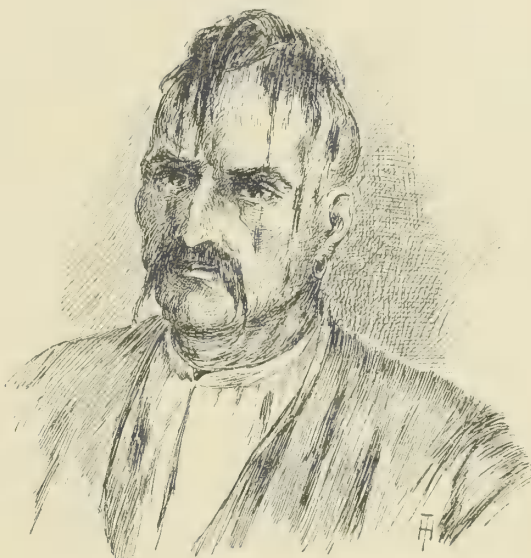
«Что, панове?» провозгласили во весь народъ приведшіе его: «согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ кошевымъ?»

«Всѣ согласны!» закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее ново-избранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крика все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо самыхъ старыхъ, сѣдусыхъ и сѣдочупрынныхъ козакѣвъ (слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертію) и, взявши

каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, неизвѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отмстилъ прежнему кошевому; къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видавали дотолѣ Остапъ и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, горѣлка и пиво забирались просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣсняхъ, славившихъ подвиги, и взошедшій мѣсяцъ долго еще видѣлъ толпы музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, съ бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ пѣсельниковъ, которыхъ держали на Сѣчи для пѣнья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одолевать крѣпкія головы.



И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ падалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улеглась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься, и легъ прямо на деревянную колоду. Послѣдній, который былъ покрѣпче, еще выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ, — и заснула вся Сѣчь.

#### IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять запорожцевъ на какое-нибудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперекъ запорожцевъ, и сначала сказалъ: «Не можно клятвы престу-

пить, никакъ не можно», а потомъ, помолчавши, прибавилъ: «Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только соберется народъ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своею охотою, — вы ужъ знаете, какъ это сдѣлать, — а мы со старшинами тотчасъ и прибѣжимъ на площадь, будто бы ничего не знаемъ».

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмельные, и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ вдругъ на площадь. Поднялся говоръ: «Ктò? зачѣмъ? изъ-за какого дѣла пробили сборъ?» Никто не отвѣчалъ. Наконецъ, въ томъ и въ другомъ углу стало раздаваться: «Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились наповаль, позаплыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!» Другіе козаки слушали сначала, а потомъ и сами стали говорить: «А и вправду нѣтъ никакой правды на свѣтѣ!» Старшины казались изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ, кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: «Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!»

«Держи!»

«Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, панове добродѣйство, да вы, можетъ-быть, и сами лучше это знаете, что многіе запорожцы позадолжали въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейдетъ. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, чтò такое война, тогда какъ молодому человѣку, — и сами знаете, панове, — безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?»

«Онъ хорошо говоритъ», подумалъ Бульба.

«Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ: сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій, — грѣхъ сказать, чтò такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ не то уже, снаружи церковь, но даже образа безъ всякаго убранства, хотя бы серебряную ризу кто догадался имъ выковать; они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки; да и даяніе ихъ было бѣдное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами: мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему».

«Чтò-жъ онъ путаетъ такое?» сказалъ про себя Бульба.

«Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: рыцарская честь не велитъ. А, по своему бѣдному разуму, вотъ чтò я думаю: пу-



ститъ съ челнами однихъ молодыхъ, пусть пошарпають берега Натоли. Какъ думаете, панове?»

«Веди, веди всѣхъ!» закричала со всѣхъ сторонъ толпа: «за вѣру мы готовы положить головы».

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ подымать всего Запорожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случаѣ дѣломъ неправымъ. «Позвольте, панове, еще одну рѣчь держать?»

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучше не скажешь».

«Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью извѣстно, что гласъ народа—гласъ Божій. Ужъ умнѣе того нельзя выдумать, что весь народъ выдумалъ. Только вотъ что: вамъ извѣстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого-бъ не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ напасть: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяину на домъ не по-смѣютъ притти, а сзади укусятъ за пяты, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, да и пороху не намолото въ такомъ количествѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я слуга вашей воли».

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совѣщаются; пьяныхъ, къ счастью, было немного, и потому рѣшились послушаться благоразумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ отправились нѣсколько человѣкъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Въ мигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ просьбью въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали челны крѣпкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовые сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ, переверотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше по всему побережью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу.

Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Беспорядочный нарядъ, — у многихъ ничего, не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, — показывалъ, что они или только-что избѣгнули какой-нибудь бѣды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый козакъ, челоуѣкъ лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и криками рабочихъ не было слышно его словъ.

«А съ чѣмъ пріѣхали?» спросилъ кошевой, когда паромъ приворотилъ къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и, поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи.

«Съ бѣдою!» кричалъ съ парома приземистый козакъ.

«Съ какою?»

«Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать?»

«Говори!»

«Или хотите, можетъ-быть, собрать раду?»

«Говори, мы всѣ тутъ».

Народъ весь тѣснился въ одну кучу.

«А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, что дѣлается на гетьманщинѣ?»

«А что?» произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.

«Э! что? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слыхали».

«Говори же, что тамъ дѣлается?»

«А то дѣлается, что и родились, и крестились, еще не видали такого».

«Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъ!» закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпѣніе.

«Такая пора теперь завелась, что уже церкви святыя теперь не наши».

«Какъ не наши?»

«Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдни нельзя править».

«Что ты толкуешь?»

«И если разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя».

«Вретъ онъ, паны братья, не можетъ быть того, чтобы нечистый жидъ клалъ значокъ на святой пасхѣ».

«Слушайте! еще не то расскажу: и ксендзы ѣздятъ теперь по всей Украинѣ въ таратайкахъ. Да не то бѣда, что въ таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней, а просто православныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорятъ, жидовки шьютъ себѣ юбки

изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украинѣ, панове! А вы тутъ сидите на Запорожьи, да гуляете, да, видно, татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей — ничего нѣтъ, и вы не слышите, чтò дѣлается на свѣтѣ».

«Стой, стой!» прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, потупивъ глаза въ землю, какъ и всѣ запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную силу негодованія. — «Стой! и я скажу слово. А чтò-жъ вы, — такъ бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька! — чтò-жъ вы дѣлали сами? Развѣ у васъ сабель не было, чтò ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?»

«Э, какъ попустили такому беззаконію!.. А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да и, нечего грѣха таить, были тоже собаки и между нашими — ужъ приняли ихъ вѣру».

«А гетьманъ вашъ, а полковники чтò дѣлали?»

«Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ и намъ никому».

«Какъ?»

«А такъ, что ужъ теперь гетьманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ напоказъ всему народу. Вотъ чтò надѣлали полковники!»

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣпою бурей, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи, и весь заговорилъ берегъ: «Какъ! чтобы жида держали на арендѣ христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такія мученья на русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрковъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ!» Такія слова перелетали по всѣмъ концамъ. Зашумѣли запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себѣ внутренній жаръ. «Перевѣшать всю жидову!» раздалось изъ толпы: «пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, поганцевъ, въ Днѣпрѣ!» Слова эти, произнесенныя кѣмъ-то изъ толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ головамъ, и толпа ринулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ; но козаки вездѣ ихъ находили.



«Ясновельможные паны!» кричалъ одинъ высокій и длинный, какъ палка, жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. «Ясновельможные паны! слово только дайте намъ сказать, одно слово! Мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, — такое важное, что не можно сказать, какое важное!»

«Ну, пусть скажутъ», сказалъ Бульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнесъ жидъ. «Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!» Голосъ его замиралъ и дрожалъ отъ страха. «Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украинѣ! Ей Богу, не наши! То совсѣмъ не жида: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?»

«Ей Богу, правда!» отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бѣлые, какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжалъ длинный жидъ: «не снюхивались съ непріятелями, а католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, какъ братья родные...»

«Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?» произнесъ одинъ изъ толпы. «Не дождетесь, проклятые жида! Въ Днѣпръ ихъ, панове, всѣхъ потопить поганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватили по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалобный крикъ раздался со всѣхъ сторонъ, но суровые запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ.

Бѣдный ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бѣду, выскочилъ изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ пѣгомъ, узкомъ камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: «Великій господинъ, ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша! Былъ воинъ на украшеніе всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у турка...»

«Ты зналъ брата?» спросилъ Тарасъ.

«Ей Богу, зналъ! великодушный былъ панъ».

«А какъ тебя зовутъ?»

«Янкель».

«Хорошо», сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и проговорилъ такъ: «Повѣситъ жида будетъ всегда время, когда будетъ нужно, а на сегодня отдайте его мнѣ».

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. «Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида».

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили въ мигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ походъ, и старые, и молодые; всѣ, съ совѣта всѣхъ



старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили итти прямо на Польшу отмстить за все зло и посрамленье вѣры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоясывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтренныхъ желаній вольнаго народа: это былъ неограниченный повелитель, это былъ деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гульбивые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда кошевой раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ

тихо, не выкрикивая и не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный въ дѣлѣ козакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненіе разумно задуманныя предпріятія.

«Осмотрите, всѣ осмотрите хорошенько!» такъ говорилъ онъ. «Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочкѣ и по двое шароваръ на козака, да по горшку саламаты и толченаго проса — больше чтобъ и не было ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По парѣ коней чтобъ было у каждаго козака! Да парѣ двѣсти взять воловъ, потому что на переправахъ и топкихъ мѣстахъ нужны будутъ воны.



МАЗНИЦА

Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть — пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на онучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, коли попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они емкаго свойства и пригодятся во всякомъ случаѣ. Да вотъ вамъ, панове, впередъ говорю: если кто въ походѣ напьется, то никакого нѣтъ на него суда: какъ собаку за шею повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть бы найдоблестнѣйшій козакъ изъ всего войска; какъ собака, будетъ онъ застрѣленъ на мѣстѣ и кинутъ безо всякаго погребенья на поклевъ птицамъ,

потому что пьяница въ походѣ недостойнъ христіанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головѣ, или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому дѣлу: размѣшайте зарядъ пороку въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ — не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Ну-те же за дѣло, за дѣло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дѣло!»

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончилъ онъ рѣчь свою, всѣ козаки принялись тотъ же часъ за дѣло. Вся Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между козаками. Тѣ исправляли ободья колесъ и перемѣняли оси въ телѣгахъ; тѣ сносили на возы мѣшки съ провіантомъ, на другіе валили оружіе; тѣ пригоняли коней и воловъ. Со всѣхъ



сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ, скрипъ поворачиваемыхъ воевъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся козацій таборъ по всему полю. И много досталось бы бѣжать тому, кто бы захотѣлъ пробѣжать отъ головы до хвоста его. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебень, окропилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали крестъ. Когда тронулся таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ запорожцы обратили головы назадъ. «Прощай, наша мать!» сказали они почти въ одно слово: «пусть же тебя хранить Богъ отъ всякаго несчастья!»

Проѣзжая предмѣстье, Тарась Бульба увидѣлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ навѣсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя снадобья, нужныя на дорогу, даже калачи и хлѣбы. «Каковъ чортовъ жидъ!» подумалъ про себя Тарась и, подѣхавъ къ нему на конѣ, сказалъ: «Дурень, что ты здѣсь сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?»

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ будто хотѣлъ объявить что-то таинственное, сказалъ: «Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ; ей Богу, такъ; ей Богу, такъ».

Пожалъ плечами Тарась Бульба, подивился бойкой жидовской натурѣ и отѣхалъ къ табору.

---

## У.

Скоро весь польскій юго-западъ сдѣлался добычею страха. Всюду пронеслися слухи: «Запорожцы! показались запорожцы!..» Все, что могло спастись, спасалось. Все подымалось и разбѣгалось, по обычаю этого нестройнаго, безпечнаго вѣка, когда не воздвигали ни крѣпостей, ни замковъ, а, какъ попало, становилъ на время соломенное жилище свое человѣкъ. Онъ думалъ: «не тратить же на избу работу и деньги, когда и безъ того будетъ она снесена татарскимъ набѣгомъ!» Все всполошилось: кто мѣнялъ воловъ и плугъ на коня и ружье, и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что только можно было унести. Попадались иногда по дорогѣ и такіе, которые вооруженною рукою встрѣчали гостей, но больше было такихъ, которые бѣжали за-ранѣе. Всѣ знали, что трудно имѣть дѣло съ буйной и бранной толпой,

извѣстной подѣ именемъ запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройствѣ своемъ заключало устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ѣхали, не отягчая и не горяча коней, пѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ подвигался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того пустыри, незаселенныя мѣста и лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы были впередъ лазутчики и разсыльные узнавать и вывѣдывать, гдѣ, что и какъ. И часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ — и



все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые пронесли вездѣ запорожцы.

Избитые младенцы, обрѣзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣни у выпущенныхъ на свободу, — словомъ, крупною монетою отплачивали козаки прежніе долги. Прелатъ одного монастыря, услышавъ о приближеніи ихъ,

прислалъ отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя, какъ слѣдуетъ, что между запорожцами и правительствомъ стоитъ согласіе, что они нарушаютъ свою обязанность къ королю, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всякое народное право. «Скажи епископу отъ меня и отъ всѣхъ запорожцевъ», сказалъ кошевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигаютъ и раскуриваютъ свои трубки». И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядѣли сквозь раздѣлявшіяся волны огня. Бѣгушія толпы монаховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ многолюдили тѣ города, гдѣ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по вре-

менамъ правительствомъ запоздалая помощь, состоявшая изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робѣла, обращала тылъ при первой встрѣчѣ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотолѣ въ прежнихъ битвахъ, рѣшались, соединя свои силы, стать грудью противъ запорожцевъ. И тутъ-то болѣе всего пробовали себя молодые козаки, чуждавшіеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горѣвшіе желаніемъ показать себя предъ старыми, помѣряться одинъ на одинъ съ бойкимъ хвастливымъ ляхомъ, красовавшимся на горделивомъ конѣ, съ летавшими по вѣтру откидными рукавами епанчи. Потѣшна была наука; много уже они добыли себѣ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужчинами; черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, былъ на роду написанъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя дѣла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ для двадцати-двухлѣтняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымѣрять всю опасность и все положеніе дѣла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тѣмъ, чтобы потомъ вѣрнѣй преодолѣть ее. Уже испытанной увѣренностью стали теперь означаться его движенія; и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его качества уже пріобрѣли широкую силу качествъ льва. «О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ!» говорилъ старый Тарась: «ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!»

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пулъ и мечей. Онъ не зналъ, что такое значитъ обдумывать, или разсчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пулъ, въ сабельномъ блескѣ, и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андрію, видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарась и говорилъ: «И это добрый—врагъ бы не взялъ его!—вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!»



Войско рѣшилось итти прямо въ городъ Дубно, гдѣ, носились слухи, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня походъ былъ сдѣланъ, и запорожцы показались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятеля въ дома. Высокій земляной валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высовывались каменная стѣна или домъ, служившій батареей, или, наконецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. Запорожцы жарко было полѣзли на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивленіе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на головы запорожцамъ полетѣли камни, бочки, горшки, горячій варъ, и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго имъ очи. Запорожцы не любили имѣть дѣло съ крѣпостями; вести осады была не ихъ часть. Кошевой повелѣлъ отступить и сказалъ: «Ничего, паны братья, мы отступимъ; но будь я поганый татаринъ, а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! Пусть ихъ всѣ передохнутъ, собаки, съ голоду!» Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ нечего дѣлать, занялось опустошеніемъ окрестностей, выжигая окружныя деревни, скирды необраннаго хлѣба, и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутыя серпомъ, гдѣ, какъ нарочно, колебались тучные колосья, плодъ необыкновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли съ города, какъ истреблялись средства ихъ существованія. А между тѣмъ запорожцы, протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телѣги, расположились такъ же, какъ и на Сѣчи, куренями, курили свои люльки, мѣнялись добытымъ оружіемъ, играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кашевары варили въ каждомъ куренѣ кашу въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ; у горѣвшихъ всю ночь огней стояла безсонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездѣйствіемъ и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни съ какимъ дѣломъ. Кошевой велѣлъ удвоить даже порцію вина, что иногда водилось въ войскѣ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. «Неразумная голова», говорилъ ему Тарасъ: «терпи козакъ — атаманъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездѣльи не соскучитъ, кто все вытерпитъ, и хоть ты ему что хочъ, а онъ все-таки поставитъ на своемъ». Но не сойтись пылкому юношѣ

со старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тѣмъ подоспѣлъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе полковые чины; всѣхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было между ними не мало и охочекомонныхъ, которые сами поднялись, своею волею, безъ



всякаго призыва, какъ только услышали, въ чемъ дѣло. Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кievскаго монастыря. Надѣли на себя святыя образа оба брата и невольно задумались, припомнивъ старую мать. Что-то пророчить и говорить имъ это благословенье? Благословенье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?.. Но неизвѣстно будущее, и стоитъ оно предъ человѣкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ



друга, голубка—не видя ястреба, ястребъ—не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ онъ отъ своей гибели...

Остапъ уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же, самъ не зная отчего, чувствовалъ какую-то духоту на сердцѣ. Уже козаки окончили свою вечерю. Вечеръ давно потухнулъ, іюльская чудная ночь обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую предъ нимъ картину. На небѣ безчисленно мелькали тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раскиданными по немъ возами съ вися-



чими мазницами, облитыми дегтемъ, со всякимъ добромъ и провіантомъ, набранымъ у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами и подальше отъ телѣгъ—вездѣ были видны разметавшіеся на травѣ запорожцы. Всѣ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себѣ подъ голову куль, кто шапку, кто употребивши, просто, бокъ своего товарища. Сабля, ружье-самопаль, коротко-чубучная трубка съ мѣдными бляхами, желѣзными повертками и огнивомъ, были неотлучно при каждомъ козацѣ. Тяжелые волы лежали, подвернувши подъ себя ноги, большими бѣловатыми массами, и казались издали сѣрыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всѣхъ сторонъ изъ травы уже стали подыматься густой храпъ спящаго воин-

ства, на который отзывались съ поля звонкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои спутанныя ноги. А между тѣмъ что-то величественное и грозное примѣшалось къ красотѣ іюльской ночи. Это были зарева вдали догоравшихъ окрестностей. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встрѣтивъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванные охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Тамъ обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ монастырскій садъ: казалось, слышно было, какъ деревья шипѣли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакивалъ огонь, онъ вдругъ освѣщалъ фосфорическимъ, лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлыя гроздія сливъ, или обращалъ въ червонное золото тамъ и тамъ желтѣвшія груши, и тутъ же среди ихъ



чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія или на древесномъ суку тѣло бѣднаго жида или монаха, погибавшее вмѣстѣ съ строеніемъ въ огнѣ. Надъ огнемъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обложенный городъ, казалось, уснулъ; шпицы, и кровли, и частоколъ, и стѣны его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожарищъ. Андрій обошелъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацій аппетитъ. Онъ подивился немного такой безпечности, подумавши: «хорошо, что нѣтъ близко никакого сильнаго непріятеля и некого опасаться». Наконецъ, и самъ подошелъ онъ къ одному изъ воевъ, взлѣзъ на него и легъ на спину, подложивши себѣ подъ голову сложенные назадъ руки; но не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо: оно все было открыто предъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухѣ; гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь и косвеннымъ поясомъ переходившая по небу, вся была залита въ свѣту. Временами Андрій какъ будто позабывался, и какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ предъ нимъ какой-то странный образъ человѣческаго лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ разсѣется, онъ раскрылъ сильнѣе глаза свои и увидѣлъ, что къ нему, точно, наклонилось какое-то измощенное, высохшее лицо и смотрѣло прямо ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, лѣзли изъ-подъ темнаго, наброшеннаго на голову покрывала; и странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшаго рѣзкими чертами, заставляли скорѣе думать, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за пищаль и произнесъ почти судорожно: «Кто ты? Коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человѣкъ, не въ пору завелъ шутку—убью съ одного прицѣла».

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приставило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться въ него внимательнѣй. По длиннымъ волосамъ, шеѣ и полуобнаженной смуглой груди распозналъ онъ женщину. Но она была не здѣшняя уроженка: все лицо ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выступали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи подымались дугообразнымъ разрѣзомъ кверху. Чѣмъ болѣе онъ всматривался въ черты ея, тѣмъ болѣе находилъ въ нихъ что-то знакомое. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и спросилъ: «Скажи, кто ты? Мнѣ кажется, какъ будто я зналъ тебя, или видѣлъ гдѣ-нибудь?»

«Два года назадъ тому, въ Кіевѣ».

«Два года назадъ, въ Кіевѣ», повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ: «Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки»...

«Чшш!» произнесла татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ такого сильного вскрика, произведеннаго Андріемъ.

«Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?» говорилъ Андрій, почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. «Гдѣ панночка? жива еще?»

«Она тутъ въ городѣ».

«Въ городѣ?» произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: «отчего-жъ она въ городѣ?»

«Оттого, что самъ старый панъ въ городѣ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ».

«Что-жъ, она замужемъ? Да говори же, — какая ты странная! — что она теперь»...

«Она другой день ничего не ѣла».

«Какъ?»

«Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ уже давно куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ одну землю».

Андрій остолбенѣлъ.

«Панночка видѣла тебя съ городского вала вмѣстѣ съ запорожцами. Она сказала мнѣ: «Ступай, скажи рыцарю: если онъ помнитъ меня, чтобы пришелъ ко мнѣ; а не помнитъ, — чтобы далъ тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умретъ мать. Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня. Проси и хватай его за колѣни и ноги: у него также есть старая мать, — чтобъ ради ея далъ хлѣба!»

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ молодой груди козака.

«Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?»

«Подземнымъ ходомъ».

«Развѣ есть подземный ходъ?»

«Есть»,

«Гдѣ?»

«Ты не выдашь, рыцарь?»

«Клянусь крестомъ святымъ!»

«Спустися въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдѣ тростникъ».

«И выходитъ въ самый городъ?»

«Прямо къ городскому монастырю».

«Идемъ, идемъ сейчасъ!»

«Но, ради Христа и Святой Маріи, кусокъ хлѣба!»

«Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ спятъ; я сейчасъ ворочусь».

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынѣшними козацкими биваками, суровой бранною жизнью,—все всплыло разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее.

Опять вынырнула передъ нимъ, какъ изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смѣющіяся уста, густые темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаньи созданные члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали въ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеніямъ; но часто, часто смущался ими глубокой сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнѣе, сильнѣе, при одной мысли, что увидитъ ее опять, и дрожали молодые колѣни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, зачѣмъ пришелъ: поднесъ руку ко лбу и долго теръ его, стараясь припомнить, что ему нужно дѣлать. Наконецъ, вздрогнулъ, весь исполнился испуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлѣбовъ себѣ подъ руку; но тутъ же подумалъ: не будетъ ли эта пища, годная для дюжаго, неприхотливаго запорожца, груба и неприлична ея нѣжному сложенію? Тутъ вспомнилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили за одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ея стало на добрыхъ три раза. Въ полной увѣренности, что онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару изъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще теплилась зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловѣческихъ силъ, чтобы все это съѣсть, тѣмъ болѣе, что въ ихъ куренѣ считалось меньше людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — нигдѣ ничего. Поневолѣ пришла ему въ голову поговорка: «запорожцы, какъ дѣти: коли мало—съѣдятъ, коли много—тоже ничего не оставятъ». Что дѣлать? Былъ однакоже гдѣ-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Онъ прямо подошелъ къ отцовскому возу, но на возу его уже не было: Остапъ взялъ его себѣ подъ головы



и, растянувшись возлѣ на землѣ, храпѣлъ на все поле. Андрій схватилъ мѣшокъ одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, что голова Остапа упала на землю, а онъ самъ вскочилъ впросонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: «Держите, держите чортова ляха, да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи! я тебя убью!» закричалъ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Остапъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣлъ и пустилъ такой храпъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ ближнемъ куренѣ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, онъ, наконецъ, отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идемъ! Всѣ спятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ несподручно захватить всѣ?» Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину мѣшки, стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать нести татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ запорожцевъ.

«Андрій!» сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и, весь дрожа, тихо произнесъ: «А что?»

«Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!» Сказавши это, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спалъ, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ. Когда же поворотился онъ, чтобы взглянуть на татарку, она стояла передъ нимъ, подобно темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарилъ только одни ея очи, одеревянѣвшія, какъ у мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ, и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно оглядываясь назадъ, и, наконецъ, опустились отлогостью въ низменную ложину, — почти яръ, называемый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ балками, — по дну которой лѣниво пресмыкался протокъ, поросшій осокой и усѣянный кочками. Опустясь въ эту ложину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайней мѣрѣ, когда Андрій оглянулся, то увидѣлъ, что позади его крутою стѣной, болѣе чѣмъ въ ростъ человѣка, вознеслась покатошь; на вершинѣ ея







покачивалось нѣсколько стебельковъ полевого былья, и надъ ними поднималась на небо луна въ видѣ косвенно обращеннаго серпа изъ яркаго червоннаго золота. Сорвавшійся со степи вѣтерокъ давалъ знать, что уже не много оставалось времени до разсвѣта. Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго крика: ни въ городѣ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ крѣпкій и надежный самъ собою пунктъ городской крѣпости; по крайней мѣрѣ, земляной валъ былъ тутъ ниже и не выглядывалъ изъ-за него гарнизонъ. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стѣна. Обрывистый берегъ весь обросъ бурьяномъ, и по небольшой лощинѣ между имъ и протокомъ росъ высокій тростникъ, почти въ вышину человека. На вершинѣ обрыва видны были остатки плетня, обличавшіе когда-то бывший огородъ; передъ нимъ — широкіе листы лопуха; изъ-за него торчала лебеда, дикій колючій бодякъ и подсолнечникъ, подымавшій выше всѣхъ ихъ свою голову. Здѣсь татарка скинула съ себя черевики и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мѣсто было топко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростниковъ, остановились они передъ наваленнымъ хворостомъ и фашинникомъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они родъ земляного свода — отверстіе, мало чѣмъ большее отверстія, бывающаго въ хлѣбной печи. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за нею Андрій, нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими мѣшками, и скоро очутились оба въ совершенной темнотѣ.

## VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ коридорѣ, слѣдуя за татаркою и таща на себѣ мѣшки хлѣба. «Скоро намъ будетъ видно», сказала проводница: «мы подходимъ къ мѣсту, гдѣ поставила я свѣтильникъ». И точно, темныя земляныя стѣны начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось, была часовня; по крайней мѣрѣ, къ стѣнѣ былъ приставленъ узенькій столикъ въ видѣ алтарнаго престола, и надъ нимъ виденъ былъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образъ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висѣвшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли оставленный мѣдный свѣтильникъ, на тонкой, высокой ножкѣ, съ висѣвшими вокругъ ея на

цѣпочкахъ щипцами, шпилькой для поправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампы. Свѣтъ усилился, и они, идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тѣнью, напоминали собою картины Герардо dalle notti. Свѣжее, кипящее здоровьемъ и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность съ изнуреннымъ и блѣднымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ нѣсколько шире, такъ что Андрію можно было пораспрявиться. Онъ съ любопытствомъ разсматривалъ эти земляныя стѣны, напомнившія ему кіевскія пещеры. Такъ же, какъ и въ пещерахъ кіевскихъ, тутъ видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли кое-гдѣ гробы; мѣстами даже попадались, просто, человѣческія кости, отъ сырости сдѣлавшіяся мягкими и рассыпавшіяся въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мѣстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутницѣ, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ хлѣба, проглоченный ею, произвелъ только боль въ желудкѣ, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по нѣсколькимъ минутъ на одномъ мѣстѣ.

Наконецъ, передъ ними показалась маленькая желѣзная дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли», сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла руку, чтобы постучаться, и не имѣла силъ. Андрій ударилъ, вмѣсто нея, сильно въ дверь; раздался гулъ, показывавшій, что за дверью былъ большой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся, встрѣтивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двѣ загремѣли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лѣстницѣ. Наконецъ, дверь отперлась; ихъ встрѣтилъ монахъ, стоявшій на узенькой лѣстницѣ съ ключами и свѣчой въ рукахъ. Андрій невольно остановился при видѣ католическаго монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ, поступавшихъ съ ними безчеловѣчнѣй, чѣмъ съ жидами. Монахъ тоже нѣсколько отступилъ назадъ, увидѣвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ ихъ по лѣстницѣ вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвѣчниками и свѣчами, стоялъ на колѣняхъ священникъ и тихо молился. Около него съ обѣихъ сторонъ стояли также на колѣняхъ два молодые клирошанина въ лиловыхъ мантияхъ, съ бѣлыми кружевными шемизетками сверхъ ихъ и съ кадилами въ рукахъ. Онъ молился о ниспосланіи чуда: о спасеніи города, о подкрѣпленіи падающаго духа, о ниспосланіи терпѣнія, о удаленіи искушителя, нашептывающаго ропотъ и малодушный, робкій плачъ

на земныя несчастія. Нѣсколько женщинъ, похожихъ на привидѣнія, стояли на колѣняхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенные головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и темныхъ деревянныхъ лавокъ; нѣсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ и пилястръ, на которыхъ возлежали боковые своды, печально стояли тоже на колѣняхъ. Окно съ цвѣтными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленіи показался вдругъ въ сіяніи; кадильный дымъ остановился на воздухѣ радужно освѣщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядѣлъ изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свѣтомъ. Въ это время величественный ревъ органа наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разрастался, перешелъ въ тяжелые рокоты грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понесся высоко подъ сводами, своими поющими звуками, напоминавшими тонкіе дѣвичьи голоса, и потомъ опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сводами, и дивился Андрій съ полуоткрытымъ ртомъ величественной музыкѣ.

Въ это время, почувствовалъ онъ, кто-то дернулъ его за полу кафтана. «Пора!» сказала татарка. Они перешли черезъ церковь, не замѣченные никѣмъ, и вышли потомъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на небѣ: все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь, имѣвшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; по срединѣ ея оставались еще деревянные столики, показывавшіе, что здѣсь былъ еще недѣлю, можетъ-быть, только назадъ рынокъ съѣстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мо-





стили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ этажъ дома, съ видными въ стѣнахъ деревянными сваями и столбами во всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные деревянными же связями, какъ вообще строили дома тогдашніе обыватели, что можно видѣть и понынѣ еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Литвы и Польши. Всѣ они были покрыты непомѣрно высокими крышами, со множествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонѣ, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, вѣроятно, городской магистратъ или какое-нибудь правительственное мѣсто. Оно было въ два этажа, и надъ нимъ вверху надстроено былъ въ двѣ арки бельведеръ, гдѣ стоялъ часовой; большой часовой циферблатъ вдѣланъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стенаніе. Разсматривая, онъ замѣтилъ на другой ея сторонѣ группу изъ двухъ-трехъ человѣкъ, лежавшую почти безъ всякаго движенія на землѣ. Онъ вперилъ глаза внимательнѣй, чтобы разсмотрѣть, заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тѣло женщины, повидимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видѣть. На головѣ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двѣ-три длинныя, всѣ въ завиткахъ, кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившійся за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, по крайней мѣрѣ, еще только готовился испустить послѣднее дыханье. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бѣснующимся, который, увидѣвъ у Андрія драгоцѣнную ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вцѣпился въ него, крича: «хлѣба!» Но силъ не было у него равныхъ бѣшенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетѣлъ на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнулъ ему одинъ хлѣбъ, на который тотъ бросился, подобно бѣшеной собакѣ, изгрызъ, искусалъ его и тутъ же, на улицѣ, въ страшныхъ судорогахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждомъ шагу поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбѣжали на улицу: не ниспошлется ли въ воздухъ чего-нибудь, питающаго силы. У воротъ одного дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или, просто, позабылась; по крайней мѣрѣ, она уже не слышала и не видѣла ничего и, опустивъ голову на грудь, сидѣла недвижима на одномъ и томъ же

мѣстѣ Съ крыши другого дома висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, вытянувшееся и исчахлое тѣло: бѣднякъ не могъ вынести до конца страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ голода, Андрій не вытерпѣлъ не спросить татарку: «Неужели они, однакожъ, совсѣмъ не нашли, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку приходитъ послѣдняя



крайность, тогда, дѣлать нечего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь».

«Все переѣли», сказала татарка: «всю скотину: ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городѣ. У насъ въ городѣ никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень».

«Но какъ же вы, умирая такою лютою смертью, все еще думаете оборонить городъ?»

«Да, можетъ-быть, воевода и сдалъ бы, но вчера утромъ полков-



никъ, который въ Буджакахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другого полковника, чтобъ итти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждуть ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому».

Андрій уже издали видѣлъ домъ, не похожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архитекторомъ итальянскимъ; онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные карнизы; верхній этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галлерею; между ними были видны рѣшетки съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лѣстница изъ крашенныхъ кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лѣстницы сидѣло по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшія около нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненныя свои головы и, казалось, такимъ образомъ болѣе походили на изваянія, чѣмъ на живыя существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже вниманія на то, кто всходилъ по лѣстницѣ. Наверху лѣстницы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукѣ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ вновь въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ первую комнату, довольно просторную, служившую пріемною, или, просто, переднею; она была наполнена вся сидѣвшими въ разныхъ положеніяхъ у стѣнъ солдатами, слугами, псарями, виночерпїями и прочей дворней, необходимою для показанія сана польскаго вельможи, какъ военнаго, такъ и владѣльца собственныхъ помѣстьевъ. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свѣчи; двѣ другія еще горѣли въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ человѣка, подсвѣчникахъ, стоявшихъ по срединѣ, несмотря на то, что уже давно въ рѣшетчатое широкое окно глядѣло утро. Андрій уже было хотѣлъ итти прямо въ широкую дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣзныхъ украшеній; но татарка дернула его за рукавъ и указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Этою вышли они въ коридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать. Свѣтъ, проходившій сквозь щель ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь татарка указала Андрію остаться, отворила дверь въ другую комнату, изъ которой блеснулъ свѣтъ огня. Онъ услышалъ шопотъ и тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ видѣлъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, упавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошелъ. Онъ не помнилъ,







какъ вошелъ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія колѣней во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидѣлъ женщину, казалось, застывшую и окаменѣвшую въ какомъ-то быстромъ движеніи. Казалось, какъ будто вся фигура ея хотѣла броситься къ нему и вдругъ остановилась. И онъ остался также изумленнымъ предъ нею. Не такую воображалъ онъ ее видѣть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведеніе, которому художникъ далъ послѣдній ударъ кисти. Та была прелестная, вѣтрена дѣвушка; эта была красавица, женщина во всей развившейся красѣ своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успѣли въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, проходившею душу; грудь, шея и плечи заключились въ тѣ прекрасныя границы, которыя назначены исполнѣ развившейся красотѣ; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинѣ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упала на грудь. Казалось, всѣ до одной измѣнились черты ея. Напрасно силился онъ отыскать въ нихъ хотя одну изъ тѣхъ, которыя носились въ его памяти, — ни одной! Какъ ни велика была ея блѣдность, но она не помрачила чудесной красоты ея, напротивъ, какъ будто придала ей что-то стремительное, неотразимо-побѣдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душѣ благоговѣйную боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, казалось, также была поражена видомъ козака, представшаго во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества, который, казалось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкалъ глазъ его, смѣлою дугою выгнулась бархатная бровь, загорѣлыя щеки блитали всею яркостью дѣвственнаго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ.

«Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. «Одинъ Богъ можетъ вознаградить тебя; не мнѣ, слабой женщинѣ...» Она потупила свои очи; прекрасными снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, окраенныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонилось все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ отѣнилъ его снизу. Ничего не умѣлъ сказать на это Андрій; онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ни есть на душѣ, выговорить его такъ же



горячо, какъ оно было на душѣ, — и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова: почувствовалъ онъ, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату татарка. Она уже успѣла нарѣзать ломтями принесенный рыцаремъ хлѣбъ, несла его на золотомъ блюдѣ и поставила передъ своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлѣбъ, и возвела очи на Андрія, — и много было въ очахъ тѣхъ. Этотъ умиленный взоръ, выказавшій изнеможеніе и безсиліе выразить обнявшія ее чувства, былъ болѣе доступенъ Андрію, чѣмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко: казалось, все развязалось у него. Душевные движенія и чувства, которыя дотолѣ какъ будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на волѣ, и уже хотѣли излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ красавица, оборотясь къ татаркѣ, спокойно спросила: «А мать? ты отнесла ей?»

«Она спитъ».

«А отцу?»

«Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря».

Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизъяснимымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: «Довольно! не ѣшь больше! Ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ». И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высокомогучее слово того, что видится иной разъ во взорахъ дѣвы, ниже того умиленного чувства, которымъ объемлется глядящій въ такіе взоры дѣвы.

«Царица!» вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: «что тебѣ нужно, чего ты хочешь? — прикажи мнѣ! Задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ, — я побѣгу исполнять ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человѣкъ, — я сдѣлаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но не въ силахъ сказать того! У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она, — все мое. Такого ни у кого нѣтъ теперь у козаковъ нашихъ оружія, какъ у меня: за одну рукоятъ моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь

одно слово, или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, можетъ-быть, несу глупыя рѣчи, и не кстати, и нейдетъ все это сюда, что не мнѣ, проводшему жизнь въ бурсѣ и на Запорожьи, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою всѣ другія боярскія жены и дочери-дѣвы. Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебѣ».

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва открытую, сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отражалась молодая, полная силъ душа. И каждое простое слово этой рѣчи, выговоренное голосомъ, летѣвшимъ прямо съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядѣла съ открытыми устами. Потомъ хотѣла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомнила, что другимъ назначеніемъ ведется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ позади его суровыми мстителями, что страшны облегишіе городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всѣ они съ своимъ городомъ... и глаза ея вдругъ наполнились слезами; быстро она схватила платокъ, шитый шелками, набросила его себѣ на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидѣла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, сжавъ бѣлоснѣжными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — какъ бы внезапно почувствовавъ какое укушеніе ядовитаго гада, — и не снимая съ лица платка, чтобы онъ не видѣлъ ея сокрушительной грусти.

«Скажи мнѣ одно слово!» сказалъ Андрій и взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по жиламъ его отъ этого прикосновенія, и жалъ онъ руку, лежавшую безчувственно въ рукѣ его.

Но она молчала и не отнимала платка отъ лица своего и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отчего ты такъ печальна?»

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣзавшіе на очи длинные волосы косы своей и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чашѣ приводнаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловить ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго тарахтанья гдѣ-то проѣзжающей телѣги.

«Не достойна ли я вѣчныхъ сожалѣній? Не несчастна ли мать, родившая меня на свѣтъ? Не горькая ли доля пришла на часть мнѣ?»

Не лютый ли ты палачъ мой, моя свирѣпая судьба? Всѣхъ ты привела къ ногамъ моимъ: лучшихъ дворянъ изо всего шляхетства, богатѣйшихъ пановъ, графовъ и иноземныхъ бароновъ, и все, что ни есть цвѣтъ нашего рыцарства. Всѣмъ имъ было вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы любовь мою. Стоило мнѣ только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивѣйшій и прекраснѣйшій лицомъ и породой, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свирѣпая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучшихъ витязей земли нашей, къ чуждому, къ врагу нашему. За что же Ты, Пречистая Божія Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленія такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобиліи и роскошномъ избыткѣ всего текли дни мои; лучшія, дорогія блюда и сладкія вина были мнѣ снѣдью. И на что все это было? къ чему оно все было? Къ тому ли, чтобы, наконецъ, умереть лютою смертію, какой не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что передъ концомъ своимъ должна видѣть, какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенія которыхъ двадцать разъ готова была бы отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мнѣ моей молодой жизни, чтобы еще страшнѣе казалась мнѣ смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирѣпая судьба моя, и Тебя, — прости мое прегрѣшеніе, — Святая Божія Матерь!»

И когда затихла она, безнадежное-безнадежное чувство отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустившихся очей до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо пламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: «Нѣтъ счастья на лицѣ этомъ!»

«Не слыхано на свѣтѣ, не можно, не быть тому», говорилъ Андрій: «чтобы красивѣйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все, что ни есть лучшаго на свѣтѣ. Нѣтъ, ты не умрешь! Не тебѣ умирать; клянусь моимъ рожденіемъ и всѣмъ, что мнѣ мило на свѣтѣ, — ты не умрешь! Если же выйдетъ уже такъ, и ничѣмъ — ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмѣстѣ, и прежде я умру, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колѣней, и развѣ уже мертваго меня разлучать съ тобою».

«Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: «знаю и, къ великому моему горю, знаю



слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня; и знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а мы — враги тебѣ».

«А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?» сказалъ Андрій, встряхнувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрѣчная осокорь, станъ свой. «Такъ если-жъ такъ, такъ вотъ что: нѣтъ у меня никого! Никого, никого!» повторилъ онъ тѣмъ же голосомъ и сопроводивъ его тѣмъ движеніемъ руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невозможное для другого. «Кто сказалъ, что моя отчизна Украина? Кто далъ мнѣ ее въ отчизны? Отчизна есть то, чего ищетъ душа наша, что милѣе для нея всего. Отчизна моя — ты! Вотъ моя отчизна! И понесу я отчизну эту въ сердцѣ моемъ, понесу ее, пока станетъ моего вѣку, и посмотрю: пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну!»

На мигъ остолбенѣвъ, какъ прекрасная статуя, смотрѣла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностью, на какую бываетъ только способна одна безразсечно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, обхвативъ его снѣгоподобными чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ: онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, какъ слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустившіеся всѣ съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блистающимъ шелкомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ татарка. «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя. «Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшени, муки и связанныхъ запорожцевъ!» Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе «наши» вошли въ городъ, что привезли съ собою и какихъ связали запорожцевъ. Полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдномъ сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божьей. Украинѣ не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клочъ волосъ изъ своей чупрыны и проклянетъ и день, и часъ, въ который породилъ на позоръ себѣ такого сына.

## VII.

**Ш**умъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборѣ. Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, что весь Переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки; стало-быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ въ безпорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всѣмъ, и, когда всѣ стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: «Такъ вотъ что, панове братове, случилось въ эту ночь; вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ, такъ вы того не услышите».

Козаки всѣ стояли, понутивъ головы, зная вину; одинъ только незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко отозвался. «Постой, батько!» сказалъ онъ: «хоть оно и не въ законѣ, чтобы сказать какое возраженіе, когда говоритъ кошевой передъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо попрекнулъ все христіанское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, на войнѣ, на трудной, тяжелой работѣ; но мы сидѣли безъ дѣла, маячились попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другого христіанскаго воздержанья не было: какъ же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился человѣкъ? Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, что такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пять не унесутъ домой».

Рѣчь куренного атамана понравилась козакамъ. Они приподняли уже совсѣмъ было понутившіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказалъ Кукубенко!» А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, сказалъ: «А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказалъ? Что ты скажешь на это?»

«А что скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою

человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде».

«Добре сказалъ и кошевой!» отозвалось въ рядахъ запорожцевъ. «Доброе слово!» повторили другіе. И самые сѣдые, стоящіе, какъ сивые голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

«Слушайте же, панове!» продолжалъ кошевой. «Братъ крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлаютъ чужеземные нѣмецкіе мастера — пусть ей врагъ прикинется! — и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что есть, непріятель вошелъ въ городъ не съ большимъ запасомъ; телѣгъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ городѣ голодный, стало-быть, все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только про это еще Богъ знаетъ; а ксендзы-то ихъ горазды на одни слова. За тѣмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздѣляйся же на три кучи и становись на три дороги передъ тремя воротами. Передъ главными воротами пять куреней, передъ другими по три куреня. Дядькивскій и Корсунскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду! Тытаревскій и Тymoшевскій курень на запасть съ праваго бока обоза! Щербиновскій и Стебликивскій-верхній — съ лѣваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду, молодцы, которые позубастѣй на слово, задирать непріятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпитъ; и, можетъ-быть, сегодня же всѣ они выйдутъ изъ воротъ. Куренные атаманы, перегляди всякій курень свой: у кого недочетъ, пополни его остатками Переяславскаго. Перегляди все снова! Дать на опохмѣлъ всѣмъ по чаркѣ, и по хлѣбу на козака. Только, вѣрно, всякій еще вчерашнимъ сытъ, ибо, некуда дѣтъ правды, понаѣдались всѣ такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкаръ-жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ свиное ухо, собакѣ, и повѣшу ногами вверхъ! За работу же, братцы! За работу!»

Такъ распоряжался кошевой, и всѣ поклонились ему въ поясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились по своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ придумать, куда бы дѣвался Андрій: «полонили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнъ». Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крѣпко



Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слыша, что его давно называлъ кто-то по имени. «Кому нужно меня?» сказалъ онъ, наконецъ, очнувшись. Предъ нимъ стоялъ жидъ Янкель.

«Панъ полковникъ, панъ полковникъ!» говорилъ жидъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ будто бы хотѣлъ объявить дѣло не совсѣмъ пустое. «Я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!»

Тарасъ посмотрѣлъ на жида и подивился тому, что онъ уже успѣлъ побывать въ городѣ. «Какой же врагъ тебя занесъ туда?»

«Я тотчасъ расскажу», сказалъ Янкель. «Какъ только услышалъ я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ; дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ, въ то время, когда послѣднее войско входило въ городъ. Гляжу—впереди отряда панъ хорунжій, Галяндовичъ. Онъ человѣкъ мнѣ знакомый: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ, будто бы за тѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ ними въ городъ».

«Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить?» сказалъ Бульба. «И не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?»

«А, ей Богу, хотѣлъ повѣсить», отвѣчалъ жидъ: «уже было его слуги совсѣмъ схватили меня и закинули веревку на шею; но я взмолился пану, сказалъ, что подожду долгъ, сколько панъ хочетъ, и пообѣщалъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнѣ собрать долги съ другихъ рыцарей; ибо у пана хорунжаго—я все скажу пану,—нѣтъ и одного червоннаго въ карманѣ. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака, ничего нѣтъ. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жида, не въ чемъ было бы ему и на войну выѣхать. Онъ и на сеймѣ оттого не былъ...»

«Чтò-жъ ты дѣлалъ въ городѣ? Видѣлъ нашихъ?»

«Какъ же! Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, Самуйло, Хайвалохъ, еврей-арендаторъ...»

«Пропади они, собаки!» вскрикнулъ, разсердившись, Тарасъ. «Чтò ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про нашихъ запорожцевъ».

«Нашихъ запорожцевъ не видалъ; а видалъ одного пана Андрія».

«Андрія видѣлъ?» вскрикнулъ Бульба. «Чтò-жъ ты, гдѣ видѣлъ его? въ подвалѣ? въ ямѣ? Обезчещенъ? связанъ?»

«Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? Теперь онъ такой важный рыцарь... Далибугъ, я не узналъ! И наплечники въ золотѣ, и нарукав-

ники въ золотѣ, и зеркало въ золотѣ, и шапка въ золотѣ, и по поясу золото, и вездѣ золото, и все золото. Такъ, какъ солнце взглянетъ весною, когда въ огородѣ всякая птичка пищитъ и поетъ, и травка пахнетъ, такъ и онъ весь сіяетъ въ золотѣ. И коня ему далъ воевода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червонныхъ стоитъ одинъ конь».

Бульба остоленѣлъ. «Зачѣмъ же онъ надѣлъ чужое одѣянье?»

«Потому что лучше, потому и надѣлъ. И самъ разѣзжаетъ, и другіе разѣзжаютъ; и онъ учитъ, и его учатъ: какъ наибогатѣйшій польскій панъ!»

«Кто-жъ его принудилъ?»

«Я же не говорю, чтобы его кто принудилъ. Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по своей волѣ перешелъ къ нимъ?»

«Кто перешелъ?»

«А панъ Андрій».

«Куда перешелъ?»

«Перешелъ на ихъ сторону; онъ ужъ теперь совсѣмъ ихній».

«Врешь, свиное ухо!»

«Какъ же можно, чтобы я вралъ? Дуракъ я развѣ, чтобы вралъ? На свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что жиды повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?»

«Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продалъ отчизну и вѣру?»

«Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».

«Врешь, чортовъ жидъ! Такого дѣла не было на христіанской землѣ! Ты путаешь, собака!»

«Пусть трава порастетъ на порогѣ моего дома, если я путаю! Пусть всякій наплюетъ на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ».

«Отчего?»

«У воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какая красавица!»— Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, прищутивъ глазъ и покрививши на-бокъ ротъ, какъ будто чего-нибудь отвѣдавши.

«Ну, такъ что же изъ того?»

«Онъ для нея и сдѣлалъ все, и перешелъ. Коли человѣкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую, коли размочишь въ водѣ, возьми, согни — она и согнется».

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія; и стоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мѣстѣ.

«Слушай, панъ, я все расскажу пану», говорилъ жидъ. «Какъ только услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой нитку жемчуга, потому что въ городѣ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себѣ, то имъ хоть и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-татарки: «Будетъ свадьба сейчасъ, какъ только прогонятъ запорожцевъ. Панъ Андрій обѣщалъ прогнать запорожцевъ».

«И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?» вскрикнулъ Бульба.

«За чтò же убить? Онъ перешелъ по доброй волѣ. Чѣмъ чело-вѣкъ виноватъ? Тамъ ему лучше, туда и перешелъ».

«И ты видѣлъ его въ самое лицо?»

«Ей Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! Всѣхъ взрачнѣй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ...»

«Чтò-жъ онъ сказалъ?»

«Онъ сказалъ,—прежде кивнулъ пальцемъ, а потомъ уже сказалъ: «Янкель!» А я: «панъ Андрій» говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорожцамъ, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, товарищъ не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми буду биться!»

«Врешь, чортовъ Іуда!» закричалъ, вышедъ изъ себя, Тарасъ. «Врешь, собака! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ чело-вѣкъ! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то—тутъ же тебѣ и смерть!» Сказавши это, Тарасъ выхватилъ свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю, хотя Тарасъ вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что неразумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и поникъ сѣдою головою; а все еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный сынъ его продалъ вѣру и душу.

Наконецъ, повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликивскій, Незамайковскій, Гургузивъ, Тытаревскій, Тимошевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣпко курнули козаки его, и про-



курили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьихъ рукахъ, кто, и совсѣмъ не просыпаясь, сонный перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляшскомъ стану.

Въ городѣ слышали козацкое движеніе. Всѣ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: польскіе витязи, одинъ другого красивѣй, стояли на валу. Мѣдныя шапки сіяли, какъ солнца, оперенныя бѣлыми, какъ лебедь, перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя и голубыя, съ перегнутыми на бекрень верхами; кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шнурками; у тѣхъ сабли и оружія въ дорогихъ оправахъ, за которыя дорого приплачивали паны,—и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напередѣ стоялъ спѣсиво, въ красной шапкѣ, убранной золотомъ, буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ выше и толще, и широкій дорогой кафтанъ насилу облекалъ его. На другой сторонѣ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человекъ, весь высохшій; но малыя зоркія очи глядѣли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей, и оборачивался онъ скоро на всѣ стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка въ краскѣ на лицѣ: любилъ панъ крѣпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дѣдовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на обѣды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и, послѣ сегодняшняго почета, на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всякихъ было тамъ. Иной разъ и выпить было не на что, а на войну всѣ принарядились.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было на нихъ ни на комъ золота: только развѣ кое-гдѣ блестѣло оно на сабельныхъ рукояткахъ и ружейныхъ оправахъ. Не любили козаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣли черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выѣхало впередъ изъ запорожскихъ рядовъ: одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые на слова, на дѣлѣ тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Мыкыта Голокопытенко. Слѣдомъ за ними выѣхалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Сѣчи, бывшій подъ Адрианополемъ и много натерпѣвшійся на вѣку своемъ: горѣлъ въ огнѣ и прибѣжалъ на Сѣчь съ обсмолен-

ною, почернѣвшею головою и выгорѣвшими усами; но раздобрѣлъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, вырастилъ усы густые и черные, какъ смоль. И крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

«А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я знать, красная ли сила у войска?»

«Вотъ я васъ!» кричалъ сверху дюжій полковникъ: «всѣхъ перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ запорожцевъ!»

И вывели на валъ скрученныхъ веревками запорожцевъ. Впереди ихъ былъ куренной атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, — такъ, какъ схватили его хмельного. Потупилъ въ землю голову атаманъ, стыдась наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плѣнъ, какъ собака, сонный. И въ одну ночь посѣдѣла крѣпкая голова его.

«Не печалься, Хлибъ! Выручимъ!» кричали ему снизу козаки.

«Не печалься, друзьяка!» отозвался куренной атаманъ Бородатый: «въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши прилично наготы твоей».

«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» говорилъ, поглядывая на валъ, Голокопытенко.

«Вотъ, погодите, обрѣжемъ мы вамъ чубы!» кричали имъ сверху.

«А хотѣлъ бы я поглядѣть, какъ они намъ обрѣжутъ чубы!» говорилъ Поповичъ, поворотившись передъ ними на конѣ, и потомъ, поглядѣвши на своихъ, сказалъ: «А чтò-жъ! Можетъ-быть, ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всѣмъ будетъ добрая защита».

«Отчего-жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?» сказали козаки, зная, что Поповичъ вѣрно уже готовился что-нибудь отпустить.

«А оттого, что позади его упрячется все войско, а ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь копьемъ!»

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще покачивали головою, говоря: «Ну, ужъ Поповичъ! Ужъ коли кому закрутитъ слово, такъ только ну...» — Да ужъ и не сказали козаки, чтò такое «ну».

«Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣнъ!» закричалъ кошевой; ибо ляхи, казалось, не выдержали ѣдкаго слова, и полковникъ махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ валу картечью. На валу засуетились, показался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выѣхали ровнымъ коннымъ строемъ шитые гусары, за ними кольчужники, потомъ латники съ копьями, потомъ всѣ въ мѣдныхъ шапкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ

лучшіе шляхтичи, каждый одѣтый по-своему. Не хотѣли гордые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ съ своими слугами. Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжій; за нимъ опять ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ; а позади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ низенькій полковникъ.

«Не давать имъ! Не давать имъ строиться и становиться въ ряды!» кричалъ кошевой. «Разомъ напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте всѣ прочія ворота! Тытаревскій курень, нападай съ боку! Дядькивскій курень, нападай съ другого! Напирайте на тылъ, Кукубенко и Палывода! Мѣшайте, мѣшайте, и розните ихъ!»

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали ляховъ, и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы произвести; пошло дѣло на мечи, да на копья. Всѣ сбились въ кучу, и каждому привелъ случай показать себя.

Демидъ Поповичъ трехъ закололъ простыхъ, и двухъ лучшихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: «Вотъ добрые кони! Такихъ коней я давно хотѣлъ достать». И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился





въ кучу, напалъ опять на сбитыхъ съ коней шляхтичей: одного убилъ, а другому накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю, снявши съ него саблю съ дорогою рукояткою и отвязавши отъ пояса цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбрѣйшихъ въ польскомъ войскѣ, и долго бились они. Сошлись уже въ рукопашный. Одолѣлъ было уже козакъ и, сломивши, ударилъ вострымъ турецкимъ ножомъ въ грудь; но не уберегся самъ: тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣйшій изъ пановъ, красивѣйшій и древняго княжескаго рода рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конѣ своемъ. И много уже показалъ боярской богатырской удали: двухъ запорожцевъ разрубилъ на-двое; Ѳедора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ конемъ, выстрѣлилъ по коню и козака досталъ изъ-за коня копьемъ; многимъ отнесъ головы и руки и повалилъ козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ високъ.

«Вотъ съ кѣмъ бы я хотѣлъ попробовать силы!» закричалъ незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко. Припустивъ коня, налетѣлъ прямо ему въ тылъ и сильно вскрикнулъ, такъ что вздрогнули всѣ близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго крика. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня ляхъ и стать ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный страшнымъ крикомъ метнулся на сторону, и досталъ его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но ослабѣла упавшая вмѣстѣ съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашъ, вогналъ его ему въ самыя поблѣднѣвшія уста: вышибъ два сахарные зуба палашъ, разсѣкъ на-двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздилъ онъ его тамъ навѣки къ сырой землѣ. Ключомъ хлынула вверхъ алая, какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь, и выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ его. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими незамайковцами въ другую кучу.

«Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!» сказалъ уманскій куренной Бородатый, отѣхавши отъ своихъ къ мѣсту, гдѣ лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. «Я семерыхъ убилъ шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видѣлъ ни на комъ». И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ въ оправѣ изъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ груди сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорогимъ серебромъ и дѣвическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышалъ Бородатый, какъ

налетѣлъ на него сзади красноносый хорунжій, уже разъ сбитый имъ съ сѣдла и получившій добрую зазубрину на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся шеѣ. Не къ добру повела корысть козака: отскочила могучая голова и упалъ обезглавленный трупъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣпкаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сѣдлу, а ужъ былъ тутъ суровый мститель.

Какъ плавающий въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца - перепела: такъ

Тарасовъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильнѣе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля: схватился онъ было за пистолетъ, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрѣла, и пуля даромъ полетѣла въ поле. Остапъ тутъ же, у его же сѣдла, отвязалъ шелковый шнуръ,

который возилъ съ собою хорунжій для вязанія плѣнныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по ногамъ, прицѣпилъ конецъ веревки къ сѣдлу и поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ Уманскаго куреня, чтобы шли отдать послѣднюю честь атаману.

Какъ услышали уманцы, что куренного ихъ атамана Бородатаго нѣтъ уже въ живыхъ, бросили поле битвы и прибѣжали прибрать его тѣло; и тутъ же стали совѣщаться, кого выбрать въ куренные. Наконецъ, сказали: «Да чтó совѣщаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остапа: онъ, правда, младшій всѣхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человѣка».



Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ козаковъ товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того теперь, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ показалъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дѣло слишкомъ жарко, отступили и перебѣжали поле, чтобъ собраться на другомъ концѣ его. А низенькій полковникъ махнулъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотни, и грянули оттуда картечью въ козацкія кучи; но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, дико глядѣвшимъ на битву. Взревѣли испуганные быки, поворотили на козацкіе таборы, переломали возы и многихъ перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись изъ засады съ своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на переймы. Поворотило назадъ все бѣженное стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на ляшскіе полки, опрокинуло конницу, всѣхъ смяло и разсыпало.

«О, спасибо вамъ, воли!» кричали запорожцы: «служили все походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многіе показали себя: Метелиця, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко, и не мало было всякихъ другихъ. Увидѣли ляхи, что плохо, наконецъ, приходитъ, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ отворились обитыя желѣзомъ ворота и приняли толпившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренныхъ и покрытыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ запорожцевъ погнались было за ними, но Остапъ своихъ уманцевъ остановилъ, сказавши: «Подальше, подальше, паны братья, отъ стѣнъ! Не годится близко подходить къ нимъ». И правду сказалъ, потому что со стѣнъ грянули и посыпали всѣмъ, чѣмъ ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подѣхалъ кошевой и похвалилъ Остапа, сказавши: «Вотъ и новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядѣть, какой тамъ новый атаманъ, и увидѣлъ, что впереди всѣхъ уманцевъ сидѣлъ на конѣ Остапъ, и шапка заломлена на-бекрень, и атаманская палица въ рукѣ. «Вишь ты какой!» сказалъ онъ, глядя на него; и обрадовался старый и сталъ благодарить всѣхъ уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь итти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорванными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогахъ кафтанахъ, и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

«Чтò, перевязали?» кричали имъ снизу запорожцы.

«Вотъ я васъ!» кричалъ все такъ же сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, из-



нуренные воины, и всѣ, бывшіе позадорнѣе, перекинулись съ обѣихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ, разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, истомившись отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть: палашами, копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось вѣронамъ и хищнымъ орламъ выклевать имъ очи. А ляшскія тѣла, увязавши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ по всему полю, и долго потомъ гнались за ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ ляшскіе трупы.

Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечерять и долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удѣлъ каждому, на вѣчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долѣе всѣхъ не ложился старый Тарасъ, все размышляя, что бы значило, что Андрія не было между вражьихъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противъ своихъ, или обманулъ жидъ и попался онъ, просто, въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ онъ, что не въ мѣру было наклончиво сердце Андрія на женскія рѣчи, почувствовалъ скорбь и заклился сильно въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сына. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не поглядѣлъ бы на ея красоту, вытащилъ бы ее за густую, пышную косу, поволокъ бы ее за собою по всему полю между всѣхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ея чудныя руки и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, что покрываютъ горныя вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что готовитъ Богъ человеку завтра, и сталъ позабываться сномъ и, наконецъ, заснулъ. А козаки все еще говорили промежъ собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во всѣ концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

### VIII.

**Е**ще солнце не дошло до половины неба, какъ всѣ запорожцы собрались въ круги. Изъ Сѣчи пришла вѣсть, что татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырыли скарбъ, который втайнѣ держали козаки подъ землею, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые

оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Одинъ только козакъ, Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него мѣшокъ съ цехинами и на татарскомъ конѣ, въ татарской одеждѣ, полтора дня и двѣ noci уходилъ отъ погони, загналъ на-смерть коня, пересѣлъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже на третьемъ прїѣхалъ въ запорожскій таборъ, развѣдавъ на дорогѣ, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшіеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались въ плѣнъ, и какъ узнали татары мѣсто, гдѣ былъ зарытъ войсковой скарбъ, — того ничего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и опалило ему вѣтромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту-жъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣнные какъ разъ могли очутиться на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ острову, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатые запорожскія головы. Вотъ отчего собрались запорожцы. Всѣ до одинаго стояли они въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ равные между собою. «Давай совѣтъ прежде старшіе!» закричали въ толпѣ. «Давай совѣтъ, кошевой!» говорили другіе.

И кошевой снялъ шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: «Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за татариномъ; ибо вы сами знаете, чтò за человѣкъ татаринъ: онъ не станетъ съ награбленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ размытарить его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: итти. Мы здѣсь уже погуляли. Ляхи знаютъ, чтò такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отместили; корысти же съ голоднаго города немного. И такъ мой совѣтъ — итти».

«Итти!» раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришлось по душѣ такія слова, и навѣсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурые, изчерна-бѣлыя брови, подобныя кустамъ, выросшимъ по высокому темени горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый сѣверный иней.

«Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!» сказалъ онъ. «Ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ плѣну остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобъ мы не уважили перваго святого закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ живыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части ко-



зацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они съ гетьманомъ и лучшими русскими витязями на Украинѣ. Развѣ мало они поругались и безъ того надъ святынею? Чтò-жъ мы такое? спрашиваю я всѣхъ васъ. Чтò-жъ за козакъ тотъ, который кинулъ въ бѣдѣ товарища, кинулъ его, какъ собаку, пропасть на чужбинѣ? Коли ужъ на то пошло, что всякій ни во чтò ставитъ козацкую честь, позволивъ себѣ плюнуть въ сѣдые усы свои и попрекнуть себя обиднымъ словомъ, такъ не укорить же никто меня. Одинъ остаюсь!»



Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.

«А развѣ ты забылъ, бравый полковникъ», сказалъ тогда кошевой: «что у татаръ въ рукахъ тоже наши товарищи, что если мы теперь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣчное невольничество язычникамъ, чтò хуже всякой лютой смерти? Позабылъ развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая христіанскою кровью?»

Задумались всѣ козаки и не знали, чтò сказать. Никому не хотѣлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ всѣхъ козаковъ; два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже



давно состарѣлся и не бывалъ ни въ какихъ походахъ; не любилъ тоже и совѣтовъ давать никому, а любилъ старый вояка лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая рассказы про всякіе бывалые случаи и козацкіе походы. Никогда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слушалъ, да прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкѣ, которой не выпускалъ изо рта, и долго сидѣлъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома; но сей разъ разобрало старого. Махнулъ рукою по-козацки и сказалъ: «А не куды пошло! Пойду и я: можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!» Всѣ козаки притихли, когда выступилъ онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова. Всякій хотѣлъ знать, что скажетъ Бовдюгъ.

«Пришла очередь и мнѣ сказать слово, паны братья!» такъ онъ началъ. «Послушайте, дѣти, старого. Мудро сказалъ кошевой; и, какъ голова козакаго войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковомъ скорбѣ, мудрѣе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ первая моя рѣчь! А теперь послушайте, что скажетъ моя другая рѣчь. А вотъ что скажетъ моя другая рѣчь: большую правду сказалъ и Тарасъ, полковникъ, дай, Боже, ему побольше вѣку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украинѣ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, паны братья, чтобы козакъ покинулъ гдѣ, или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тѣ, и другіе намъ товарищи—меньше ихъ или больше, все равно, все товарищи, всѣ намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которымъ милы полоненные ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дѣла, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдетъ съ одною половиною за татарами, а другая половина выберетъ себѣ наказного атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послушать бѣлой головы, не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу Бульбѣ! Нѣтъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести».

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ; и обрадовались всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: «Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ, наконецъ, и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирався въ походъ, что будешь пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалось».

«Что, согласны вы на то?» спросилъ кошевой.

«Всѣ согласны!» закричали козаки.

«Стало-быть, радъ конецъ?»

«Конецъ радъ!» кричали козаки.

«Слушайте-жъ теперь войскового приказа, дѣти», сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку, а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, утупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, паны братья! Кто хочетъ итти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на лѣвую! Куды большая часть куреня переходить, туды и атаманъ; коли меньшая часть переходить, приставай къ другимъ куренямъ».

И всѣ стали переходить кто на правую, кто на лѣвую сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда и куренной атаманъ переходилъ; котораго малая часть, та приставала къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: весь почти Незамайковскій курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, большая половина Стебликивскаго куреня, большая половина Тymoшевскаго куреня. Всѣ остальные вызвались итти въ догонъ за татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, которые рѣшились итти вслѣдъ за татарами, былъ Череватый, добрый старый козакъ, Покотыполе, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно завзятаго нрава козакъ, не могъ долго высидѣть на мѣстѣ: съ ляхами попробовалъ уже онъ дѣла, хотѣлось попробовать еще съ татарами. Куренные были: Ностюганъ, Pokрышка, Невымычкій, и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча въ схваткѣ съ татаринoмъ. Не мало было также сильно и сильно добрыхъ козаковъ между тѣми, которые захотѣли остаться: куренные Демитровичъ, Кукубенко, Вертыхвистъ, Балабанъ, Бульбенко Остапъ. Потомъ много было еще другихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Черевыченко, Степанъ Гуска, Охрымъ Гуска, Мыкола Густый, Задорожній, Метелиця, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шило, Дегтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Писаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, ѣзжалые: ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и степямъ, по всѣмъ рѣчкамъ, большимъ и малымъ, которыя впадали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ и днѣпровскимъ островамъ; бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой землѣ; изѣздили все Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатѣйшіе и превысокіе корабли; перетопили не мало турецкихъ галеръ и много много выстрѣляли пороху на своемъ вѣку. Не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ черешы у штанныхъ очкуровъ набивали все чистыми цехинами. А сколько всякій изъ нихъ пропилъ и прогулялъ добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того и счесть

нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свѣтѣ. Еще и теперь у рѣдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ камышами на днѣпровскихъ островахъ, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, въ случаѣ несчастья, удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчъ; но трудно было бы татарину найти его, потому что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ которомъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то были козаки, захотѣвшіе остаться и отмстить ляхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бовдюгъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: «Теперь не такія мои лѣта, чтобы гоняться за татарами; а тутъ есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просилъ я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ въ другомъ мѣстѣ для стараго козака».

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ рядовъ и сказалъ:

«А что, панове братове, довольны одна сторона другою?»

«Всѣ довольны, батько!» отвѣчали козаки.

«Ну, такъ поцѣлуйтесь же и дайте другъ другу прощанье, ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидѣться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велитъ козацкая честь».

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались навкрестъ и потомъ взяли за руки и крѣпко держали руки; хотѣлъ одинъ другого спросить: «Что, пане брате, увидимся или не увидимся?» да и не спросили, замолчали, — и загадались обѣ сѣдыя головы. А козаки всѣ до одного прощались, зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ; но не повершили однакожъ тотчасъ разлучиться, а повершили дожидаться темной ночной поры, чтобы не дать непріятелю увидѣть убыль въ козацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по куренямъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самаго заходу солнечнаго; а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошاپковавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами; конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслѣдъ за пѣшими, и скоро стало ихъ не видно въ темнотѣ. Глухо отдавалась только конская топъ да скрипъ иного колеса, которое еще не расходилось, или не было хорошо подмазано за ночью темнотою.



Долго еще остававшіеся товарищи махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихъ ясно звѣздахъ, что половины телѣгъ уже не было на мѣстѣ, что многихъ, многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, утупивъ въ землю гульливый свои головы.

Тарасъ видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкія головы; но молчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ уныньемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ товарищами. А между тѣмъ въ тишинѣ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и съ бѣльшею силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, что море передъ мелководными рѣками: коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣтренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ воевъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ козацкомъ обозѣ: двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелия колеса его; грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута, и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое бы и чувство овладѣло человѣкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палаши перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьи кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

«А берите всѣ», сказалъ Бульба: «всѣ, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которымъ поить коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обѣ горсти».

И козаки всѣ, сколько ни было ихъ, брали: у кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ поилъ коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлялъ и такъ обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знаку, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по себѣ старое доброе вино и какъ ни спо-

собно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будетъ сила и вина и духа.

«Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ Бульба) не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами дѣла великаго поту, великой козацкой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ выпьемъ напередъ всего за святую православную вѣру: чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть бусурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ одного краше. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за вѣру, пане-братове, за вѣру!»

«За вѣру!» загомонѣли всѣ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. «За вѣру!» подхватили дальніе — и все, что ни было, и старое и молодое, выпило за вѣру.

«За Сичь!» сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

«За Сичь!» отдалось густо въ переднихъ рядахъ. «За Сичь!» сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: «за Сичь!» И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сичь.

«Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!»

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми куренями: «За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!»

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, поднявши руки; хотъ весело глядѣли очи ихъ всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти и военномъ прибыткѣ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались они, какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредѣльно море, усыпанное, какъ мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ прибережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, лѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чер-

нѣющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запущенными книзу усами; будутъ, налетѣвъ, орлы выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметававшемся смертномъ ночлегѣ! Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло и не пропадетъ, какъ малая порошокъ съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бороною, а можетъ, еще полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговоритъ о нихъ: ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую много повергнулъ мастеръ дорогого чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву.

## ІХ.

**В**ъ городѣ не узналъ никто, что половина запорожцевъ выступила въ погоню за татарами. Съ магистратской башни примѣтили только часовые, что потянулась часть воевъ за лѣсъ; но подумали, что козаки готовились сдѣлать засаду; то же думалъ и французскій инженеръ. А между тѣмъ слова кошевого не прошли даромъ, и въ городѣ оказался недостатокъ въ сѣстныхъ припасахъ: по обычаю прошедшихъ вѣковъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробовали сдѣлать вылазку, но половина смѣльчаковъ была тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чѣмъ. Жида, однакоже, воспользовались вылазкою и пронюхали все: куда и зачѣмъ отправились запорожцы, и съ какими военачальниками, и какіе именно курени, и сколько ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на мѣстѣ, и что они думаютъ дѣлать, — словомъ, черезъ нѣсколько уже минутъ въ городѣ все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сраженіе. Тарасъ уже видѣлъ то по движенію и шуму въ городѣ, и расторопно хлопоталъ, строилъ, раздавалъ приказы и наказы, уставилъ въ три табора курени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣпостей, — родъ битвы, въ которой бывали непобѣдимы запорожцы; двумъ куренямъ повелѣлъ забратъ въ засаду; убилъ часть поля острыми колями, изломаннымъ оружіемъ, об-



ломками копьевъ, чтобы при случаѣ нагнать туда непріятельскую конницу. И когда все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ, не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ — зналъ, что и безъ того крѣпки они духомъ — а, просто, самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ.

«Хочется мнѣ вамъ сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша: и грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья, а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая такъ же, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! Нѣтъ узъ святѣе товарищества. Отецъ любитъ свое дитя, мать любитъ свое дитя, дитя любитъ отца и мать; но это не то, братцы: любитъ и звѣрь свое дитя! Но породниться родствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово — видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ; такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, — любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ — а!..» сказалъ Тарасъ, и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: «Нѣтъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въ землѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цѣлы въ погребяхъ запечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынкѣ. Милость чужого короля, да и не короля, а поскудная милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у послѣдняго подлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажѣ и въ поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется оно когда-нибудь, — и ударится онъ, горемычный, объ полы руками; схватитъ себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть же знаютъ они всѣ, что такое значитъ въ русской землѣ товарищество! Ужъ если на то пошло, чтобы умирать, такъ никому-жъ изъ нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хватить у нихъ на то мышиною натуры ихъ!»

Такъ говорилъ атаманъ, и, когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребрившеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошелъ далеко до самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдыя головы въ землю; слеза тихо накатывалася въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудренного горемъ, трудомъ, удаляю и всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и не познававшего ихъ, но много почувствовавшего молодую, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ.

А изъ города уже выступало непріятельское войско, гремя въ литавры и трубы, и, подбоченившись, выѣзжали паны, окруженные несмѣтными слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. И стали наступать они тѣсно на козацкіе таборы, грозя, нацѣливаясь пищалыми, сверкая очами и блеща мѣдными доспѣхами. Какъ только увидѣли козаки, что подошли они на ружейный выстрѣлъ, всѣ разомъ грянули въ семипядные пищали и, не перерывая, все палили изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всѣмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ непрерывный гулъ; дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все палили, не переводя духу: задніе только заряжали, да передавали переднимъ, наводя изумленіе на непріятеля, не могшаго понять, какъ стрѣляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другого не ставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летѣли пули и жарко становилось дѣло; и когда попятились назадъ, чтобы посторониться отъ дыма и оглядѣться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, можетъ-быть, другой-третій былъ убитъ на всю сотню. И все продолжали палить козаки изъ пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Самъ иноземный инженеръ подивился такой, никогда имъ не виданной, тактикѣ, сказавши тутъ же при всѣхъ: «Вотъ бравые молодцы запорожцы! Вотъ какъ нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ!» И далъ совѣтъ поворотить тутъ же на таборъ пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунныя пушки; дрогнула, далеко загудѣвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди площадей и улицъ въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣлившіе взяли слишкомъ высоко, раскаленные ядра выгнули слишкомъ высокую дугу: страшно завизжавъ по воздуху, перелетѣли они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. Ухватилъ себя за волосы французскій инженеръ при видѣ такого неискусства, и самъ принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями непрерывно козаки.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: «Выбирайтесь скорѣй изъ-за воевъ и садись всякій на коня!» Но не успѣли бы сдѣлать то и другое козаки, если бы Остапъ не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у шести пушкарей, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его ляхи. А тѣмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ козаковъ не видывалъ дотолѣ. Страшно глядѣла она широкою пастью, и тысяча смертей глядѣло оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія, четырехкратно потрясши глухо-отвѣтную землю, — много нанесли онѣ горя! Не по одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждого изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между ихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска, и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, чтò полновѣсный червонецъ, красовался всякій колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились всѣ! Какъ закипѣлъ куренной атаманъ Кукубенко, увидѣвши, что лучшей половины куреня его нѣтъ! Вбился онъ съ остальными своими незамайковцами въ самую середину. Въ гнѣвѣ изсѣкъ въ капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбилъ съ коней, доставши копьемъ и конника, и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уманскій куренной атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбиваетъ главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую гущу: такъ гдѣ прошли незамайковцы — такъ тамъ и улица! гдѣ поворотили — такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились ляхи! А у самыхъ воевъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ воевъ Дегтяренко, а за нимъ куренной атаманъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей поднялъ на копье Дегтяренко, да напалъ, наконецъ, на неподатливаго третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ ляхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: «Нѣтъ изъ васъ, собакъ козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнѣ!»

«А вотъ есть же!» сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ козакъ, не разъ атаманствовалъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ турки у самага Трапе-



зонта и всѣхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ желѣзныя цѣпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпѣли бѣдные невольники, лишь бы не перемѣнять православной вѣры. Не вытерпѣлъ атаманъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой законъ, скверною чалмой обвилъ грѣшную голову, вошелъ въ довѣренность къ пашѣ, сталъ ключникомъ на кораблѣ и старшимъ надъ всѣми невольниками. Много опечалились оттого бѣдные невольники, ибо знали, что если свой продастъ вѣру и пристанетъ къ угнетателямъ, то тяжелѣй и горше быть подъ его рукой, чѣмъ подъ всякимъ другимъ нехристомъ: такъ и сбылось. Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цѣпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ костей жестокия веревки; всѣхъ перебилъ по шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себѣ такого слугу, стали пировать, и, позабывъ законъ свой, всѣ перепились, онъ принесъ всѣ шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а брали бы на мѣсто того сабли, да рубили турковъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудной козакъ. Иной разъ повершалъ такое дѣло, какое мудрѣйшему не придумать, а въ другой, просто, дурь одолѣвала козака. Пропилъ онъ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Сѣчи и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его на базарѣ къ столбу и положили возлѣ дубину, чтобы всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ козакъ Мосій Шило.

«Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собакъ!» сказалъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! И наплечники и зеркала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ вражій ляхъ желѣзную рубашку, доставъ лезвеемъ самага тѣла: зачервонѣла козацкая рубашка. Но не поглядѣлъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушилъ его внезапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался и грянулся ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше поверотись назадъ! Не поверотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и уже досталъ бы смѣльчака; но онъ пропалъ въ порохомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почувялъ, что рана была смертельна. Упалъ онъ, наложивъ руку на свою рану и сказалъ, обратившись къ товарищамъ:

«Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть же стоитъ на вѣчныя времена православная русская земля и будетъ ей вѣчная честь!» И зажмурилъ ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжалъ Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренной Вертыхвистъ и выступалъ Балабанъ.

«А что, паны», сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ куренными: «есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабѣла ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабѣла еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

И наперли сильно козаки: совѣмъ смѣшали всѣ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велѣлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсыпавшихся далеко по всему полю. Всѣ бѣжали ляхи къ знаменамъ; но не успѣли они еще выстроиться, какъ уже куренной атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими незамайковцами въ середину и напалъ прямо на толстопузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поворотивъ коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его чрезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидѣвъ то съ бокового куреня, Степанъ Гуска пустился ему на переймы, съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши всю голову къ лошадиной шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь побагровѣлъ полковникъ, ухватясь за веревку обѣими руками и сиюсь разорвать ее, но уже дюжій размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землѣ. Но не сдобровать и Гускѣ! Не успѣли оглянуться козаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копыя. Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: «Пусть же пропадутъ всѣ враги, и ликуеть вѣчныя вѣки русская земля!..» И тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ съ боку козакъ Метелиця угощаетъ ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими атаманъ Невылычій; а у воевъ ворочаетъ врага и бьетъ Закрытыгуба; а у дальнихъ воевъ третій Писаренко отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ, у другихъ воевъ, схватились и бьются на самыхъ воевахъ.

«Что, паны», перекликнулся атаманъ Тарасъ, проѣхавши впереди всѣхъ: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Крѣпка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?»

«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старый весь духъ свой и сказалъ: «Не жаль разстаться съ свѣтомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! Пусть же

славится до конца вѣка русская земля!» И понеслась къ вышинамъ Бовдюгова душа рассказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на русской землѣ и, еще лучше того, какъ умѣютъ умирать въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной атаманъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ копья, отъ пули и отъ тяжелаго палаща. А былъ одинъ изъ доблестнѣйшихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ, но славнѣе всѣхъ былъ походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ядра. Какъхватило ихъ съ корабля, — половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные къ бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отплылъ на всѣхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдѣлался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитыя мѣста; изъ козацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понеслись и убѣжали отъ быстрѣйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбѣдно на Сѣчь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго кievскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьѣ, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ. — Поникнулъ онъ теперь головою, почуявъ предсмертныя муки, и тихо сказалъ: «Сдается мнѣ, паны братья, умираю хорошою смертью: семерыхъ изрубилъ, девятихъ копьемъ искололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно русская земля!..» И отлетѣла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человѣкъ только осталось изъ всего Незамайковскаго куреня; уже и тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздно подоспѣли козаки: уже успѣло ему углубиться подъ сердце копье прежде, чѣмъ были отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившимъ его козакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій хозяинъ, сберегавшій его про лучший случай въ жизни, чтобы, если приведетъ Богъ на старости лѣтъ встрѣтиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человѣкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: «Благодарю



Бога, что довелось мнѣ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послѣ насъ живутъ еще лучшіе, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Христомъ русская земля!..» И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо ему будетъ тамъ. «Садись, Кукубенко, одесную Меня!» скажетъ ему Христось: «ты не измѣнилъ товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не выдалъ въ бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ Мою церковь». Всѣхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже рѣдѣли сильно козацкіе ряды; многихъ, многихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но стояли и держались еще козаки.

«А что, паны», перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?»

«Достанетъ еще, батюко, пороху; годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!»

И рванулись снова козаки такъ, какъ бы и потерь никакихъ не потерпѣли. Уже три только куренныхъ атамана осталось въ живыхъ; червонѣли уже всюду красныя рѣки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражьихъ тѣлъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулася вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на копье Метелицу; уже голова другого Писаренка, завертѣвшись, захлопала очами; уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. «Ну!» сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильнаго напору ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были убиты въ землю колья и обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это время корсунцы, стоявшіе послѣдніе за возами, увидѣвши, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всѣ сбились и растерялись ляхи, и пріободрились козаки. — «Вотъ и наша побѣда!» раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули побѣдную хоругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разбитые ляхи. — «Ну, нѣтъ, еще не совсѣмъ побѣда!» сказалъ Тарасъ, глядя на городскія ворота, и сказалъ онъ правду.

Отворились ворота, и вылетѣлъ оттуда гусарскій полкъ, краса всѣхъ конныхъ полковъ. Подъ всѣми всадниками были всѣ, какъ одинъ, бурые аргамакі; впереди другихъ понесся витязь всѣхъ бойчѣе, всѣхъ красивѣе: такъ и летѣли черные волосы изъ подъ мѣдной его шапки; вился завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, что это былъ Андрій. А онъ между тѣмъ, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой борзой

песъ, красивѣйшій, быстрѣйшій и молодшій всѣхъ въ стаѣ. Атукнулъ на него опытный охотникъ—и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набокъ всѣмъ тѣломъ, взрывая снѣгъ и десять разъ выпереживая самого зайца въ жару своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и глядѣлъ на то, какъ онъ чистилъ передъ собою дорогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары направо и налево. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: «Какъ? своихъ? своихъ, чортовъ сынъ, своихъ бьешь?» Но Андрій не различалъ, кто предъ нимъ былъ, свои, или другіе какіе; ничего не видѣлъ онъ. Кудри, кудри онъ видѣлъ, длинныя, длинныя кудри, и подобную рѣчному лебедю грудь, и снѣжную шею, и плечи, и все, что создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

«Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, заманите мнѣ только его!» кричалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрѣйшихъ козаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на коняхъ, прямо на перерѣзъ гусарамъ. Ударили сбоку на переднихъ, сбили ихъ, отдѣлили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватилъ плашмя по спинѣ Андрія, и въ тотъ же часъ пустились бѣжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! Какъ забунтовала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетѣлъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади всего только двадцать человѣкъ поспѣвало за нимъ; а козаки летѣли во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лѣсу. Разогнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настигнулъ Голокопытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся Андрій: предъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и вдругъ сталъ блѣденъ: такъ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударъ линейкою по лбу, вспыхиваетъ, какъ огонь, бѣшенный выскакиваетъ изъ лавки и гонится за испуганнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: въ мигъ притихаетъ бѣшенный порывъ, и падаетъ безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

«Ну, что-жъ теперь мы будемъ дѣлать?» сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, утупивши въ землю очи.

«Что, сынку, помогли тебѣ твои ляхи?»

Андрій былъ безотвѣтенъ.

«Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ коня!»

Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ.

«Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!» сказалъ Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Блѣденъ, какъ полотно, былъ Андрій, видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьевъ — это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувшій подъ сердцемъ смертельное желѣзо, повисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобѣдимаго для женъ очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, отгѣняли его поблѣднѣвшія черты. «Чѣмъ бы не козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безславно, какъ подлая собака!»

«Батько, что ты сдѣлалъ! Это ты убилъ его?» сказалъ подѣхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.

Пристально поглядѣлъ мертвому въ очи Остапъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ же: «Предадимъ же, батько, его честно землѣ, чтобы не поругались надъ нимъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы».

«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: «будутъ у него плакальщики и утѣшницы!»

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье волкамъ-сыромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ни было, — какъ видитъ, скачетъ къ нему на конѣ Голокопытенко: «Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!..» Не успѣлъ сказать Голокопытенко, скачетъ Вовтузенко: «Бѣда, атаманъ, новая валить еще сила!..» Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ бѣгомъ уже безъ коня: «Гдѣ ты, батьку? Ишутъ тебя козаки. Ужъ убить куренной атаманъ Невылычкій, Задорожній убить, Черевиченко убить; но стоятъ козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на ихъ передъ смертнымъ часомъ».

«На коня, Остапъ!» сказалъ Тарасъ и спѣшилъ, чтобы застать еще козаковъ, чтобы поглядѣть еще на нихъ, и чтобы они взглянули передъ смертью на своего атамана. Но не выѣхали они еще изъ лѣсу, а ужъ неприятельская сила окружила со всѣхъ сторонъ лѣсъ, и межъ деревьями







вездѣ показались всадники съ саблями и копьями. «Остапъ! Остапъ! не поддавайся!» кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю на-голо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ добрый часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро третьяго; четвертый былъ поотважнѣй, уклонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля—вздыбилъ бѣшенный конь, грянулся о землю и задавилъ подъ собою всадника. «Добре, сынку! Добре, Остапъ!» кричалъ Тарасъ: «вотъ я слѣдомъ за тобою». А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бьется Тарасъ, сыплеть гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ мало не восьмеро разомъ. «Остапъ! Остапъ! не поддавайся!» Но ужъ одолѣваютъ Остапа; уже одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остапа. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!» кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!..» Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули передъ нимъ головы, копья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

---

Х.

**Д**олго же я спалъ!» сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ послѣ труднаго хмельного сна, и стараясь распознать окружавшіе его предметы. Страшная слабость одолѣвала его члены. Едва метались предъ нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ, замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханію.

«Да», подумалъ про себя Товкачъ: «заснулъ бы ты, можетъ-быть, и навѣки!» Но ничего не сказалъ, погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ молчать.

«Да скажи же мнѣ, гдѣ я теперь?» спросилъ опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

«Молчи жъ!» прикрикнулъ сурово на него товарищъ: «чего тебѣ еще хочется знать? Развѣ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ спокойно. Молчи жъ, если не хочешь нанести самъ себѣ бѣду».



Но Тарасъ все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да, вѣдь, меня же схватили и окружили было совѣмъ ляхи? Мнѣ жъ не было никакой возможности выбиться изъ толпы?»

«Молчи жъ, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!» вскричалъ Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, кричитъ неугомонному повѣсѣ-ребенку. «Что пользы знать тебѣ, какъ выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали,— ну, и будетъ съ тебя! Намъ еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что пошелъ за простого козака? Нѣтъ, твою голову оцѣнили въ двѣ тысячи червонныхъ».

«А Остапъ?» вскричалъ вдругъ Тарасъ, понатужился приподняться и вдругъ вспомнилъ, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляхскихъ рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ всѣ перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь, хотѣлъ громко что-то сказать — и вмѣсто того понесъ чепуху: жаръ и бредъ вновь овладѣли имъ, и понеслись безъ толку и связи безумныя рѣчи. А между тѣмъ вѣрный товарищъ стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестокия укорительныя слова и упрёки. Наконецъ, схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ, какъ ребенка, поправилъ всѣ перевязки, увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрѣпивши веревками къ сѣдлу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

«Хоть неживого, да доведу тебя! Не поущу, чтобы ляхи поглумились надъ твоей козацкою поро도로, на куски рвали бы твое тѣло, да бросали его въ воду. Пусть же, хоть и будетъ орелъ высмывать изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орелъ, а не ляхскій, не тотъ, что прилетаетъ изъ польской земли. Хоть неживого, а доведу тебя до Украйны».

Такъ говорилъ вѣрный товарищъ. Скакалъ безъ отдыха дни и ночи и привезъ его безчувственного въ самую Запорожскую Сѣчь. Тамъ принялся онъ лѣчить его неумоимо травами и смачиваньями; нашель какую-то знающую жидовку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобьями, и, наконецъ, Тарасу стало лучше. Лѣкарство ли, или своя желѣзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однакоже, замѣтно сталъ онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянувшись онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ, которые стояли за правое дѣло, за вѣру и братство. И тѣ, которые отправились съ кошевымъ въ угонъ за татарами, и тѣхъ уже не было давно: всѣ положили головы, всѣ

сгибли, кто положивъ на самомъ бою честную голову, кто отъ безводья и безхлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плѣну пропалъ, не вынеши позора; и самого прежняго кошевого уже давно не было на свѣтѣ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже давно поросла травой когда-то кипѣвшая козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ: вся перебита вдребезги посуда; нигдѣ не оста-



лось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды—и смутный стоитъ хозяинъ дома, думая: «лучше-бъ и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, сѣдые бандуристы, проходя по два и по три, разславляли его козацкіе подвиги—сурово и равнодушно глядѣлъ онъ на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасимая горестъ, и тихо, понутивъ голову, говорилъ онъ: «Сынъ мой! Остапъ мой!

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двѣсти челновъ спущены были въ Днѣпръ, и Малая Азія видѣла ихъ съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвѣтушіе берега



ея; видѣли чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровію поляхъ и плававшими у береговъ. Она видѣла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы переѣли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; персидскія дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свитки. Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днѣпра съ двѣнадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ луга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстрѣляннымъ. И, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидѣлъ онъ тамъ, понутивъ голову и все говоря: «Остапъ мой! Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усть его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержалъ, наконецъ, Тарасъ: «Что бы ни было, пойду развѣдать, что онъ: живъ ли онъ? въ могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его? Развѣдаю, во что бы ни стало!» И черезъ недѣлю уже очутился онъ въ городѣ Умани, вооруженный, на конѣ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у сѣдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядамъ. Онъ прямо подѣхалъ къ нечистому, запачканному домишкѣ, у котораго небольшія окошки едва были видны, закопченные неизвѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякаго сору лежала передъ самыми дверьми. Изъ окна выглядывала голова жиловки въ чепцѣ съ потемнѣвшими жемчугами.

«Мужъ дома?» сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

«Дома», сказала жиловка и поспѣшила тотъ же часъ выйти съ пшеницей въ корчикѣ для коня и стопой пива для рыцаря.

«Гдѣ же твой жидъ?»

«Онъ въ другой свѣтлицѣ, молится», проговорила жиловка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульба поднесъ къ губамъ стопу.

«Оставайся здѣсь, накорми и напой моего коня, а я пойду, поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дѣло».

Этотъ жидъ былъ извѣстный Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всѣхъ окружныхъ



пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жидовское присутствіе въ той странѣ. На разстояніи трехъ миль во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и осталась бѣдность, да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы, вывѣтрился весь край. И если бы десять лѣтъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство.



Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ, довольно запачканнымъ, саваномъ, и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза двѣ тысячи червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силился подавить въ себѣ вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не увидѣли. «Я спасъ твою жизнь—тебя бы разорвали, какъ собаку, запорожцы—теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ услугу!»



Лицо жида нѣ-  
сколько поморщилось.

«Какую услугу?  
Если такая услуга, что  
можно сдѣлать, то для  
чего не сдѣлать?»

«Не говори ниче-  
го. Вези меня въ Вар-  
шаву».

«Въ Варшаву?  
Какъ, въ Варшаву?»  
сказалъ Янкель. Брови  
и плечи его поднялись  
вверхъ отъ изумленія.

«Не говори мнѣ  
ничего. Вези меня въ  
Варшаву. Чтò бы ни

было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему хоть одно слово».

«Кому сказать слово?»

«Ему, Остапу, сыну моему».

«Развѣ панъ не слышалъ, что уже...»

«Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ тысячи червонныхъ.  
Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ  
двѣ тысячи сейчасъ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана двѣ ты-  
сячи червонныхъ), а остальные — какъ ворочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы.

«Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» говорилъ онъ, вертя  
одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ. «Я думаю, тотъ че-  
ловѣкъ, у котораго панъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, и часу не  
прожилъ на свѣтѣ: пошелъ тотъ же часъ въ рѣку, да и утонулъ тамъ  
послѣ такихъ славныхъ червонцевъ».

«Я бы не просилъ тебя. Я бы самъ, можетъ-быть, нашелъ дорогу  
въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые  
ляхи; ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жида, на то уже созданы.  
Вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я при-  
шелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получилъ.  
Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрягъ, да и:  
«Эй, ну, пошелъ, сивка!» Думаетъ панъ, что можно такъ, какъ есть,  
не спрятавши, везти пана?»

«Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю бочку,  
что ли?»

«Ай, ай! А панъ думаетъ, развѣ можно спрятать его въ бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій подумаетъ, что въ бочкѣ горѣлка?»

«Ну, такъ и пусть думаетъ, что горѣлка».

«Какъ? Пусть думаетъ, что горѣлка?» сказалъ жидъ и схватилъ себя обѣими руками за пейсики и потомъ поднялъ кверху обѣ руки.

«Ну, что же ты такъ оторопѣлъ?»

«А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горѣлку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ и скажетъ: «Жидъ не везетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ есть что-нибудь!»

Схватить жида, связать жида, отобрать всѣ деньги у жида, посадить въ тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недобраго, все валится на жида; потому что жида всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человѣкъ, коли жидъ!»

«Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!»

«Не можно, панъ; ей Богу, не можно. По всей Польшѣ люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и пана нащупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»

«Слушай, слушай, панъ!» сказалъ жидъ, посунувши обшлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. «Вотъ что мы сдѣлаемъ. Теперь строятъ вездѣ крѣпости и замки; изъ Нѣмечины пріѣхали французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кирпичу и камней. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана».

«Дѣлай, какъ хочешь, только вези!»

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ Умани, запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развѣвались изъ-подъ жидовскаго яломка по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставленная на дорогѣ.





## XI.

В то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчиковъ, этой страшной грозы предприимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ это большею частію для своего собственного удовольствія, особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ, и вѣхалъ безпрепятственно въ главные городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣлавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились жида почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревянные дома, со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще болѣе мракъ. Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та уже во многихъ мѣстахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ стѣны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негоднаго, швырялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможные удобства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, выглянулъ изъ окна; тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчій, и Янкель тотчасъ вѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, и хотя трудно уговорить стражей, но, однакожъ, онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.

Жидаы начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, — надежды той, которая посѣщаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.



«Слушайте, жидаы!» сказалъ онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говоритъ, что жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человѣку обѣщалъ двѣнадцать тысячъ червонныхъ, — я прибавлю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ».

«О, не можно, любезный панъ! не можно!» сказалъ со вздохомъ Янкель.



«Нѣтъ, не можно!» сказалъ другой жидъ.

Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.

«А попробоватъ», сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: «можетъ-быть, Богъ дастъ».

Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульба, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ слышалъ только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посовѣтоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, то ужъ никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ, и не впускай никого!» Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились посрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно; къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ, и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы; наконецъ, въ концѣ ея изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ и замелькали фалды полукафтання. «А, Мардохай, Мардохай!» закричали всѣ жида въ одинъ голосъ. Тошій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толпѣ, и всѣ жида наперерывъ спѣшили разсказывать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтання, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жида подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жида не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жида вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: «Когда мы да Богъ захочемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно».

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ,



полученныхъ за удалство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ, наконецъ, весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

«Что? удачно? спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жида собрались съ духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понималъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудой.

«О, любезный панъ!» сказалъ Янкель:

«теперь совсѣмъ не можно! Ей Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, а завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить».

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентарь общался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, ой, вей миръ! Что это за корыстный народъ! И между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а левентарю...»



«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти дальновидный жидъ. Была уже ночь. Хозяинъ дома, извѣстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и разостлалъ его на лавкѣ для Бульбы. Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье, и, сбѣлавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своей жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидѣлъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу; онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тронуться блѣднымъ предвѣстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля: «Вставай жидъ, и давай твою графскую одежду!»

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, брови, надѣлъ на темя маленькую темную шапочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болѣе тридцати пяти лѣтъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы или крытаго двора. Около тысячи человѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обращали вниманія на пришедшихъ и повертели головы только тогда, когда Янкель сказалъ: «Это мы; слышите, паны: это мы».

«Ступайте!» говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. «Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество воиновъ въ полномъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пускать».

«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей Богу, мы, ясные паны!» Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастью, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это-жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу!..»

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники. «Это мы, это я, это свои!» говорилъ Янкель, встрѣчаясь со всякимъ.

«А что, можно теперь?» спросилъ онъ одного изъ стражей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

«Можно; только не знаю, пропустятъ ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоитъ другой», отвѣчалъ часовой.

«Ай, ай», произнесъ тихо жидъ: «это скверно, любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остриемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. «Ваша ясновельможность! Ясновельможный панъ!»

«Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?»

«Вамъ, ясновельможный панъ».

«Гм... а я, просто, гайдукъ!» сказалъ трехъярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.

«А я, ей Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай...» При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. «Ай, какой важный видъ! Ей Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!»

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

«Что за народъ военный!» продолжалъ жидъ: «охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнурочки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увидятъ военныхъ... ай, ай!..» Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

«Прошу пана оказать услугу!» произнесъ жидъ: «вотъ князь пріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотреть на козаковъ. Онъ еще сроду не видѣлъ, что это за народъ козаки».



Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были увлекаемы единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полуазіатскій уголъ Европы; Московію и Украину они почитали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя.

«Я не знаю, ваша ясновельможность», говорилъ онъ: «зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: «самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ? Это вашу сретическую вѣру не уважаютъ?»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, пріятель, ты кто: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!..» И гайдукъ уже растворилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога!» закричалъ Янкель. «Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видѣли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца».

«Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ: я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ!» Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. «А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!»

«И на что бы такъ много?» горестно сказалъ поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой; но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать.

«Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ!» сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

«Что-жъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Бульба: «деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правѣ теперь отказать».

«Ступайте, ступайте, къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите скорѣе ноги, говорю я вамъ!»

«Панъ! панъ! пойдѣмъ, ей Богу, пойдѣмъ! Щуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно», кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

«И на что бы трогать! Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей миръ, какое счастье по-



сылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: «пойдемъ на площадь. Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ мучить».

«Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не помочь уже».

«Пойдемъ!» упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.



Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже простаивали иногда довольно времени. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы оттуда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается на свѣтѣ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка, да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить: «Вотъ это, душечка Юзыся», говорилъ онъ: «весь народъ, что вы видите, пришелъ за тѣмъ, чтобы посмотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что вы видите, держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дѣлать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будетъ головы». И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усеяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, блистающей, какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядѣли съ



важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и съѣстное. Часто шалунья съ черными глазами, схвативши свѣтлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ съ почернѣвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощію длинныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: «Ведутъ! ведутъ! козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостію; ихъ платья изъ дорогого сукна износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни



одного движенія его. Они приблизились къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: «Дай же, Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!» Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и устави́лъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхіе лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки, и... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденія тогдашняго грубаго, свирѣпаго вѣка, когда чело-вѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человѣчества. Напрасно нѣкоторые, немногіе, бывшіе исключеніями изъ вѣка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мѣръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душой, представляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козацкой націи. Но власть короля и умныхъ мнѣній была ничто передъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, дѣтскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.— Остапъ выносилъ терзанія и пытки, какъ исполинъ. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои,—ничто похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стоялъ въ толпѣ, потупивъ голову и, въ то же время, гордо приподнявъ очи, и одобрительно только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя: Боже! все невѣдомая, все чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и біющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ онъ силою и выкликнулъ въ душевной немощи: «Батько, гдѣ ты! Слышишь ли ты все это?..»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллионъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть;



и когда всадники немного отделились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

## ХІІ.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отрядъ, выступившій на добычу или на угонъ за татарами. Нѣтъ, поднялась вся нація, ибо переполнилось терпѣніе народа, — поднялась отомстить за посмѣяніе правъ своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетеніе, за унию, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетьманъ Острица предводилъ всею несмѣтной козацкой силою. Возлѣ былъ виденъ престарѣлый, опытный товарищъ его и совѣтникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двѣнадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчукный ѣхали вслѣдъ за гетьманомъ. Генеральный хорунжій предводилъ главное знамя; много другихъ хоругвей и знаменъ развѣвались вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними пѣшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было реестровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отвсюду поднялись козаки: отъ Чигирина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой стороны Днѣпровской и отъ всѣхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони и несмѣтные таборы телѣгъ тянулись по полямъ. И между тѣми-то козаками, между тѣми восьмью полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ полкъ; и полкомъ тѣмъ предводилъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перевѣсъ предъ другими: и преклонныя лѣта, и опытность, и умѣнье двигать своимъ войскомъ, и сильнѣйшая всѣхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмѣрною его беспощадная свирѣпость и жестокость. Только огонь да висѣлицу опредѣляла сѣдая голова его, и совѣтъ его въ войсковомъ совѣтѣ дышалъ только однимъ истребленіемъ.

Нечего описывать всѣхъ битвъ, гдѣ показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено въ лѣтописныя страницы. Извѣстно, какова въ русской землѣ война, поднятая за вѣру: нѣтъ силы сильнѣе вѣры. Непреборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди



бурнаго, вѣчно-измѣнчиваго моря. Изъ самой середины морского дна возноситъ она къ небесамъ непроломныя свои стѣны, вся созданная изъ одного цѣльнаго, сплошнаго камня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимобѣгущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щепы летятъ его безсильныя снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что ни есть на нихъ, и жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ; какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы-жиды; какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею армією противъ этой непреодолимой силы; какъ, разбитый, преслѣдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска; какъ облегли его въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозныя козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетьманъ клятвенно обѣщалъ полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе всѣхъ прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкій не красовался бы больше на шеститысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумѣлъ бы на сеймахъ, задавая роскошныя пиры сенаторамъ, если бы не спасло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. Когда вышли навстрѣчу всѣ попы въ свѣтлыхъ золотыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ рукѣ и въ пастырской митрѣ, преклонили козаки всѣ свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля; но противъ своей церкви христіанской не посмѣли и уважили свое духовенство. Согласился гетьманъ вмѣстѣ съ полковниками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободѣ всѣ христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ изъ головы своей и вскрикнулъ:

«Эй, гетьманъ и полковники! не сдѣлайте такого бабьяго дѣла! не вѣрьте ляхамъ: продадутъ, псяюхи!» Когда же полковой писарь подалъ условіе, и гетьманъ приложилъ свою властную руку, онъ снялъ съ себя чистый булатъ, дорогую турецкую саблю, изъ первѣйшаго желѣза, разломилъ ее на-двое, какъ трость, и кинулъ врознь далеко въ разныя стороны оба конца, сказавъ: «Прощайте же! Какъ двумъ концамъ сего палаша не соединиться въ одно и не составить одной сабли, такъ и намъ, товарищи, больше не видаться на этомъ свѣтѣ! Помяните же прощальное мое слово»... (при семъ словѣ голосъ его выросъ, поднялся

выше, принялъ невѣдомую силу — и смутились всѣ отъ пророческихъ словъ): «передъ смертнымъ часомъ своимъ вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствіе и миръ; думаете, пановать станете? Будете пановать другимъ панованьемъ: сдерутъ съ твоей головы, гетьманъ, кожу, набьютъ ее гречаною половою, и долго будутъ видѣть ее по всѣмъ ярмаркамъ! Не удержите и вы, паны, головъ своихъ! пропадете въ сырыхъ погребяхъ, замурованные въ каменные стѣны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всѣхъ живыми въ котлахъ!»

«А вы, хлопцы», продолжалъ онъ, оборотившись къ своимъ: «кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертию,—не по запечьямъ и бабьимъ лежанкамъ, — не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертию, всѣмъ на одной постели, какъ женихъ съ невѣстою? Или, можетъ-быть, хотите воротиться домой, да оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ польскихъ ксендзовъ?»

«За тобою, пане полковнику! за тобою!» вскрикнули всѣ, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ нимъ перебѣжало не мало другихъ.

«А коли за мною, такъ за мною же!» сказалъ Тарасъ, надвинулъ глубже на голову себѣ шапку, грозно взглянулъ на всѣхъ остававшихся, оправился на конѣ своемъ и крикнулъ своимъ: «Не попрекнетъ же никто насъ обидной рѣчью!—А ну, гайда, хлопцы, въ гости къ католикамъ!» И вслѣдъ затѣмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за нимъ таборъ изъ ста телѣгъ, и съ ними много было козацкихъ конниковъ и пѣхоты, и, оборотясь, грозилъ взоромъ всѣмъ остававшимся,—и гнѣвъ былъ взоръ его. Никто не посмѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и все грозилъ.

Смутны стояли гетьманъ и полковники, задумались всѣ и молчали долго, какъ будто тѣснимые какимъ-то тяжелымъ предвѣстіемъ. Не даромъ провѣщалъ Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщалъ. Немного времени спустя, послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была голова гетьмана на колъ вмѣстѣ со многими изъ первѣйшихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты, разграбилъ богатѣйшіе и лучшіе замки; распечатали и поразливали по землѣ козаки вѣковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ панскихъ погребяхъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. «Ничего не жалѣйте!» повторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки подымались изъ

огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемая жалкими криками, отъ которыхъ подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, поднимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!» приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидѣло, что поступки Тараса были побольше, чѣмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ всѣхъ преслѣдованій; едва выносили кони необыкновенное бѣгство и спасали



козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ достоинъ возложеннаго порученія; неутомимо преслѣдовалъ онъ ихъ и настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся крѣпость.

Надъ самой кручей у Днѣстра-рѣки виднѣлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стѣнъ. Щербнемъ и разбитымъ кирпичомъ усѣяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетѣть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежавшихъ къ полю, обступилъ его коронный гетьманъ Потоцкій. Четыре дня бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истощились запасы и силы, и рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки и, можетъ быть, еще разъ послужили бы имъ вѣрно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самага бѣгу, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: «Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражѣимъ ляхамъ!» И нагнулся старый атаманъ и сталъ отыскивать въ травѣ свою люльку съ табакомъ, неотлучную



сопутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набѣжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. «Эхъ, старость, старость!» сказалъ онъ, и заплакалъ дебелый старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолѣла силу. Мало не тридцать человѣкъ повисло у него по рукамъ и по ногамъ. «Попалась ворона!» кричали ляхи. «Теперь



нужно только придумать, какую бы ему, собакѣ, лучшую честь воздать». И присудили, съ гетьманскаго разрѣшенья, сжечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло нагое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его желѣзными цѣпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его повыше, чтобы отовсюду былъ виденъ козакъ, принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядѣлъ Тарасъ, не объ огнѣ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его; глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались козаки: ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорѣе», кричалъ онъ: «горку, чтò за лѣсомъ: туда не подступятъ они!» Но вѣтеръ не донесъ его словъ. «Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за чтò!» говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ

внизъ, гдѣ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричалъ: «Къ берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налѣво. У берега стоятъ челны, всѣ забирайте, чтобы не было погони!»

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны козаками. Но за такой совѣтъ достался ему тутъ же



ударъ обухомъ по головѣ, который переверотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. «А, товарищи! не куды пошло!» сказали всѣ, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свистнули — и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластавшись въ воздухъ, какъ змѣи, перелетѣли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днѣстръ. Двое только не достали до рѣки, грянулись съ вышины объ камень, пропали тамъ навѣки съ конями, даже не успѣвши издать крика. А козаки уже плыли съ конями въ рѣкѣ и отвязывали челны. Остановились ляхи









надъ пропастью, дивясь неслыханному козацкому дѣлу и думая: прыгать ли имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной полячки, обворожившей бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всѣхъ силъ съ конемъ за козаками: перевернулся три раза въ воздухъ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Днѣстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у старого атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричалъ онъ имъ сверху: «вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое православная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальніе и близкіе народы: подыметъ изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорила ему!..» А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги и разостлался пламенемъ по дереву... Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубоководныхъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ курухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ въ тростникахъ и на побережьяхъ. Козаки живо плыли на узкихъ двухрульных челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птицъ, и говорили про своего атамана.







# МИРГОРОДЪ.

(1835).

---

П О В Ъ С Т И,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣетъ 1 канатную фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водяныхъ и 45 вѣтряныхъ мельницъ.

*Географія Зябловскаго.*

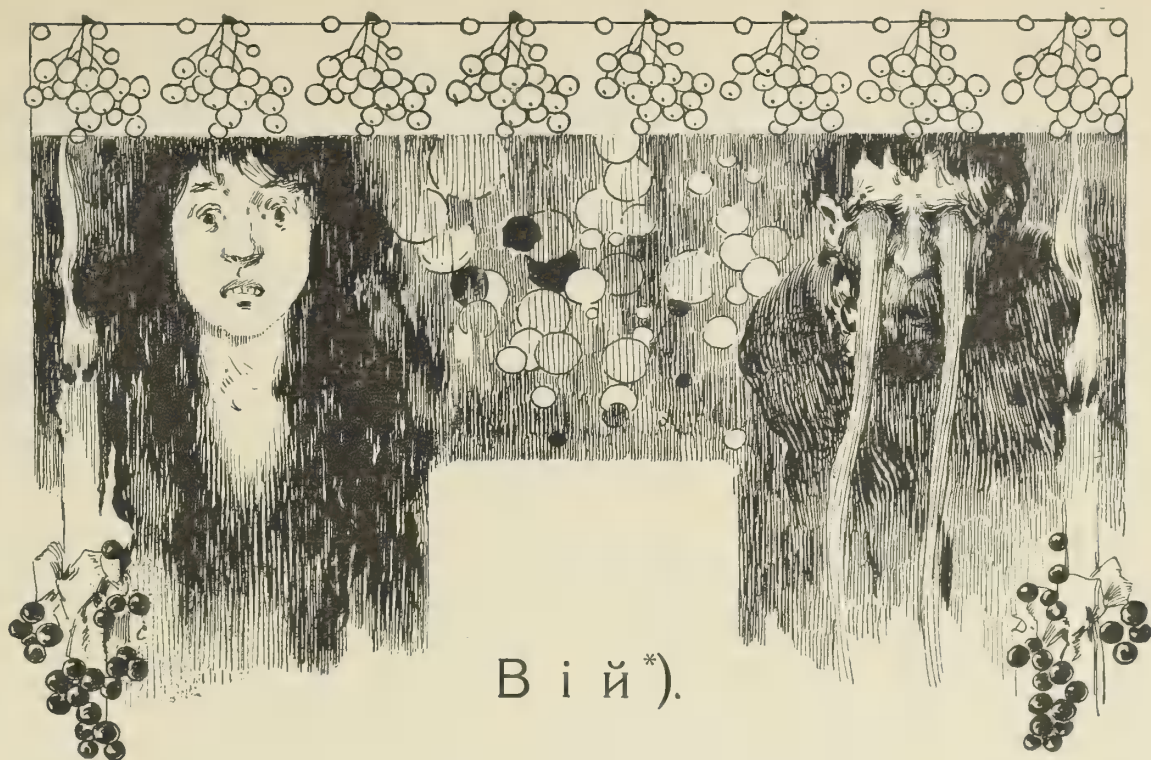
Хотя въ Миргородѣ пекутся бублики изъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.

*Изъ записокъ одного путешественника.*

---

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.





## В і й \*).

Какъ только ударялъ въ Кіевѣ поутру довольно звонкій семинарскій колоколь, висѣвшій у воротъ Братскаго монастыря, то уже со всего города спѣшили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ тетрадями подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были всѣ почти въ изодранныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ вѣчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то: бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недоѣденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классѣ, доставлялъ своему патрону порядочныя пали въ обѣ руки, а иногда и вишневая розга. Риторы шли солиднѣе; платья у нихъ были часто совершенно цѣлы, но зато на лицѣ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе, въ видѣ риторическаго тропа: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вмѣсто губы, цѣлый пузырь, или какая-нибудь другая примѣта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цѣлою октавою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромѣ крѣпкихъ табачныхъ корешковъ, ничего

\*) Вій — есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ измѣнить его и рассказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.





не было. Запасовъ они не дѣлали никакихъ, и все, что попадалось, съѣдали тогда же; отъ нихъ слышалась трубка и горѣлка, иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только-что начиналъ шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными сѣмечками и маковниками, дергали на подхватъ за полы тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой-нибудь бумажной матеріи.

«Паничи, паничи! сюды, сюды!» говорили они со всѣхъ сторонъ: «ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей Богу, хороши! на меду! сама пекла!»

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста, кричала: «Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!»

«Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная — и носъ нехорошій, и руки нечистыя...»

Но философовъ и богослововъ онѣ боялись задѣвать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притомъ цѣлою горстью.

При приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однакоже, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разноголосными жужжаніями: аудиторы выслушивали своихъ учениковъ; звонкій дискантъ грамматика падалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: «бу, бу, бу, бу»... Аудиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквы.

Когда вся эта ученая толпа успѣвала придти нѣсколько ранѣе, или когда знали, что профессора будутъ позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всѣ, даже и цензора, обязанные смотрѣть за порядкомъ и нравственностью всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно рѣшали, какъ происходитъ битвѣ: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться на двѣ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ случаѣ, грамматики начинали прежде

всѣхъ, и какъ только вмѣшивались риторы, они уже бѣжали прочь и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а, наконецъ, и богословія въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тѣмъ, что богословія побивала всѣхъ, и философія, почесывая бока, была тѣсна въ классъ и помѣщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ



бояхъ, въ одну минуту, по разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ, и въ то время, когда онъ сѣкъ розгами по пальцамъ риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлывалъ деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выраженію профессора богословія, отсыпалось по мѣркѣ *крупнаго гороху*, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случаѣ всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало

чѣмъ пониже кievской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное.



Весь этотъ ученый народъ,—какъ семинарія, такъ и бурса, которая питали какую-то наслѣдственную неприязнь между собою,—былъ чрезвычайно бѣденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерю галушекъ, было бы совершенно невозможное дѣло, и потому добротныя пожертвованія зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводительствомъ одного философа,—а иногда присоединялся и самъ,—съ мѣшками на плечахъ, опустошать чужіе огороды—и въ бурсѣ появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день аудиторы слышали отъ нихъ, вмѣсто одного, два урока: одинъ происходилъ изъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ. Бурса и семинарія носили какія-то длинныя подобія сюртуковъ, простирившихся *по сіе время*: слово техническое, означавшее — далѣе пятокъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было—вакансіи: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усѣивали грамматики, философы и богословы. Кто не имѣлъ своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиціи*, то-есть брались учить или готовить дѣтей людей зажиточныхъ, и получали



за то въ годъ новые сапоги, а иногда и на сюртукъ. Вся ватага эта тянулась вмѣстѣ цѣлымъ таборомъ, варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащилъ за собою мѣшокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на плечахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ шаровары по колѣни, безстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонѣ хуторъ, тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хатѣ, выстроенной поопрятнѣе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пѣть кантъ. Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъ-поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись обѣими руками, потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женѣ: «Жинко! то, что поютъ школяры, должно-быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, что у насъ есть». И цѣлая миска варениковъ валилась въ мѣшокъ; порядочный кусъ сала, нѣсколько паляницъ, а иногда и связанная курица помѣщались вмѣстѣ. Подкрѣпившись такимъ запасомъ, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чѣмъ далѣе, однакоже, шли они, тѣмъ болѣе уменьшалась толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по домамъ и оставались тѣ, которые имѣли родительскія гнѣзда далѣе другихъ.



Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бурсака своротили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ заpastись провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобецъ.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, онъ непременно украдетъ. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напивался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Брутъ былъ права веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пилъ, то непременно нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ тропака. Онъ часто пробовалъ *крутаго гороху*, но совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не миновать.

Риторъ Тиберій Горобецъ еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носилъ только оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ Халява и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.

Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой дороги; солнце только-что сѣло, и дневная теплота оставалась еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча, куря люльки; риторъ Тиберій Горобецъ сбивалъ палкою головки съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубовъ и орѣшника, покрывавшими лугъ. Отлогости и небольшія горы, зеленые и круглые, какъ куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвавшимъ житомъ давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули хлѣбныя полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алаго сіянія.

«Чтò за чортъ!» сказалъ философъ Хома Брутъ: «сдавалось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ».

Богословъ помолчалъ, поглядѣлъ по окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали путь.

«Ей Богу!» сказалъ опять, остановившись, философъ: «ни чортова кулака не видно».

«А, можетъ-быть, далѣе и попадется какой-нибудь хуторъ», сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тѣмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшія тучи усилили мрачность и, судя по всѣмъ примѣтамъ, нельзя было ожидать ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бурсаки замѣтили, что они сбились съ пути и давно шли не по дорогѣ.

Философъ, пошаривши ногами во всѣ стороны, сказалъ, наконецъ, отрывисто: «А гдѣ же дорога?»

Богословъ помолчалъ и, надумавшись, промолвилъ: «Да, ночь темная».

Риторъ отошелъ въ сторону и старался ползкомъ нащупать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы. Вездѣ была одна степь, по которой, казалось, никто не ѣздилъ.









Путешественники еще сдѣлали усиліе пройти нѣсколько впередъ, но вездѣ была та же дичь. Философъ попробовалъ перекликнуться, но голосъ его совершенно заглохъ по сторонамъ и не встрѣтилъ никакого отвѣта. Нѣсколько спустя только слышалось слабое стenanіe, похожее на волчій вой.

«Вишь! что тутъ дѣлать?» сказалъ философъ.

«А что? оставаться и заночевать въ полѣ!» сказалъ богословъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: онъ всегда имѣлъ обыкновеніе упрятать на ночь полпудовую краюху хлѣба и фунта четыре сала, и чувствовалъ на этотъ разъ въ желудкѣ своемъ какое-то несносное одиночество. Притомъ, несмотря на веселый нравъ свой, философъ боялся нѣсколько волковъ.

«Нѣтъ, Халява, не можно», сказалъ онъ. «Какъ же, не подкрѣпивъ себя ничѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ собака? Попробуемъ еще: можетъ-быть, набредемъ на какое-нибудь жильe, и хоть чарку горѣлки удастся выпить на ночь».

При словѣ «горѣлка», богословъ сплюнулъ въ сторону и примолвилъ: «Оно, конечно, въ полѣ оставаться нечего».

Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ, въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой стороны, они отправились бодрѣе и, немного пройдя, увидѣли огонекъ.

«Хуторъ! Ей Богу, хуторъ!» сказалъ философъ.

Предположенія его не обманули: черезъ нѣсколько времени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, состоявшій изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ же дворѣ. Въ окнахъ свѣтился огонь; десятокъ сливныхъ деревьевъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя досчатые ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чумацкими возами. Звѣзды кое-гдѣ глянули въ это время на небѣ.

«Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!»

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали:

«Отвори!»

Дверь въ одной хатѣ закрипѣла, и, минутою спустя, бурсаки увидѣли передъ собою старуху въ нагольномъ тулупѣ.

«Кто тамъ?» закричала она, глухо кашляя.

«Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ».

«А что вы за народъ?»

«Да народъ необидчивый: богословъ Халява, философъ Бругъ и риторъ Горобецъ».

«Не можно», проворчала старуха: «у меня народу полонъ дворъ, и всѣ углы въ хатѣ заняты. Куда я васъ дѣну? Да еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и хата развалится, когда помѣщу такихъ. Я знаю этихъ философовъ и богослововъ: если такихъ пьяницъ начнешь принимать, то и двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъ вамъ нѣтъ мѣста».

«Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіанскія души пропали ни за что, ни про что? Гдѣ хочешь, помѣсти насъ; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того, или какое другое что сдѣлаемъ,—то пусть намъ и руки отсохнутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ — вотъ что!»

Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», сказала она, какъ бы размышляя: «я впущу васъ, только положу всѣхъ въ разныхъ мѣстахъ: а то у меня не будетъ спокойно на сердцѣ, когда будете лежать вмѣстѣ».

«На то твоя воля; не будемъ прекословить», отвѣчали бурсаки.

Ворота закрипѣли, и они вошли на дворъ.

«А что, бабуся», сказалъ философъ, идя за старухой: «если бы такъ, какъ говорятъ... Ей Богу, въ животѣ какъ будто кто колесами сталъ ѣздить: съ самаго утра вотъ хоть бы щепка была во рту».

«Вишь, чего захотѣлъ!» сказала старуха: «нѣтъ, у меня нѣтъ ничего такого, и печь не топилась сегодня».

«А мы бы уже за все это», продолжалъ философъ: расплатились бы завтра, какъ слѣдуетъ — чистаганомъ. Да!» продолжалъ онъ тихо: «чорта съ два получишь ты что-нибудь!»

«Ступайте, ступайте! и будьте довольны тѣмъ, что даютъ вамъ. Вотъ чортъ принесъ какихъ нѣжныхъ паничей!»

Философъ Хома пришелъ въ совершенное уныніе отъ такихъ словъ; но вдругъ носъ его почувствовалъ запахъ сушеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчалъ преогромный рыбій хвостъ: богословъ уже успѣлъ подтибритъ съ воза цѣлаго карася. И такъ какъ онъ это производилъ не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по привычкѣ, и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже разглядывалъ, что бы такое стянуть другое, не имѣя намѣренія пропустить даже изломаннаго колеса, — то философъ Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный, и вытащилъ карася.

Старуха размѣстила бурсаковъ: риторка положила въ хатѣ, богослова заперла въ пустую комору, философу отвела тоже пустой овечій хлѣвъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту съѣлъ карася, осмотрѣлъ плетенныя стѣны хлѣва, толкнулъ ногою въ морду просунувшуюся



изъ другого хлѣва любопытную свинью и повернулся на правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки. Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла въ хлѣвъ.

«А что, бабуся, чего тебѣ нужно?» сказалъ философъ.

Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми руками.

«Эге, ге!» подумалъ философъ. «Только нѣтъ, голубушка, устарѣла!»

Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемоніи, опять подошла къ нему.



«Слушай, бабуся!» сказалъ философъ: «теперь постъ; а я такой человѣкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу оскоромиться».

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сдѣлалось страшно, особливо, когда онъ замѣтилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. «Бабуся! что ты? Ступай, ступай себѣ съ Богомъ!» закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣреніемъ бѣжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила въ него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотѣлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замѣтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что даже голосъ не звучалъ изъ устъ его; слова безъ звука шевселились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видѣлъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться и схватилъ обѣими руками себя за колѣни, желая удержать ноги; но онѣ, къ величайшему изумленію его, подымались противъ воли и производили скачки быстрѣ черкесскаго бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ, и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, какъ уголь, лѣсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себѣ: «Эге, да это вѣдьма!»

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтлѣлъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, долины — все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовалъ какое-то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мѣрѣ онъ видѣлъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмѣстѣ съ сидѣвшею на спинѣ старухою. Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему — и вотъ ее лицо, съ глазами, свѣтлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опрокинулась на спину — и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, не покрытый глазурью, просвѣчивали предъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой, эластически-нѣжной окружности. Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала ихъ. Она вся дрожить и смѣется въ водѣ...

Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ чтò? вѣтеръ или музыка? звенить, звенить и









вьется, и подступаетъ, и вонзается въ душу какою-то нестерпимою трелію...

«Что̀ это?» думалъ философъ Хома Бруть, глядя внизъ, несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслажденіе. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, какія только



зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ заклія противъ духовъ, и вдругъ почувствовалъ какое-то освѣженіе; чувствовалъ, что шагъ его начиналъ становиться лѣнливѣе, вѣдьма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небѣ.

«Хорошо же!» подумалъ про себя философъ Хома и началъ почти вслухъ произносить заклія. Наконецъ, съ быстротою молніи, выпрыгнулъ изъ-подъ старухи и вскочилъ, въ свою очередь, къ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побѣжала такъ быстро, что всадникъ едва могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свѣтѣ; долины были

гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшес на дорогѣ полѣно и началъ имъ со всѣхъ



силъ колотить старуху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающе, потомъ становились слабѣе, пріятнѣе, чище, и потомъ уже тихо, едва звенѣли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головѣ мысль:



точно ли это старуха? «Охъ, не могу больше!» произнесла она въ изнеможеніи и упала на землю.

Онъ сталъ на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ загорался, и блестя золотыя главы вдали кіевскихъ церквей); передъ нимъ лежала красавица съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно отбросила она на обѣ стороны бѣлыя нагія руки и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Затрепеталъ, какъ древесный листъ, Хома; жалость и какое-то странное волненіе, и робость, невѣдомыя ему самому, овладѣли имъ. Онъ пустился бѣжать во весь духъ. Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ не могъ онъ истолковать себѣ, что за странное, новое чувство имъ овладѣло. Онъ уже не хотѣлъ болѣе итти на хутора и спѣшилъ въ Кіевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ происшествіи.



Бурсаковъ почти никого не было въ городѣ: всѣ разбрелись по хуторамъ, или на кондиціи, или, просто, безъ всякихъ кондицій, потому что по хуторамъ малороссійскимъ можно ѣсть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною въ шляпу, не заплативъ гроша денегъ. Большая, разѣхавшаяся хата, въ которой помѣщалась бурса, была рѣшительно пуста, и сколько философъ ни шарилъ во всѣхъ углахъ и даже ощупалъ всѣ дыры и западни въ крышѣ, но нигдѣ не отыскалъ ни куска сала или, по крайней мѣрѣ, стараго книша, что, по обыкновенію, прячется было бурсаками.

Однакоже философъ скоро сыскался, какъ поправить свое горе: онъ прошелъ, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самомъ концѣ съ какою-то молодою вдовою въ желтомъ очипкѣ, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса,—былъ въ тотъ же день накормленъ пшеничными варениками, курицею... и словомъ — перечестъ нельзя, что у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, среди вишневаго сада. Въ тотъ же самый вечеръ видѣли философа

въ корчмѣ; онъ лежалъ на лавкѣ, покуривая, по обыкновенію своему, люльку, и при всѣхъ бросилъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла кружка. Онъ глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествіи.

Между тѣмъ распространились вездѣ слухи, что дочь одного изъ богатѣйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ находился въ пятидесяти вер-



стахъ отъ Кіева, возвратилась въ одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имѣвшая силы добрестъ до отцовскаго дома, находится при смерти и передъ смертнымъ часомъ изъявила желаніе, чтобы отходную по ней и молитвы, въ продолженіе трехъ дней послѣ смерти, читалъ одинъ изъ кіевскихъ семинаристовъ: Хома Брутъ. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора, который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спѣшилъ въ дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за нимъ нарочно людей и возокъ.



Философъ вздрогнулъ по какому-то безотчетному чувству, котораго онъ самъ не могъ растолковать себѣ. Темное предчувствіе говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе. Самъ не зная почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не поѣдетъ.

«Послушай, domine Хома!» сказалъ ректоръ (онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ объяснялся очень вѣжливо со своими подчиненными): «тебя никакой чортъ и не спрашиваетъ о томъ, хочешь ли ты ѣхать, или не хочешь. Я тебѣ скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебя по спинѣ и по прочему такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не нужно будетъ ходить».

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря ни слова, располагая при первомъ удобномъ случаѣ возложить надежду на свои ноги. Въ раздумьи сходилъ онъ съ крутой лѣстницы, приводившей на дворъ, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голосъ ректора, дававшего приказанія своему ключнику и еще кому-то, — вѣроятно, одному изъ посланныхъ за нимъ отъ сотника.

«Благодари пана за крупу и яйца», говорилъ ректоръ: «и скажи, что какъ только будутъ готовы тѣ книги, о которыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдалъ ихъ уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случаѣ прислалъ бы: здѣсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ, дай молодцамъ по чаркѣ горѣлки; да философа привязать, а не то — какъ разъ удеретъ».

«Вишь, чортовъ сынъ!» подумалъ про себя философъ: «пронюхалъ, длинноногій вьюнъ!»

Онъ сошелъ внизъ и увидѣлъ кибитку, которую принялъ было сначала за хлѣбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ дѣлѣ, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій экипажъ, въ какомъ жида полсотнею отправляются вмѣстѣ съ товарами во всѣ города, гдѣ только слышитъ ихъ ность ярмарку. Его ожидало человѣкъ шесть здоровыхъ и крѣпкихъ козаковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свитки изъ тонкаго сукна, съ ки-





стями, показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владѣльцу; небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войнѣ не безъ славы.

«Что-жъ дѣлать?» Чему быть, тому не миновать!» подумалъ про себя философъ и, обратившись къ козакамъ, произнесъ громко: «Здравствуйте, братья товарищи!»

«Будь здоровъ, панъ философъ!» отвѣчали нѣкоторые изъ козаковъ.

«Такъ вотъ это мнѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? А брика знатная!» продолжалъ онъ, влѣзая. «Тутъ бы только нанять музыкантовъ, то и танцовать можно».

«Да, соразмѣрный экипажъ!» сказалъ одинъ изъ козаковъ, сядя на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпицею, вмѣсто шапки, которую онъ успѣлъ оставить въ шинкѣ. Другіе пять вмѣстѣ съ философомъ полѣзли въ углубленіе и расположились на мѣшкахъ, наполненныхъ разною закупкою, сдѣланною въ городѣ.

«Любопытно бы знать», сказалъ философъ: «если бы, примѣромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ,—положимъ солью или желѣзными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней!»

«Да», сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій на облучкѣ козакъ: «достаточное бы число потребовалось коней».

Послѣ такого удовлетворительнаго отвѣта козакъ почиталъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотѣлось узнать обстоятельнѣе, кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, что слышно о его дочкѣ, которая такимъ необыкновеннымъ образомъ возвратилась домой и находилась при смерти, и которой исторія связалась теперь съ его собственною, какъ у нихъ и что дѣлается въ домѣ. Онъ обращался къ нимъ съ вопросами; но козаки, вѣрно, были тоже философы, потому что, въ отвѣтъ на это, молчали и курили люльки, лежа на мѣшкахъ.

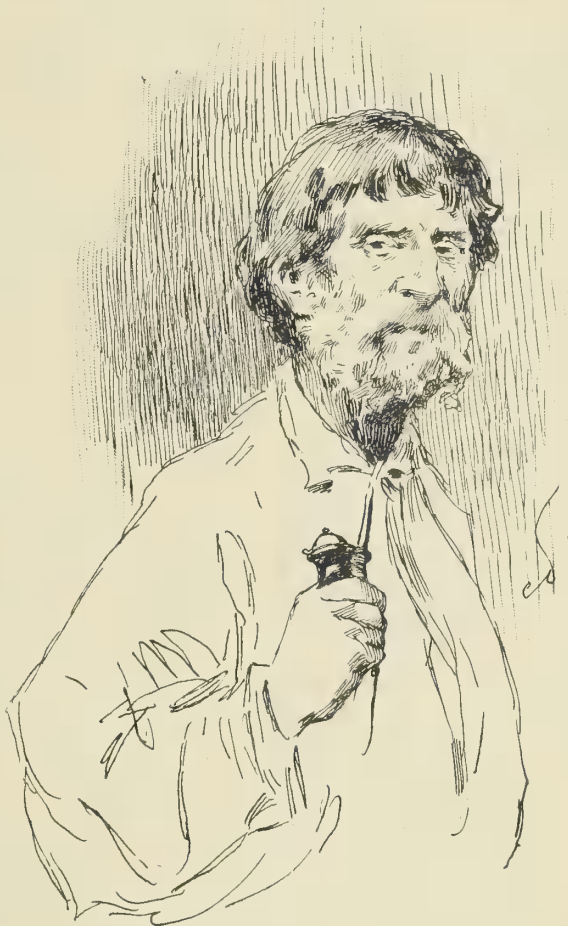
Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидѣвшему на козлахъ возницѣ съ коротенькимъ приказаніемъ: «Смотри, Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подѣзжать къ шинку, что на чухрайловской



дорогѣ, то не позабудь остановиться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому случится заснуть».

Послѣ этого онъ заснулъ довольно громко. Впрочемъ, эти наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва только приблизилась исполинская брика къ шинку на чухрайловской дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закричали: «Стой!» Притомъ лошади Оверка были такъ уже приучены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Несмотря на жаркій іюльскій день, всѣ вышли изъ брики, отправились въ низенькую, запачканную комнату, гдѣ жидъ-корчмарь, съ знаками радости, бросился принимать своихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ принесъ подъ полою нѣсколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тотчасъ отворотился отъ этого запрященного талмудомъ плода. Всѣ усѣлись вокругъ стола; глиняныя кружки показались предъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ участвовать въ общей пирушкѣ. И такъ какъ малороссіяне, когда подгуляютъ, непременно начнутъ цѣловаться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. «А ну, Спиридъ, почеломкаемся!»—«Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя!»



Одинъ козакъ, бывший постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ одинъ на свѣтѣ. Другой былъ большой резонеръ и безпрестанно утѣшалъ его, говоря: «Не плачь; ей Богу, не плачь! чтò жъ тутъ?.. Ужъ Богъ знаетъ, какъ и чтò такое». Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу Хомѣ, безпрестанно спрашивалъ его: «Я хотѣлъ бы знать, чему у васъ въ бурсѣ учатъ: тому ли самому, чтò и дякъ читаетъ въ церкви, или чему другому?»

«Не спрашивай!» говорилъ протяжно резонеръ: «пусть его тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно; Богъ все знаетъ».

«Иѣтъ, я хочу знать», говорилъ Дорошъ: «что тамъ написано въ тѣхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсѣмъ другое, чѣмъ у дьяка».

«О Боже мой, Боже мой!» говорилъ этотъ почтенный наставникъ: «и на что такое говорить? Такъ уже воля Божія положила. Уже что Богъ далъ, того не можно перемѣнить».

«Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду въ бурсу, ей Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь?—Всему выучусь, всему!»

«О, Боже-жъ мой, Боже мой!..» говорилъ утѣшитель и спустилъ свою голову на столъ, потому что совершенно былъ не въ силахъ держать ее долѣе на плечахъ. Прочіе козаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небѣ свѣтитъ мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположеніе головъ, рѣшился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился къ сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: «Что-жъ ты, дядько, расплакался?» сказалъ онъ: «я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вамъ?»

«Пустимъ его на волю!» отозвались нѣкоторые: «вѣдь онъ сирота; пусть себѣ идетъ, куда хочетъ».

«О, Боже-жъ мой! Боже мой!» произнесъ утѣшитель, поднявъ свою голову: «отпустите его! Пусть идетъ себѣ!»

И козаки уже хотѣли сами вывести его въ чистое поле; но тотъ, который показалъ свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: «Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...»



Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ-за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревянными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Только ввечеру вся эта компанія вспомнила, что нужно отправляться далѣе въ дорогу. Взмостившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей и напѣвая пѣсню, которой слова и смыслъ врядъ ли бы кто разобралъ. Проколесивши большую половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ дороги, выученной наизусть, они, наконецъ, спустились съ крутой горы въ долину, и философъ замѣтилъ по сторонамъ тянувшійся частоколъ или плетень, съ низенькими деревьями и выказывавшимися изъ-за нихъ крышами. Это было большое селеніе, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькія звѣздочки мелькали кое-гдѣ. Ни въ одной хатѣ не видно было огня.



Они взѣхали, въ сопровожденіи собачьго лая, на дворъ. Съ обѣихъ сторонъ были замѣтны крытые соломой сараи и домики; одинъ изъ нихъ, находившійся какъ разъ посерединѣ противъ воротъ, былъ болѣе другихъ и служилъ, какъ казалось, пребываніемъ сотника. Брига остановилась передъ небольшимъ подобіемъ сарая, и путешественники наши отправились спать. Философъ хотѣлъ, однакоже, нѣсколько осмотрѣть снаружи панскія хоромы; но, какъ онъ ни пялилъ свои глаза, ничто не могло означиться въ ясномъ видѣ: вмѣсто дома представлялся ему медвѣдь; изъ трубы дѣлался ректоръ. Философъ махнулъ рукою и пошелъ спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ движеніи: въ ночь умерла панночка. Слуги бѣгали впопыхахъ взадъ и впередъ; старухи нѣкоторыя плакали; толпа любопытныхъ глядѣла сквозь заборъ на панскій дворъ, какъ будто бы могла что-нибудь увидѣть. Философъ началъ на досугъ осматривать тѣ мѣста, которыя онъ не могъ разглядѣть ночью. Панскій домъ былъ низенькое небольшое строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Малороссіи; онъ былъ покрытъ соломой; маленькій, острый и высокій фронтонъ съ окошкомъ, похожимъ на поднятый кверху глазъ, былъ весь измалеванъ голубыми и желтыми цвѣтами и красными полумѣсяцами; онъ былъ утвержденъ на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ, и снизу шестигранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этимъ фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками по обѣимъ сторонамъ. Съ боковъ дома были навѣсы на такихъ же столбикахъ, индѣ витыхъ. Высокая груша съ пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленѣла передъ домомъ. Нѣсколько амбаровъ въ два ряда стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведущей къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треугольниками два погреба, одинъ напротивъ другого, крытые также соломой. Треугольная стѣна каждого изъ нихъ была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображеніями. На одной изъ нихъ нарисованъ былъ сидящій на бочкѣ козакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: «Все выпью!» На другой фляжка, сулей и по сторонамъ, для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино—козацкая потѣха». Съ чердака одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое окно, барабанъ и мѣдныя трубы. У воротъ стояли двѣ пушки. Все показывало, что хозяинъ дома любилъ повеселиться, и дворъ часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились двѣ вѣтряныя мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки деревъ видны были однѣ только темныя шляпки трубъ скрывавшихся въ зеленой гущѣ хатъ. Все селеніе помѣщалось на широкомъ и ровномъ уступѣ горы. Съ сѣверной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взглядѣ на нее

снизу, она казалась еще круче, и на высокой верхушкѣ ея торчали кое-гдѣ неправильные стебли тощаго бурьяна и чернѣли на свѣтломъ небѣ; обнаженный глинистый видъ ея навѣвалъ какое-то уныніе; она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутомъ косо-горѣ ея въ двухъ мѣстахъ торчали двѣ хаты; надъ одною изъ нихъ раскидывала вѣтви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими колыями съ насыпною землею. Яблоки, сбиваемыя вѣтромъ, скатывались въ самый панскій дворъ. Съ вершины вилась по всей горѣ дорога и, опустившись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ измѣрилъ страшную круть ея и вспомнилъ вчерашнее путешествіе, то рѣшилъ, что или у пана были слишкомъ умныя лошади, или у казаковъ слишкомъ крѣпкія головы, когда и въ хмельномъ чаду умѣли не полетѣть вверхъ ногами вмѣстѣ съ неизмѣримою брикой и багажомъ. Философъ стоялъ на высшемъ въ дворѣ мѣстѣ, и, когда оборотился и глянулъ въ противоположную сторону, ему представился совершенно другой видъ. Селеніе вмѣстѣ съ отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень ихъ темнѣла по мѣрѣ отдаленія, и цѣлые ряды селеній синѣли вдали, хотя разстояніе ихъ было болѣе, нежели на двадцать верстъ. Съ правой стороны этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замѣтною вдали полосой горѣлъ и темнѣлъ Днѣпръ.

«Эхъ, славное мѣсто!» сказалъ философъ: «вотъ тутъ бы жить, ловить рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охотиться съ тенетами или съ ружьемъ за стрепетами и крольшнепами! Впрочемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. Фруктовъ же можно засушить и продать въ городъ множество или, еще лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что водка изъ фруктовъ ни съ какимъ пѣнникомъ не сравнится. Да не мѣшаетъ подумать и о томъ, какъ бы улизнуть отсюда».

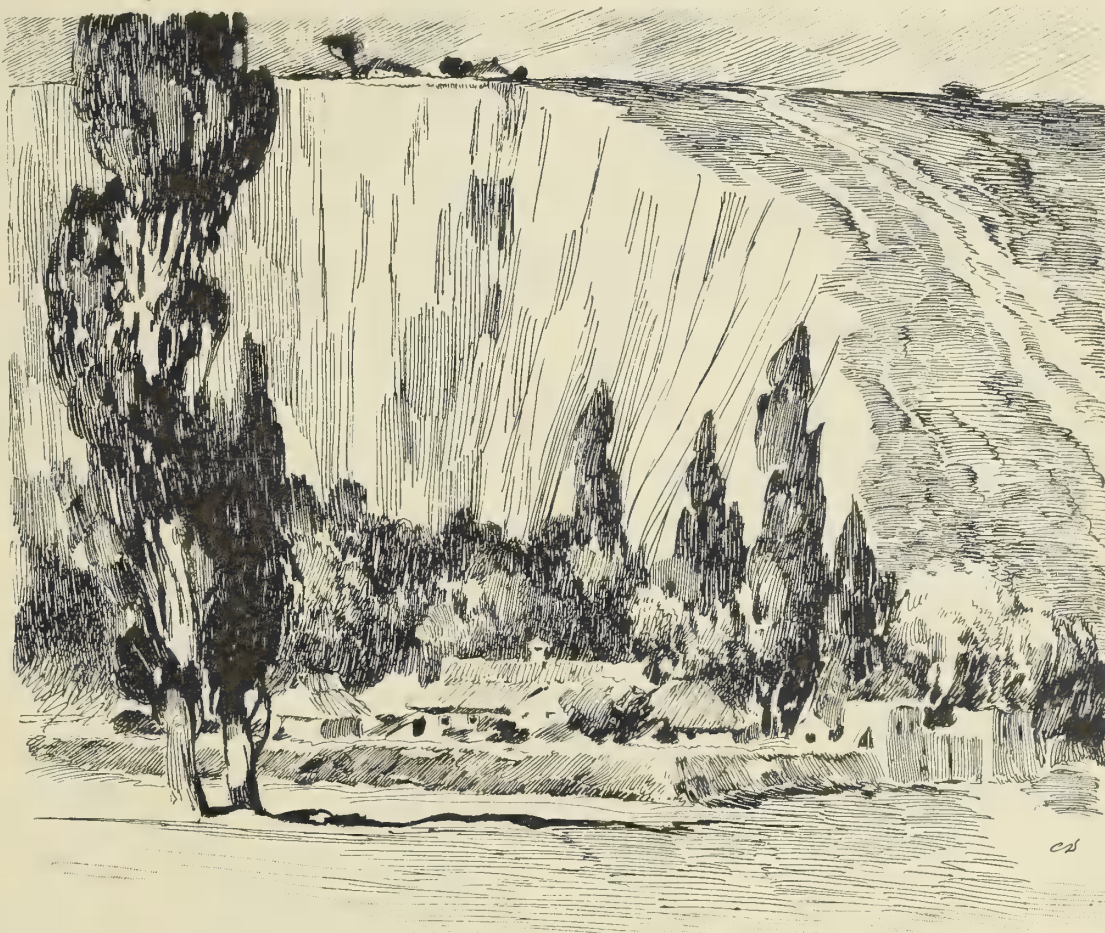
Онъ примѣтилъ за плетнемъ маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставилъ машинально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться, а потомъ тихомолкомъ, промежъ хатами, да и махнуть въ поле, какъ внезапно почувствовалъ на своемъ плечѣ довольно крѣпкую руку.

Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который вчера такъ горько соболѣзновалъ о смерти отца и матери и о своемъ одиночествѣ.

«Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ хутора!» говорилъ онъ: «тутъ не такое заведеніе, чтобы можно было убѣжать; да и дороги для пѣшехода плохи; а ступай лучше къ пану: онъ ожидаетъ тебя давно въ свѣтлицѣ».

«Пойдемъ! Чтò-жъ... я съ удовольствіемъ», сказалъ философъ, и отправился вслѣдъ за козакомъ.

Сотникъ, уже престарѣлый, съ сѣдыми усами и съ выраженіемъ мрачной грусти, сидѣлъ передъ столомъ въ свѣтлицѣ, подперши обѣими руками голову. Ему было около пятидесяти лѣтъ; но глубокое уныніе на лицѣ и какой-то блѣдно-тощій цвѣтъ показывали, что душа его была убита и разрушена вдругъ въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навѣки. Когда взошелъ Хома вмѣстѣ съ старымъ



козакомъ, онъ отнялъ одну руку и слегка кивнулъ головою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и козакъ почтительно остановились у дверей.

«Кто ты, и откуда, и какого званія, добрый человѣкъ?» сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.

«Изъ бурсаковъ, философъ Хома Брутъ...»

«А кто былъ твой отецъ?»

«Не знаю, вельможный панъ».

«А мать твоя?»



«И матери не знаю. По здоровому разсужденію, конечно, была мать; но кто она и откуда, и когда жила,—ей Богу, добродію, не знаю».

Старикъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ задумчивости. «Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?»

«Не знакомился, вельможный панъ; ей Богу, не знакомился! Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго!»

«Отчего же она не другому кому, а тебѣ именно назначила читать?»

Философъ пожалъ плечами: «Богъ его знаетъ, какъ это растолковать. Извѣстное уже дѣло, что панамъ подчасъ захочется такого, что и самый наиграмотнѣйшій человѣкъ не разберетъ; и пословица говоритъ: «Скачи, враже, якъ панъ каже».

«Да не врешь ли ты, панъ философъ?»

«Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть громомъ такъ и хлопнетъ, если лгу».

«Если бы только минуточкой долѣе прожила ты», грустно сказалъ сотникъ: «то, вѣрно бы, я узналъ все. «Никому не давай читать по мнѣ, но пошли, тату, сей же часъ въ кievскую семинарію и привези бурсака Хому Брута; пусть три ночи молится по грѣшной душѣ моей. Онъ знаетъ...» А чтó такое знаетъ, я уже не услышалъ: она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человѣкъ, вѣрно, извѣстенъ святою жизнію своею и богоугодными дѣлами, и она, можетъ-быть, наслышалась о тебѣ».

«Кто? Я?» сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумленія. «Я святой жизни?» произнесъ онъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза сотнику. «Богъ съ вами, панъ! Чтó вы это говорите! Да я,—хоть оно непристойно сказать,—ходилъ къ булочницѣ противъ самага страстного четверга».

«Ну... вѣрно, уже не даромъ такъ назначено. Ты долженъ съ сего же дня начать свое дѣло».

«Я бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно, всякій человѣкъ, вразумленный святому писанію, можетъ по соразмѣрности... только сюда приличнѣе бы требовалось дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка. Они народъ толковый и знаютъ, какъ все это уже дѣлается; а я... Да у меня и голосъ не такой, и самъ я—чортъ знаетъ чтó. Никакого виду съ меня нѣтъ».

«Ужъ какъ ты себѣ хочешь, только я все, чтó завѣщала мнѣ моя голубка, исполню, ничего не пожалѣя. И когда ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ слѣдуетъ, надъ нею молитвы, то я награжу тебя; а не то—и самому чорту не совѣтую разсердить меня».

Послѣднія слова произнесены были сотникомъ такъ крѣпко, что философъ понялъ вполнѣ ихъ значеніе.

«Ступай за мною!» сказалъ сотникъ.







Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ другую свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Философъ остановился на минуту въ сѣняхъ высморкаться и съ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ переступилъ черезъ порогъ.

Весь полъ былъ устланъ красной китайкой. Въ углу, подъ образами, на высокомъ столѣ, лежало тѣло умершей, на одѣялѣ изъ синяго бархата, убранномъ золотою бахромою и кистями. Высокія восковыя свѣчи, увитыя калиною, стояли въ ногахъ и въ головахъ, изливая свой мутный, терявшійся въ дневномъ сіяніи, свѣтъ. Лицо умершей было заслонено отъ него неутѣшнымъ отцомъ, который сидѣлъ передъ нею, обратясь спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, которыя онъ услышалъ:

«Я не о томъ жалѣю, моя наимилѣйшая мнѣ дочь, что ты во цвѣтѣхъ лѣтъ своихъ, не доживъ положеннаго вѣка, на печаль и горестъ мнѣ, оставила землю; я о томъ жалѣю, моя голубонька, что не знаю того, кто былъ, лютый врагъ мой, причиною твоей смерти. И если бы я зналъ, кто могъ подумать только оскорбить тебя, или хотъ бы сказалъ что-нибудь непріятное о тебѣ, то, клянусь Богомъ, не увидѣлъ бы онъ больше своихъ дѣтей, если онъ такъ же старъ, какъ и я, ни своего отца и матери, если только онъ еще на порѣ лѣтъ, и тѣло его было бы выброшено на сѣденіе птицамъ и звѣрямъ степнымъ! Но горе мнѣ, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что переживу я остальной вѣкъ свой безъ потѣхи, утирая полою дробныя слезы, текущія изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будетъ веселиться и втайнѣ посмѣиваться надъ хилымъ старцемъ...»

Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая горестъ, разрѣшившаяся цѣлымъ потокомъ слезъ.

Философъ былъ тронутъ такою безутѣшною печалью; онъ закашлялъ и издалъ глухое крехтаніе, желая очистить имъ свой голосъ.

Сотникъ оборотился и указалъ ему мѣсто въ головахъ умершей, передъ небольшимъ налоемъ, на которомъ лежали книги.

«Три ночи какъ-нибудь отработаю», подумалъ философъ: «зато панъ набьетъ мнѣ оба кармана чистыми червонцами».

Онъ приблизился и, еще разъ откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого вниманія на сторону и не рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Онъ замѣтилъ, что сотникъ вышелъ. Медленно поворотилъ онъ голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ: передъ нимъ лежала красавица, какая когда-либо бывала на землѣ. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая; чело прекрасное, нѣжное, какъ

снѣгъ, какъ серебро, казалось, мыслило; брови—ночь среди солнечного дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами; а рѣсницы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста—рубины, готовые усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потопомъ радости... Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзненно ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружившейся толпы запѣлъ кто-нибудь пѣсню похоронную. Рубины устъ ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно-знакомое показалось въ лицѣ ея. «Вѣдьма!» вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отверлъ глаза въ сторону, поблѣднѣлъ весь и сталъ читать свои молитвы. Эта была та самая вѣдьма, которую убилъ онъ!

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживалъ черный траурный гробъ и чувствовалъ на плечѣ своемъ что-то холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся рукою правую сторону тѣснаго дома умершей. Церковь деревянная, почернѣвшая, убранная зеленымъ мохомъ, съ тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Замѣтно было, что въ ней давно уже не отправлялось никакого служенія. Свѣчи были зажжены почти передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили посерединѣ, противъ самага алтаря. Старый сотникъ поцѣловалъ еще разъ умершую, повергнулся ницъ и вышелъ вмѣстѣ съ носильщиками вонъ, давъ повелѣніе хорошенько накормить философа и послѣ ужина проводить его въ церковь. Пришедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать руки къ печкѣ, что обыкновенно дѣлаютъ малороссіяне, увидѣвши мертвеца.

Голодъ, который въ это время началъ чувствовать философъ, заставилъ его на нѣсколько минутъ позабыть вовсе объ умершей. Скоро вся дворня мало-по-малу начала сходиться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то похожее на клубъ, куда стекалось все, что ни обитало во дворѣ, считая въ это число и собакъ, приходившихъ съ машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и помоями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы то ни было надобности, онъ всегда прежде заходилъ на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкѣ и выкурить люльку. Всѣ холостяки, жившіе въ домѣ, щеголявшіе въ козацкихъ свиткахъ, лежали здѣсь почти цѣлый день на лавкѣ, подъ лавкою, на печкѣ—однимъ словомъ, гдѣ только можно было сыскать удобное мѣсто для лежанья. Притомъ всякій вѣчно позабывалъ въ кухнѣ или шапку, или кнутъ для чужихъ собакъ, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собраніе бывало во время ужина, когда приходилъ и табунщикъ, успѣвшій загнать своихъ

лошадей въ загонъ, и погонщикъ, приводившій коровъ для дойки, и всѣ тѣ, которыхъ въ теченіе дня нельзя было увидѣть. За ужиномъ болтовня овладѣвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка. Тутъ было множество бонмотистовъ, въ которыхъ между малороссіянами нѣтъ недостатка.

Философъ усѣлся вмѣстѣ съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздухѣ, передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ красномъ очипкѣ высунулась изъ дверей, держа въ обѣихъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынулъ изъ кармана своего деревянную ложку; иные, за неимѣніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста стали двигаться немного медленнѣе, и волчій голодъ всего этого собранія немного утишился, многіе начали заговаривать. Разговоръ, естественно, долженъ былъ обратиться къ умершей.

«Правда — ли», сказалъ одинъ молодой овчаръ, который насадилъ на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговицъ и мѣдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку мелкой торговли: «правда ли, что панночка, не тѣмъ будь помянута, зналась съ нечистымъ?»

«Кто? Панночка?» сказалъ Дорошъ, уже знакомый прежде нашему философу: «да она была цѣлая вѣдьма! Я присягну, что вѣдьма!»

«Полно, полно, Дорошъ», сказалъ другой, который во время дороги изъявлялъ большую готовность утѣшать: «это не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толковать». — Но Дорошъ вовсе не былъ расположенъ молчать; онъ только-что передъ тѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣстѣ съ ключникомъ по какому-то нужному дѣлу и, на-





клопавшись раза два къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ оттуда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

«Что ты хочешь? Чтобы я молчалъ?» сказалъ онъ: «да она на мнѣ самомъ ѣздила! Ей Богу, ѣздила!»

«А что, дядько?» сказалъ молодой овчаръ съ пуговицами: «можно ли узнать по какимъ-нибудь примѣтамъ вѣдьму?»

«Нельзя», отвѣчалъ Дорошъ: «никакъ не узнаешь; хоть всѣ псалтыри перечитай, то не узнаешь».

«Можно, можно, Дорошъ: не говори этого», произнесъ прежній утѣшитель: «уже Богъ не даромъ далъ всякому особый обычай: люди, знающіе науку, говорятъ, что у вѣдьмы есть маленькій хвостикъ».

«Когда стара баба, то и вѣдьма», сказалъ хладнокровно сѣдой козакъ.

«О, ужъ хороши и вы!» подхватила баба, которая подливала въ то время свѣжихъ галушекъ въ очистившійся горшокъ: «настоящіе толстые кабаны!»

Старый козакъ, котораго имя было Явтухъ, а прозваніе Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольствія, замѣтивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а погонщикъ скотины пустилъ такой густой смѣхъ, какъ будто бы два быка, ставши одинъ противъ другого, замычали разомъ.

Начавшійся разговоръ возбудилъ непреодолимое желаніе и любопытство философа узнать обстоятельнѣе про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю матерію, обратился къ сосѣду своему съ такими словами: «Я хотѣлъ спросить, почему все это сословіе, что сидитъ за ужиномъ, считаетъ панночку вѣдьмою? Что жъ, развѣ она кому-нибудь причинила зло, или извела кого-нибудь?»

«Было всякаго», отвѣчалъ одинъ изъ сидѣвшихъ, съ лицомъ гладкимъ, чрезвычайно похожимъ на лопату.

«А кто не припомнитъ псаря Микиту, или того»...

«А что жъ такое псарь Микита?» сказалъ философъ.

«Стои! я расскажу про псаря Микиту», сказалъ Дорошъ.

«Я расскажу про Микиту», отвѣчалъ табунщикъ: «потому что онъ былъ мой кумъ».

«Я расскажу про Микиту», сказалъ Спиридъ.

«Пускай, пускай Спиридъ расскажетъ!» закричала толпа.

Спиридъ началъ: «Ты, панъ философъ Хома, не зналъ Микиты. Эхъ, какой рѣдкій былъ человѣкъ! Собаку каждую онъ, бывало, такъ знаетъ, какъ родного отца. Теперешній псарь Микола, что сидитъ третьимъ за мною, и въ подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумѣетъ свое дѣло, но онъ противъ него—дрянь, помои».

«Ты хорошо рассказываешь, хорошо!» сказалъ Дорошъ, одобрительно кивнувъ головою.

Спиридъ продолжалъ: «Зайца увидить скорѣе, чѣмъ табакъ утрешь изъ носу. Бывало, свистнетъ: «а ну, Разбой! а ну, Быстрая!» а самъ на конѣ во всю прыть,—и уже рассказать нельзя, кто кого скорѣе обгонитъ: онъ ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свистнетъ вдругъ, какъ не бывало. Славный былъ псарь! Только съ недавняго времени началъ онъ заглядываться безпрестанно на панночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или уже она такъ его околдовала, только пропалъ человѣкъ, обабился совсѣмъ; сдѣлался чортъ знаетъ что, пфу! непристойно сказать».

«Хорошо», сказалъ Дорошъ.

«Какъ только панночка, бывало, взглянетъ на него, то и повода изъ рукъ пускаетъ, Разбоя зоветъ Бровкомъ, спотыкается и ни вѣсть что дѣлаетъ. Одинъ разъ панночка пришла на конюшню, гдѣ онъ чистилъ коня.—«Дай», говоритъ, «Микитка, я положу на тебя свою ножку». А онъ, дурень, и радъ тому: говоритъ, что «не только ножку, но и сама садись на меня». Панночка подняла свою ножку, и какъ увидѣлъ онъ ея нагую, полную и бѣлую ножку, то, говоритъ, чара такъ и ошеломила его. Онъ, дурень, нагнулъ спину и, схвативши обѣими руками за нагія ея ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда они ѣздили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и когда разъ пришли на конюшню, то вмѣсто его лежала только куча золы да пустое ведро; сгорѣлъ совсѣмъ, сгорѣлъ самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свѣтѣ не можно найти».

Когда Спиридъ окончилъ рассказъ свой, со всѣхъ сторонъ пошли толки о достоинствахъ бывшаго псаря.

«А про Шепчиху ты не слышалъ?» сказалъ Дорошъ, обращаясь къ Хомѣ.

«Нѣтъ».

«Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурсѣ, видно, не слишкомъ большому разуму учатъ. Ну, слушай. У насъ есть на селѣ козакъ Шептунъ, — хорошій козакъ! Онъ любитъ иногда украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хорошій козакъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шептунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шептунъ въ хатѣ, на лавкѣ; или нѣтъ: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, а Шептунъ на дворѣ...»

«И не на лавкѣ, а на полу легла Шепчиха», подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядѣлъ на нее, потомъ поглядѣлъ внизъ, потомъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ: «Когда скину съ тебя при всѣхъ исподницу, то не хорошо будетъ».

Это предостереженіе имѣло свое дѣйствіе. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила рѣчи.

Дорошъ продолжалъ: «А въ люлькѣ, висѣвшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или женскаго пола. Шепчиха лежала, а потомъ слышитъ, что за дверью скребется собака и воетъ такъ, хотъ изъ хаты бѣги. Она испугалась, ибо бабы — такой глупый народъ, что высунъ ей подъ-вечеръ изъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ въ пятки. Однакожъ думаетъ: «Дай-ка я ударю по мордѣ проклятую собаку, авось-либо перестанетъ выть» — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успѣла она немного отворить, какъ собака кинулась промежъ ногъ ея и прямо къ дѣтской люлькѣ. Шепчиха видитъ, что это уже не собака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ такомъ видѣ, какъ она ее знала, — это бы еще ничего; но вотъ вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горѣли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить изъ него кровь. Шепчиха только закричала: «Охъ лишечко!» да изъ хаты. Только видитъ, что въ сѣняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидитъ и дрожитъ глупая баба; а потомъ видитъ, что панночка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептунъ поутру вытащилъ оттуда свою жинку, всю искусанную и посинѣвшую; а на другой день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устройства и обольщенія бываютъ! Оно хотъ и панскаго помету, да все, когда вѣдьма, то вѣдьма».

Послѣ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся и засунулъ палецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ набивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. Каждый, въ свою очередь, спѣшилъ что-нибудь разсказать. Къ тому вѣдьма, въ видѣ скирды сѣна, пріѣхала къ самымъ дверямъ хаты; у другого украла шапку или трубку; у многихъ дѣвокъ на селѣ отрѣзала косу; у другихъ выпила по нѣсколько ведеръ крови.

Наконецъ, вся компанія опомнилась и увидѣла, что заболталась уже черезъ-чуръ, потому что уже на дворѣ была совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегамъ, находившимся или на кухнѣ, или въ сараяхъ, или среди двора.

«А ну, панъ Хома! теперь и намъ пора итти къ покойницѣ», сказалъ сѣдой козакъ, обратившись къ философу, и всѣ четверо, въ томъ числѣ Спиридъ и Дорошъ, отправились въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на улицѣ было великое множество и которыя со злости грызли ихъ палки.



Философъ, несмотря на то, что успѣлъ подкрѣпить себя доброю кружкою горѣлки, чувствовалъ втайнѣ подступавшую робость, по мѣрѣ того, какъ они приближались къ освѣщенной церкви. Разсказы и странныя исторіи, слышанные имъ, помогали еще болѣе дѣйствовать его вображенію. Мракъ подъ тыномъ и деревьями начиналъ рѣдѣть; мѣсто становилось обнаженнѣе. Они вступили, наконецъ, за ветхую церковную ограду въ небольшой дворикъ, за которымъ не было ни дерева, и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночнымъ мракомъ луга. Три козака взошли вмѣстѣ съ Хомою по крутой лѣстницѣ на крыльцо и вступили въ церковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ дверь, по приказанію пана.

Философъ остался одинъ. Сначала онъ зѣвнулъ, потомъ потянулся, потомъ фукнулъ въ обѣ руки и, наконецъ, уже осмотрѣлся. Посерединѣ стоялъ черный гробъ; свѣчи теплились предъ темными образами; свѣтъ отъ нихъ освѣщалъ только иконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный иконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная рѣзьба его, покрытая золотомъ, еще блестѣла однѣми только искрами: позолота въ одномъ мѣстѣ опала, въ другомъ вовсе почернѣла; лики святыхъ, совершенно потемнѣвшіе, глядѣли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрѣлся. «Что-жь?» сказалъ онъ: «чего тутъ бояться? Человѣкъ притти сюда не можетъ, а отъ мертвецовъ и выходцевъ съ того свѣта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю, то они меня и пальцемъ не тронутъ. Ничего!» повторилъ онъ, махнувъ рукою: «будемъ читать». Подходя къ клиросу, увидѣлъ онъ нѣсколько связокъ свѣчей. «Это хорошо», подумалъ философъ: «нужно освѣтить всю церковь такъ, чтобы видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмъ Божіемъ не можно люльки выкурить!»

И онъ принялся прилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ карнизамъ, наоямъ и образамъ, не жалѣя ихъ ни мало, и скоро вся церковь наполнилась свѣтомъ. Вверху только мракъ сдѣлался какъ будто сильнѣе, и мрачныя образа глядѣли угрюмѣй изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позолотой. Онъ подошелъ ко гробу, съ робостію посмотрѣлъ въ лицо умершей — и не могъ не зажмурить, нѣсколько вздрогнувши, своихъ глазъ: такая страшная, сверкающая красота!

Онъ отворотился и хотѣлъ отойти; но по странному любопытству, по странному попереживающему себѣ чувству, не оставляющему чело-вѣка, особенно во время страха, онъ не утерпѣлъ, уходя, не взглянуть на нее и, потомъ, ощутивши тотъ же трепетъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ быть, даже она не поразила бы такимъ паническимъ ужасомъ, если бы была

нѣсколько безобразнѣе. Но въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, и философу казалось, какъ будто бы она глядитъ на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ-подъ рѣсницы праваго глаза ея покатила слеза, и когда она остановилась на щекѣ, то онъ различилъ ясно, что это была капля крови.

Онъ поспѣшно отошелъ къ клиросу, развернулъ книгу и, чтобы болѣе ободрить себя, началъ читать самымъ громкимъ голосомъ. Голосъ его поразилъ церковныя деревянныя стѣны, давно молчаливыя и оглохлыя; одиноко, безъ эха, сыпался онъ густымъ басомъ въ совершенно мертвой тишинѣ и казался нѣсколько дикимъ даже самому чтецу. «Чего бояться?» думалъ онъ между тѣмъ самъ про себя: «вѣдь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побоится Божьяго слова. Пусть лежитъ! Да и чтò я за козакъ, когда бы устрашился? Ну, выпилъ лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! Хорошій табакъ!» Однакоже, перелистывая каждую страницу, онъ посматривалъ искоса на гробъ, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вотъ, вотъ встанетъ! Вотъ поднимется, вотъ выглянетъ изъ гроба!»

Но тишина была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно; свѣчи лили цѣлый потокъ свѣта. Страшна освѣщенная церковь ночью, съ мертвымъ тѣломъ и безъ души людей!

Возвыся голосъ, онъ началъ пѣть на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но чрезъ каждую минуту обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы задавая невольный вопросъ: «Чтò, если подымется, если встанетъ она?»

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звукъ, какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ углу! Чуть только слышался легкій трескъ какой-нибудь отдаленной свѣчки, или слабый, слегка хлопнувшій звукъ восковой капли, падавшей на полъ.

«Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову...

Онъ дико взглянулъ и протеръ глаза. Но она, точно, уже не лежитъ, а сидитъ въ своемъ гробѣ. Онъ отвелъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ на гробъ. Она встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ бы желая поймать кого-нибудь.

Она идетъ прямо къ нему. Въ страхѣ, очертилъ онъ около себя кругъ; съ усиліемъ началъ читать молитвы и произносить заклинанія, которымъ научилъ его одинъ монахъ, видѣвшій всю жизнь свою вѣдмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертѣ; но видно было, что не имѣла силъ переступить ее, и вся посинѣла, какъ человѣкъ уже нѣсколько







дней умершій. Хома не имѣлъ духа взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, съ бѣшенствомъ, — что выразило ея задрожавшее лицо, — обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столпъ и уголъ, стараясь поймать Хому. Наконецъ, остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въ свой гробъ.

Философъ все еще не могъ придти въ себя и со страхомъ поглядывалъ на это тѣсное жилище вѣдмы. Наконецъ, гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ началъ летать по всей церкви, крестя во всѣхъ направленіяхъ воздухъ. Философъ видѣлъ его почти надъ головою, но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга, имъ начерченнаго, и усилилъ свои заклинанія. Гробъ грянулся на серединѣ церкви и остался неподвижнымъ. Трупъ опять поднялся изъ него синій, позеленѣвшій. Но въ то время послышался отдаленный крикъ пѣтуха: трuppъ опустился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и потъ катился градомъ; но, ободренный пѣтушымъ



крикомъ, онъ дочитывалъ быстрѣе листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При первой зарѣ пришли смѣнить его дьячокъ и сѣдой Явтухъ, который на тотъ разъ отправлялъ должность церковнаго старосты.

Пришедши на отдаленный ночлегъ, философъ долго не могъ заснуть; но усталость одолѣла, и онъ проспалъ до обѣда. Когда онъ проснулся, все ночное событіе казалось ему происшедшимъ во снѣ. Ему дали, для подкрѣпленія силъ, кварту горѣлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался, присовокупилъ кое къ чему замѣчанія, и съѣлъ почти одинъ довольно большого поросенка; но однакоже о своемъ событіи въ церкви онъ не рѣшался говорить по какому-то безотчетному для него самаго чувству, и на вопросы любопытныхъ отвѣчалъ: «Да, были всякія чудеса». Философъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно сладкими глазами и непрерывно поплеывалъ въ сторону.

Послѣ обѣда философъ былъ совершенно въ духѣ. Онъ успѣлъ обходить все селеніе, перезнакомиться почти со всѣми; изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одна смазливая молодкахватила его порядочно лопатой по спинѣ, когда онъ вздумалъ было пощупать и полюбопытствовать, изъ какой матеріи у нея была сорочка и плахта. Но чѣмъ болѣе время близилось къ вечеру, тѣмъ задумчивѣе становился философъ. За часъ до ужина вся почти дворня собиралась играть въ кашу, или въ крагли, — родъ кеглей, гдѣ, вмѣсто шаровъ, употребляются длинныя палки, и выигравшій имѣетъ право проѣзжаться на другомъ верхомъ. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщикъ, широкій, какъ блинъ, взлѣзалъ верхомъ на свиного пастуха, тщедушнаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ подставлялъ свою спину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: «Экой здоровый быкъ!» У порога кухни сидѣли тѣ, которые были посоліднѣе. Они глядѣли чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь отъ души смѣялась какому-нибудь острому слову погонщика, или Спирида. Хома напрасно старался вмѣшаться въ эту игру: какая-то темная мысль, какъ гвоздь, сидѣла въ его головѣ. За вечерей сколько ни старался онъ развеселить себя, но страхъ загорался въ немъ вмѣстѣ съ тьмою, распростиравшеюся по небу.

«А ну, пора намъ, панъ бурсакъ!» сказалъ ему знакомый сѣдой козакъ, подымаясь съ мѣста вмѣстѣ съ Дорошемъ: «пойдемъ на работу».

Хому опять такимъ же самымъ образомъ отвели въ церковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. Какъ только онъ остался







одинъ, робость начала внѣдряться снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образа, блестящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій въ угрожающей тишинѣ и неподвижности среди церкви.

«Что-жъ?» произнесъ онъ: «теперь вѣдь мнѣ не въ диковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да, оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно уже не страшно; оно уже совсѣмъ не страшно».

Онъ поспѣшно сталъ на клиросъ, очертилъ около себя кругъ, произнесъ нѣсколько заклинаній и началъ читать громко, рѣшась не подымать съ книги своихъ глазъ и не обращать вниманія ни на что. Уже около часа читалъ онъ и начиналъ нѣсколько уставать и покашливать; онъ вынулъ изъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ къ носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцѣ у него захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ нимъ на самой чертѣ и вперилъ на него мертвые, позеленѣвшіе глаза. Бурсакъ содрогнулся, и холодъ чувствительно пробѣжалъ по всѣмъ жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталъ онъ читать громче свои молитвы и заклѣтья и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и замахалъ руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка однимъ глазомъ, увидѣлъ онъ, что трупъ не тамъ ловилъ его, гдѣ стоялъ онъ, и, какъ видно, не могъ видѣть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшныя слова; хрипло всхлипывали они, какъ клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не могъ бы сказать онъ, но что-то страшное въ нихъ заключалось. Философъ въ страхѣ понялъ, что она творила заклинанія.

Вѣтеръ пошелъ по церкви отъ словъ, и слышался шумъ, какъ бы отъ множества летящихъ крылъ. Онъ слышалъ, какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ желѣзныя рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по желѣзу и какъ несмѣтная сила громила въ двери и хотѣла вломиться. Сильно у него билось во все время сердце: зажмуривъ глаза, все читалъ онъ заклѣтья и молитвы. Наконецъ, вдругъ что-то засвистало вдали: это былъ отдаленный крикъ пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдохнулъ духомъ.

Вошедшіе смѣнить его нашли его едва жива; онъ оперся спиною объ стѣну и, выпуча глаза, глядѣлъ неподвижно на приходшихъ козачковъ. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панскій дворъ, онъ встряхнулся и велѣлъ себѣ подать квартиру горѣлки. Выпивши ее, онъ пригладилъ на головѣ своей волосы и сказалъ: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи такіе случаются, ну...» При этомъ философъ махнулъ рукою.

Собравшіеся вокругъ него потупили головы, услышавъ такія слова. Даже небольшой мальчишка, котораго вся дворня почитала въ правѣ



уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло шло къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этотъ бѣдный мальчишка тоже разинулъ ротъ.

Въ это время проходила мимо еще не совсѣмъ пожилая бабенка, въ плотно обтянутой запаскѣ, выказывавшейся круглый и крѣпкій станъ, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришить къ своему очипку: или кусокъ ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.



«Здравствуй, Хома!» сказала она, увидѣвъ философа. «Ай, ай, ай! что это съ тобою?» вскрикнула она, всплеснувъ руками.

«Какъ что, глупая баба?»

«Ахъ, Боже мой! да ты весь посѣдѣлъ!»

«Эге, ге! Да она правду говорить!» произнесъ Спиридъ, всматриваясь въ него пристально. «Ты, точно, посѣдѣлъ, какъ нашъ старый Явтухъ!»

Философъ услышавши это, побѣждалъ опрометью въ кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпачканный мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ которымъ были натканы незабудки, барвинки и даже гирлянда изъ нагидокъ, показывавшія назначеніе его для туалета щеголеватой кокетки. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ истину ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побѣлѣла.

Повѣсилъ голову Хома Брутъ и предался размышленію. «Пойду къ пану», сказалъ онъ, наконецъ: «разскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Кіевъ».

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу панскаго дома.

Сотникъ сидѣлъ почти неподвиженъ въ своей свѣтлицѣ. Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрѣтилъ прежде на его лицѣ, сохранялась въ немъ и донинѣ. Только щеки его опали гораздо болѣе прежняго. Замѣтно было, что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ-быть, даже вовсе не касался ея. Необыкновенная блѣдность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

«Здравствуй, небоже!» произнесъ онъ, увидѣвъ Хому, остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. «Что, какъ идетъ у тебя? Все благополучно?»

«Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несутъ».

«Какъ такъ?»

«Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она, конечно, есть панскаго роду, въ томъ никто не станетъ прекословить; только, не во гнѣвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу...»

«Что же дочка?»

«Припустила къ себѣ сатану. Такіе страхи задаетъ, что никакое писаніе не учитывается».

«Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душѣ своей и хотѣла молитвами изгнать всякое дурное помышленіе».

«Власть ваша, панъ: ей Богу, не въ могу!»

«Читай, читай!» продолжалъ тѣмъ же увѣщательнымъ голосомъ сотникъ: «тебѣ одна ночь теперь осталась; ты сдѣлаешь христіанское дѣло, и я награжу тебя».

«Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ хочь, панъ, а я не буду читать!» произнесъ Хома рѣшительно.

«Слушай, философъ!» сказалъ сотникъ, и голосъ его сдѣлался крѣпокъ и грозенъ: «я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это дѣлать въ вашей бурсѣ, а у меня не такъ: я уже какъ отдеру, такъ не то, что ректоръ. Знаешь ли ты, что такое хорошіе кожаные канчуки?»

«Какъ не знать!» сказалъ философъ, понизивъ голосъ: «всякому извѣстно, что такое кожаные канчуки: при большомъ количествѣ— вещь нестерпимая».

«Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлопцы мои умѣютъ парить!» сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирѣпое выраженіе, обнаружившее весь необузданный его характеръ, усыпленный только на время горестью. «У меня прежде выпарятъ, потомъ вспрыснутъ горѣлкойю, а послѣ опять. Ступай, ступай, исправляй свое дѣло! Не исправишь—не встанешь, а исправишь—тысяча червонныхъ!»

«Ого, го! да это хватъ!» подумалъ философъ, выходя: «съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ наострю лыжи, что ты съ своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положилъ непремѣнно бѣжать. Онъ выжидалъ только послѣобѣденнаго часу, когда вся дворня имѣла обыкновеніе забираться



въ сѣно подѣ сараями и, открывши ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское подворье дѣлалось похожимъ на фабрику.

Это время, наконецъ, настало. Даже и Явтухъ зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, откуда, ему казалось, удобнѣе и незамѣтнѣе было бѣжать въ поле. Этотъ садъ, по обыкновенію, былъ страшно запущенъ и, стало-быть, чрезвычайно способствовалъ всякому тайному предпріятію. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухомъ, просунувшими на самый верхъ свои высокіе стебли съ цѣпкими розовыми шишками. Хмель покрывалъ, какъ будто сѣтью, вершину всего этого пестраго собранія деревъ и кустарниковъ и составлялъ надъ ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую съ него вьющимися змѣями, вмѣстѣ съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, служившимъ границею сада, шелъ цѣлый лѣсъ бурьяна, въ который, казалось, никто не любопытствовалъ заглядывать, и коса разлетѣлась бы въ дребезги, если бы захотѣла коснуться лезвиемъ своимъ одеревянѣвшихъ толстыхъ стеблей его.

Когда философъ хотѣлъ перешагнуть черезъ плетень, зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала къ землѣ, какъ будто ее кто приколотилъ гвоздемъ. Когда онъ переступалъ плетень, ему, казалось, съ оглушительнымъ свистомъ трещалъ въ уши какой-то голосъ: «Куда, куда?» Философъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бѣжать, безпрестанно спотыкаясь о старые корни и давя ногами кротовъ. Онъ видѣлъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, стоило перебѣжать поле, за которымъ чернѣлъ густой терновникъ, гдѣ онъ считалъ себя безопаснымъ, и, пройдя который, онъ, по предположенію своему, думалъ встрѣтить дорогу прямо въ Кіевъ. Поле онъ перебѣжалъ вдругъ и очутился въ густомъ терновникѣ. Сквозь терновникъ онъ пролѣзъ, оставивъ, вмѣсто пошлины, куски своего сюртука на каждомъ остромъ шипѣ, и очутился на небольшой лощинѣ. Вѣрба раздѣлившимися вѣтвями преклонялась индѣ почти до самой земли. Небольшой источникъ сверкалъ чистый, какъ серебро. Первое дѣло философа было прилечь и напиться, потому что онъ чувствовалъ жажду нестерпимую. «Добрая вода!» сказалъ онъ, утирая губы: «тутъ бы можно отдохнуть».

«Нѣтъ, лучше побѣжимъ впередъ: неравно будетъ погоня!»

Эти слова раздались у него надъ ушами. Онъ оглянулся—передъ нимъ стоялъ Явтухъ.

«Чортовъ Явтухъ!» подумалъ въ сердцахъ про себя философъ: «я бы взялъ тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебѣ, побилъ бы дубовымъ бревномъ».



«Напрасно далъ ты такой крюкъ», продолжалъ Явтухъ: «гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по какой шелъ я: прямо мимо конюшни. Да притомъ и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почему платилъ за аршинъ? Однакожъ, погуляли довольно: пора и домой».

Философъ, почесываясь, побрелъ за Явтухомъ. «Теперь проклятая вѣдьма задастъ мнѣ пфейферу!» подумалъ онъ. «Да, впрочемъ, что я въ самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ я не козакъ? Вѣдь читалъ же



двѣ ночи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ надѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоитъ».

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на панскій дворъ. Ободривши себя такими замѣчаніями, онъ упросилъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить сулею сивухи, и оба пріятеля, сѣвши подъ сараемъ, вытянули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги, закричалъ: «Музыкантовъ! непременно музыкантовъ!» и, не дождавшись музыкантовъ, пустился среди двора на расчищенномъ мѣстѣ отплясывать тропака. Онъ танцевалъ до тѣхъ поръ,

пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ такихъ случаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!» Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое козакъ, и что онъ не долженъ бояться ничего на свѣтѣ.

«Пора», сказалъ Явтухъ: «пойдемъ».

«Спичка тебѣ въ языкъ, проклятый кнуръ!» подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказалъ: «Пойдемъ!»

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ по сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки были вдали цѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшень.

«Кажется, какъ будто что-то другое востъ: это не волкъ», сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились къ церкви и вступили подъ ея ветхіе деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился владѣтель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозно-знакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. По срединѣ все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. «Не побоюсь; ей Богу, не побоюсь!» сказалъ онъ и, очертивши попрежнему около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что писано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пѣть. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула желѣзная крышка гроба, и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись рядъ о рядъ, въ судорогахъ задержались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петель, и несмѣтная сила чудовищъ влетѣла въ Божью церковь. Страшный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомя вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. Онъ только крестился, да читалъ, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась вокругъ его, чуть не зацѣпляя его



концами крылъ и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь стѣтъ волосъ глядѣли страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячею протянутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жалъ; черная земля висѣла на нихъ клоками. Всѣ глядѣли на него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. «Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!» раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; слышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинные вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное. Его привели подъ руки и прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

«Подымите мнѣ вѣки: не вижу!» сказалъ подземнымъ голосомъ Вій,—и все сонмище кинулось подымать ему вѣки.

«Не гляди!» шепнулъ какой-то внутренній голосъ философу. Не вытерпѣлъ онъ, и глянулъ.

«Вотъ онъ!» закричалъ Вій, и уставилъ на него желѣзный палецъ. И всѣ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянувшись онъ на землю, и тутъ же вылетѣлъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался пѣтушій крикъ. Это былъ уже второй крикъ: первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорѣе вылетѣть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувши въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видѣ такого посрамленья Божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду въ такомъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдетъ теперь къ ней дороги.

---

Когда слухи объ этомъ дошли до Кіева, и богословъ Халява услышалъ, наконецъ, о такой участи философа Хома, то предался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ, въ продолженіе того времени, произошли большія перемѣны. Счастіе ему улыбнулось: по окончаніи курса наукъ,



его сдѣлали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревянная лѣстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сдѣлана.

«Ты слышалъ, что случилось съ Хомою?» сказалъ, подошедши къ нему, Тиберій Горобецъ, который въ то время былъ уже философъ и носилъ свѣжіе усы.

«Такъ ему Богъ далъ», сказалъ звонарь Халява. «Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!»

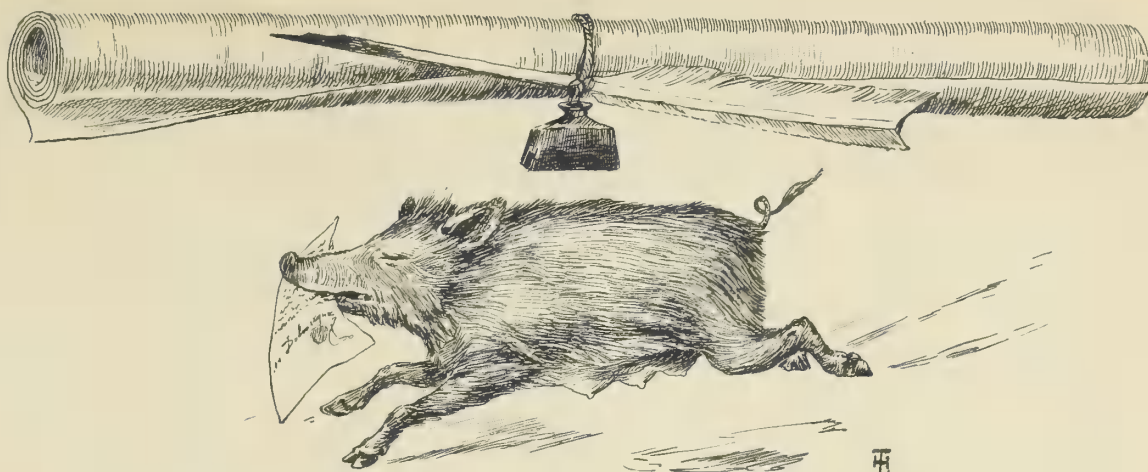
Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались спиртомъ и табачными корешками, въ ту же минуту изъявилъ готовность.

«Славный былъ человѣкъ Хома!» сказалъ звонарь, когда хромой шинкарь поставилъ передъ нимъ третью кружку. «Знатный былъ человѣкъ! А пропалъ ни за что».

«А я знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся; а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ! Я знаю уже все это. Вѣдь у насъ, въ Кіевѣ, всѣ бабы, которыя сидятъ на базарѣ, всѣ—вѣдьмы».

На это звонарь кивнулъ головою въ знакъ согласія. Но, замѣтивши, что языкъ его не могъ произнести ни одного слова, онъ осторожно всталъ изъ-за стола и, пошатываясь на обѣ стороны, пошелъ спрятаться въ самое отдаленное мѣсто въ бурьянѣ; при чемъ не позабылъ, по прежней привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, валявшуюся на лавкѣ.





## Повѣсть

о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ  
съ Иваномъ Никифоровичемъ.

### ГЛАВА I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Главная бекеша у Ивана Ивановича! отличнѣйшая! А какія смушки! Фу, ты пропасть, какія смушки! сизыя съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ, — особенно если онъ станетъ съ кѣмъ-нибудь говорить, — взгляните сбоку! что это за объяденіе! Описать нельзя: бархатъ! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворецъ, угодникъ Божій! отчего же это у меня нѣтъ такой бекеши! Онъ сшилъ ее тогда еще, когда Агаѣя Ѳедосѣевна не ѣздила въ Кіевъ. Вы знаете Агаѣю Ѳедосѣевну? Та самая, что откусила ухо у засѣдателя.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородѣ! Вокругъ него, со всѣхъ сторонъ, навѣсь на дубовыхъ столбахъ, подъ навѣсомъ вездѣ скамейки. Иванъ Ивановичъ, когда сдѣлается слишкомъ жарко, скинетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ одной рубашкѣ и отдыхаетъ подъ навѣсомъ, и глядитъ, что дѣлается во дворѣ и на улицѣ. Какія у него яблони и груши подъ самыми окнами! Отворите только окно — такъ вѣтки сами и врываются въ комнату. Это все передъ домомъ; а посмотрѣли бы, что у него въ саду! Чего тамъ нѣтъ? Сливы, вишни, черешни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни; это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести



двѣ дыни, и уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Гапкѣ принести чернильницу и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: «Сія дыня сѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: «участвовалъ такой-то».

Покойный судья миргородскій всегда любовался, глядя на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недуренъ. Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, то видны однѣ только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походитъ на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше, на губки, нарастающія на деревѣ. Впрочемъ, крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони облокотились на нихъ своими раскидистыми вѣтвями. Промежъ деревьевъ мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу небольшія окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Его знаетъ и комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка, когда ѣдетъ изъ Хорола, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А протопопъ отецъ Петръ, что живетъ въ Колибердѣ, когда соберется у него человѣкъ пятокъ гостей, всегда говоритъ, что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ исполнялъ долгъ христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болѣе десяти лѣтъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣтей у него не было. У Гапки есть дѣти и бѣгаютъ часто по двору. Иванъ Ивановичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носитъ ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большого сундука, что стоитъ въ его спальнѣ, и отъ средней коморы ключъ Иванъ Ивановичъ держитъ у себя и не любитъ никого туда пускать. Гапка — дѣвка здоровая, ходитъ въ запаскѣ, съ свѣжими икрами и щеками.

А какой богомольный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Каждый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ церковь. Взошедши въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланявшись на всѣ стороны, обыкновенно помѣщается на клиросѣ и очень хорошо подтягиваетъ басомъ. Когда же окончится служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утерпитъ, чтобъ



не обойти нищихъ. Онъ бы, можетъ-быть, и не хотѣлъ заняться такимъ скучнымъ дѣломъ, если бы не побуждала его къ тому природная доброта. «Здорово, небого!» \*) обыкновенно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, сшитомъ изъ заплатъ платьѣ. «Откуда ты, бѣдная?»

«Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не пила, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти».



«Бѣдная головушка! чего-жъ ты пришла сюда?»

«А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли кто-нибудь хоть на хлѣбъ».

«Гм! что-жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?» обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.

«Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака».

«Гм!» отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. «Такъ тебѣ, мс-жетъ, и мяса хочется?»

«Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна».

«Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?»

\*) Бѣдная.

«Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожелаете, все хорошо». При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.

«Ну, ступай же съ Богомъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ. «Чего-жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью?»

И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ третьему, наконецъ, возвращается домой или заходитъ выпить рюмку водки къ сосѣду Ивану Никифоровичу, или къ судѣ, или къ городничему.



Иванъ Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь сдѣлаетъ подарокъ, или гостинецъ. Это ему очень нравится.

Очень хорошій также человѣкъ Иванъ Никифоровичъ. Его дворъ возлѣ двора Ивана Ивановича. Они такіе между собою пріатели, какихъ свѣтъ не производилъ. Антонъ Прокофьевичъ Пупопузъ, который до сихъ поръ еще ходитъ въ коричневомъ сюртукѣ съ голубыми рукавами и обѣдаетъ по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорилъ, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ чортъ связалъ веревочкой: куда одинъ, туда и другой плетется.

Иванъ Никифоровичъ никогда не былъ женатъ. Хотя приговаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю









Ивана Никифоровича и могу сказать, что онъ даже не имѣлъ и намѣренія жениться. Откуда выходятъ всѣ эти сплетни? Такъ, какъ пронесли было, что Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта выдумка такъ нелѣпа и вмѣстѣ гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужнымъ опровергать ее предъ просвѣщенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что у однѣхъ только вѣдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. Вѣдьмы,



впрочемъ, принадлежатъ болѣе къ женскому полу, нежели къ мужескому.

Несмотря на большую пріязнь, эти рѣдкіе друзья не совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры ихъ изъ сравненія! Иванъ Ивановичъ имѣетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно. Господи, какъ онъ говоритъ! Это ощущеніе можно сравнить только съ тѣмъ, когда у васъ ищутъ въ головѣ или потихоньку проводятъ пальцемъ по вашей пяткѣ. Слушаешь, слушаешь—и голову повѣсишь. Пріятно! чрезвычайно пріятно! какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротивъ, больше молчитъ; но зато если влѣпитъ слово, то держись только: отбреетъ лучше всякой бритвы. Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Ники-

форовичъ немного ниже, но зато распространяется въ толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на рѣдкую хвостомъ внизъ; голова Ивана Никифоровича — на рѣдкую хвостомъ вверхъ. Иванъ Ивановичъ только послѣ обѣда лежитъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсомъ; ввечеру же надѣваетъ бекешу и идетъ куда-нибудь, или къ городовому магазину, куда онъ поставляетъ муку, или въ поле — ловить перепеловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на крыльцѣ, — если не слишкомъ жаркій день, то обыкновенно выставивъ спину на солнце, — и никуда не хочетъ итти. Если вздумается утромъ, то пройдетъ по двору, осмотритъ хозяйство и опять на покой. Въ прежнія времена зайдетъ, бывало, къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкій чело-вѣкъ и въ порядочномъ разговорѣ никогда не скажетъ неприличнаго слова, и тотчасъ обидится, если услышитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не оберется. Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мѣста и говоритъ: «Довольно, довольно, Иванъ Никифоровичъ; лучше скорѣе на солнце, чѣмъ говорить такія богопротивныя слова». Иванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха; онъ тогда выходитъ изъ себя — и тарелку кинетъ, и хозяину достанется. Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохладѣ. Иванъ Ивановичъ бреетъ бороду въ недѣлю два раза; Иванъ Никифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любопытенъ: Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если-жъ чѣмъ



бываетъ недоволенъ, то тотчасъ даетъ замѣтить это. По виду Ивана Никифоровича трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердитъ; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажетъ. Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ. У Ивана Ивановича большіе выразительные глаза табачнаго цвѣта, и ротъ нѣсколько похожъ на букву *ижицу*; у Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совершенно пропадающіе между густыхъ бровей и пухлыхъ щекъ, и носъ въ видѣ спѣлой сливы. Иванъ Ивановичъ, если попотчи-



ваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнетъ по ней пальцемъ и, поднесши, скажетъ, если вы съ нимъ знакомы: «Смѣю ли просить, государь мой объ одолженіи?» если же незнакомы, то: «Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?» Иванъ же Никифоровичъ даетъ вамъ прямо въ руки рожокъ свой и прибавитъ только: «Одолжайтесь». Какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ никакъ не пропустятъ жиды съ товарами, чтобы не купить у него элексира въ разныхъ баночкахъ противъ этихъ насѣкомыхъ, выбравъ напередъ его хорошенько за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру.

Впрочемъ, несмотря на нѣкоторыя несходства, какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ прекрасные люди.

## Г Л А В А II,

изъ которой можно узнать, чего захотѣлось Ивану Ивановичу, о чемъ происходилъ разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ Никифоровичемъ и чѣмъ онъ окончился.

**У**тромъ, — это было въ іюлѣ мѣсяцѣ, — Иванъ Ивановичъ лежалъ подъ навѣсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ и переливался струями. Иванъ Ивановичъ успѣлъ уже побывать за городомъ у косарей и на хуторѣ, успѣлъ разспросить встрѣтившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда, какъ и почему; уходился страхъ, и прилегъ отдохнуть. Лежа, онъ долго оглядывалъ коморы, дворъ, сараи, куръ, бѣгавшихъ по двору, и думалъ про себя: «Господи, Боже мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строеніе, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоящая; въ саду груши, сливы; въ огородѣ макъ, капуста, горохъ... Чего-жъ еще нѣтъ у меня?.. Хотѣлъ бы я знать, чего нѣтъ у меня?»

Задавши себѣ такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ Ивановичъ задумался; а между тѣмъ глаза его отыскивали новые предметы, перешагнули черезъ заборъ въ дворъ Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытнымъ зрѣлищемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платьѣ и развѣшивала его на протянутой веревкѣ вывѣтривать. Скоро старый мундиръ, съ изношенными обшлагами, протянулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту; за нимъ высунулъ дворянскій съ гербовыми пуговицами, съ отъѣденнымъ воротникомъ;

бѣлыя казимировыя панталоны съ пятнами, которыя когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которыя можно теперь натянуть развѣ на его пальцы. За ними скоро повисли другія въ видѣ буквы Л, потомъ синій козацкій бешметъ, который шилъ себѣ Иванъ Никифоровичъ назадъ тому лѣтъ двадцать, когда готовился было вступить въ милицію и отпустилъ было уже усы. Наконецъ, одно къ одному, выставилась шпага, походившая на шпичъ, торчавшій въ воздухѣ. Потомъ завертѣлись фалды чего-то похожаго на кафтанъ травяно-зеленаго цвѣта, съ мѣдными пуговицами, величиною въ пятакъ. Изъ-за фалдъ выглянулъ жилетъ, обложенный золотымъ позументомъ, съ большимъ вырѣзомъ напередѣ. Жилетъ скоро закрыла старая юбка покой-



ной бабушки, съ карманами, въ которые можно было положить по арбузу. Все, мѣшаясь вмѣстѣ, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрѣлище, между тѣмъ какъ лучи солнца, охватывая мѣстами синій или зеленый рукавъ, красный обшлагъ, или часть золотой парчи, или играя на шпажномъ шпичѣ, дѣлали его чѣмъ-то необыкновеннымъ, похожимъ на тотъ вертепъ, который развозятъ по хуторамъ кочующіе пройдохи,—особливо, когда толпа народа, тѣсно сдвинувшись, глядитъ на царя Ирода въ золотой коронѣ, или на Антона, ведущаго козу; за вертепомъ визжитъ скрипка; цыганъ брянчитъ руками по губамъ своимъ вмѣсто барабана, а солнце заходитъ, и свѣжій холодъ южной ночи незамѣтно прижимается сильнѣе къ свѣжимъ плечамъ и грудямъ полныхъ хуторянокъ.

Скоро старуха вылѣзла изъ кладовой, кряхтя и таща на себѣ старинное сѣдло съ оборванными стременами, съ истертыми кожаными чехлами для пистолетовъ, съ чепракомъ когда-то алаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ и мѣдными бляхами.

«Вотъ глупая баба!» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «она еще вытаситъ и самого Ивана Никифоровича провѣтривать!»

И точно: Иванъ Ивановичъ не совсѣмъ ошибся въ своей догадкѣ. Минутъ черезъ пять воздвигнулись нанковыя шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. Послѣ этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что-жъ это значитъ?» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «я не видѣлъ никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что-жъ это онъ? Стрѣлять не стрѣляетъ, а ружье держать! На что-жъ оно ему? А вещь славная! Я давно себѣ хотѣлъ достать такое. Мнѣ очень хочется имѣть это ружьецо; я люблю позабавиться ружьемъ. Эй, баба, баба!» закричалъ Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемъ.

Старуха подошла къ забору.

«Что это у тебя, бабуса, такое?»

«Видите сами—ружье».

«Какое ружье?»

«Кто его знаетъ, какое! Если-бъ оно было мое, то я, можетъ-быть, и знала бы, изъ чего оно сдѣлано; но оно панское».

Иванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматривать ружье со всѣхъ сторонъ и позабылъ дать выговоръ старухѣ за то, что повѣсила его вмѣстѣ со шпагою провѣтривать.

«Оно, должно думать, желѣзное», продолжала старуха.

«Гм! желѣзное. Отчего-жъ оно желѣзное?» говорилъ про себя Иванъ Ивановичъ. «А давно оно у пана?»

«Можетъ-быть, и давно».

«Хорошая вещь!» продолжалъ Иванъ Ивановичъ. «Я выпрошу его. Что ему дѣлать съ нимъ? Или промѣняюсь на что-нибудь. Что, бабуса, дома панъ?»

«Дома».

«Что онъ, лежитъ?»

«Лежитъ».

«Ну, хорошо; я приду къ нему».





Иванъ Ивановичъ одѣлся, взялъ въ руки суковатую палку отъ собакъ, потому что въ Миргородѣ гораздо болѣе ихъ попадается на улицѣ, нежели людей, и пошелъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хотя былъ возлѣ двора Ивана Ивановича, и можно было перелѣзть изъ одного въ другой черезъ плетень, однакожъ Иванъ Ивановичъ пошелъ улицею. Съ этой улицы нужно было перейти въ переулокъ, который былъ такъ узокъ, что если случалось встрѣтиться въ немъ двумъ повозкамъ въ одну лошадь, то онѣ уже не могли развѣхаться и оставались въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, покамѣстъ, схвативши за заднія колеса, не вытаскивали ихъ каждую въ противную сторону на улицу; пѣшеходъ же убирался, какъ цвѣтами, репейниками, росшими съ обѣихъ сторонъ возлѣ забора. На этотъ переулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ивановича, съ другой — амбаръ, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подошелъ къ воротамъ, загремѣлъ щеколдой: изнутри поднялся собачій лай; но разношерстная стая скоро побѣжала, помахивая хвостами, назадъ, увидѣвши, что это было знакомое лицо. Иванъ Ивановичъ перешелъ дворъ, на которомъ пестрѣли индѣйскіе голуби, кормимые собственноручно Иваномъ Никифоровичемъ, корки арбузовъ и дынь, мѣстами зелень, мѣстами изломанное колесо, или обручъ отъ бочки, или валявшійся мальчишка въ запачканной рубашкѣ: картина, которую любятъ живописцы! Тѣнь отъ развѣшанныхъ платьевъ покрывала почти весь дворъ и сообщала ему нѣкоторую прохладу. Баба встрѣтила его поклономъ и, зазѣвавшись, стала на одномъ мѣстѣ. Передъ домомъ охорашивалось крылечко съ навѣсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, — ненадежная защита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссіи не любитъ шутить и обливаетъ пѣшехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видѣть, какъ сильно было желаніе у Ивана Ивановича пріобрѣсть необходимую вещь, когда онъ рѣшился вытти въ такую пору, измѣнивъ даже своему всегдашнему обыкновенію прогуливаться только вечеромъ!

Комната, въ которую вступилъ Иванъ Ивановичъ, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдѣланную въ ставнѣ, принялъ радужный цвѣтъ и, ударяясь въ противостоящую стѣну, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ изъ очеретяныхъ крышъ, деревъ и развѣшаннаго на дворѣ платья, все только въ обращенномъ видѣ. Отъ этого всей комнатѣ сообщался какой-то чудный полусвѣтъ.

«Помоги Богъ!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!» отвѣчалъ голосъ изъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замѣтилъ Ивана Никифоровича, лежащаго на разостланномъ на полу коврѣ. «Извините, что

передъ вами въ натурѣ». Иванъ Никифоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ рубашки.

«Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никифоровичъ?»

«Почивалъ. А вы почивали, Иванъ Ивановичъ?»

«Почивалъ».

«Такъ вы теперъ и встали?»

«Я теперъ всталъ? Христось съ вами, Иванъ Никифоровичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я только-что пріѣхалъ изъ хутора. Пре-



красныя жита по дорогѣ! восхитительныя! И сѣно такое рослое, мягкое, злачное!»

«Горпина!» закричалъ Иванъ Никифоровичъ: «принеси Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ сметаною».

«Хорошее время сегодня».

«Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! Некуда дѣваться отъ жару!»

«Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Никифоровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: достанется вамъ на томъ свѣтѣ за богопротивныя слова».

«Чѣмъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ обидѣлъ».

«Полно уже, полно, Иванъ Никифоровичъ!»

«Ей Богу, я не обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ!»

«Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подъ дудочку».

«Какъ вы себѣ хотите, думайте, что вамъ угодно, только я васъ не обидѣлъ ничѣмъ».

«Не знаю, отчего они нейдутъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: «время ли не приспѣло еще... только время, кажется, такое, какое нужно».

«Вы говорите, что жита хорошія?»

«Восхитительныя жита, восхитительныя!»

За симъ послѣдовало молчаніе.

«Что это вы, Иванъ Никифоровичъ, платье развѣшиваете?» наконецъ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба: теперь провѣтриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти — и можно снова носить».

«Мнѣ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Никифоровичъ».

«Какая?»

«Скажите, пожалуйста, на что вамъ это ружье, что выставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?» Тутъ Иванъ Ивановичъ поднесъ табакъ. «Смѣю ли просить объ одолженіи?»

«Ничего, одолжайтесь; я понюхаю своего». При этомъ Иванъ Никифоровичъ пощупалъ вокругъ себя и досталъ рожокъ. «Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же повѣсила? Хорошій табакъ жидъ дѣлается въ Сорочинцахъ. Я не знаю, что онъ кладетъ туда, а такое душистое! На кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте немножко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возьмите, одолжайтесь!»

«Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, я все на счетъ ружья: что вы будете съ нимъ дѣлать? Вѣдь оно вамъ не нужно».

«Какъ не нужно? А случится стрѣлять?»

«Господь съ вами, Иванъ Никифоровичъ, когда же вы будете стрѣлять? Развѣ по второмъ пришествіи? Вы, сколько я знаю и другіе запомнятъ, ни одной еще качки \*) не убили, да и ваша натура не такъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобъ стрѣлять. Вы имѣете осанку и фигуру важную. Какъ же вамъ таскаться по болотамъ, когда ваше платье, которое не во всякой рѣчи прилично назвать по имени, провѣтривается и теперъ еще? что же тогда? Нѣтъ, вамъ нужно имѣть

\*) Т.-с. утки.



покой, отдохновеніе». (Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно живописно говорилъ, когда нужно было убѣждать кого. Какъ онъ говорилъ! Боже, какъ онъ говорилъ!) «Да, такъ вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мнѣ!»

«Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ теперь не сыщете нигдѣ. Я еще, какъ собирался въ милицію, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!»

«На что-жъ она необходимая?»

«Какъ на что? А когда нападутъ на домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава Тебѣ, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего? — оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ коморѣ ружье».

«Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никифоровичъ, замокъ испорченъ».

«Что-жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только смазать коноплянымъ масломъ, чтобъ не ржавѣлъ».

«Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоровичъ, я никакъ не вижу дружественнаго ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хотите сдѣлать для меня въ знакъ пріязни».

«Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ не совѣстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда ѣдете въ Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что-жъ? развѣ я отказалъ когда? Ребятишки ваши перелѣзаютъ чрезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками, — я ничего не говорю: пусть себѣ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себѣ играютъ!»

«Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, помѣняемся».

«Что-жъ вы дадите мнѣ за него?» При этомъ Иванъ Никифоровичъ облокотился на руку и поглядѣлъ на Ивана Ивановича.

«Я вамъ дамъ за него бурую свинью, ту самую, что я откормилъ въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слѣдующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ».

«Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете это говорить. На что мнѣ свинья ваша? Развѣ чорту поминки дѣлать».

«Опять! Безъ чорта такъ нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ, ей Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!»

«Какъ же вы, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Ивановичъ, даете за ружье, чортъ знаетъ что такое: свинью!»

«Отчего же она — чортъ знаетъ что такое Иванъ Никифоровичъ?»

«Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это такъ ружье, вещь извѣстная; а то — чортъ знаетъ что такое: свинья! Если бы

не вы говорили, я бы могъ это принять въ обидную для себя сторону».

«Что-жь нехорошаго замѣтили вы въ свиньѣ?»

«За кого же въ самомъ дѣлѣ вы принимаете меня? Чтобы я свинью...»

«Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себѣ сгніетъ и перержавѣтъ, стоя въ углу въ коморѣ— не хочу больше говорить о немъ».

Послѣ этого послѣдовало молчаніе.

«Говорятъ», началъ Иванъ Ивановичъ: «что три короля объявили войну царю нашему».

«Да, говорилъ мнѣ Петръ Ѳедоровичъ. Что-жь это за война? и отчего она?»

«Навѣрное не можно сказать, Иванъ Никифоровичъ, за что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всѣ приняли турецкую вѣру».

«Вишь, дурни, чего захотѣли!» произнесъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши голову.

«Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ за то войну. «Нѣтъ, говоритъ, примите вы сами вѣру Христову!»

«Что-жь? Вѣдь наши побьютъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!»

«Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣнять ружьеца?»

«Мнѣ странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человѣкъ извѣстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы я за дуракъ такой...»

«Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себѣ околѣетъ; не буду больше говорить».

Въ это время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ съ сметаною. «Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ дамъ, кромѣ свиньи, еще два мѣшка овса; вѣдь овса вы не сѣяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать овесъ».

«Ей Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, гороху наѣвшись». (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ и не такія фразы отпускаетъ). «Гдѣ видано, чтобы кто ружье промѣнялъ на два мѣшка овса? Небось, бекеши своей не поставите».

«Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свинью еще даю вамъ».

«Какъ! два мѣшка овса и свинью за ружье?»

«Да что-жь, развѣ мало?»

«За ружье?»

«Конечно, за ружье?»

«Два мѣшка за ружье?»

«Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свинью позабыли?»

«Поцѣлуйтесь съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ!»

«О, васъ зацѣпи только! Увидите: наспигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языкъ горячими иголками за такія богомерзкія слова. Послѣ разговора съ вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окунуться».

«Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье — вещь благородная, самая любопытная забава, притомъ и украшеніе въ комнатѣ пріятное...».

«Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ ружьемъ, какъ *дурень съ писанною торбою*», сказалъ Иванъ Ивановичъ съ досадою, потому что дѣйствительно начиналъ ужъ сердиться.

«А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящій *гусакъ*» \*).

Если бы Иванъ Никифоровичъ не сказалъ этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, пріятелями; но теперь произошло совсѣмъ другое. Иванъ Ивановичъ весь вспыхнулъ.

«Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичъ?» спросилъ онъ, высивъ голосъ.

«Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивановичъ!»

«Какъ же вы смѣли, сударь, позабывъ и приличіе, и уваженіе къ чину и фамиліи человѣка, обезчестить такимъ поноснымъ именемъ?»

«Что-жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дѣлѣ такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?»

«Я повторяю, какъ вы осмѣлились, въ противность всѣхъ приличій, назвать меня гусакомъ?»

«Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?»

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное положеніе *ижицы* и сдѣлался похожимъ на О; глазами онъ такъ мигалъ, что сдѣлалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить. «Такъ я-жъ вамъ объявляю», произнесъ Иванъ Ивановичъ: «что я знать васъ не хочу».

«Большая бѣда! Ей Богу, не заплачу отъ этого!» отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ. — Лгалъ, лгалъ, ей Богу, лгалъ. Ему очень было досадно это.

«Нога моя не будетъ у васъ въ домѣ».

«Эге, ге!» сказалъ Иванъ Никифоровичъ, съ досады не зная самъ, что дѣлать, и, противъ обыкновенія, вставъ на ноги. «Эй, баба, хлопче!» При семъ показалась изъ-за дверей та самая тощая баба и неболь-

\*) Т.-е. гусь-самецъ.



шого роста мальчикъ, запутанный въ длинный и широкій сюртукъ. «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!»

«Какъ! дворянина?» закричалъ съ чувствомъ достоинства и негодованія Иванъ Ивановичъ. «Осмѣльтесь только! подступите! Я васъ уничтожу съ глупымъ вашимъ паномъ! Воронъ не найдетъ мѣста вашего!» (Иванъ Ивановичъ говорилъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена).

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Никифоровичъ, стоявшій посреди комнаты въ полной красотѣ своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ, съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль великолѣпный! И между тѣмъ только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчикъ въ неизмѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно покойно и чистилъ пальцемъ свой носъ.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! Я это припомню вамъ».

«Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да глядите не попадайтесь мнѣ: а не то — я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю морду побью!»

«Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлопнувъ за собою дверь, которая съ визгомъ захрипѣла и отворилась снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хотѣлъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не оглядывался и летѣлъ со двора.

### ГЛАВА III.

Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ?

**И**такъ, два почтенные мужа, честь и украшеніе Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздоръ, за гусака. Не захотѣли видѣть другъ друга, прервали всѣ связи, между тѣмъ, какъ прежде были извѣстны за самыхъ неразлучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ посылаютъ другъ къ другу узнать о здоровьѣ, и часто переговариваются другъ съ другомъ съ своихъ балконовъ, и говорятъ другъ другу такія пріятныя рѣчи, что сердцу любо слушать было. По воскреснымъ днямъ, бывало, Иванъ Ивановичъ въ штаметовой бекешѣ, Иванъ Никифоровичъ въ нанковомъ желто-коричневомъ козакинѣ, отправляются почти объ руку другъ







съ другомъ въ церковь. И если Иванъ Ивановичъ, который имѣлъ глаза чрезвычайно зоркіе, первый замѣчалъ лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бываетъ иногда въ Миргородѣ, то всегда говорилъ Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здѣсь нехорошо». Иванъ Никифоровичъ, съ своей стороны, показывалъ тоже самые трогательные знаки дружбы, и гдѣ бы ни стоялъ далеко, всегда протянетъ къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ, промолвивши: «одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоихъ!.. И эти два друга... Когда я слышалъ объ этомъ, то меня какъ громомъ поразило! Я долго не хотѣлъ вѣрить. Боже праведный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ! Такіе достойные люди! Что-жъ теперь прочно на этомъ свѣтѣ?

Когда Иванъ Ивановичъ пришелъ къ себѣ домой, то долго былъ въ сильномъ волненіи. Онъ, бывало, прежде всего зайдетъ въ конюшню посмотреть, ѣстъ ли кобылка сѣно (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лбу; хорошая очень лошадка); потомъ покормить индѣекъ и поросятъ изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои, гдѣ или дѣлаетъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не хуже токаря, умѣетъ выдѣлывать разныя вещи изъ дерева), или читаетъ книжку, печатанную у Любія, Гарія и Попова (названія ея Иванъ Ивановичъ не помнитъ, потому что дѣвка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавнаго листка, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навѣсомъ. Теперь же онъ не взялся ни за одно изъ всегдашнихъ своихъ занятій. Но, вмѣсто того, встрѣтивши Гапку, началъ бранить, зачѣмъ она шатается безъ дѣла, между тѣмъ какъ она тащила крупу въ кухню; кинулъ палкой въ пѣтуха, который пришелъ къ крыльцу за обыкновенной подачей, и, когда подбѣжалъ къ нему запачканный мальчишка въ изодранной рубашенкѣ и закричалъ: «Тятя, тятя! дай пряника!» то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и затопалъ ногами, что испуганный мальчишка забѣжалъ, Богъ знаетъ куда.

Наконецъ, однакожъ, онъ одумался и началъ заниматься всегдашними



дѣлами. Поздно сталъ онъ обѣдать и уже ввечеру почти легъ отдыхать подъ навѣсомъ. Хорошій борщъ съ голубями, который сварила Гапка, выгналъ совершенно утреннее происшествіе. Иванъ Ивановичъ опять началъ съ удовольствіемъ разсматривать свое хозяйство. Наконецъ, остановилъ глаза на сосѣднемъ дворѣ и сказалъ самъ себѣ: «Сегодня я не былъ у Ивана Никифоровича; пойду-ка къ нему». Сказавши это, Иванъ Ивановичъ взялъ палку и шапку, и отправился на улицу; но едва только вышелъ за ворота, какъ вспомнилъ ссору, плюнулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движеніе случилось и на дворѣ Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ видѣлъ, какъ баба уже поставила ногу на плетень съ намѣреніемъ перелѣзть на его дворъ, какъ вдругъ послышался голосъ Ивана Никифоровича: «Назадъ, назадъ! не нужно!» Однакожъ Ивану Ивановичу сдѣлалось очень скучно. Весьма могло быть, что сіи достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествіе въ домѣ Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть огонь вражды.

Къ Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня пріѣхала Агаѳія Ѳедосѣевна. Агаѳія Ѳедосѣевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей не зачѣмъ было къ нему ѣздить, и онъ самъ былъ не слишкомъ ей радъ; однакожъ она ѣздила и проживала у него по цѣлымъ недѣлямъ, а иногда и болѣе. Тогда она отбирала ключи и весь домъ брала на свои руки. Это было очень непріятно Ивану Никифоровичу, однакожъ онъ, къ удивленію, слушалъ ее, какъ ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агаѳія Ѳедосѣевна брала верхъ.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено, что женщины хватаютъ насъ за носъ такъ же ловко, какъ будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или носы наши ни на что болѣе не годятся. И несмотря на то, что носъ Ивана Никифоровича былъ нѣсколько похожъ на сливу, однакожъ она схватила его за этотъ носъ и водила за собою, какъ собачку. Онъ даже измѣнялъ при ней невольно обыкновенный свой образъ жизни: не такъ долго лежалъ на солнцѣ, если же и лежалъ, то не въ натурѣ, а всегда надѣвалъ рубашку и шаровары, хотя Агаѳія Ѳедосѣевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемоній, и когда Иванъ Никифоровичъ страдалъ лихорадкою, она сама, своими руками, вытирала его съ ногъ до головы скипидаромъ и уксусомъ. Агаѳія Ѳедосѣевна носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофейный капотъ съ желтенькими цвѣтами. Весь станъ ея похожъ былъ на кадушку, и оттого отыскать ея талію было такъ же трудно, какъ увидѣть безъ зеркала свой носъ. Ножки ея были коротенькія, сформированныя на образецъ двухъ подушекъ. Она сплетничала и ѣла вареные бураки по утрамъ, и отлично

хорошо ругалась; и при всѣхъ этихъ разнообразныхъ занятіяхъ, лицо ея ни на минуту не измѣняло своего выраженія, что обыкновенно могутъ показывать однѣ только женщины.

Какъ только она пріѣхала, все пошло наыворотъ: «Ты, Иванъ Никифоровичъ, не мирись съ нимъ и не проси прощенія; онъ тебя погубить хочетъ; это таковскій человѣкъ! Ты его еще не знаешь». Шушукала, шушукала проклятая баба и сдѣлала то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать не хотѣлъ объ Иванѣ Ивановичѣ.

Все приняло другой видъ. Если сосѣдняя собака забѣгала когда на дворъ, то ее колотили чѣмъ ни попало; ребяташки, перелѣзавшіе черезъ заборъ, возвращались съ воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубашенками и съ знаками розогъ на спинѣ. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ хотѣлъ было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непристойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ и промолвилъ только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконецъ, къ довершенію всѣхъ оскорбленій, ненавистный сосѣдъ выстроилъ прямо противъ него, гдѣ обыкновенно былъ перелазъ чрезъ плетень, гусиный хлѣвъ, какъ будто съ особеннымъ намѣреніемъ усугубить оскорбленіе. Этотъ отвратительный для Ивана Ивановича хлѣвъ выстроенъ былъ съ дьявольскою скоростью—въ одинъ день.

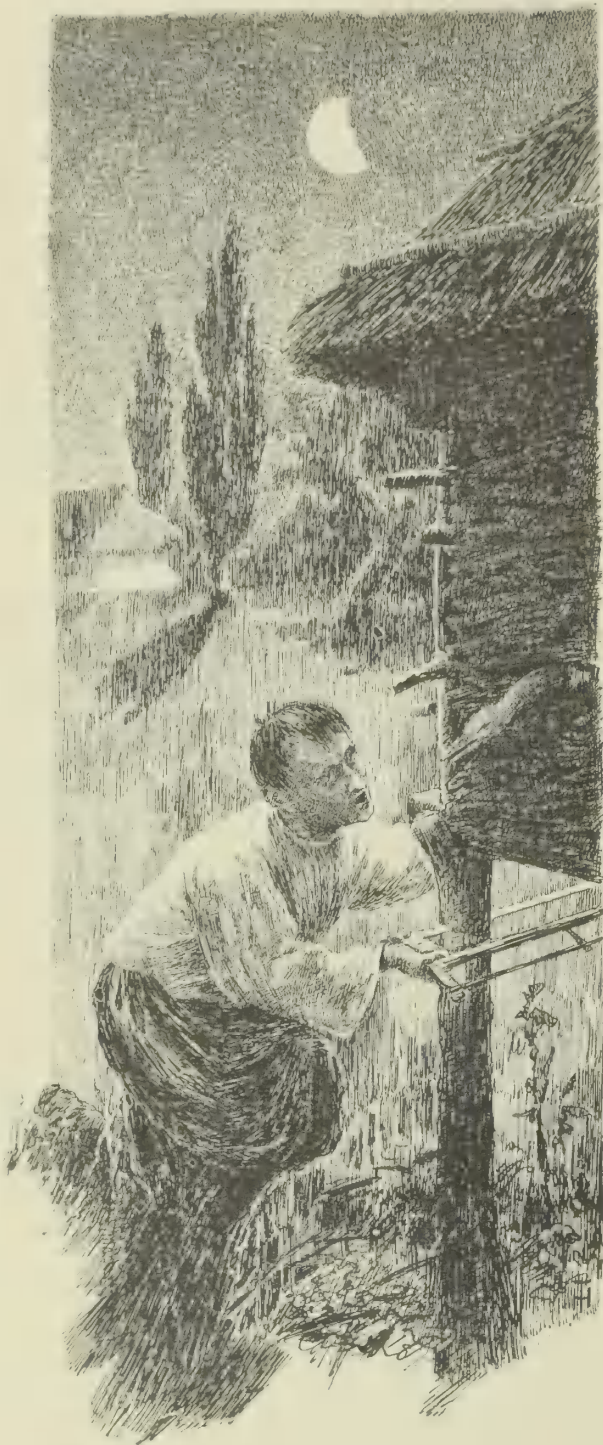
Это возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ злость и желаніе отомстить. Онъ не показалъ, однакожъ, никакого вида огорченія, несмотря на то, что хлѣвъ даже захватилъ часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствіе.

Такъ провелъ онъ день. Настала ночь... О, если-бъ я былъ живописецъ, я бы чудно изобразилъ всю прелесть ночи! Я бы изобразилъ, какъ спитъ весь Миргородъ; какъ неподвижно глядятъ на него безчисленные звѣзды; какъ видимая тишина оглашается близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ мимо ихъ несется влюбленный понамарь и перелѣзаетъ чрезъ плетень съ рыцарскою безстрашностію; какъ бѣлыя стѣны домовъ, охваченныя луннымъ свѣтомъ, становятся бѣлѣе, освѣняющія ихъ деревья темнѣе, тѣнь отъ деревъ ложится чернѣе, цвѣты и умолкнувшая трава душистѣе, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно изо всѣхъ угловъ заводятъ свои трескучія пѣсни. Я бы изоб-





разилъ, какъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ глиняныхъ домиковъ размѣтавшейся на одинокой постели чернобровой горожанкѣ, съ дрожа-



щими молодыми грудями, снится гусарскій усъ и шпоры, а свѣтъ луны смѣется на ея щекахъ. Я бы изобразилъ, какъ по бѣлой дорогѣ мелькаетъ черная тѣнь летучей мыши, садящейся на бѣлыя трубы домовъ... Но врядъ ли бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукѣ: столько на лицѣ у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо, тихо подкрался онъ и подлѣзъ подъ гусиный хлѣвъ. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссорѣ между ними, и потому позволили ему, какъ старому пріятелю, подойти къ хлѣву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбахъ. Подлѣзши къ ближнему столбу, приставилъ онъ къ нему пилу и началъ пилить. Шумъ, производимый пилою, заставлялъ его поминутно оглядываться, но мысль объ обидѣ возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиленъ; Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его горѣли и ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрикнулъ и обомлѣлъ: ему показался мертвецъ: но скоро онъ пришелъ въ себя, увидѣвши, что это былъ гусь, просунувшій къ нему свою шею. Иванъ Ивановичъ плюнулъ отъ негодованія и началъ продолжать ра-

боту. И второй столбъ подпиленъ; зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ принялся за третій,

что онъ нѣсколько разъ прекращалъ работу. Уже болѣе половины столба было подпилено, какъ вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивановичъ едва успѣлъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. Схвативши пилу, въ страшномъ испугѣ прибѣжалъ онъ домой и бросился на кровать, не имѣя даже духу поглядѣть въ окно на слѣдствія своего страшнаго дѣла. Ему казалось, что весь дворъ Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иванъ Никифоровичъ, мальчикъ въ безконечномъ сюртукѣ, всѣ съ дреколями, предводительствуемые Агаѳею Ѳедосѣвной, шли разорять и ломать его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ Ивановичъ, какъ въ лихорадкѣ. Ему все чудилось, что ненавистный сосѣдъ въ отмщеніе за это, по крайней мѣрѣ, подожжетъ домъ его; и потому онъ далъ повелѣніе Гапкѣ поминутно осматривать вездѣ, не подложено ли гдѣ-нибудь сухой соломѣ. Наконецъ, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, онъ рѣшился забѣжать зайцемъ впередъ и подать на него прошеніе въ миргородскій повѣтовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ можно узнать изъ слѣдующей главы.

#### ГЛАВА IV.

О томъ, что произошло въ присутствіи миргородскаго повѣтоваго суда.

**У**днй городъ Миргородъ! Какихъ въ немъ нѣтъ строеній! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ деревянною крышею. Направо улица, налѣво улица, вездѣ прекрасный плетень; по немъ вьется хмель, на немъ висятъ горшки, изъ-за него подсолнечникъ выказываетъ свою солнцеобразную голову, краснѣетъ макъ, мелькаютъ толстыя тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, которые дѣлаютъ его еще болѣе живописнымъ: или напыленную плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Миргородѣ нѣтъ ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вѣшаетъ на плетень, что ему вздумается. Если будете подходить къ площади, то, вѣрно, на время остановитесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось когда видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сѣна, обступивши вокругъ, дивятся красотѣ ея.

Но я тѣхъ мыслей, что нѣтъ лучше дома, какъ повѣтовый судъ. Дубовый ли онъ, или березовый — мнѣ нѣтъ дѣла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ! восемь окошекъ въ рядъ, прямо на



площадь и на то водное пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое городничій называетъ озеромъ! Одинъ только онъ окрашенъ цвѣтомъ гранита; всѣ прочіе дома въ Миргородѣ просто выбѣлены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не сѣли, что было, какъ нарочно, во время поста, и крыша осталась не крашеною. На площадь выступаетъ крыльцо, на которомъ часто бѣгаютъ куры, оттого что на крыльцѣ всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь сѣстное, что, впрочемъ, дѣлается не нарочно, но единственно отъ неосторожности просителей. Домъ раздѣленъ на двѣ половины: въ одной *присутствіе*, въ другой *арестантская*. Въ той половинѣ, гдѣ присутствіе, находятся двѣ комнаты чистыя, выбѣленные: одна передняя для просителей, въ другой столъ, украшенный чернильными пятнами; на столѣ зеркало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками; возлѣ стѣнъ сундуки, кованные желѣзомъ, въ которыхъ сохранялись кипы повѣтовой ябеды. На одномъ изъ этихъ сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксою.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно полный чело-вѣкъ, хотя нѣсколько тонѣе Ивана Никифоровича, съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою и чашкою чая, разговаривалъ съ подсудкомъ. У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. Итакъ, судья разговаривалъ съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сторонѣ поднось съ чашками. Въ концѣ стола секретарь читалъ рѣшеніе дѣла, но такимъ однообразнымъ и заунывнымъ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая. Судья, безъ сомнѣнія, это бы сдѣлалъ прежде всѣхъ, если бы не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговоръ.

«Я нарочно старался узнать», говорилъ судья, прихлебывая чай уже изъ простывшей чашки: «какимъ образомъ это дѣлается, что они поютъ хорошо. У меня былъ славный дроздъ, года два тому назадъ. Что-жь? Вдругъ испортился совсѣмъ, началъ пѣть, Богъ знаетъ что; чѣмъ далѣе, хуже, хуже; сталъ картавить, хрипѣть, — хотъ выбрось! А вѣдь самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ дѣлается бобонъ; меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно только проколоть иглою. Меня научилъ этому Захаръ Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ расскажу, какимъ это было образомъ: пріѣзжаю я къ нему...»

«Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?» прервалъ секретарь, уже нѣсколько минутъ окончившій чтеніе.

«А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не слышалъ ничего! Да гдѣ-жь оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что тамъ еще у васъ?»



«Дѣло козака Бокитька о краденой коровѣ».

«Хорошо, читайте! Да, такъ пріѣзжаю я къ нему... Я могу даже рассказать вамъ подробно, какъ онъ угостилъ меня. Къ водкѣ былъ поданъ балыкъ, единственный! Да, не нашего балыка, которымъ» (при этомъ судья сдѣлалъ языкомъ и улыбнулся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдашнюю табакерку)... «которымъ угощаетъ наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ѣлъ, потому что, какъ вы сами знаете, у меня отъ нея дѣлается изжога подъ ложечкою; но икры отвѣ-



далъ, —прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потомъ выпилъ я водки персиковой, настоящей на злототысячникъ. Была и шафранная; но шафранной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппетитъ, а потомъ уже завершить... А! слыхомъ слыхать, видомъ видать»... вскричалъ вдругъ судья, увидѣвъ входящаго Ивана Ивановича.

«Богъ въ помощь! Желаю здравствовать!» произнесъ Иванъ Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною ему одному пріятностію. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обворожить всѣхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдѣ не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоинство и потому на всеобщее почтеніе смотрѣлъ, какъ на должное. Судья самъ подаль стулъ Ивану Ивановичу, носъ

его потянулъ съ верхней губы весь табакъ, что всегда было у него знакомъ большого удовольствія.

«Чѣмъ прикажете потчивать васъ, Иванъ Ивановичъ?» спросилъ онъ: «не прикажете ли чашку чаю?»

«Нѣтъ, весьма благодарю», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

«Сдѣлайте милость, одну чашечку!» повторилъ судья.

«Нѣтъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!» отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

«Одну чашку!» повторилъ судья.

«Нѣтъ, не беспокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!» При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Чашечку?»

«Ужъ такъ и быть, развѣ чашечку!» произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у человѣка! Нельзя рассказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!

«Не прикажете ли еще чашечку?»

«Покорно благодарствую», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланяясь.

«Сдѣлайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!»

«Не могу; весьма благодаренъ». При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Иванъ Ивановичъ! сдѣлайте дружбу, одну чашечку!»

«Нѣтъ, весьма обязанъ за угощеніе». Сказавши это, Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

«Только чашечку! Одну чашечку!»

Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ чашку.

Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддерживать свое достоинство!

«Я, Демьянъ Демьяновичъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, допивая послѣдній глотокъ: «якъ вамъ имѣю необходимое дѣло: я подаю позовъ». При этомъ Иванъ Ивановичъ поставилъ чашку и вынулъ изъ кармана написанный гербовый листъ бумаги. «Позовъ на врага моего, на заклѣтаго врага».

«На кого же это?»

«На Ивана Никифоровича Довгочхуна».

«При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. «Что вы говорите!» произнесъ онъ, всплеснувъ руками: «Иванъ Ивановичъ! вы ли это?»

«Видите сами, что я».

«Господь съ вами и всѣ святыя! Какъ! Вы, Иванъ Ивановичъ, стали непріателемъ Ивану Никифоровичу! Ваши ли это уста говорятъ? По-

вторите еще! Да не спрятался ли у васъ кто-нибудь сзади и говорить вмѣсто васъ?...»

«Чтò-жъ тутъ невѣроятнаго? Я не могу смотрѣть на него: онъ нанесъ мнѣ смертельную обиду, оскорбилъ честь мою».

«Пресвятая Троица! Какъ же мнѣ теперь увѣрить матушку? А она, старушка, каждый день, какъ только поссоримся съ сестрою, говоритъ: «Вы, дѣтки, живете между собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяли примѣръ съ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ друзья! то-то пріятели! то-то достойные люди! Вотъ тебѣ и пріятели! Разскажите, за чтò же это? какъ?»

«Это дѣло деликатное, Демьянъ Демьяновичъ! на словахъ его нельзя разсказать: прикажите лучше прочесть просьбу. Вотъ возьмите съ этой стороны, здѣсь приличнѣе».

«Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ!» сказалъ судья, оборотившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются всѣ секретари по повѣтовымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:

«Отъ дворянина миргородскаго повѣта и помѣщика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошеніе; а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

«1) Извѣстный всему свѣту своими богопротивными, въ омерзѣніе приводящими и всякую мѣру превышающими законно-преступными поступками, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, сего 1810 года, іюля 7 дня, учинилъ мнѣ смертельную обиду, какъ персонально до чести моей относящуюся, такъ равномѣрно въ уничиженіе и конфузію чина моего и фамиліи. Оный дворянинъ и самъ, притомъ, гнуснаго вида, характеръ имѣетъ бранчивый и преисполненъ разнаго рода богохуленіями и бранными словами...»

Тутъ чтецъ немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья съ благоговѣніемъ сложилъ руки и только говорилъ про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже! какъ пишетъ этотъ человѣкъ!»

Иванъ Ивановичъ просилъ читать далѣе, и Тарасъ Тихоновичъ продолжалъ:

«Оный дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, когда я пришелъ къ нему съ дружескими предложеніями, назвалъ меня публично обиднымъ и поноснымъ для чести моей именемъ, а именно «гусакомъ», тогда какъ извѣстно всему миргородскому повѣту, что симъ гнуснымъ животнымъ я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намѣренъ. Доказательствомъ же дворянскаго моего происхожденія есть то, что въ метрической книгѣ, находящейся въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего рожденія, такъ равномѣрно и полученное мною крещеніе. «Гусакъ» же, какъ извѣстно всѣмъ,



кто сколько-нибудь свѣдушъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метрической книгѣ, ибо «гусакъ» есть не человѣкъ, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему въ семинаріи, достовѣрно извѣстно. Но оный злокачественный дворянинъ, будучи обо всемъ этомъ свѣдушъ, не для чего иного, какъ чтобы нанести смертельную для моего чина и званія обиду, обругалъ меня онымъ гнуснымъ словомъ.

«2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянинъ посягнулъ, притомъ, на мою родовую, полученную мною послѣ родителя моего, состоявшаго въ духовномъ званіи, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка собственность, тѣмъ, что, въ противность всякимъ законамъ, перенесъ совершенно насупротивъ моего крыльца гусиный хлѣвъ, что дѣлалось не съ инымъ какимъ намѣреніемъ, какъ чтобы усугубить нанесенную мнѣ обиду, ибо оный хлѣвъ стоялъ до сего въ изрядномъ мѣстѣ и довольно еще былъ крѣпокъ. Но омерзительное намѣреніе вышеупомянутаго дворянина состояло единственно въ томъ, чтобы учинить меня свидѣтелемъ непристойныхъ пассажей: ибо извѣстно, что всякій человѣкъ не пойдетъ въ хлѣвъ, тѣмъ паче въ гусиный, для приличнаго дѣла. При такомъ противузаконномъ дѣйствіи, двѣ переднія сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мнѣ еще при жизни отъ родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою линіей до самого того мѣста, гдѣ бабы моютъ горшки.

«3) Вышеизображенный дворянинъ, котораго уже самое имя и фамилія внушаетъ всякое омерзѣніе, питаетъ въ душѣ злостное намѣреніе поджечь меня въ собственномъ домѣ. Несомнѣнные чему признаки изъ нижеслѣдующаго явствуютъ: во-1-хъ, оный злокачественный дворянинъ началъ выходить часто изъ своихъ покоевъ, чего прежде никогда, по причинѣ своей лѣности и гнусной тучности тѣла, не предпринималъ; во-2-хъ, въ людской его, примыкающей о самый заборъ, ограждающій мою собственную, полученную мною отъ покойнаго родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и въ необычайной продолжительности горитъ свѣтъ, что уже явное есть къ тому доказательство; ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свѣча, но даже каганецъ былъ потушаемъ.

«И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повиннаго въ зажигательствѣ, въ оскорбленіи моего чина, имени и фамиліи и въ хищническомъ присвоеніи собственности, а паче всего въ подломъ и предосудительномъ присовокупленіи къ фамиліи моей названія «гусака», ко взысканію штрафа, удовлетворенія проторей и убытковъ присудить, и самого, яко нарушителя, въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму препроводить, и по сему моему

прошенію рѣшеніе немедленно и неукоснительно учинить. Писалъ и сочинялъ дворянинъ, миргородскій помѣщикъ, Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко».

По прочтеніи просьбы, судья приблизился къ Ивану Ивановичу, взялъ его за пуговицу и началъ говорить ему почти такимъ образомъ: «Что это вы дѣлаете, Иванъ Ивановичъ? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Иваномъ Никифоровичемъ за руки, да поцѣлуйтесь; да купите сантуринаскаго, или никопольскаго, или хоть, просто, сдѣлайте пуншику, да позовите меня! Разопьемъ вмѣстѣ и позабудемъ все!»

«Нѣтъ, Демьянъ Демьяновичъ! Не такое дѣло», сказалъ Иванъ Ивановичъ съ важностію, которая такъ всегда шла къ нему: «не такое дѣло, чтобы можно было рѣшить полюбовною сдѣлкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа!» продолжалъ онъ съ тою же важностію, оборотившись ко всѣмъ: «надѣюсь, что моя просьба возымѣетъ надлежащее дѣйствіе». И ушелъ, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Судья сидѣлъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ табакъ; канцелярскіе опрокинули разбитый черепокъ бутылки, употребляемый вмѣсто чернильницы, и самъ судья, въ разсѣянности, разводилъ пальцемъ по столу чернильную лужу.

«Что вы скажете на это, Дороей Трофимовичъ?» сказалъ судья, послѣ нѣкотораго молчанія, обратившись къ подсудку.

«Ничего не скажу», отвѣчалъ подсудокъ.

«Экія дѣла дѣлаются!» продолжалъ судья. Не успѣлъ онъ этого сказать, какъ дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась въ присутствіе, остальная оставалась еще въ передней. Появленіе Ивана Никифоровича, и еще въ судъ, такъ показалось необыкновеннымъ, что судья вскрикнулъ, секретарь прервалъ свое чтеніе, одинъ канцеляристъ, въ фризовомъ подобіи полуфракка, взялъ въ губы перо, другой проглотилъ муху. Даже отправлявшій должность фельдгегеря и сторожа инвалидъ, который до того стоялъ у дверей, почесывая въ своей грязной рубашкѣ, съ нашивкою на плечѣ, даже этотъ инвалидъ разинулъ ротъ и наступилъ кому-то на ногу.

«Какими судьбами? Что и какъ? Какъ здоровье ваше, Иванъ Никифоровичъ?»

Но Иванъ Никифоровичъ былъ ни живъ, ни мертвъ, потому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдѣлать ни шагу впередъ или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю, чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперъ сзади Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на всѣ усилія своихъ костлявыхъ рукъ, ничего не могла сдѣлать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ толстыми губами, съ ши-

рокими плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядѣвшими искоса и пьяно, съ разодранными локтями, приблизился къ передней половинѣ Ивана Никифоровича, сложилъ ему обѣ руки на-крестъ, какъ ребенку, и мигнулъ старому инвалиду, который уперся своимъ колѣномъ въ брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, онъ былъ вытиснуть въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, при чемъ канцелярскій и его помощникъ, инвалидъ, отъ дружныхъ усилій, дыханіемъ устъ своихъ распространили такой сильный запахъ, что комната присутствія превратилась было на время въ питейный домъ.

«Не зашибли ли васъ, Иванъ Никифоровичъ? Я скажу матушкѣ, она пришлетъ вамъ настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдетъ».

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромѣ продолжительныхъ *оховъ*, ничего не могъ сказать. Наконецъ, слабымъ, едва слышнымъ отъ усталости, голосомъ произнесъ онъ: «Не угодно ли?» и, вынувши изъ кармана рожокъ, прибавилъ: «Возьмите, одолжайтесь!»

«Весьма радъ, что васъ вижу», отвѣчалъ судья: «но все не могу представить себѣ, что заставило васъ предпринять трудъ и одолжить насъ такую пріятною нечаянностію».

«Съ просьбою...» могъ только произнести Иванъ Никифоровичъ.

«Съ просьбою? съ какою?»

«Съ позвомя...» (тутъ одышка произвела долгую паузу) «охъ!... съ позвомя на мошенника... Ивана Ивановича Перерепенка».

«Господи! И вы туда же! Такіе рѣдкіе друзья! Позовъ на такого добродѣтельнаго человѣка!..»

«Онъ—самъ сатана!» произнесъ отрывисто Иванъ Никифоровичъ. Судья перекрестился.

«Возьмите просьбу, прочитайте».

«Нечего дѣлать, прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ», сказалъ судья, обращаясь къ секретарю, съ видомъ неудовольствія, при чемъ носъ его невольно понюхалъ верхнюю губу, что обыкновенно онъ дѣлалъ прежде только отъ большого удовольствія. Такое самоуправство носа причинило судѣ еще болѣе досады: онъ вынулъ платокъ и смелъ съ верхней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сдѣлавши обыкновенный свой приступъ, который онъ всегда употреблялъ передъ начатіемъ чтенія, т.-е. безъ помощи носового платка, началъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ такимъ образомъ:

«Проситъ дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

(1) По ненавистой злобѣ своей и явному недоброжелательству, называющій себя дворяниномъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко,







всякія пакости, убытки и иные ехидненскіе и въ ужасъ приводящіе поступки мнѣ чинить, и вчерашняго дня пополудни, какъ разбойникъ и тать, съ топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудіями, забрался ночью въ мой дворъ и въ находящійся въ ономъ мой же собственный хлѣвъ, собственноручно и поноснымъ образомъ его изрубилъ, на что съ моей стороны я не подавалъ никакой причины къ столь противозаконному и разбойническому поступку.

«2) Оный же дворянинъ Перерепенко имѣетъ посягательство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго мѣсяца, содержа въ тайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко мнѣ и началъ дружескимъ и хитрымъ образомъ выпрашивать у меня ружье, находившееся въ моей комнатѣ, и предлагалъ мнѣ за него, съ свойственною ему скупостью, многія негодныя вещи, какъ-то: свинью бурую и двѣ мѣрки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намѣреніе, я всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошенникъ и подлецъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко выбранилъ меня мужицкимъ образомъ и питаетъ ко мнѣ съ того времени вражду непримиримую. Притомъ же оный, часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойникъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, и происхожденія весьма поноснаго: его сестра была извѣстная всему свѣту потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому пять лѣтъ, въ Миргородѣ, а мужа своего записала въ крестьяне; отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ и разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными и порицанія достойными поступками превзошелъ всю свою родню и, подъ видомъ благочестія, дѣлаетъ самыя соблазнительныя дѣла: постовъ не содержитъ, ибо наканунѣ Филипповки сей богоотступникъ купилъ барана и на другой день велѣлъ зарѣзать своей беззаконной дѣвкѣ Гапкѣ, оговариваясь, аки бы ему нужно было подъ тотъ часъ сало на каганцы и свѣчи.

«Посему прошу онаго дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличеннаго уже въ воровствѣ и грабительствѣ, въ кандалы заковать и въ тюрьму или государственный острогъ препроводить и тамъ уже, по усмотрѣнію, лиша чиновъ и дворянства, добре барбарами шмаровать и въ Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы, убытки велѣтъ ему заплатить и по сему моему прошенію рѣшеніе учинить.

«Къ сему прошенію руку приложилъ дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ».

Какъ только секретарь кончилъ чтеніе, Иванъ Никифоровичъ взялся за шапку и поклонился, съ намѣреніемъ уйти.

«Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ?» говорилъ ему вслѣдъ судья. «Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая дѣвка, и перемигиваешься съ канцелярскими? Ступай, принеси чаю!»



Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу, что такъ далеко зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный карантинъ, успѣлъ уже пролѣзть въ дверь, проговоривъ: «Не безпокойтесь, я съ удовольствіемъ...» и затворилъ ее за собою, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Дѣлать было нечего. Обѣ просьбы были приняты, и дѣло готовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно непредвидѣнное обстоятельство сообщило ему еще бѣольшую занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укладывали въ мѣшокъ нанесенныхъ просителями куръ, яицъ, краюхъ хлѣба, пироговъ, книшей и прочаго дрязгу, въ это время бурая свинья вбѣжала въ комнату и схватила, къ удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную корку, но прошеніе Ивана Никифоровича, которое лежало на концѣ стола, перевѣсившись листами внизъ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убѣжала такъ скоро, что ни одинъ изъ приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать ее, несмотря на кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествіе произвело страшную суматоху, потому что даже копія не была еще списана съ прошенія. Судья, т.-е. его секретарь, и подсудокъ, долго трактовали объ такомъ неслыханномъ обстоятельствѣ; наконецъ, рѣшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ отношеніе къ городничему, такъ какъ слѣдствіе по этому дѣлу болѣе относилось къ градской полиціи. Отношеніе, за № 389, послано было къ нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объясненіе, о которомъ читатели могутъ узнать изъ слѣдующей главы.

## ГЛАВА V,

въ которой излагается совѣщаніе двухъ почетныхъ въ Миргородѣ особъ.

**К**акъ только Иванъ Ивановичъ управился въ своемъ хозяйствѣ и вышелъ, по обыкновенію, полежать подъ навѣсомъ, то, къ несказанному удивленію своему, увидѣлъ что-то краснѣвшее въ калиткѣ. Это былъ красный обшлагъ городничаго, который, равномерно какъ и воротникъ его, получилъ политуру и по краямъ превращался въ лакированную кожу. Иванъ Ивановичъ подумалъ про себя: «Не дурно, что пришелъ Петръ Ѳедоровичъ поговорить», но очень удивился, увидя, что городничій шелъ чрезвычайно скоро и размахивалъ руками, что случалось съ нимъ, по обыкновенію, весьма рѣдко. На мундирѣ у городничаго посажено было восемь пуговицъ; девятая, какъ оторвалась

во время процессіи при освященіи храма, назадъ тому два года, такъ до сихъ поръ десятскіе не могутъ отыскать, хотя городничій при ежедневныхъ рапортахъ, которые отдаютъ ему квартальные надзиратели, всегда спрашиваетъ, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговицъ были насажены у него такимъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна направо, другая налѣво. Лѣвая нога была у него прострѣлена въ послѣдней кампаніи, и потому онъ, прихрамывая, закидывалъ ею такъ далеко въ сторону, что разрушалъ этимъ почти весь трудъ правой ноги. Чѣмъ быстрѣ дѣйствовалъ городничій своею пѣхотою, тѣмъ менѣе она подвигалась впередъ, и потому, покамѣстъ дошелъ городничій къ навѣсу, Иванъ Ивановичъ имѣлъ довольно времени теряться въ догадкахъ, отчего городничій такъ скоро размахивалъ руками. Тѣмъ болѣе это его занимало, что дѣло казалось необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже новая шпага.



«Здравствуйте, Петръ Ѳеодоровичъ!» вскричалъ Иванъ Ивановичъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любопытенъ и никакъ не могъ удержать своего нетерпѣнія при видѣ, какъ городничій бралъ приступомъ крыльцо, но все еще не поднималъ глазъ своихъ вверхъ и ссорился съ своею пѣхотою, которая никакимъ образомъ не могла съ одного размаху взойти на ступеньку.

«Доброго дня желаю любезному другу и благодѣтелю Ивану Ивановичу!» отвѣчалъ городничій.

«Милости прошу садиться. Вы, какъ я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мѣшаетъ...»

«Моя нога!» вскрикнулъ городничій, бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какіе бросаетъ великанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго учителя. При этомъ онъ вытянулъ свою ногу и топнулъ ею объ полъ. Эта храбрость, однакожъ, ему дорого стоила, потому что весь корпусъ его покачнулся и носъ клюнулъ перила; но мудрый блюститель порядка, чтобъ не подать никакого вида, тотчасъ оправился и полѣзъ въ карманъ, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобы достать табакерку. — «Я вамъ доложу о себѣ, любезнѣйшій другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что я дѣлывалъ на вѣку своемъ не такіе походы. Да, серьезно, дѣлывалъ. Напримѣръ, во время кампаніи 1807 г... Ахъ, я вамъ расскажу, какимъ манеромъ я перелѣзъ черезъ заборъ къ

одной хорошенькой нѣмкѣ». При этомъ городничій зажмурилъ одинъ глазъ и сдѣлалъ бѣсовски-плутовскую улыбку.

«Гдѣ-жъ вы бывали сегодня?» спросилъ Иванъ Ивановичъ, желая прервать городничаго и скорѣе навести его на причину посѣщенія; ему бы очень хотѣлось спросить, что такое намѣренъ объявить городничій; но тонкое познаніе свѣта представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иванъ Ивановичъ долженъ былъ скрѣпиться и ожидать разгадки, между тѣмъ какъ сердце его билось съ необыкновенною силою.

«А позвольте, я вамъ расскажу, гдѣ былъ я», отвѣчалъ городничій. «Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отличное время...»

При послѣднихъ словахъ Иванъ Ивановичъ почти-что не умеръ.

«Но позвольте», продолжалъ городничій: «я пришелъ сегодня къ вамъ по одному важному дѣлу». — Тутъ лицо городничаго и осанка приняли то же самое озабоченное положеніе, съ которымъ бралъ онъ приступомъ крыльцо. Иванъ Ивановичъ ожилъ и трепеталъ, какъ въ лихорадкѣ, не замедливши, по обыкновенію своему, сдѣлать вопросъ: «Какое же оно, важное? развѣ оно важное?»

«Вотъ извольте видѣть: прежде всего осмѣлюсь доложить вамъ, любезный другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что вы... съ моей стороны я, извольте видѣть, я ничего, но виды правительства, виды правительства этого требуютъ: вы нарушили порядокъ благочинія!»

«Что это вы говорите, Петръ Ѳедоровичъ? Я ничего не понимаю».

«Помилуйте, Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите послѣ этого, что ничего не понимаете!»

«Какая животина?»

«Съ позволенія сказать, ваша собственная бурая свинья».

«А я чѣмъ виновать? Зачѣмъ судейскій сторожъ отворяетъ двери?»

«Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: стало-быть, вы виноваты».

«Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньею меня равняете».

«Вотъ ужъ этого я не говорилъ, Иванъ Ивановичъ! Ей Богу, не говорилъ! Извольте разсудить по чистой совѣсти сами. Вамъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что, согласно съ видами начальства, запрещено въ городѣ, тѣмъ же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться нечистымъ животнымъ. Согласитесь сами, что это дѣло запрещенное».

«Богъ знаетъ, что это вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу!»

«Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ Ивановичъ, это совершенно невозможно. Что-жъ дѣлать? Начальство хочетъ—мы



должны повиноваться. Не спорю, забѣгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, замѣтѣте себѣ: куры и гуси; но свиней и козловъ я еще въ прошломъ году далъ предписаніе не впускать на публичныя площади, которое предписаніе тогда же приказалъ прочитатъ изустно въ собраніи, предъ цѣлымъ народомъ».

«Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ, я здѣсь ничего не вижу, какъ только то, что вы всячески стараетесь обижать меня».

«Вотъ этого-то не можете сказать, любезнѣйшій другъ и благодѣтель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый годъ, когда вы выстроили крышу цѣлымъ аршиномъ выше установленной мѣры. Напротивъ, я показалъ видъ, какъ будто совершенно этого не замѣтилъ. Вѣрьте, любезнѣйшій другъ, что и теперь я бы совершенно, такъ сказать... но мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ смотрѣть за чистотою. Посудите сами, когда вдругъ на главной улицѣ»...

«Ужъ хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идетъ выбросить то, что ей не нужно».

«Позвольте вамъ доложить, Иванъ Ивановичъ, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только подъ заборомъ, сараями или коморами; но чтобъ на главной улицѣ, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дѣло»...

«Что-жъ такое, Петръ Ѳедоровичъ! Вѣдь свинья — твореніе Божіе!»

«Согласенъ. Это всему свѣту извѣстно, что вы человѣкъ ученый, знаете науки и прочіе разные предметы. Конечно, я наукамъ не обучался никакимъ; скорописному письму я началъ учиться на тридцатомъ году своей жизни. Вѣдь я, какъ вамъ извѣстно, изъ рядовыхъ».

«Гм!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.

«Да», продолжалъ городничій: «въ 1801 году я находился въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротѣ поручикомъ. Ротный командиръ у насъ былъ, если изволите знать, капитанъ Еремѣевъ». При этомъ городничій запустилъ свои пальцы въ табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держалъ открытою и переминалъ табакъ.

Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ: «Гм!».

«Но мой долгъ», продолжалъ городничій «есть повиноваться требованіямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ Ивановичъ, что похитившій въ судѣ казенную бумагу подвергается, наравнѣ со всякимъ другимъ преступленіемъ, уголовному суду?»

«Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Такъ говорится о людяхъ; напримѣръ, если бы вы украли бумагу; но свинья — животное, твореніе Божіе».

«Все такъ, но законъ говоритъ: «Виновный въ похищеніи...» Прошу васъ прислушаться внимательнѣе: *виновный!* Здѣсь не означается

ни рода, ни пола, ни званія; стало-быть, и животное можетъ быть виновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесенія приговора къ наказанію, должно быть представлено въ полицію, какъ нарушитель порядка».

«Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ», возразилъ хладнокровно Иванъ Ивановичъ: «этого-то не будетъ!»

«Какъ вы хотите, только я долженъ слѣдовать предписаніямъ начальства».

«Что-жъ вы страшаете меня? Вѣрно, хотите прислать за нею безрукаго солдата? Я прикажу дворовой бабѣ его кочергой выпроводить; ему послѣднюю руку переломать».

«Я не смѣю съ вами спорить. Въ такомъ случаѣ, если вы не хотите представить ее въ полицію, то пользуйтесь ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рождеству и надѣлайте изъ нея окороковъ, или такъ съѣшьте. Только я бы у васъ попросилъ, если будете дѣлать колбасы, пришлите мнѣ парочку тѣхъ, которыя у васъ такъ искусно дѣлаетъ Гапка изъ свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень ихъ любитъ».

«Колбасъ, извольте, пришлю парочку».

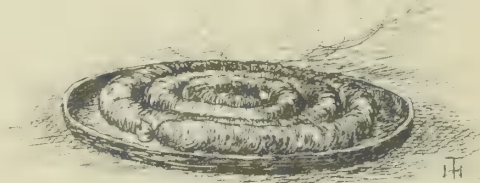
«Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благодѣтель. Теперь позвольте вамъ сказать еще одно слово. Я имѣю порученіе какъ отъ судьи, такъ равно и отъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ пріятелемъ вашимъ, Иваномъ Никифоровичемъ».

«Какъ! съ невѣжею! Чтобы я примирился съ этимъ грубіяномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!» Иванъ Ивановичъ былъ въ чрезвычайномъ рѣшительномъ состояніи.

«Какъ вы себѣ хотите», отвѣчалъ городничій, угощая обѣ ноздри табакомъ. «Я вамъ не смѣю совѣтовать; однакожъ, позвольте доложить, вотъ вы теперь въ ссорѣ, а какъ помиритесь...»

Но Иванъ Ивановичъ началъ говорить о ловлѣ перепеловъ, что обыкновенно случалось, когда онъ хотѣлъ замаять рѣчь.

Итакъ, городничій, не получивъ никакого успѣха, долженъ былъ отправиться во-свояси.



## ГЛАВА VI,

изъ которой читатель легко можетъ узнать все то, что въ ней содержится.

Сколько ни старались въ судѣ скрыть дѣло, но на другой же день весь Миргородъ узналъ, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Самъ городничій первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали объ этомъ, онъ ничего не сказалъ; спросилъ только: «Не бурая ли?»

Но Агафія Ѳедосѣевна, которая была при этомъ, начала опять приступать къ Ивану Никифоровичу: «Что ты, Иванъ Никифоровичъ? Надъ тобой будутъ смѣяться, какъ надъ дуракомъ, если тыпустишь! Какой ты послѣ этого будешь дворянинъ? Ты будешь хуже бабы, что продаетъ сладѣны, которыя ты такъ любишь». И уговорила неугомонная! Нашла гдѣ-то человѣчка среднихъ лѣтъ, черномазаго, съ пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ съ заплатами на локтяхъ сюртукѣ, совершенную приказную чернильницу! Сапоги онъ смазывалъ дегтемъ, носилъ по три пера за ухомъ и привязанный къ пуговицѣ на шнурочкѣ стеклянный пузырекъ, вмѣсто чернильницы; съѣдалъ за однимъ разомъ девять пироговъ, а десятый клалъ въ карманъ, и въ одинъ гербовый листъ столько уписывалъ всякой ябеды, что никакой чтецъ не могъ за однимъ разомъ прочесть, не перемежая этого кашлемъ и чиханьемъ. Это небольшое подобіе человѣка копалось, корпѣло, писало и, наконецъ, состряпало такую бумагу:

«Въ миргородскій повѣтовый судъ отъ дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

«Вслѣдствіе онаго прошенія моего, что отъ меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, къ тому имѣло быть, совокупно съ дворяниномъ Иваномъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, чему и самъ повѣтовый миргородскій судъ потворство свое изъявилъ. И самое оное начальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайнѣ содержимо и уже отъ стороннихъ людей до слуха дошедши. Понеже оное допущеніе и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежитъ; ибо оная свинья есть животное глупое, и тѣмъ паче способное къ хищенію бумаги. Изъ чего очевидно явствуетъ, что часто поминаемая свинья не иначе, какъ была подпущена къ тому самимъ противникомъ, называющимъ себя дворяниномъ Иваномъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, уже уличеннымъ въ разбоѣ, посягательствѣ на жизнь и святотатствѣ. Но оный миргородскій судъ, съ свойственнымъ ему лицепріятіемъ, тайное своей особы соглашеніе изъявилъ, безъ какого со-



глашенія оная свинья никоимъ бы образомъ не могла быть допущенною къ утащенію бумаги, ибо миргородскій повѣтовый судъ въ прислугѣ весьма снабженъ: для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ пріемной пребывающаго, который, хотѣ имѣть одинъ кривой глазъ и нѣсколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имѣть весьма соразмѣрныя способности. Изъ чего достовѣрно видно потворство онаго миргородскаго суда и безспорно раздѣленіе жидовскаго отъ того барыша по взаимности совмѣщаясь. Оный же вышеупомянутый разбойникъ и дворянинъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко въ приточеніи ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному повѣтовому суду я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, въ надлежащее всевѣдѣніе, если съ оной бурой свиньи или согласившагося съ нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будетъ и по ней рѣшеніе по справедливости и въ мою пользу не возымѣтъ: то я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, о таковомъ онаго суда противозаконномъ потворствѣ подать жалобу въ палату имѣю, съ надлежащимъ по формѣ перенесеніемъ дѣла.

«Дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ».

Эта просьба произвела свое дѣйствіе. Судья былъ человекъ, какъ обыкновенно бываютъ всѣ добрые люди, трусливаго десятка. Онъ обратился къ секретарю. Но секретарь пустилъ сквозь губы густой «гм» и показалъ на лицѣ своемъ ту равнодушную и дьявольски-двусмысленную мину, которую принимаетъ одинъ только сатана, когда видитъ у ногъ своихъ прибѣгающую къ нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двухъ пріятелей. Но какъ приступить къ этому, когда всѣ покушенія были до того неуспѣшны? Однакожъ еще рѣшились попытаться; но Иванъ Ивановичъ напрямикъ объявилъ, что не хочетъ, и даже весьма разсердился. Иванъ Никифоровичъ, вмѣсто отвѣта, оборотился спиною назадъ и хотѣ бы слово сказалъ. Тогда процессъ пошелъ съ необыкновенною быстротою, которою обыкновенно такъ славятся судилища. Бумагу помѣтили, записали, выставили номеръ, вшили, расписались, все въ одинъ и тотъ же день, и положили дѣло въ шкафъ, гдѣ оно лежало, лежало, лежало годъ, другой, третій. Множество невѣстъ успѣло выйти замужъ; въ Миргородѣ пробили новую улицу; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два боковыхъ; у Ивана Ивановича бѣгало по двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богъ одинъ знаетъ); Иванъ Никифоровичъ, въ упрекъ Ивану Ивановичу, выстроилъ новый гусиный хлѣвъъ, хотя немного подальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ивановича, такъ что сіи достойные люди никогда почти не видѣли въ лицо другъ







друга; — и дѣло все лежало, въ самомъ лучшемъ порядкѣ, въ шкафу, который сдѣлался мраморнымъ отъ чернильныхъ пятенъ.

Между тѣмъ произошелъ чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничій давалъ ассамблею! Гдѣ возьму я кистей и красокъ, чтобы изобразить разнообразіе сѣзда и великолѣпное пиршество? Возьмите часы, откройте ихъ и посмотрите, что тамъ дѣлается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себѣ, что почти столько же, если не больше, колесъ стояло среди двора городничаго. Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было! Одна — задъ широкій, а передъ узенькій; другая — задъ узенькій, а передъ широкій. Одна была и бричка, и повозка вмѣстѣ; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сѣна или на толстую купчиху: другая — на растрепаннаго жида или на скелетъ, еще не совсѣмъ освободившійся отъ кожи; иная была въ профилѣ совершенная трубка съ чубукомъ, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Изъ среды этого хаоса колесъ и козелъ возвышалось подобіе кареты съ комнатнымъ окномъ, перекрещеннымъ толстымъ переплетомъ. Кучера, въ сѣрыхъ чекменяхъ, свиткахъ и сѣрякахъ, въ бараньихъ шапкахъ и разнокалиберныхъ фуражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору распряженныхъ лошадей. Что за ассамблею далъ городничій! Позвольте, я перечту всѣхъ, которые были тамъ: Тарасъ Тарасовичъ, Евилъ Акинѣевичъ, Евтихій Евтихіевичъ, Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій Елевферіевичъ, Макаръ Назарьевичъ, Ѳома Григорьевичъ... Не могу далѣе! не въ силахъ! Рука устаетъ писать! А сколько было дамъ! смуглыхъ и блѣлыхъ, и длинныхъ и коротенькихъ, толстыхъ, какъ Иванъ Никифоровичъ, и такихъ тонкихъ, что, казалось, каждую можно было упрятать въ шпажныя ножны городничаго. Сколько чепцовъ! сколько платьевъ! красныхъ, желтыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ, синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, перекроенныхъ, — платковъ, лентъ, ридикюлей! Прощайте, бѣдные глаза! вы никуда не будете годиться послѣ этого спектакля. А какой длинный столъ былъ вытянутъ! А какъ разговорилось все, какой шумъ подняли! Куда противъ этого мельница со всѣми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вамъ сказать навѣрно, о чемъ они говорили, но должно думать, что о многихъ



пріятныхъ и полезныхъ вещахъ, какъ-то: о погодѣ, о собакахъ, о пшеницѣ, о чепчикахъ, о жеребцахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ, не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кривъ, сказалъ: «Мнѣ очень странно, что правый глазъ мой (кривой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ о себѣ иронически) не видитъ Ивана Никифоровича г-на Довгочхуна».

«Не хотѣлъ притти!» сказалъ городничій.

«Какъ такъ?»

«Вотъ уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились они между собою, т.-е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, и гдѣ одинъ, туда другой ни за что не пойдетъ!»

«Что вы говорите!» При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ поднималъ глаза вверхъ и сложилъ руки вмѣстѣ. «Что-жъ теперь, если уже люди съ добрыми глазами не живутъ въ мирѣ, гдѣ же жить мнѣ въ ладу съ кривымъ моимъ окомъ!» На эти слова всѣ засмѣялись во весь ротъ. Всѣ очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что онъ отпускалъ шутки совершенно во вкусѣ нынѣшнемъ. Самъ высокій, худощавый человѣкъ, въ байковомъ сюртукѣ, съ пластыремъ на носу, который до того сидѣлъ въ углу и ни разу не перемѣнилъ движенія на своемъ лицѣ, даже когда залетѣла къ нему въ носъ муха,—этотъ самый господинъ всталъ съ своего мѣста и подвинулся ближе къ толпѣ, обступившей кривого Ивана Ивановича. «Послушайте!» сказалъ кривой Иванъ Ивановичъ, когда увидѣлъ, что его окружило порядочное общество: «послушайте: вмѣсто того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вмѣсто этого, помиримъ двухъ нашихъ пріятелей! Теперь Иванъ Ивановичъ разговариваетъ съ бабами и дѣвчатами,—пошлемъ потихоньку за Иваномъ Никифоровичемъ, да и столкнемъ ихъ вмѣстѣ».

Всѣ единодушно приняли предложеніе Ивана Ивановича и положили немедленно послать къ Ивану Никифоровичу на домъ просить его, во что бы ни стало, пріѣхать къ городничему на обѣдъ. Но важный вопросъ: на кого возложить это важное порученіе? повергнулъ всѣхъ въ недоумѣніе. Долго спорили, кто способнѣе и искуснѣе въ дипломатической части; наконецъ, единодушно рѣшили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно нѣсколько познакомить читателя съ этимъ замѣчательнымъ лицомъ. Антонъ Прокофьевичъ былъ совершенно добродѣтельный человѣкъ во всемъ значеніи этого слова: дать ли



КИСЕТЪ

ему кто изъ почетныхъ людей въ Миргородѣ платокъ на шею или исподнее,—онъ благодарить; щелкнетъ ли его кто слегка въ носъ,—онъ и тогда благодарить. Если у него спрашивали: «Отчего это у васъ, Антонъ Прокофьевичъ, сюртукъ коричневый, а рукава голубые?» то онъ обыкновенно всегда отвѣчалъ: «А у васъ и такого нѣтъ! Подождите, обносится, весь будетъ одинаковый!» И точно, голубое сукно, отъ дѣйствія солнца, начало обращаться въ коричневое, и теперь совер-



шенно подходить подъ цвѣтъ сюртука. Но вотъ что странно, что Антонъ Прокофьевичъ имѣетъ обыкновеніе суконное платье носить лѣтомъ, а нанковое—зимою. Антонъ Прокофьевичъ не имѣетъ своего дома. У него былъ прежде на концѣ города, но онъ его продалъ и на вырученныя деньги купилъ тройку гнѣдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой разъѣзжалъ гостить по помѣщикамъ. Но такъ какъ съ лошадьми было много хлопотъ и притомъ нужны были деньги на овесъ, то Антонъ Прокофьевичъ ихъ промѣнялъ на скрипку и дворовую дѣвку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потомъ скрипку Антонъ Прокофьевичъ продалъ, а дѣвку промѣнялъ на сафьянный съ золотомъ кисетъ, и теперь у него кисетъ такой,



какого ни у кого нѣтъ. За это наслажденіе онъ уже не можетъ разбѣжать по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городѣ и ночевать въ разныхъ домахъ, особенно тѣхъ дворянъ, которые находили удовольствіе щелкать его по носу. Антонъ Прокофьевичъ любитъ хорошо поѣсть, играетъ изрядно въ дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихіею, и потому онъ, взявши шапку и палку, немедленно отправился въ путь.

Но, идучи, сталъ разсуждать, какимъ образомъ ему подвигнуть Ивана Никифоровича притти на ассамблею. Нѣсколько крутой нравъ сего, впрочемъ, достойнаго человѣка дѣлалъ его предпріятіе почти невозможнымъ. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшиться притти, когда встать съ постели уже ему стоило великаго труда? Но положимъ что онъ встанетъ, какъ ему притти туда, гдѣ находится, — что, безъ сомнѣнія, онъ знаетъ, — непримиримый врагъ его? Чѣмъ болѣе Антонъ Прокофьевичъ обдумывалъ, тѣмъ болѣе находилъ препятствій. День былъ душенъ; солнце жгло; потъ лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевичъ, несмотря на то, что его щелкали по носу, былъ довольно хитрый человѣкъ на многія дѣла. Въ мѣнѣ только былъ онъ не такъ счастливъ. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться дуракомъ, и иногда умѣлъ найтись въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, гдѣ рѣдко умный бываетъ въ состояніи извернуться.

Въ то время, какъ изобрѣтательный умъ его выдумывалъ средство, какъ убѣдить Ивана Никифоровича, и уже онъ храбро шелъ навстрѣчу всего, одно неожиданное обстоятельство нѣсколько смутило его. Не мѣшаетъ, при этомъ, сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочимъ, одни панталоны такого страннаго свойства, что когда онъ надѣвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его за икры. Какъ на бѣду, въ тотъ день онъ надѣлъ именно эти панталоны, и потому, едва только онъ предался размышленіямъ, какъ страшный лай со всѣхъ сторонъ поразилъ слухъ его. Антонъ Прокофьевичъ поднялъ такой крикъ (громче его никто не умѣлъ кричать), что не только знакомая баба и обитатель неизмѣримаго сюртука выбѣжали къ нему навстрѣчу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за одну ногу успѣли его укусить, однакожъ это очень уменьшило его бодрость, и онъ съ нѣкотораго рода робостью подступалъ къ крыльцу.

---

## ГЛАВА VII

и

п о с л ѣ д н я я.

«А, здравствуйте! На что вы собакъ дразните?» сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидѣвши Антона Прокофьевича, потому что съ Антономъ Прокофьевичемъ никто иначе не говорилъ, какъ шутя.

«Чтобъ онѣ передохли всѣ! Кто ихъ дразнить?» отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ.

«Вы врете».

«Ей Богу, нѣтъ! Просилъ васъ Петръ Ѳедоровичъ на обѣдъ».

«Гм!»

«Ей Богу! такъ убѣдительно просилъ, что выразить не можно: «Что это, говоритъ, Иванъ Никифоровичъ чуждается меня, какъ не-пріятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо посидѣть».

Иванъ Никифоровичъ погладилъ свой подбородокъ.

«Если, говоритъ, Иванъ Никифоровичъ и теперь не придетъ, то я не знаю, что подумать: вѣрно, онъ имѣетъ на меня какой умыселъ! Сдѣлайте милость, Антонъ Прокофьевичъ, уговорите Ивана Никифоровича!» Что-жъ, Иванъ Никифоровичъ, пойдѣмъ! Тамъ собралась теперь отличная компанія!»

Иванъ Никифоровичъ началъ разсматривать пѣтуха, который, стоя на крыльцѣ, изо всей мочи дралъ горло.

«Если бы вы знали, Иванъ Никифоровичъ», продолжалъ усердный депутатъ: «какой осетрины, какой свѣжей икры прислали Петру Ѳедоровичу!»

При этомъ Иванъ Никифоровичъ поворотилъ свою голову и началъ внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата. «Пойдемте скорѣе: тамъ и Ѳома Григорьевичъ! Что-жъ вы?» прибавилъ онъ, видя, что Иванъ Никифоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ положеніи: «что-жъ? идемъ, или неидемъ?»

«Не хочу».

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича: онъ уже думалъ, что убѣдительное представленіе его совершенно склонило этого, впрочемъ, достойнаго человѣка; но вмѣсто того услышалъ рѣшительное: «не хочу».

«Отчего же не хотите вы?» спросилъ онъ почти съ досадою, которая показывалась у него чрезвычайно рѣдко, даже тогда, когда клали

ему на голову зажженую бумагу, чѣмъ особенно любили себя тѣшить судья и городничій.

Иванъ Никифоровичъ понюхалъ табаку.

«Воля ваша, Иванъ Никифоровичъ, я не знаю, что васъ удерживаетъ».

«Чего я пойду?» проговорилъ, наконецъ, Иванъ Никифоровичъ: «тамъ будетъ разбойникъ!» Такъ онъ называлъ обыкновенно Ивана Ивановича. Боже праведный! А давно ли...

«Ей Богу, не будетъ! Вотъ какъ Богъ святъ, что не будетъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ мѣстѣ громомъ убило!» отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ, который готовъ былъ божиться десять разъ на одинъ часъ, «Пойдемте же, Иванъ Никифоровичъ!»

«Да вы врете, Антонъ Прокофьевичъ, онъ тамъ?»

«Ей Богу, ей Богу, нѣтъ! Чтобы я не сошелъ съ этого мѣста, если онъ тамъ! Да и сами посудите, съ какой стати мнѣ лгать! Чтобы мнѣ руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не вѣрите? Чтобы я околѣлъ тутъ же передъ вами! Чтобы ни отцу, ни матери моей, ни мнѣ не видать царствія небеснаго! Еще не вѣрите?»

Иванъ Никифоровичъ этими увѣреніями совершенно успокоился и велѣлъ своему камердинеру, въ безграничномъ сюртукѣ, принести шаровары и нанковый казакинъ.

Я полагаю, что описывать, какимъ образомъ Иванъ Никифоровичъ надѣвалъ шаровары, какъ ему намотали галстухъ и, наконецъ, надѣли казакинъ, который подъ лѣвымъ рукавомъ лопнулъ, совершенно излишне. Довольно, что онъ во все это время сохранялъ приличное спокойствіе и не отвѣчалъ ни слова на предложенія Антона Прокофьевича—что-нибудь промѣнять на его турецкій кисетъ.

Между тѣмъ собраніе съ нетерпѣніемъ ожидало рѣшительной минуты, когда явится Иванъ Никифоровичъ, и исполнится, наконецъ, всеобщее желаніе, чтобы сіи достойные люди примирились между собою. Многіе были почти увѣрены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. Городничій даже бился объ закладъ съ кривымъ Иваномъ Ивановичемъ, что не придетъ; но разошелся только потому, что кривой Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставилъ въ закладъ подстрѣленную свою ногу, а онъ кривое око, — чѣмъ городничій очень обидѣлся, а компанія потихоньку смѣялась. Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ второй часъ,—время, въ которое въ Миргородѣ, даже въ парадныхъ случаяхъ, давно уже обѣдаютъ.

Едва только Антонъ Прокофьевичъ появился въ дверяхъ, какъ въ то же мгновеніе былъ обступленъ всѣми. Антонъ Прокофьевичъ на всѣ вопросы закричалъ однимъ рѣшительнымъ словомъ: «Не будетъ!» Едва только онъ это произнесъ, и уже градъ выговоровъ, браней, а



можетъ быть, и щелчковъ готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, какъ вдругъ дверь отворилась и — вошелъ Иванъ Никифоровичъ.

Если бы показался самъ сатана или мертвецъ, то они бы не произвели такого изумленія во всемъ обществѣ, въ какое повергнулъ его неожиданный приходъ Ивана Никифоровича. А Антонъ Прокофьевичъ только заливался, ухватившись за бока, отъ радости, что такъ подшутилъ надъ всею компаніею.

Какъ бы то ни было, только это было почти невѣроятно для всѣхъ, чтобы Иванъ Никифоровичъ въ такое короткое время могъ одѣться, какъ прилично дворянину. Ивана Ивановича въ это время не было; онъ зачѣмъ-то вышелъ. Очнувшись отъ изумленія, вся публика приняла участіе въ здоровьѣ Ивана Никифоровича и изъявила удовольствіе, что онъ раздался въ толщину. Иванъ Никифоровичъ цѣловался со всякимъ и говорилъ: «Очень одолженъ».

Между тѣмъ запахъ борща понесся чрезъ комнату и пощекоталъ пріятно ноздри проголодавшимся гостямъ. Всѣ повалили въ столовую. Вереница дамъ, говорливыхъ и молчаливыхъ, тощихъ и толстыхъ, потянулась впередъ, и длинный столъ зарябѣлъ всѣми цвѣтами. Не стану описывать кушаньевъ, какія были за столомъ! Ничего не упомяну ни о мнишкахъ въ сметанѣ, ни объ утрибкѣ, которую подавали къ борщу, ни объ индѣйкѣ со сливами и изюмомъ, ни о томъ кушаньѣ, которое очень походило видомъ на сапоги, намоченные въ квасѣ, ни о томъ соусѣ, который есть лебединая пѣснь стариннаго повара, о томъ соусѣ, который подавался обхваченный весь виннымъ пламенемъ, что очень забавляло и вмѣстѣ пугало дамъ. Не стану говорить объ этихъ кушаньяхъ, потому что мнѣ гораздо болѣе нравится ѣсть ихъ, нежели распространяться объ нихъ въ разговорахъ.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся этимъ полезнымъ и питательнымъ упражненіемъ. Выбирая самыя тонкія рыбы косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку и какъ-то нечаянно взглянулъ насупротивъ: Творецъ небесный! какъ это было странно! Противъ него сидѣлъ Иванъ Никифоровичъ.

Въ одно и то же время взглянулъ и Иванъ Никифоровичъ!.. Нѣтъ!.. не могу. Дайте мнѣ другое перо! Перо мое вяло, мертво, съ тонкимъ расщепомъ для этой картины! Лица ихъ съ отразившимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы окаменѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣлъ лицо, давно знакомое, къ которому, казалось бы, невольно готовъ подойти, какъ къ пріятелю неожиданному, и поднести рожокъ, съ словомъ: «одолжайтесь», или: «смѣю ли просить объ одолженіи»; но вмѣстѣ съ этимъ то же самое лицо было страшно, какъ нехорошее



предзнаменованіе! Потъ катился градомъ у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующіе, всѣ, сколько ихъ ни было за столомъ, онѣмѣли отъ вниманія и не отрывали глазъ отъ нѣкогда бывшихъ друзей. Дамы, которыя до того времени были заняты довольно интереснымъ разговоромъ о томъ, какимъ образомъ дѣлаются каплуны, вдругъ прервали разговоръ. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великаго художника!

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой платокъ и началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрѣлся вокругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Городничій тотчасъ замѣтилъ это движеніе и велѣлъ затворить дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать, и уже ни разу не взглянули они другъ на друга.

Какъ только кончился обѣдъ, оба прежніе пріятеля схватились съ мѣстъ и начали искать шапокъ, чтобы улизнуть. Тогда городничій мигнулъ, и Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, чтò съ кривымъ глазомъ, — сталъ за спиною Ивана Никифоровича, а городничій зашелъ за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вмѣстѣ и не выпускать до тѣхъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ивановичъ, чтò съ кривымъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Никифоровича, хотя и нѣсколько косо, однакожъ довольно еще удачно, въ то мѣсто, гдѣ стоялъ Иванъ Ивановичъ; но городничій сдѣлалъ дирекцію слишкомъ въ сторону, потому что онъ никакъ не могъ управиться съ своевольною пѣхотою, не слушавшею на этотъ разъ никакой команды, и какъ на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ противную сторону (чтò, можетъ, происходило оттого, что за столомъ было чрезвычайно много разныхъ наливокъ), такъ что Иванъ Ивановичъ упалъ на даму въ красномъ платьѣ, которая, изъ любопытства, просунулась въ самую середину. Такое предзнаменованіе не предвѣщало ничего добраго. Однакожъ судья, чтобъ поправить это дѣло, занялъ мѣсто городничаго и, потянувши носомъ съ верхней губы весь табакъ, отпихнулъ Ивана Ивановича въ другую сторону. Въ Миргородѣ это обыкновенный способъ примиренія; онъ нѣсколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ кривымъ глазомъ, уперся всею силою и пихнулъ Ивана Никифоровича, съ котораго потъ валился, какъ дождевая вода съ крыши. Несмотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты, потому что обѣ дѣйствовавшія стороны получили значительное подкрѣпленіе со стороны другихъ гостей.

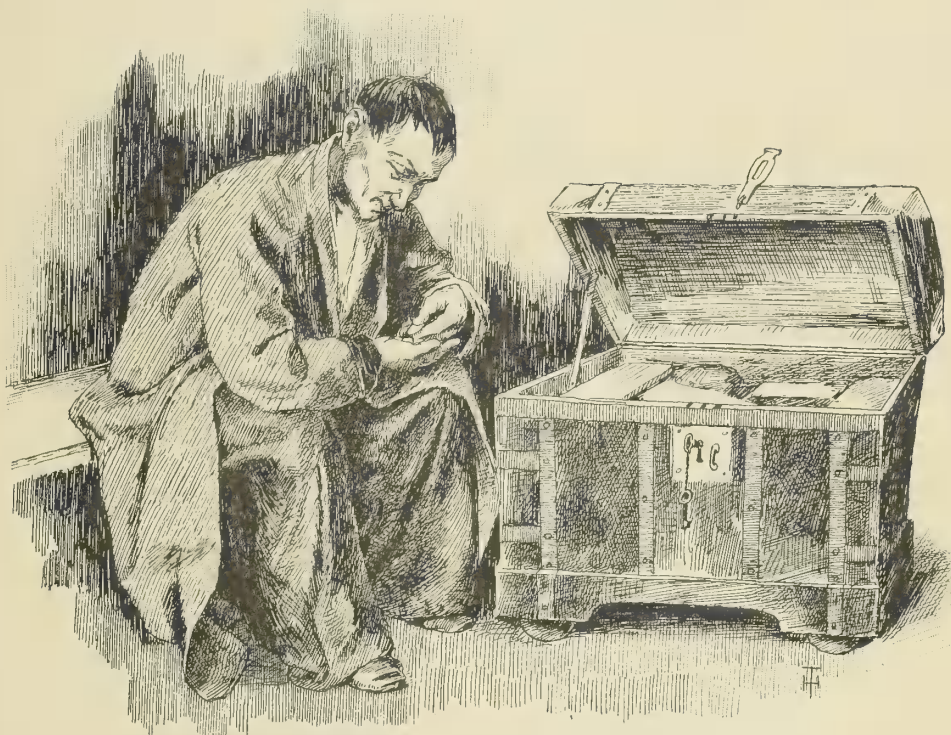






Тогда обступили ихъ со всѣхъ сторонъ тѣсно и не выпускали до тѣхъ поръ, пока они не рѣшились подать другъ другу руки. «Богъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ и Иванъ Ивановичъ! Скажите по совѣсти: за что вы поссорились? Не по пустякамъ ли? Не совѣстно ли вамъ передъ людьми и передъ Богомъ!»

«Я не знаю», сказалъ Иванъ Никифоровичъ, пыхтя отъ усталости (замѣтно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ примиренія): «я не знаю, что я такое сдѣлалъ Ивану Ивановичу; за что же онъ порубилъ мой хлѣвъ и замышлялъ погубить меня?»



«Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умыслѣ», говорилъ Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича. «Клянусь и передъ Богомъ, и передъ вами, почтенное дворянство, я ничего не сдѣлалъ моему врагу. За что же онъ меня поноситъ и наноситъ вредъ моему чину и званію?»

«Какой же я вамъ, Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?» сказалъ Иванъ Никифоровичъ. Еще одна минута объясненія — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать: «одолжайтесь».

«Развѣ это не вредъ», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, не подымая глазъ: «когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чинъ и фамилію такимъ словомъ, которое неприлично здѣсь сказать?»

«Позвольте вамъ сказать по-дружески, Иванъ Ивановичъ!» (при этомъ Иванъ Никифоровичъ дотронулся пальцемъ до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположеніе): «вы обидѣлись, чортъ знаетъ за что такое: за то, что я васъ назвалъ *лусакомъ*...»

Иванъ Никифоровичъ спохватился, что сдѣлалъ неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено. Все пошло къ чорту! Когда, при произнесеніи этого слова безъ свидѣтелей, Иванъ Ивановичъ вышелъ изъ себя и пришелъ въ такой гнѣвъ, въ какомъ не дай Богъ видѣть человѣка,—что-жъ теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убійственное слово произнесено было въ собраніи, въ которомъ находилось множество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичъ любилъ быть особенно приличнымъ? Поступи Иванъ Никифоровичъ не такимъ образомъ, скажи онъ *птица*, а не *лусака*, еще бы можно было поправить. Но—все кончено!

Онъ бросилъ на Ивана Никифоровича взглядъ—и какой взглядъ! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то онъ обратилъ бы въ прахъ Ивана Никифоровича. Гости поняли этотъ взглядъ и поспѣшили сами разлучить ихъ. И этотъ человѣкъ, образецъ кротости, который ни одну нищую не пропускалъ, чтобъ не разспросить ее, выбѣжалъ въ ужасномъ бѣшенствѣ. Такія сильныя бури производятъ страсти!

Цѣлый мѣсяцъ ничего не было слышно объ Иванѣ Ивановичѣ. Онъ заперся въ своемъ домѣ. Завѣтный сундукъ былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты—что же? карбованцы! старые, дѣдовскіе карбованцы! И эти карбованцы перешли въ запачканныя руки чернильных дѣльцовъ. Дѣло было перенесено въ палату. И когда получилъ Иванъ Ивановичъ радостное извѣстіе, что завтра рѣшится оно, тогда только выглянулъ на свѣтъ и рѣшился выйти изъ дому. Увы! съ того времени палата извѣщала ежедневно, что дѣло кончится завтра, въ продолженіе десяти лѣтъ.

Назадъ тому лѣтъ пять я проѣзжалъ чрезъ городъ Миргородъ. Я ѣхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то ненатуральная зелень,—твореніе скучныхъ, непрерывныхъ дождей,—покрывала жидкою сѣтью поля и нивы, къ которымъ она такъ пристала, какъ шалости старику, розы—старухѣ. На меня тогда сильное вліяніе производила погода: я скучалъ, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я сталъ подъѣзжать къ Миргороду, то почувствовалъ, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаній! Я двѣнадцать лѣтъ не видалъ Миргорода.



Здѣсь жили тогда въ трогательной дружбѣ два единственные человѣка, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитыхъ людей! Судья Демьянъ Демьяновичъ уже тогда былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, что съ кривымъ глазомъ, тоже приказалъ долго жить. Я въѣхалъ въ главную улицу: вездѣ стояли шесты съ привязаннымъ вверху пучкомъ соломы: производилась какая-то новая планировка! Нѣсколько избъ было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День былъ тогда праздничный; я приказалъ рогоженную кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было: церковь была пуста; народу почти никого; видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свѣчи, при пасмурномъ, лучше сказать, больномъ днѣ, какъ-то были странно непріятны; темные притворы были печальны; продолговатыя окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми слезами. Я отошелъ въ притворъ и обратился къ почтенному старику съ посѣдѣвшими волосами: «Позвольте узнать, живъ ли Иванъ Никифоровичъ?» Въ это время лампада вспыхнула живѣе передъ иконою, и свѣтъ прямо ударился въ лицо моего сосѣда. Какъ же я удивился, когда, рассматривая, увидѣлъ черты знакомыя! Это былъ самъ Иванъ Никифоровичъ! Но какъ измѣнился!

«Здоровы ли вы, Иванъ Никифоровичъ? Какъ же вы постарѣли!»

«Да, постарѣлъ. Я сегодня изъ Полтавы», отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.

«Что вы говорите! Вы ѣздили въ Полтаву въ такую дурную погоду?»

«Что-жъ дѣлать! Тяжба...»

При этомъ я невольно вздохнулъ.

Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ: «Не безпокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣшится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу».

Я пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Иванѣ Ивановичѣ.

«Иванъ Ивановичъ здѣсь!» сказалъ мнѣ кто-то: «онъ на клиросѣ».

Я увидѣлъ тогда тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно бѣлые; но бекеша была все та же. Послѣ первыхъ привѣтствій, Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронкообразному лицу, сказалъ: «Увѣдомить ли васъ о пріятной новости?»

«О какой новости?» спросилъ я.

«Завтра непременно рѣшится мое дѣло; палата сказала навѣрное».

Я вздохнулъ еще глубже и поскорѣе поспѣшилъ проститься, — потому что я ѣхалъ по весьма важному дѣлу, — и сѣлъ въ кибитку.

Тошя лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сырую массу грязи, непрятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливня на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо.— Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!



## Малороссійскія слова,

встрѣчающіяся въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“  
и въ „Миргородѣ“.

Бандура,	инструментъ, родъ гитары.	Голодрабець,	бѣднякъ, бобыль.
Баклага,	родъ плоскаго боченка.	Гопакъ,	} танцы.
Батогъ,	кнуť.	Горлица,	
Барвинокъ,	растенье.	Гречаникъ,	гречневый хлѣбъ.
Баштанъ,	мѣсто, застѣянное арбузами и дынями.	Гусакъ,	гусь-самецъ.
Болячка,	вередъ.	Далибугъ,	ей Богу (польское).
Бондарь,	бочаръ.	Дѣвчина, дѣвчата,	дѣвушка, дѣвушки.
Бубликъ,	круглый крендель, баранокъ.	Дижъ,	кадка.
Будякъ,	чертополохъ.	Добродію,	сударь, милостивецъ.
Бурякъ,	свекла.	Довбишъ,	литавщикъ.
Буханецъ,	небольшой бѣлый хлѣбъ.	Домовина,	гробъ.
Варенуха,	вареная водка съ пряностями и плодами.	Дрибушки,	мелкія косы.
Вертепъ,	кукольный театръ.	Дуля,	шишъ.
Вечеря, вечерять,	ужинъ, ужинать.	Дукатъ,	червонецъ.
Видлога,	откидная шапка изъ сукна, пришитая къ кобеняку.	Жінка,	жена.
Винница,	винокурня.	Жупанъ,	родъ кафтана.
Войка,	воинъ.	Завзятый,	задорный.
Выкрутасы,	трудныя па.	Заводы,	заливъ.
Габъ,	движимость, имущество.	Загадаться,	задуматься.
Галушки,	клѣцки.	Замурованный,	задѣланный камнемъ.
Гаманъ,	родъ бумажника, гдѣ хранится огниво, кремль, трутъ, табакъ, иногда и деньги.	Знахоръ,—ка,	колдунъ, ворожея.
Гатить,	дѣлать плотину.	Исподница,	юбка.
Голодная кутья,	сочельникъ.	Кавунъ,	арбузъ.
		Каганецъ,	свѣтильникъ, состоящій изъ черепка, наполненнаго саломъ.
		Казанъ,	котелъ.
		Кануперъ,	травя.
		Канчукъ,	нагайка.
		Карбованецъ,	цѣлковый.
		Кацапъ,	русскій мужикъ съ бо- родой.



Качка,	утка.	Намѣтка,	бѣлое женское покрывало изъ рѣдкаго полотна, съ откидными концами.
Клѣпки,	выпуклыя дощечки, изъ которыхъ составляется бочка.	Нечуй-вѣтеръ,	травя, которую даютъ свиньямъ для жиру.
Книшъ,	родъ печенаго бѣлаго хлѣба.	Оселѣдецъ,	длинный клочъ волосъ на головѣ, заматывающійся за ухо; въ собственномъ смыслѣ — сельдь.
Кнуръ,	боровъ.	Охочекомонный,	вольныя кавалерійскія войска.
Кобенькъ,	родъ суконнаго плаща, съ пришитою сзади видлогою.	Очерѣтъ,	тростникъ.
Кожухъ,	тулупъ.	Очѣпокъ,	родъ женской шапочки.
Комора,	амбаръ.	Очкуръ,	шнурокъ, которымъ стягиваются шаровары.
Корабликъ,	старинный головной уборъ.	Паляница,	небольшой хлѣбъ, нѣсколько плоскій.
Коржъ,	сухая лепешка изъ пшеничной муки, часто съ саломъ.	Пампушки,	вареное кушанье изъ тѣста.
Коровай,	свадебный хлѣбъ.	Пасичникъ,	пчеловодъ.
Корчикъ,	родъ деревяннаго ковша, которымъ пересыпаютъ хлѣбъ, совокъ.	Парубокъ,	парень.
Коханка,	возлюбленная.	Пейсики,	жидовскіе локоны.
Кунтушъ,	верхнее старинное платье.	Пекло,	адъ.
Курень,	соломенный шалашъ.	Перепѣличка,	молодая перепелка.
Курень у запорожцевъ,	отдѣленіе военнаго стана запорожцевъ.	Перекупка,	торговка.
Кухоль,	кружка.	Переполохъ,	испугъ; выливать переполохъ — лѣчить отъ испуга.
Кухва,	родъ кадки.	Петровы батоги,	дикій цикорій.
Левада,	поле, окопанное рвомъ.	Пивкопы,	двадцать пять копѣекъ.
Лихо, лишечко,	бѣда.	Плѣхта,	нижняя одежда женщинъ изъ шерстяной клѣтчатою матеріи.
Лысый дидько,	домовой, демонъ.	Повѣтъ,—овый,	уѣздъ, уѣздный.
Люлька,	трубка.	Повѣтка,	сарай.
Мазница,	родъ ведра, въ которомъ держатъ леготь въ дорогѣ.	Подсѣдокъ,	засѣдатель уѣзднаго суда.
Макитра,	горшокъ, въ которомъ трутъ макъ и прочее.	Позовъ,	тяжебное прошеніе.
Макогонъ,	пестъ для растиранія.	Полова,	мякина.
Малахай,	плеть.	Полутабенѣкъ,	старинная шелковая матерія.
Миска,	чашка для похлебки.	Покутъ,	мѣсто подъ образами.
Мнйшки,	кушанье изъ муки съ творогомъ.	Пошпковаться,	поздороваться.
Молодица,	молодая, замужняя женщина.	Псяюха,	польское бранное слово.
Нагѣдка, нагѣдочка,	ноготокъ, растеніе.	Пыщикъ,	пишалка, свистокъ.
Наймѣтъ,	нанятой работникъ.	Путря,	кушанье, родъ каши.
Наймычка,	нанятая работница.	Рѣда,	совѣтъ.
		Раздобрѣтъ,	растолстѣтъ.

Рейстрóвый ко- закъ,	козакъ, записанный на службу.				классѣ: жмутся на скамѣ,покамѣстьодна половина не вытѣснить другую.
Ручникъ,	утиральникъ.				
Рушѣніе,	ополченіе.				
Сажъ,	мѣсто, гдѣ откармли- ваютъ скотину.	Утрибка,			кушанье изъ внутрен- ностей.
Саламата,	толокно.	Хлòпецъ,			мальчикъ.
Свѣтка,	родъ полукафтання.	Хѹторъ,			небольшая деревушка.
Свòлокъ,	перекладаина подъ по- толкомъ.	Хѹстка,			платокъ.
Синдячки,	узкія ленты.	Цѹрка,			дѣвушка, дочь (поль- ское).
Скрѣня,	большой сундукъ.	Цыбѹля,			лукъ.
Сластѣны,	пышки.	Черевѣки,			башмаки.
Сливянка,	наливка изъ сливъ.	Черенòкъ съ чер- вонцами,			поясъ, въ который насы- пали червонцы.
Смáлецъ,	гусиный жиръ.	Чубъ, )			длинный клòкъ волосъ
Смѹшки,	мерлушки.	Чуприна, )			на головѣ.
Сòняшница,	боль въ животѣ.	Чумаки,			обозники, ѣдущіе въ Крымъ за солью и на Донъ за рыбою.
Сопѣлка,	дудка, свирѣль.				
Стрички,	ленты.				
Стусанъ,	кулакъ.				
Сукня,	одежда женщинъ изъ сукна.	Швецъ,			сапожникъ.
Сулія,	большая бутылъ.	Шѣбеникъ,			висѣльникъ.
Сыровецъ,	хлѣбный квасъ.	Шѣшка,			небольшой хлѣбъ, дѣ- лаемый на свадьбахъ.
Тендітный,	слабосильный, нѣжный.	Юшка,			супъ, жижа.
Тройчатка,	тройная плетъ.	Яломòкъ,			жидовская шапочка.
Тѣсная баба,	игра, въ которую игра- ють школьники въ	Ясочка,			свѣтикъ мой.
		Ятка,			родъ палатки или шатра.





# Изданія Книгоиздательства А. Ф. ДЕВРИЕНЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

МОСКВА.

Вас. Островъ, Румянцевская площ. 1/3.

Калашный пер., домъ Чистяковой.

**Басни И. А. Крылова.** Роскошное изданіе. Со 105 рис. въ текстѣ и 48 отдѣльными картинами въ краскахъ по оригиналамъ художника А. К. Жаба. Въ больш. 4°. Цѣна 10 руб., въ коленк. пер. 12 руб.

**Одиссея Гомера** въ переводѣ В. А. Жуковскаго. Съ рисунками въ текстѣ и 16 отдѣльными гравюрами Ф. Преллера. Роскошное изданіе, съ предисловіемъ О. Ф. Зылинскаго, ординарнаго профессора Императорскаго Историко-Филологическаго Института. Въ folio. Цѣна 8 руб., въ коленк. пер. 10 руб.

**Сказки Андерсена** въ переводѣ съ подлинника А. и П. Ганзена, съ новыми иллюстраціями датскаго художника профессора Ганса Тейнера. Роскошное изданіе въ 4-ю долю листа съ 42 гравюрами и 189 рис. въ текстѣ. Цѣна брошюрованнаго экземпляра 10 руб., въ переплетѣ 11 руб. 50 коп.

Допущено Учен. Комит. М-ва Нар. Просв. для ученич. библиотекъ и средн. возр. средн. и низшихъ учебн. заведеній и въ бесплатныя народныя читальни.

Учен. Ком. Вѣд. Императрицы Маріи одобрено для ученич. средняго и младш. возр. средн. учебн. завед., а также для подарковъ ученицамъ сихъ возрастовъ.

Главн. Управл. воен.-учебн. завед. рекомендовано для приобр. въ ротн. библиот. кад. корп.

**Животный міръ,** его бытъ и среда. Сочиненіе д-ра В. Гаакке. Съ рисунками В. Кунерта. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей д-ра зоологіи профессора Императорской Военно-Медицинской Академіи Н. А. Холодковскаго. Три тома, всего 1.978 страницъ текста большаго формата, съ 620 полиптипажами въ текстѣ и съ 120 отдѣльными картинами животнаго быта въ краскахъ. Цѣна за 3 тома: 24 руб., въ полукожанномъ переплетѣ 28 руб. 50 коп.

Допущено въ ученич. старш. возр. библиот. мужскихъ средн. учебн. завед. М-ва Нар. Просв. и въ бесплатн. нар. чит. и библиотеки, а также въ библиот. учит. семин. и инстит.

**Ботаническій атласъ.** Описаніе и изображеніе растений русской флоры. Съ 88 таблицами въ краскахъ, изображающими 501 растеніе, и съ 813 полиптипажами. Составилъ по К. Гофману и другимъ источникамъ Н. А. Монтеверде, главный ботаникъ Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. Третье, совершенно переработанное и значительно дополненное примѣнительно къ русской флорѣ, изданіе «Ботаническаго Атласа К. Гофмана». Спб. 1906 года. Цѣна 13 руб. 50 коп., въ полукожанномъ переплетѣ 16 руб.

Допущено Учен. Комит. М-ва Нар. Просв. въ ученич. библиот. среднихъ учебн. заведеній.

**Растеніе.** Популярныя лекціи изъ области ботаники д-ра Ф. Кона, профессора Бреславльскаго университета. Переводъ со 2-го нѣмецкаго изданія подъ редакціей академика С. И. Коржинскаго и главнаго ботаника Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада Г. И. Танфильева, съ 302 полиптипажами въ текстѣ. Два тома. Цѣна 7 руб. 50 коп., въ переплетѣ 9 руб.

Содержаніе I тома: I. Проблемы ботаники. II. Вопросы жизни. III. Гѣте какъ ботаникъ. IV. Жанъ Жакъ Руссо какъ ботаникъ. V. Государство клѣтокъ. VI. Свѣтъ и жизнь. VII. Календарь растеній. VIII. Отъ полюса къ экватору. IX. Отъ уровня моря до вѣчнаго снѣга.

Содержаніе II тома: X. О чемъ шепчется лѣсъ. XI. Виноградная лоза и вино. XII. Роза. XIII. Орхидеи. XIV. Насѣкомоядныя растенія. XV. Ботаническія изслѣдованія на морскомъ берегу. XVI. Міръ въ каплѣ воды. XVII. Бактеріи. XVIII. Невидимые враги. (Переводъ этихъ двухъ послѣднихъ главъ проредактированъ профессоромъ Г. А. Надсономъ и снабженъ его примѣчаніями).

Допущено въ ученич. старшаго возраста, библиотекы среднихъ учебн. заведеній Министерства Нар. Просв. и для выдачи учащимся въ 2-хъ старшихъ классахъ упомянутыхъ заведеній въ награду.

**Птицы Европы.** Практическая орнитологія съ атласомъ европейскихъ птицъ. Составилъ профессоръ Н. А. Холодковский, преподаватель зоологіи и ассистентъ А. А. Силантьевъ, преподаватель охотовѣдѣнія въ Спб. лѣсномъ институтѣ. Объемистый томъ in 4°, 867 страницъ текста, съ 237 полиптипажами, 4 картами и 60 таблицами въ краскахъ, изображающими 575 птицъ, 133 типичныя яйца и способы препаровки птичьихъ шкуръ и набивки чучелъ. Цѣна 18 руб., въ полукожанномъ переплетѣ 21 руб.

Уч. Комит. М-ва Нар. Просв. одобрено для учит. и ученич. старш. возр. библиотекъ всѣхъ среднихъ учебн. завед., учит. инстит. и семинарій.

**Царство минераловъ.** Описание разныхъ минераловъ, ихъ мѣсторожденіе прим. къ промышлен. и драгоцен. камни. Сочиненіе д-ра *К. Браунса*, ордин. проф. Гессенскаго универ. Переводъ *В. Н. Лемана*, съ дополненіемъ относительно Россіи *А. П. Печавы* и *П. П. Суцинскаго*. Подъ общей редакціей заслужен. проф. Спб. универ. *А. А. Иностранцева*. Около 600 стран. т. in 4° со многими полиטיפажками и съ атласомъ, заключающимъ 73 большія таблицы въ краскахъ и 14 таблицъ въ фототипіи. Цѣна 27 руб. 50 коп., въ переплетѣ 30 руб. 50 коп.

Учен. Комит. М-ва Нар. Просв. определено признать это изданіе достойнымъ рекомендаціи посредствомъ особаго циркуляра учебно-окружн. начальствомъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и учебныя библ. средн. учебн. заведеній, а равно и для выдачи въ награду ученикамъ назван. учебн. заведеній.

**Происхожденіе и развитіе человѣка.** Путь развитія отъ простѣйшаго животнаго до человѣка. *К. Гюнтеръ*. Два тома текста, съ атласомъ изъ 90 таблицъ, отчасти въ краскахъ.—Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей профессора, д-ра зоологіи *Н. А. Холодовскаго*. Цѣна 20 руб., въ полукожанномъ переплетѣ 24 руб. 50 коп.

Предлагаемая книга представляетъ общепонятное изложеніе исторіи происхожденія и развитія человѣка, съ помощью многочисленныхъ и прекрасно исполненныхъ рисунковъ. Существенную часть ея составляетъ эмбриологія, т. е. ученіе о развитіи зародыша человѣка и тѣхъ животныхъ, которыя составляютъ рядъ предполагаемыхъ его предковъ. Процессы развитія описаны авторомъ просто, выукло и общепонятно. Слѣдуя въ общемъ господствующимъ въ наукѣ теоріямъ и теченіямъ, онъ, однако, относится къ нимъ все время критически и въ особенности тщательно старается вездѣ отдѣлать теоріи и гипотезу отъ фактовъ и дать читателю возможность составить собственное сужденіе о предметѣ главныхъ образовъ на основаніи фактическаго матеріала. Это составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ его книги.

**Жизнь моря.** Животный и растительный міръ моря, его жизнь и взаимоотношенія. Сочиненія профессора *К. Келлера*. Переводъ съ нѣмецкаго съ разрѣшенія автора, съ многочисленными дополненіями и добавленіями новой отдѣльной части «Жизнь русскихъ морей». *П. Ю. Шмидта*. Большой томъ съ 320 полиטיפажками въ текстѣ и съ 16 отдѣльными гравюрами, изъ коихъ 7 исполнено красками. Изданіе 2-е. Цѣна 8 руб., въ переплетѣ 9 руб. 50 коп.

Учен. Комит. М-ва Нар. Просв. допущено въ ученич. старш. возр. библ. средн. учебн. заведеній и въ безплатн. нар. библ. и чит., а равно для выдачи ученик. средн. учебн. завед. въ качествѣ награды.

**Жизнь прѣсныхъ водъ.** Животныя и растенія прѣсныхъ водъ. Ихъ жизнь, распространеніе и значеніе для человѣка. Сочиненіе профессора д-ра *К. Ламперта*. Переводъ съ нѣмецкаго, съ дополненіями примѣнительно къ русской фаунѣ и флорѣ, подъ редакціей: д-ра зоологіи *Н. А. Холодовскаго*, профессора Императорской Военно-Медицинской Академіи, и кандидата естественныхъ наукъ *И. Д. Кузнецова*, дѣйствительнаго члена Императорскаго Россійскаго Общества рыбоводства и рыболовства. Съ 12 таблицами въ краскахъ и фототипіяхъ, 16-ю таблицами изображеній прѣсноводныхъ рыбъ и 380-ю полиטיפажками въ текстѣ. Цѣна 8 руб., въ переплетѣ 9 руб. 50 коп.

Рекомендовано Уч. Ком. М-ва Нар. Просв. для учит. библ. тѣхъ средн. учебн. завед., въ которыхъ преподается естествовѣд., и для библиотекъ учит. инстит. и семинарій и Учен. Комит. М-ва Землед. и Госуд. Имущ. для библиотекъ, подвѣд. М-ву учебныхъ заведеній.

**Географическое распределеніе животныхъ** въ холодномъ и умеренномъ поясахъ сѣвернаго полушарія. Сочиненіе д-ра *В. Кобельта*. Переводъ съ нѣмецкаго *В. Л. Біанки*, старшаго зоолога Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Съ 13 таблицами въ краскахъ и автотипій и со многими полиטיפажками въ текстѣ. Цѣна 8 руб. 50 коп., въ переплетѣ 10 руб.

**Въ сердцѣ Азіи.** Памиръ. — Тибетъ. — Восточный Туркестанъ. Путешествіе *Свена Гедина* въ 1893—1897 гг. Переводъ съ шведскаго *А. П. Ганзенъ*. 2 объемистыхъ тома съ 257 рисунками въ текстѣ и 3 картами. Цѣна обоихъ томовъ 6 руб. 50 коп., въ коленкоровомъ переплетѣ 8 руб.

Учен. Ком. М-ва Нар. Просв. одобрено для фундам. библ. всѣхъ средн. учебн. завед. М-ва для учен. старш. возраста библ. мужскихъ гимн. и реальн. учил. и для раздачи ученикамъ этихъ учебн. зав. въ награду, а также допущено въ безплатныя народныя читальни.

Учен. Комит. М-ва Нар. Просв. определено признать это сочиненіе достойнымъ рекомендаціи посредствомъ особаго циркуляра учебно-окружнымъ начальствомъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученич. библиотекы средн. учебн. завед., а равно и для выдачи въ награду ученикамъ назван. учебн. зав.

Полный Каталогъ Книгоиздательства *А. Ф. ДЕВРІЕНА* высылается по требованію безплатно.







(20p-)

200

2205/12

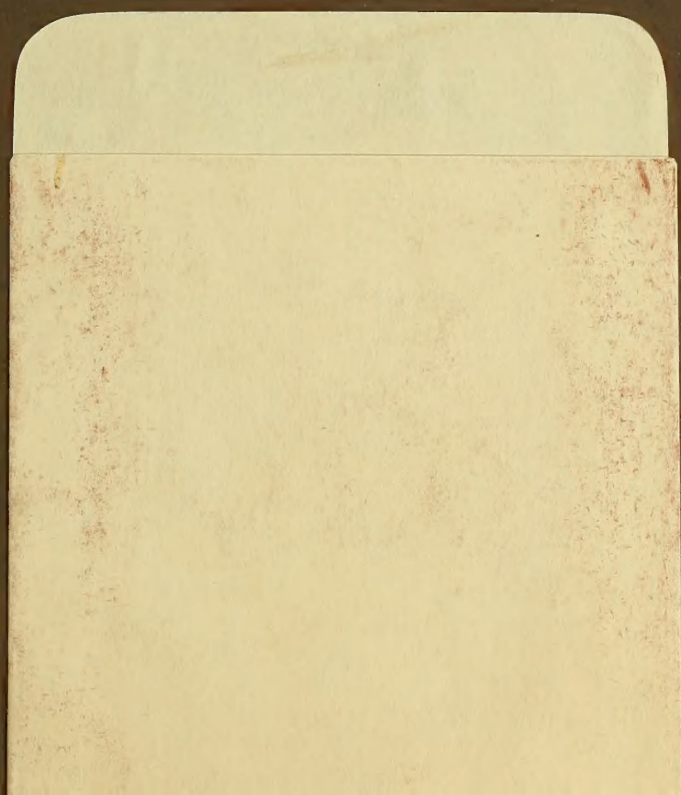
M-28  
10-00

8876/12













Duke University Libraries  
D02508690U